

ISSN 0130-7673

Ж О В Ы И
М И Р

||
1
||

Ж О В Ы И
М И Р

|| 0 9 9 9 0 ||

1



1990



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 1

Январь, 1990 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА — Семейный праздник, стихи	3
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — В круге первом, роман	5
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Ночной дозор, стихи	95
ВАСИЛЬ БЫКОВ — Облава, повесть. Авторизованный перевод с белорусского Валентина Тараса	97
ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ — Минутный заслон, стихи	141
ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ — Ручка, ножка, огурчик..., рассказ. Публикация К. Ф. Домбровской-Турумовой	142
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ — Боря-боец, рассказ	152
ВЛАДИМИР ЩИРОВСКИЙ — Стихи разных лет. Публикация А. Доррер	164

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В. Г. КОРОЛЕНКО — Земли! Земли! Мысли, воспоминания, картины. Публикация и комментарий П. И. Негретова	168
--	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО — И стакана чистой воды не прибавилось...	201
---	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Из истории русской общественной мысли

Н. А. БЕРДЯЕВ — Судьба человека в современном мире. Статья, письма. Составление, вступительная статья, публикация архивных материалов и комментарий Р. А. Гальцевой	207
---	-----

(См на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
С. ЗАЛЫГИН — Год Солженицына	233
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
АЛЛА ЛАТЫНИНА — Солженицын и мы	241
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Политика и наука</i>	259
Алексей Руткевич. Мятёжный век одной теории.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
АЛЕКСАНДР БАБОРЕКО — Осенняя клюква	263
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Ст. Рассадин. — Григорий Канович Козленок за два гроша. Роман. ♦	
С. Воловец. — Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе сталинизма	269
АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ	271
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

К СВЕДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ И РЕДАКЦИЙ

Обращаемся с просьбой ко всем советским и зарубежным издательствам, а также к редакциям газет и журналов всякий раз ставить нас в известность о намерениях перепечатать произведения, помещенные на страницах нашего журнала.

Редакционная коллегия.

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА

*

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

* * *

Многоочитую знали халдеи смерть —
всю из лунных белков, перистых роговиц,
всю из черных зрачков, которыми смотрит твердь
из-под ломких ресниц...

Видно уже сейчас, как я жила,—
сливалась с походкой дней, искушала судьбу,—
целовалась на кладбище, менялась крестами, водку пила,
стояла на исповедь в очереди,
закусив губу.

Видеть и осязать — двоякое ремесло.
Вылепил меня Господь для своих собственных глаз,
но поставил под быстро текущий песок,
струящиеся зеркала,
льющееся стекло,
чтобы и мне увидеть, кто воистину есмь аз!

Ах, студенистые эти очи,
линзы выпукло-вогнутые,
астигматизм дней...
Ты, вечно колющая ресница,— прости, прости!
И на радужной оболочке все отчетливей,
все острее
обратная перспектива пути.

Дочь

Девочка-приемыш в порядочную семью
взята в семидневном возрасте из роддома.
Догадывается об этом, ищет мать свою,
ищет отца своего. Ей кажется, что знакома
вот эта американочка с журнальных страниц,
вот этот блондин из проехавшего лимузина.
Она смотрит в зеркало, находит сходство,
между ресниц
запечатлевается трагическая картина:
страшная буря обрушивается на корабль,
каждый спасается на обломках;
в пасмурном небе заблудившийся дирижабль
опрокидывается от ветра. Все тонет в потемках...

Они терпят крушение у берегов Филиппин,
над Атлантическим океаном, над лесами Сибири.
Провидение их спасает из когтей, клыков и глубин,
но разбрасывает всех врозь и теряет в мире.
...Приемные родители посылают в школу,

везут в метро.

Но какие-то в небе торжественные поют трубы!
Девочка поглядывает вокруг таинственно и хитро:
брови ее приподняты, поджаты губы.
Что-то ей нашептывает: вон та — волос курчав,
тонкий профиль, неизвестный мастер, английская миниатюра.
Что-то ей подсказывает: вон тот — величав,
орлиный нос, эполеты, царственная фигура!
Перед ней выстраивается род человеческий во всей красе:
колышутся шляпы, клобуки, котелки, перья на шлеме...
На этот семейный праздник собираются все —
вплоть до Адама, который еще в Эдеме.

* * *

...Даже если ветер, посланный в край восточный,
или — докатывающиеся до сердца всполохи грозовые,
красноречивый куст, свет полуночный,
жук-олень залетный, выбранный в вестовые...

Даже если цыганка, прицепившаяся у вокзала,
или убогий Алеша — прозорливый из Оскола,
или сама душа, пока она засыпала,
или сам ангел Божий, спустившийся от престола,—

не поверю им больше, скажу твоими словами:
— Только Господь соединяет судьбу с судьбою! —
Даже ежели херувимы с шестью крылами
возвестят троекратно, что я любима тобою,—

опущу глаза, напрягая ресницы, веки,
и скажу, как учил ты,— спокойно, внятно и больно:
— Никогда он меня не любил! И уже вовеки
не полюбит... Не лги, лукавый, довольно!



АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

*

В КРУГЕ ПЕРВОМ

Роман

Судьба современных русских книг: если и выныривают, то ущипанные. Так недавно было с булгаковским «Мастером» — перья потом доплывали. Так и с этим моим романом: чтобы дать ему хоть слабую жизнь, смель показывать и отнести в редакцию, я сам его ужал и исказил, верней — разобрал и составил заново, и в таком-то виде он стал известен.

И хотя теперь уже не нагонишь и не исправишь — а вот он подлинный. Впрочем, восстанавливая, я кое-что и усовершенствовал: ведь тогда мне было сорок, а теперь пятьдесят.

написан — 1955-1958
искажён — 1964
восстановлен — 1968

ПОСВЯЩАЮ
ДРУЗЬЯМ ПО ШАРАШКЕ

Главы 1—96

Торпеда
Промех
Шарашка
Протестантское Рождество
Хьюги-Буги
Мирный быт
Женское сердце
Остановись, мгновенье!
Пятого года упряжки
Розенкрейцеры
Зачарованный замок
Семёрка
И надо было солгать...
Синий свет
Девушку! Девушку!
Тройка лугов
Насчёт кипятка
Сивка-Бурка
Юбиляр
Этюд о великой жизни
Верните нам смертную казнь!
Император Земли
Язык — орудие производства
Бездна зовёт назад
Церковь Никиты Мученика
Пилка дров
Немного методики
Работа младшины
Работа подполковника
Недоуменный робот
Как штопать носки
На путях к миллиону

Штрафные палочки
 Звуковиды
 Поцелуи запрещаются
 Фоноскопия
 Немой набат
 Изменяй мне!
 Красиво сказать — в тайгу
 Свидание
 Еще одно
 И у молодых
 Женщина мыла лестницу
 На просторе
 Псы империализма
 Замок святого Грааля
 Разговор три нуля
 Двойник
 Жизнь — не роман
 Старая дева
 Огонь и сено
 За воскресение мёртвых!
 Ковчег
 Досужные затеи
 Князь Игорь
 Кончая двадцатый
 Арестантские мелочи
 Лицейский стол
 Улыбка Будды
 Но и совесть даётся один только раз
 Тверской дядюшка
 Два зятя
 Зубр
 Первыми вступали в города
 Поединок не по правилам
 Хождение в народ
 Спиридон
 Критерий Спиридона
 Под закрытым забралом
 Дотти
 Будем считать, что этого не было
 Гражданские храмы
 Кольцо обид
 Рассвет понедельника
 Четыре гвоздя
 Любимая профессия
 Решение принимается
 Освобожденный секретарь
 Решение объясняется
 Сто сорок семь рублей
 Техно-элита
 Воспитание оптимизма
 Премьер-стучач
 Насчёт расстрелять
 Князь Курбский
 Не ловец человеков
 У истоков науки
 Передовое мировоззрение
 Перепёлочка
 На задней лестнице
 Да оставит надежду входящий
 Хранить вечно
 Второе дыхание
 Всегда врасплох
 Прощай, шарашка!
 Мясо

1

К ружевные стрелки показывали пять минут пятого. В замирающем декабрьском дне бронза часов на этажерке была совсем тёмной.

Стёкла высокого окна начинались от самого пола. Через них открывалось вниз на Кузнецком торопливое снование улицы и упорная

передвижка дворников, сгребавших только что выпавший, но уже отяжелевший, коричнево-грязный снег из-под ног пешеходов.

Видя всё это и не видя этого всего, государственный советник второго ранга Иннокентий Володин, прислонясь к ребру оконного уступа, высвистывал что-то тонкое-длинное. Концами пальцев он перекидывал пёстрые гляцевые листы иностранного журнала. Но не замечал, что в нём.

Государственный советник второго ранга, что значило подполковник дипломатической службы, высокий, узкий, не в мундире, а в костюме скользящей ткани, Володин казался скорее состоятельным молодым бездельником, чем ответственным служащим министерства иностранных дел.

Пора была или зажечь в кабинете свет — но он не зажигал, или ехать домой, но он не двигался.

Пятый час означал конец не служебного дня, но — его дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой — пообедать, поспать, а с десяти вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон сорока пяти общесоюзных и двадцати республиканских министерств. Одному единственному человеку за дюжиной крепостных стен не спится по ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с ним до трёх и до четырёх часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтоб не клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дёргают столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают карандаши.

И даже сегодня, в канун западного Рождества (все посольства уже два дня как стихли, не звонят), в их министерстве всё равно будет ночное сиденье.

А у тех пойдут теперь на две недели каникулы. Доверчивые младенцы. Ослы длинноухие!

Нервные пальцы молодого человека быстро и бессмысленно перелистывали журнал, а внутри — страшок то поднимался и горячил, то опускался, и становилось холодновато.

Иннокентий швырнул журнал и, ёжась, прошёлся по комнате.

Позвонить или не позвонить? Сейчас обязательно? Или не поздно будет там?.. в четверг-пятницу?..

Поздно...

Так мало времени обдумать, и совершенно не с кем посоветоваться!

Неужели есть средства дознаться, кто звонил из автомата? Если говорить только по-русски? Если не задерживаться, быстро уйти? Неужели узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники.

Через три-четыре дня он полетит туда сам. Логичнее — подождать. Разумнее — подождать.

Но будет поздно.

О, чёрт — ознобом повело его плечи, не привычные к тяжести. Уж лучше б он не узнал. Не знал. Не узнал...

Он сгрёб всё со стола и понёс в несгораемый шкаф. Волнение расходилось сильней и сильней. Иннокентий опустил лоб на рыжее окрашенное железо шкафа и отдохнул с закрытыми глазами.

И вдруг, как будто упуская последние мгновения, не позвонив за машиной в гараж, не закрыв чернильницы, Иннокентий метнулся, запер дверь, отдал ключ в конце коридора дежурному, почти бегом сбежал с лестницы, обгоняя постоянных здешних в золотом шитье и позументах, едва натянул внизу пальто, насадил шляпу и выбежал в сыроватый смеркающийся день.

От быстрых движений полетчало.

Французские полуботинки, по моде без галош, окунались в грязно тающий снег.

Полузамкнутым двориком министерства пройдя мимо памятника Воровскому, Иннокентий поднял глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-чёрная девятиэтажная туша была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен высились по правому его борту. И одинокий утлый челночек Иннокентия так и тянуло туда, под нос тяжёлого быстрого корабля.

Нет, не тянуло челноком — это он сам шёл на линкор — торпедой! Но невозможно было выдержать! Он увернулся вправо, по Кузнецкому. От тротуара собиралось отъехать такси, Иннокентий захватил, погнав его вниз, там велел налево, под перевозажжённые фонари Петровки.

Он ещё колебался — откуда звонить, чтоб не торопили, не стояли над душой, не заглядывали в дверь. Но искать отдельную тихую будку — заметнее. Не лучше ли в самой густоте, только чтоб кабина была глухая, в камне? И как же глупо плутать на такси и брать шофёра в свидетели. Он ещё рылся в кармане, ища пятнадцать копеек, и надеялся не найти. Тогда естественно будет отложить.

Перед светофором в Охотном ряду его пальцы нащупали и вытянули сразу две пятнадцатикопеечных монеты. Значит, быть по тому.

Кажется, он успокаивался. Опасно, не опасно — другого решения быть не может.

Чего-то всегда постоянно боясь — остаёмся ли мы людьми?

Совсем не задумывал Иннокентий — а ехал по Моховой как раз мимо посольства. Значит, судьба. Он прижался к стеклу, изогнул шею, хотел разглядеть, какие окна светятся. Не успел.

Минули Университет — Иннокентий кивнул направо. Он будто делал круг на своей торпеде, разворачиваясь получше.

Взлетели к Арбату, Иннокентий отдал две бумажки и пошёл по площади, стараясь умерять шаг.

Высохло в горле, во рту — тем высоханьем, когда никакое питьё не поможет.

Арбат был уже весь в огнях. Перед «Художественным» густо стояли в очереди на «Любовь балерины». Красное «М» над метро чуть затягивало сизоватым туманцем. Чёрная южная женщина продавала маленькие жёлтые цветы.

Сейчас не видел смертник своего линкора, но грудь распирало светлое отчаяние.

Только помнить: ни слова по-английски. Ни тем более по-французски. Ни пёрышка, ни хвостика не оставить ищейкам.

Иннокентий шёл очень прямой и совсем уже не поспешный. На него вскинула глаза встречная девушка.

И ещё одна. Очень милая. Пожелай мне уцелеть.

Как широк мир, и сколько в нём возможностей! — а у тебя ничего не осталось, только вот это ущелье.

Среди деревянных наружных кабин была пустая, но кажется, с выбитым стеклом. Иннокентий шёл дальше, в метро.

Здесь четыре, углублённые в стену, были все заняты. Но в левой кончал какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Он улынулся Иннокентию. что-то хотел говорить. Сменив его в кабине, Иннокентий тщательно притянул и так держал одной рукой толсто-остеклённую дверь; другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, опустил монету и набрал номер.

После нескольких долгих гудков трубку сняли.

— Это секретариат? — он старался изменять голос.

— Да.

— Прошу срочно соединить меня с послом.

— Посла вызвать нельзя, — очень чисто по-русски ответили ему. — А вы по какому вопросу?

— Тогда — поверенного в делах! Или военного атташе! Прошу не медлить!

На том конце думали. Иннокентий загадал: откажут — пусть так и будет, второй раз не пробовать.

— Хорошо, соединяю с атташе.

Переключали.

За зеркальным стеклом, чуть поодаль от ряда кабин, неслись, торопились, обгоняли. Кто-то откатился сюда и нетерпеливо стал в очередь к кабине Иннокентия.

С очень сильным акцентом, голосом сытым, ленивым, в трубку сказали:

— Слушаю вас. Что вы хотели?

— Господин военный атташе? — резко спросил Иннокентий.

— Йес, авиэйшн, — проронили с того конца.

Что оставалось? Экраня рукою в трубку, сниженным голосом, но решительно, Иннокентий внушал:

— Господин авиационный атташе! Прошу вас, запишите и срочно передайте послу...

— Ждите момент, — неторопливо отвечали ему. — Я позову переводчик.

— Я не могу ждать! — кипел Иннокентий. (Уж он не удерживался изменять голос!) — И я не буду разговаривать с советскими людьми! Не бросайте трубку! Речь идёт о судьбе вашей страны! И не только! Слушайте: на этих днях в Нью-Йорке советский агент Георгий Коваль получит в магазине радиодеталей по адресу...

— Я вас плёхо понимал, — спокойно возразил атташе. Он сидел, конечно, на мягком диване, и за ним никто не гнался. Женский оживлённый говор слышался отдаленно в комнате. — Звоните в посольство оф Кэнеда, там хорошо понимают русски.

Под ногами Иннокентия горел пол будки, и трубка чёрная с тяжёлой стальной цепью плавилась в руке. Но единственное иностранное слово могло его погубить!

— Слушайте! Слушайте! — в отчаянии восклицал он. — На днях советский агент Коваль получит важные технологические детали производства атомной бомбы в радиомагазине...

— Как? Какой авеню? — удивился атташе и задумался. — А откуда я знаю, что вы говорить правду?

— А вы понимаете, чем я рискую? — хлестал Иннокентий.

Кажется, стучали сзади в стекло.

Атташе молчал, может быть затянулся сигаретой.

— Атомная бомба? — недоверчиво повторил он. — А кто такой вы? Назовите ваш фамилия.

В трубке глухо щёлкнуло, и наступило ватное молчание, без шорохов и гудков.

Линию разорвали.

2

Есть такие учреждения, где натыкаешься на темновато-багровый фонарик у двери: «Служебный». Или, поновей, важную зеркальную табличку: «Вход посторонним категорически воспрещён». А то и грозный вахтер сидит за столиком, проверяет пропуска. И за недоступной дверью рисует, как всё запретное, невесть что.

А там — такой же простой коридор, может почище. Средней струей простелена дорожка красного казённого рядна. В меру натёрт паркет. В меру часто расставлены плеватальницы.

Только безлюдно. Не ходят из двери в дверь.

Двери же — все под чёрной кожей, под вздувшейся от набивки чёрной кожей с белыми заклёпками и зеркальными же оваликами номеров.

Даже те, кто работают в одной из таких комнат, знают о событиях в соседней меньше, чем о рыночных новостях острова Мадагаскара.

В тот же безморозный хмуроватый декабрьский вечер в здании московской центральной автоматической телефонной станции, в одном из таких запретных коридоров, в одной из таких недоступных комнат, которая у коменданта числилась как 194-я, а в XI отделе 6-го управления МГБ как «Пост А-1», — дежурило два лейтенанта. Правда, они были не в форме, а в гражданском: так приличнее было им входить и выходить из здания телефонной станции.

Одна стена была занята щитками, сигнальным стендом, тут же чернела пластмасса и блестел металл телефонно-акустической аппаратуры. На другой стене висела на серой бумаге инструкция во многих пунктах.

По этой инструкции, предусматривавшей и предупреждавшей все возможные случаи нарушений и отклонений при подслушивании и записывании разговоров американского посольства, дежурить должно было двоим: одному безотрывно слушать, не снимая наушников, второму же никуда не удаляться из комнаты, кроме как в уборную, и каждые полчаса подменять товарища.

Невозможно было ошибиться, работая по этой инструкции.

Но по трагическому противоречию между идеальным совершенством государственных устройств и жалким несовершенством человека, инструкция в этот раз была нарушена. Не потому, что дежурившие были новички, но потому, что имели они опыт и знали, что никогда ничего особенного не случается. Да ещё и канун западного Рождества.

Одного из них, широконогого лейтенанта Тюкина, в понедельник на политучёбе непременно должны были спрашивать, «кто такие друзья народа и как они воюют с социал-демократами», почему на втором съезде надо было размежеваться, и это правильно, на пятом объединиться, и это снова правильно, а с шестого съезда опять всяк себе, и это опять-таки правильно. Нипочём бы Тюкин не стал читать с субботы, мало надеясь запомнить, но в воскресенье после его дежурства намечали они с сестриным мужем крепко заложить, в понедельник утром с опохмелу эта мура тем более в голову не полезет, а парт-орг уже пенял Тюкину и грозил вызвать на бюро. Да главное-то было не ответить, а представить конспект. За всю неделю Тюкин не выбрал времени и сегодня весь день откладывал, а теперь, попросив товарища дежурить пока без смены, приудобился в уголку при настольной лампе и выписывал из «Краткого курса» к себе в тетрадь то одно место, то другое.

Верхнего света они ещё не успели зажечь. Горела дежурная лампа у магнитофонов. Кучерявый лейтенант Кулешов с пухленьким подбородком сидел с наушниками и скучал. Ещё с утра заказывали покупки, а после обеда посольство как заснуло, ни одного звонка.

Долго просидев так, Кулешов надумал посмотреть нарывы на левой ноге. Эти нарывы вспыхивали всё новые и новые от неизвестных причин, их мазали зелёной, цинковой и стрептоцидовой мазью, но они не заживали, а расширялись под струпами. Боль уже мешала при ходьбе. В клинике МГБ его уже назначили на консультацию к профессору. А недавно Кулешов получил квартиру новую, и жена ждала ребёнка — и такую складную жизнь эти нарывы отравляли.

Кулешов совсем снял тугие наушники, давившие уши, перешёл удобнее к свету, засучил левую трубку брук и калысон и стал осторожно ощупывать и обламывать края струпов. При надавливании их насачивалась бурая сукровица. Так больно, что отдавалось в голову, это захватило его внимание. В первый раз его прострельнуло от мысли, что здесь не нарывы, а... а... Какое-то пришло на память где-то слышанное страшное слово: гангрена?... и ещё как-то...

Так он не сразу заметил, что катушки магнитофона бесшумно кружатся, включённые автоматически. Не снимая обнажённой ноги

с подставки, Кулешов дотянулся до наушников, приложил к одному уху и услышал:

— А откуда я знаю, что вы говорить правду?

— А вы понимаете, чем я рискую?

— Атомная бомба? А кто такой вы? Назовите вашу фамилия.

АТОМНАЯ БОМБА!!! Повинуясь порыву такому же бессознательному, как схватиться за опору, падая, Кулешов вырвал штырь коммутатора, этим разъединил телефоны — и тут только сообразил, что вопреки инструкции, не засёк номера абонента.

Первое движение было — обернуться. Тюкин строчил конспект и не видал ничего. Тюкин-то был друг, но ведь Кулешову вменялось контролировать Тюкина, значит и тому.

Дрожащими пальцами переключив на обратную перемотку, а в цепь посольства включив запасной магнитофон, Кулешов сперва подумал стереть запись и скрыть свою оплошность. Но тут же вспомнил, как начальник не раз говорил, что работа их поста дублируется автоматической записью ещё в одном месте — и откинул вздорную мысль. Конечно, дублируется, и за укрытие такого разговора — расстреляют!

Лента перемоталась. Он включил прослушивание. Преступник очень торопился, волновался. Откуда он мог говорить? Конечно, не из частной квартиры. Да вряд ли и с работы. В посольства всегда стараются из автоматов.

Раскрыв список автоматов, Кулешов торопливо выбрал телефон на входной лестнице метро «Сокольники».

— Генка! Генка! — хрипло позвал он, спуская брючину. — Аврал! Звони в оперативку! Может, ещё захватят!..

3

— Новички!

— Новичков привезли!

— Откуда, товарищи?

— Приятели, откуда?

— А что это у вас на груди, на шапке — пятна какие-то?

— Тут наши номера были. Вот на спине ещё, на колене. Когда из лагеря отправляли — спорили.

— То есть, как — *номера?*!

— Господа, позвольте, в каком веке мы живём? На людях — номера? Лев Григорыч, позвольте узнать, это что — *прогрессивно?*

— Валентуля, не генерируйте, идите ужинать.

— Да не могу я ужинать, если где-то люди ходят с номерами на лбу!

— Друзья! Дают «Беломор» по девять пачек за вторую половину декабря. Имеете шанс! *На цырлах!*

— Беломор-«Ява» или Беломор-«Дукат»?

— Пополам.

— Вот стервы, «Дукатом» душат. Буду министру жаловаться, клянусь.

— А что за комбинезоны на вас? Почему вы все здесь как парашютисты?

— Форму ввели. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые, теперь зажимают, гады.

— Смотри, новички!

— Новичков привезли.

— Э! орлы! Что вы, живых эсков не видели? Весь коридор загордили!

— Ба! Кого я вижу! Доф-Донской?! Да где же вы были, Доф? Я вас в сорок пятом году по всей Вене, по всей Вене искал!

- А ободранные, а небритые! Из какого лагеря, друзья?
- Из разных. Из Речлага...
- ...из Дубровлага...
- Что-то я девятый год сижу — таких не слышал.
- А это новые, Особлагы. Их учредили только с сорок восьмого.
- У самого входа в венский Пратер меня загребли и — в воронки.
- Подожди, Митёк, давай новичков послушаем...
- Гулять, гулять! На свежий воздух! Новичков опросит Лев, не беспокойся.
- Вторая смена! На ужин!
- Озёрлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг...
- Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберётся, так даёт поэтические названия лагерям.
- Ха-ха-ха! Смешно, господа, смешно! В каком веке мы живём?
- Ну тихо, Валентуля!
- Простите, как вас зовут?
- Лев Григорьевич.
- Вы сами тоже инженер?
- Нет, я филолог.
- Филолог? Здесь держат даже филологов?
- Вы спросите, кого здесь не держат? Здесь математики, физики, химики, инженеры-радиотехники, инженеры по телефонии, конструкторы, художники, переводчики, переплётчики, даже одного геолога по ошибке завезли.
- И что ж он делает?
- Ничего, в фотолаборатории пристроился. Даже архитектор есть. Да какой! — самого Сталина домашний архитектор. Все дачи ему строил. Теперь с нами сидит.
- Лев! Ты выдаёшь себя за материалиста, а пичкаешь людей духовной пищей. Внимание, друзья! Когда вас поведут в столовую, — там на последнем столе у окна мы для вас составили тарелок десятка три. Рубайте от пуза, только не лопните!
- Большое вам спасибо, но зачем вы отрываете от себя?
- Ничего не стоит. Кто ж нынче ест селёдку мезенского засола и пшённую кашу! Пошло.
- Как вы сказали? Пшённая каша — пошло? Да я пять лет пшённой каши не видел!
- Наверно, не пшённая, наверно магара?
- Да вы с ума сошли — магара! Попробовали б они нам магару? Мы б им...
- А как сейчас на пересылках кормят?
- На челябинской пересылке...
- На челябинской-новой или челябинской-старой?
- По вашему вопросу видно знатока. На новой...
- Что там, по-прежнему ватер-клозеты на этажах экономят, а зэки оправляются в параши и носят с третьего этажа?
- По-прежнему.
- Вы сказали — шарашка. Что значит — шарашка?
- А по сколько хлеба здесь дают?
- Кто ещё не ужинал? Вторая смена!
- Хлеба белого по четыреста грамм, а чёрный — на столах.
- Простите, как — на столах?
- Ну так, на столах, нарезан. хочешь — бери, хочешь — не бери.
- Простите, здесь что — Европа, что ли?
- Почему Европа? В Европе на столах белый, а не чёрный.
- Да, но за это маслице и за этот «Беломор» мы горбим по двенадцать и по четырнадцать часов в сутки.
- Гор-бите? Если за письменным столом сидите, то уже не горбите! Горбит тот, кто киркой машет.

— Чёрт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте — от всей жизни отрываешься. Вы слышали, господа? — говорят, блатных прижали и даже на Красной Пресне уже не курочат.

— Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать. От каждого по способности, каждому по возможности.

— Так вы работали на Днепрострое?

— Да, я у Винтера работал. Я за этот Днепрогэс и сижу.

— То есть, как?

— А я, видите ли, продал его немцам.

— Днепрогэс? Его же взорвали!

— Ну и что ж, что взорвали? А я взорванный им же и продал.

— Честное слово, как будто вольный ветер подул! Пересылки! этапы! лагерь! движение! Эх, сейчас бы до Совгавани прокатиться!

— И назад, Валентуля, и — назад!

— Да! И скорей назад, конечно!

— Вы знаете, Лев Григорьич, от этого наплыва впечатлений, от этой смены обстановки у меня кружится голова. Я прожил пятьдесят два года, я выздоравливал от смертельной болезни, я дважды женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались сыновья, я печатался на семи языках, я получал академические премии, — никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня! Куда я попал? Завтра меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливочного масла! Чёрный хлеб — на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не бьют эзков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я — в раю!!

— Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший высший круг — в первый. Вы спрашиваете, что такое шарашка? Шарашку придумал, если хотите, Данте, он разрывался — куда ему поместить античных мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них в аду особое место. Позвольте... это звучит примерно так:

«Высокий замок предо мной возник...

...посмотрите, какие здесь старинные своды!

Семь раз обвитый стройными стенами...
Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела...

...вы на воронке въезжали, поэтому ворот не видели...

Там были люди с важностью чела,
С неторопливым и спокойным взглядом...
Их облик был ни весел, ни суров...
Я видеть мог, что некий многочисленный
И высший сонм уединился там...
Скажи, кто эти, не в пример другим
Почтенные среди толпы окрестной?..»

— Э-э, Лев Григорьевич, я гораздо доступнее объясню герру профессору, что такое шарашка. Надо читать передовицы «Правды». «Доказано, что высокие настриги шерсти с овец зависят от питания и от ухода».

4

Ёлка была — сосновая веточка, воткнутая в щель табуретки. Плетеница разноцветных маловольтных лампочек, обогнув ее дважды, спускалась молочными хлорвиниловыми проводами к аккумулятору на полу.

Табуретка стояла в проходе между двухэтажными кроватями в углу комнаты, и один из верхних матрасов отенял весь уголок и крохотную ёлку от яркости подпотолочных ламп.

Шесть человек в плотных синих комбинезонах парашютистов привстали у ёлки и, склонив головы, строго слушали, как один из них, бойкий Макс Адам, читал протестантскую рождественскую молитву.

Во всей большой комнате, тесно уставленной такими же двухэтажными наваренными в ножках кроватями, больше не было никого: после ужина и часовой прогулки все ушли на вечернюю работу.

Макс окончил молитву — и шестеро сели. Пятерых из них охлынуло горько-сладкое ощущение родины — устроенной, устоявшейся страны, милой Германии, под черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый в году праздник. А шестой среди них — крупный мужчина с широкой чёрной бородой, был еврей и коммунист.

Льва Рубина судьба сплела с Германией и ветвями мира и прутьями войны.

В миру он был филолог-германист, разговаривал на безупречном современном hoch-Deutsch, обращался при надобности к наречиям средне-, древне- и верхне-германским. Всех немцев, когда-либо подписывавших свои имена в печати, он без напряжения вспоминал как личных знакомых. О маленьких городках на Рейне рассказывал так, как если б хаживал не раз их умытыми тенистыми улочками.

А побывал он — только в Пруссии, и то — с фронтом.

Он был майором «отдела по разложению войск противника». Из лагерей военнопленных он выуживал тех немцев, которые не хотели оставаться за колючей проволокой и соглашались ему помогать. Он отбирал их оттуда и безбедно содержал в особой школе. Одних он перепускал через фронт с тринитротолуолом, с фальшивыми рейхсмарками, фальшивыми отпускными свидетельствами и солдатскими книжками. Они могли подрывать мосты, могли прокатиться домой и погулять, пока не поймают. С другими он говорил о Гёте и Шиллере, обсуждал для машин «звукóвок» уговорные тексты, чтоб воюющие братья обернули оружие против Гитлера. Из его помощников самые способные к идеологии, наиболее переимчивые от нацизма к коммунизму, передавались потом в разные немецкие «свободные комитеты» и там готовили себя для будущей социалистической Германии; а кто попроще, посодатистей — с теми Рубин к концу войны раза два и сам переходил разорванную линию фронта и силой убеждения брал укрепленные пункты, сберегая советские батальоны.

Но нельзя было убеждать немцев, не вращая в них, не полюбив их, а с дней, когда Германия была повержена — и не пожалев. За то и был Рубин посажен в тюрьму: враги по Управлению обвинили его, что он после январского наступления 45-го года агитировал против лозунга «кровь за кровь и смерть за смерть».

Было и это. Рубин не отрекался, только всё неизмеримо сложнее, чем можно было подать в газете или чем написано было в его обвинительном заключении.

Рядом с табуреткой, где светилась сосновая ветвь, были сплочены две тумбочки, образуя как бы стол. Стали угощаться: рыбными консервами (эзкам шарашки с их лицевых счетов делался закупки в магазинах столицы), уже остывающим кофе и самодельным тортом. Завязался степенный разговор. Макс направлял его на мирные темы: на старинные народные обычаи, умильные истории рождественской ночи. Недоучившийся физик венский студент Альфред в очках смешно выговаривал по-австрийски. Почти не смея вступить в беседу старших, тарачил глаза на рождественские лампочки круглолицый с просвечивающими, как у поросёнка, розовыми ушами юнец Густав из Hitlerjugend (взятый в плен через неделю после конца войны).

И всё-таки разговор сорвался с дорожки. Кто-то вспомнил Рождество сорок четвёртого года, пять лет назад, тогдашнее наступление в Арденнах, которым немцы единодушно гордились как античным: побеждённые гнали победителей. И вспомнили, что в тот сочельник Германия слушала Гёббельса.

Рубин, одной рукой теребя отструек своей жёсткой чёрной бороды, подтвердил. Он помнит эту речь. Она удалась. Гёббельс говорил с таким душевным трудом, будто волок на себе все тяготы, под которыми падала Германия. Вероятно, он уже предчувствовал свой конец.

Обер-штурм-банн-фюрер SS Райнгольд Зиммель, чей длинный корпус едва уместился между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил тонкой учтивости Рубина. Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет судить о Гёббельсе. Он никогда не унился бы сесть с ним за один стол, если бы в силах был отказаться от рождественского вечера с соотечественниками. Но остальные немцы все непременно хотели, чтобы Рубин был. Для маленького немецкого землячества, занесенного в позолоченную клетку шарашки в сердце дикой беспорядочной Московии, единственным близким и понятным здесь человеком только и был этот майор неприятельской армии, всю войну сеявший среди них раскол и развал. Только он мог растолковать им обычаи и нравы здешних людей, посоветовать, как надо поступить, или перевести с русского свежие международные новости.

Ища, как бы выразиться подосадней для Рубина, Зиммель сказал, что в Райхе вообще были сотни ораторов-фейерверкеров; интересно, почему у большевиков установлено согласовывать тексты заранее и читать речи по бумажкам.

Упрёк пришёлся тем обидней, чем справедливей. Не объяснять же было врагу и убийце, что красноречие у нас было, да какое, но вытравили его партийные комитеты. К Зиммелю Рубин испытывал отвращение, ничего больше. Он помнил его только что привезенным на шарашку из многолетнего заключения в Бутырках — в хрустящей кожаной куртке, на рукаве которой угадывались споротые нашивки гражданского эсэсовца — худшего вида эсэсовца. Даже тюрьма не могла смягчить выражение устоявшейся жестокости на лице Зиммеля. Именно из-за Зиммеля Рубину было неприятно прийти сегодня на этот ужин. Но очень просили остальные, и было жалко их, одиноких и потерянных здесь, и отказом своим невозможно было омрачить им праздник.

Поддавая желание взорваться, Рубин привёл в переводе совет Пушкина кое-кому не судить свыше сапога.

Обиходчивый Макс поспешил прервать нарастающую схватку: а он, Макс, под руководством Льва, уже по складам читает по-русски Пушкина. А почему Райнгольд взял торт без крема? А где был Лев в тот рождественский вечер?

Райнгольд прихватил и крем. Лев припомнил, что был он тогда на наревском плацдарме, у Рожан, в своём блиндаже.

И как эти пять немцев вспоминали сегодня свою растоптанную и разорванную Германию, окрашивая её лучшими красками души, так и у Рубина вдруг разжились воспоминания сперва о наревском плацдарме, потом о мокрых лесах возле Ильменя.

Разноцветные лампочки отражались в согретых человеческих глазах.

О новостях спросили Рубина и сегодня. Но сделать обзор за декабрь ему было стеснительно. Ведь он не мог себе позволить быть беспартийным информатором, отказаться от надежды перевоспитать этих людей. И не мог он уверить их, что в сложный наш век истина социализма пробивается порою кружным искажённым путём. А поэтому следовало отбирать для них, как и для Истории (как бессознательно отбирал он и для себя) — только те из происходящих событий, кото-

рые подтверждали предсказанную столбовую дорогу, и пренебрегать теми, которые заворачивали как бы не в болото.

Но именно в декабре кроме советско-китайских переговоров, и то затянувшихся, ну и кроме семидесятилетия Хозяина, ничего положительного как-то не произошло. А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым в камере смертников, — было и стыдно и не служило воспитательным целям.

Поэтому Рубин сегодня больше остановился на всемирно-исторической победе китайских коммунистов.

Благожелательный Макс слушал Рубина и поддерживал кивками. Его глаза смотрели невинно. Он был привязан к Рубину, но со времени блокады Берлина что-то стал ему не очень верить и (Рубин не знал), рискуя головой, у себя в лаборатории дециметровых волн стал временно собирать, слушать и опять разбирать миниатюрный приёмник, ничуть не похожий на приёмник. И он уже слышал из Кёльна и по-немецки от Би-Би-Си не только о Костове, как тот опроверг на суде вымученные следствием самообвинения, но и о сплочении атлантических стран и о расцвете Западной Германии. Всё это, конечно, он передал остальным немцам, и жили они одной надеждой, что Аденауэр вызовет их отсюда.

А Рубину они — кивали.

Впрочем, Рубину давно пора было идти — ведь его не отпускали с сегодняшней вечерней работы. Рубин похвалил торт (слесарь Хильдемут польщённо поклонился), попросил у общества извинения. Гостя несколько позадержали, благодарили за компанию, и он благодарил. Дальше настраивались немцы вполголоса попеть песни рождественской ночи.

Как был, держа в руках монголо-финский словарь и томик Хемингуэя на английском, Рубин вышел в коридор.

Коридор — широкий, с некрашеным разволокнившимся деревянным полом, без окон. день и ночь с электричеством — был тот самый, где Рубин с другими любителями новостей час назад, в оживлённый ужинный перерыв, интервьюировал новых эзков, приехавших из лагерей. В коридор этот выходила одна дверь с внутренней тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были прорезаны глазки — застеклённые окошечки. Эти глазки никогда не пригожались здешним надзирателям, но заимствованы были из настоящих тюрем по уставу, по одному тому, что в бумагах шарашка именовалась «спецтюрьмой № 1 МГБ».

Через такой глазок сейчас виден был в одной из комнат подобный же рождественский вечер землячества латышей, тоже отпросившихся. Остальные эзки были на работе, и Рубин опасался, чтоб его на выходе не задержали и не потащили к оперу писать объяснение.

В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми: деревянными четырёхстворчатыми под полукруглой аркой, ведшими в бывшее надалтарье семинарской церкви, теперь тоже комнату-камеру; и двуполотенными запертыми, доверху окованными железом (эти, ведшие на работу, назывались у арестантов «царские врата»).

Рубин подошёл к железной двери и постучал в окошечко. С противной стороны к стеклу прислонилось лицо надзирателя.

Тихо повернулся ключ. Надзиратель попался равнодушный.

Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки с разводными маршами, прошёл по мраморной площадке мимо двух старинных, теперь уже не светящихся, узорочных фонарей. Тем же вторым этажом вошёл в коридор лабораторий. В коридоре толкнул дверь с надписью: «Акустическая».

Акустическая лаборатория занимала комнату высокую, обширную, в несколько окон, беспорядочно и тесно уставленную — физическими приборами на тесовых стеллажах и на стойках из ярко-белого алюминия; монтажными верстачками; новёхонькими столами и фанерными шкафами московской выделки; и уютными конторками для письма, уже отвековавшими в берлинском здании радио-фирмы «Лоренц».

Большие лампы в матовых шарах давали сверху приятный нежёлтый рассеянный свет.

В дальнем углу комнаты, не доставая до потолка, высилась звуко-непроницаемая акустическая будка. Она выглядела недостроенной: снаружи обшита была простой мешковиной, под которую натолкали соломы. Её дверь, аршинная в толщину, но поляя внутри, как гири цирковых клоунов, сейчас была отпахнута, и поверх двери откинут для проветривания будки шерстяной полог. Близ будки медно посверкивал рядами штепсельных гнезд чёрный лакированный щиток центрального коммутатора.

У самой будки, спиною к ней, кутая узкие плечи в платок из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая девушка со строгим беленьким лицом.

До десятка остальных людей в комнате все были мужчины, всё в тех же синих комбинезонах. Освещённые верхним светом и пятнами дополнительного от гибких настольников, тоже привезенных из Германии, они хлопотали, ходили, стучали, паяли, сидели у монтажных и письменных столов.

Там и сям по комнате вразнобой вещали джазовую, фортепьянную музыку и песни стран восточной демократии три самодельных приёмника, скорособранных на случайных алюминиевых панелях, без футляров.

Рубин шёл по лаборатории к своему столу медленно, с монголофинским словарём и Хемингуэем в опущенной руке. Белые крошки печенья застряли в его вьющейся чёрной бороде.

Хотя комбинезоны всем арестантам были выданы одинаково сшитые, но носили их по-разному. У Рубина одна пуговица была оторвана, пояс — расслаблен, на животе обвисали какие-то лишние куски ткани. На его пути молодой заключённый в таком же синем комбинезоне держался франтовски, его матерчатый синий пояс был затянут пряжками вкруг тонкого стана, а на груди, в распахе комбинезона, виднелась голубая шёлковая сорочка, хотя и линиялая от многих стирок, но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим включенным паяльником, левую ногу поставил на стул, облокотился о колено и напряжённо разглядывал радио-схему в разложенном на столе английском журнале, одновременно напевая:

«Хьюги-Буги. Хьюги-Буги,
Самба! Самба!»

Рубин не мог пройти и минуту постоял с показным кротким выражением. Молодой человек словно не замечал его.

— Валентуля, вы не могли бы немножечко подобрать вашу заднюю ножку?

Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил, энергично отрублявая фразы:

— Лев Григорыч! Отрывайтесь! Рвите когти! Зачем вы ходите по вечерам? Что вам тут делать? — И поднял на Рубина очень удивлённые светлые мальчишеские глаза. — Да на кой чёрт нам тут ещё филологи! Ха-ха-ха! — раздельно выговаривал он. — Ведь вы же не инженер! Позор!

Смешно вытянув мясистые губы детской трубочкой и увеличив глаза, Рубин прошепелявил:

— Детка моя! Но некоторые инженеры торгуют газированной водой.

— Эт-то не мой стиль! Я — первоклассный инженер, учтите, парниша! — резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на проволочную подставку и выпрямился, откидывая подвижные мягкие волосы такого же цвета, как кусок канифоли на его столе.

В нём была юношеская умытость, кожа лица не исчерчена следами жизни и движения мальчишечьи — никак нельзя было поверить, что он кончил институт ещё до войны, прошёл немецкий плен, побывал в Европе и уже пятый год сидел в тюрьме у себя на родине.

Рубин вздохнул:

— Без заверенных характеристик от вашего бельгийского босса наша администрация не может...

— Ка-кие ещё характеристики?! — Валентин правдоподобно играл в возмущение. — Да вы просто отупели! Ну, подумайте сами — ведь я безумно люблю женщин!!

Строгая маленькая девушка не удержалась от улыбки.

Ещё один заключенный от окна, куда пробирался Рубин, пошпрительно слушал Валентина, бросив занятия.

— Кажется, только теоретически, — скупающим жевательным движением ответил Рубин.

— И безумно люблю тратить деньги!

— Но их у вас...

— Так как же я могу быть плохим инженером?! Подумайте: чтобы любить женщин — и всё время разных! — надо иметь много денег! Чтоб иметь много денег — надо их много зарабатывать! Чтоб их много зарабатывать, если ты инженер — надо блестяще владеть своей специальностью! Ха-ха! Вы бледнеете!

Удлиненное лицо Валентули было задорно поднято к Рубину.

— Ага! — воскликнул тот ээк от окна, чей письменный стол смыкался лоб в лоб со столом маленькой девушки. — Вот, Лёвка, когда я поймал валентулин голос! Колокольчатый у него! Так я и запишу, а? Такой голос — по любому телефону можно узнать. При любых помехах.

И он развернул большой лист, на котором шли столбцы наименований, разграфка на клетки и классификация в виде дерева.

— Ах, что за чушь! — отмахнулся Валентуля, схватил паяльник и задымил канифолью.

Проход освободился, и Рубин, идя к своему креслу, тоже наклонился над классификацией голосов.

Вдвоём они рассматривали молча.

— А порядочно мы продвинулись, Глебка, — сказал Рубин. — В сочетании с *видимой речью* у нас хорошее оружие. Очень скоро мы-таки с тобой поймём, от чего же зависит голос по телефону... Это что передают?

В комнате громче был слышен джаз, но тут, с подоконника, переисилвал свой самодельный приёмник, из которого текла перебегающая фортепьянная музыка. В ней настойчиво выныривала, и тотчас уносилась, и опять выныривала, и опять уносилась одна и та же мелодия. Глеб ответил:

— Семнадцатая соната Бетховена. Я о ней почему-то никогда... Ты — слушай.

Они оба нагнулись к приёмнику, но очень мешал джаз.

— Валентайн! — сказал Глеб. — Уступите. Проявите великодушие!

— Я уже проявил, — огрызнулся тот, — сляпал вам приёмник. Я ж вам и катушку отпаяю, не найдёте никогда.

Маленькая девушка повела строгими бровками и вмешалась:

— Валентин Мартыныч! Это, правда, невозможно — слушать сразу три приёмника. Выключите свой, вас же просят.

(Приёмник Валентина как раз играл слоу-фокс, и девушке очень нравилось...)

— Серафима Витальевна! Это чудовищно! — Валентин наткнулся на пустой стул, подхватил его на переклон и жестикулировал, как с трибуны: — Нормальному здоровому человеку как может не нравиться энергичный бодрящий джаз? А вас тут портят всяким старьём! Да неужели вы никогда не танцевали Голубое Танго? Неужели никогда не видели обзрений Аркадия Райкина? Да вы и в Европе не были! Откуда ж вам научиться жить?.. Я очень-очень советую: вам нужно кого-то полюбить! — ораторствовал он через спинку стула, не замечая горькой складки у губ девушки. — Кого-нибудь, *са гепан!* Сверкание ночных огней! Шелест нарядов!

— Да у него опять *сдвиг фаз!* — тревожно сказал Рубин. — Тут нужно власть употребить!

И сам за спиной Валентули выключил джаз.

Валентуля ужаленно повернулся:

— Лев Григорьич! Кто вам дал право?..

Он нахмурился и хотел смотреть угрожающе.

Освобождённая бегущая мелодия семнадцатой сонаты полилась в чистоте, соревнуясь теперь только с грубоватой песней из дальнего угла.

Фигура Рубина была расслаблена, лицо его было — уступчивые карие глаза и борода с крошками печенья.

— Инженер Пряничков! Вы всё ещё вспоминаете Атлантическую хартию? А завещание вы написали? Кому вы отказали ваши ночные тапочки?

Лицо Пряничкова посерьёзнело. Он посмотрел светло в глаза Рубину и тихо спросил:

— Слушайте, что за чёрт? Неужели и в тюрьме нет человеку свободы? Где ж она тогда есть?

Его позвал кто-то из монтажников, и он ушёл, подавленный.

Рубин бесшумно опустился в своё кресло, спиной к спине Глеба, и приготовился слушать, но успокоительно-ныряющая мелодия оборвалась неожиданно, как речь, прерванная на полуслове, — и это был скромный непарадный конец семнадцатой сонаты.

Рубин выругался матерно, внятно для одного лишь Глеба.

— Дай по буквам, не слышу, — отозвался тот, оставаясь к Рубину спиной.

— Всегда мне не везёт, говорю, — хрипло ответил Рубин, так же не поворачиваясь. — Вот — сонату пропустил...

— Потому что неорганизован, сколько раз тебе долбить! — проворчал приятель. — А соната оч-чень хороша. Ты заметил конец? Ни грохота, ни шёпота. Оборвалась — и всё. Как в жизни... А где ты был?

— С немцами. Рождество встречал, — усмехнулся Рубин.

Так они и разговаривали, не видя друг друга, почти откинув закладки друг другу на плечи.

— Молодчик. — Глеб подумал. — Мне нравится твоё отношение к ним. Ты часами учишь Макса русскому языку. А ведь имел бы основание их и ненавидеть.

— Ненавидеть? Нет. Но прежняя любовь моя к ним, конечно, омрачена. Даже этот беспартийный мягкий Макс — разве и он не делит как-то ответственности с палачами? Ведь он — не помешал?

— Ну, как мы сейчас с тобой не мешаем ни Абакумову, ни Шишкину-Мышкину...

— Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я — еврей не больше, чем русский? И не больше русский, чем гражданин мира?

— Хорошо ты сказал. Граждане мира? — это звучит бескровно, чисто.

— То есть, космополиты. Нас правильно посадили.

— Конечно, правильно. Хотя ты всё время доказываешь Верховному Суду обратное.

Диктор с подоконника пообещал через полминуты «Дневник социалистического соревнования».

Глеб за эти полминуты рассчитанно-медленно донёс руку до приёмника и, не дав диктору хрипнуть, как бы скручивая ему шею, повернул ручку выключателя. Недавно оживлённое лицо его было усталое, сероватое.

А Пряничкова захватила новая проблема. Подсчитывая, какой поставить каскад усиления, он громко беззаботно напевал:

«Хьюги-Буги, Хьюги-Буги,
Самба! Самба!»

6

Глеб Нержин был ровесник Пряничкова, но выглядел старше. Русые волосы его, с распадом на бока, были густы, но уже легли венчики морщин у глаз, у губ, и продольные бороздки на лбу. Кожа лица, чувствительная к недостатке свежего воздуха, имела оттенок вялый. Особенно же старила его скупость в движениях — та мудрая скупость, какую природа хранит иссякающие в лагере силы арестанта. Правда, в вольных условиях шарашки, с мясной пищей и без надрывной мускульной работы, в скупости движений не было нужды, но Нержин старался, как он понимал отведенный ему тюремный срок, закрепить и усвоить эту рассчитанность движений навсегда.

Сейчас на большом столе Нержина были сложены баррикадами стопы книг и папок, а оставшееся посередине живое место опять-таки захвачено папками, машинописными текстами, книгами, журналами, иностранными и русскими, и все они были разложены раскрытыми. Всякий неподозрительный человек, подойдя со стороны, увидел бы тут застывший ураган исследовательской мысли.

А между тем всё это была чернуха, Нержин темнил по вечерам на случай захода начальства.

На самом деле его глаза не различали лежащего перед ним. Он отёрнул светлую шёлковую занавеску и смотрел в стёкла чёрного окна. За глубиной ночного пространства начинались разные крупные огни Москвы, и вся она, не видимая из-за холма, светила в небо неохватным столбом белесого рассеянного света, делая небо темным.

Особый стул Нержина — с пружинистой спинкой, податливой каждому движению спины, и особый стол с ребристыми опадающими шторками, каких не делают у нас, и удобное место у южного окна — человеку, знакомому с историей Марфинской шарашки, всё открыло бы в Нержине одного из ее основателей.

Шарашка названа была Марфинской по деревне Марфино, когда-то здесь бывшей, но давно уже включённой в городскую черту. Основание шарашки произошло около трёх лет назад, июльским вечером. В старое здание подмосковной семинарии, загадая обнесенное колючей проволокой, привезли полтора десятка эзков, вызванных из лагерей. Те времена, называемые теперь на шарашке крыловскими, вспоминались ныне как пасторальный век. Тогда можно было громко включать Би-Би-Си в тюремном общегитии (его и глушить ещё не умели); вечерами самочинно гулять по зоне, лежать в росеющей траве, противустановно не скошенной (траву полагається скашивать наголо, чтобы эзки не подползали к проволоке); и следить хоть за вечными звёздами, хоть за бранным вспотевшим старшиной МВД Жвакуном, как он во время ночного дежурства ворует с ремонта здания брёвна и катает их под колючую проволоку домой на дрова.

Шарашка тогда ещё не знала, что ей нужно научно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультра-коротким радиоволнам, акустике; выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить, пока капитан МВД, посланный передислоцировать фирму «Лоренц», хорошо понимавший в мебели, но не в радио и не в немецком языке, выискивал под Берлином гарнитуры для московских квартир начальства и своей.

С тех пор траву давно скосила, двери на прогулку открывали только по звонку, шарашку передали из ведомства Берии в ведомство Абакумова и заставили заниматься секретной телефонией. Тему эту надеялись решить в год, но она уже тянулась два года, расширялась, запутывалась, захватывала все новые и новые смежные вопросы, и здесь, на столах Рубина и Нержина, докатилась вот до распознавания голосов по телефону, до выяснения — что делает голос человека неповторимым.

Никто, кажется, не занимался подобной работой до них. Во всяком случае, они не напали ни на чьи труды. Времени на эту работу им отпустили полгода, потом ещё полгода, но они не очень продвинулись, и теперь сроки сильно подпирали.

Ощущая это неприятное давление работы, Рубин пожаловался всё так же через плечо:

— Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего настроения...

— Поразительно, — буркнул Нержин. — Кажется, ты воевал только четыре года, не сидишь ещё и пяти полных? И уже устал? Добивайся путёвки в Крым.

Помолчали.

— Ты — своим занят? — тихо спросил Рубин.

— У-гм.

— А кто же будет заниматься голосами?

— Я, признаться, рассчитывал на тебя.

— Какое совпадение. А я рассчитывал на тебя.

— У тебя нет совести. Сколько ты под эту марку перебрал литературы из Ленинки? Речи знаменитых адвокатов. Мемуары Кони. «Работу актёра над собой». И наконец, уже совсем потеряв стыд, — исследование о принцессе Турандот? Какой ещё зэк в ГУЛаге может похвастаться таким подбором книг?

Рубин вытянул крупные губы трубочкой, отчего всякий раз его лицо становилось глупо-смешным:

— Странно. Все эти книги, и даже о принцессе Турандот — с кем я в рабочее время читал вместе? Не с тобой ли?

— Так я бы работал. Я бы самозабвенно сегодня работал. Но меня из трудовой колеи выбивают два обстоятельства. Во-первых, меня мучит вопрос о паркетных полах.

— О каких полах?

— На Калужской заставе, дом МВД, полукруглый, с башней. На постройке его в сорок пятом году был наш лагерь, и там я работал учеником паркетчика. Сегодня узнаю, что Ройтман, оказывается, живёт в этом самом доме. И меня стала терзать, ну, просто добросовестность соиздателя или, если хочешь, вопрос престижа: скрипят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят — значит халтурная настилка? И я бессилён исправить!

— Слушай, это драматический сюжет.

— Для соцреализма. А во-вторых: не пошло ли работать в субботу вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной будет только вольняшкам?

Рубин вздохнул:

— И уже сейчас вольняги рассыпались по увеселительным заведениям. Конечно, довольно откровенное гадство.

— Но те ли увеселительные заведения они избирают? Больше ли они получают удовлетворения от жизни, чем мы,— это ещё вопрос.

По вынужденной арестантской привычке они разговаривали тихо, так что даже Серафима Витальевна, сидевшая против Нержина, не должна была слышать их. Они развернулись теперь каждый вполоброта: ко всей прочей комнате спинами, а лицами — к окну, к фонарям зоны, к угадываемой в темноте охранной вышке, к отдельным огням отдалённых оранжерей и мреющему в небе белесоватому столбу света от Москвы.

Нержин, хотя и математик, но не чужд был языкознанию, и с тех пор, как звучанье русской речи стало материалом работы Марфинского научно-исследовательского института, Нержина все время спаривали с единственным здесь филологом Рубиным. Два года уже они по двенадцать часов в день сидели, соприкасаясь спинами. С первой же минуты выяснилось, что оба они — фронтовики; что вместе были на Северо-Западном фронте и вместе на Белорусском, и одинаково имели «малый джентльменский набор» орденов; что оба они в одном месяце и одним и тем же СМЕРШем арестованы с фронта, и оба по одному и тому же «общедоступному» десятому пункту; и оба получили одинаково по десятке (впрочем, и все получали столько же). И в годах между ними была разница всего лет на шесть, и в военном звании всего на единицу — Нержин был капитаном.

Располагало Рубина, что Нержин сел в тюрьму не за плен и значит не был заражён антисоветским зарубежным духом: Нержин был наш советский человек, но всю молодость до одурения точил книги и из них доискался, что Сталин якобы искажил ленинизм. Едва только записал Нержин этот вывод на клочке бумажки, как его и арестовали. Контуженный тюрьмой и лагерем, Нержин, однако, в основе своей оставался человек *наш*, и потому Рубин имел терпение выслушивать его вздорные запутанные временные мысли.

Посмотрели ещё туда, в темноту.

Рубин чмокнул:

— Всё-таки ты — умственно убог. Это меня беспокоит.

— А я не гонюсь: умного на свете много, мало — хорошего.

— Так вот на тебе хорошую книжку, прочти.

— Это опять про замороченных бедных быков?

— Нет.

— Так про загнанных львов?

— Да нет же!

— Слушай, я не могу разобраться с людьми, зачем мне быки?

— Ты должен прочесть её!

— Я никому ничего не должен, запомни! Со всеми долгами расплатёвшись, как говорит Спиридон.

— Жалкая личность! Это — из лучших книг двадцатого века!

— И она действительно открывает мне то, что всем нужно понять? на чём люди заблудились?

— Умный, добрый, беспредельно-честный писатель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб, спокойно и откровенно презирующий всякую ложь, взыскующий простоты, очень человечный, гениально-наивный...

— Да ну тебя к шутам, — засмеялся Нержин. — Ты все уши забьёшь своим жаргоном. Без Хемингуэя тридцать лет я прожил, ещё поживу немножко. Мне и так жизнь растерзали. Дай мне — ограничиться! Дай мне хоть направиться куда-то...

И он отвернулся к своему столу.

Рубин вздохнул. Рабочего настроения он по-прежнему в себе не находил.

Он стал смотреть карту Китая, прислонённую к полочке на столе перед ним. Эту карту он вырезал как-то из газеты и наклеил на картон; весь минувший год красным карандашом закрашивал по ней продвижение коммунистических войск, а теперь, после полной победы, оставил ее стоять перед собой, чтобы в минуты упадка и усталости поднималось бы его настроение.

Но сегодня настойчивая грусть пощемливала в Рубине, и даже красный массив победившего Китая не мог её пересилить.

А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой ручки, мельчайшим почерком, будто не пером, а остриём иглы, выписывал на крохотном листике, утонувшем меж служебного камуфляжа:

«Для математика в истории 17 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при девяноста градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний.

Это и никому не удавалось с одного раза».

Большая комната Акустической лаборатории жила своим повседневным мирным бытом. Гудел моторчик электрослесаря. Слышались команды: «Включи!» «Выключи!» Какую-то очередную сентиментальную обсосину подавали по радио. Кто-то громко требовал радиолампу «шесть-Ка-семь».

Улучая минуты, когда она никому не была видна, Серафима Витальевна внимательно взглядывала на Нержина, продолжавшего игольчато исписывать клочок бумаги.

Оперуполномоченный майор Шикин поручил ей следить за этим заключённым.

7

Такая маленькая, что трудно было не назвать её Симочкой, — Серафима Витальевна, лейтенант МГБ в апельсиновой блузке, куталась в тёплый платок.

Вольные сотрудники в этом здании все были офицеры МГБ.

Вольные сотрудники в соответствии с конституцией имели самые разнообразные права и в том числе — право на труд. Однако, право это было ограничено восемью часами в день и тем, что труд их не был создателем ценностей, а сводился к догляду над зэками. Зэки же, лишённые всех прочих прав, зато имели более широкое право на труд — двенадцать часов в день. Эту разницу, включая ужинный перерыв, с шести вечера и до одиннадцати ночи — вольным сотрудникам каждой из лабораторий приходилось отдежуривать по очереди для надзора за работой зэков.

Сегодня и была очередь Симочки. В Акустической лаборатории эта маленькая, похожая на птичку девушка была сейчас единственная власть и единственное начальство.

По инструкции она должна была следить, чтоб заключённые работали, а не бездельничали, чтоб они не использовали рабочего помещения для изготовления оружия или для подкопа, чтоб они, пользуясь обилием радиодеталей, не наладили бы коротковолновых передатчиков. Без десяти минут одиннадцать она должна была принять от них всю секретную документацию в большой несгораемый шкаф и опечатать дверь лаборатории.

Не прошло ещё и полугода, как Симочка, окончив институт инженеров связи, была по своей кристальной анкете назначена в этот особый таинственный номерной научно-исследовательский институт, который заключённые в своём дерзком просторечии звали шарашкой. Принятых вольных здесь сразу же аттестовали офицерами, выплачивали двойную по сравнению с обычным инженером зарплату (за зва-

ние, на обмундирование) — а требовали только преданности и бдения, лишь потом — грамоты и навыков.

Это было на руку Симочке. Из института не одна она, но и многие её подруги тоже не вынесли знаний. Причин тут было много. Девчѣнки и из школы пришли, ни математики, ни физики не зная (ещѣ в старших классах до них дошло, что директор на педсовете ругает учителей за двойки, и хоть совсем не учись — аттестат тебе выдадут). И в институте, когда находилось время и девочки садились заниматься — они продирались сквозь эту математику и радиотехнику как сквозь беспонятный безвылазный бор, чуждый их душам. Но чаще просто не было времени. Каждую осень на месяц и дольше студентов угоняли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год потом слушали лекции по восемь и по десять часов в день, а разбирать конспекты было некогда. А по понедельникам была политучѣба; ещѣ в неделю раз какое-нибудь собрание обязательно; а когда-то надо было и общественную работу, выпускать стенгазеты, давать шефские концерты; да нужно и дома помочь, и в магазины сходить, и помыгться, и приодеться. А в кино? а в театр? а в клуб? Если в студенческое время не погулять, не поплясать — так когда же потом? Не для того нам молодость дана, чтобы убиваться! И вот к экзаменам Симочка и её подруги писали большое количество шпаргалок, прятали в недоступные для мужчин места женской одежды, а на экзамене вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали её за листок подготовки. Экзаменаторы, конечно, легко могли дополнительными вопросами обнаружить несостоятельность знаний своих студенток, — но сами они тоже были до крайности обременены заседаниями, собраниями, многоразличными планами и формами отчѣтности перед деканатом, перед ректоратом, и повторно проводить экзамен им было тяжело, да ещѣ их поносили за неуспеваемость, как за брак на производстве, опираясь на цитату кажется из Крупской, что нет плохих учеников, а есть только плохие преподаватели. Поэтому экзаменаторы не старались сбить отвечающих, а, напротив, поблагополучнее и побыстрее принять экзамен.

К старшим курсам Симочка и её подруги с унынием поняли, что специальности своей они не полюбили и даже тяготились ею, но было поздно. И Симочка трепетала — как она будет на производстве?

И вот попала в Марфино. Здесь ей сразу очень понравилось, что не поручали никакой самостоятельной разработки. Но даже и не такой малышке, как она, было жутко переступить зону этого уединѣнного подмосковного замка, где отборная охрана и надзорсостав стерегли выдающихся государственных преступников.

Их инструктировали всех вместе — десятерых выпускниц института Связи. Им объяснили, что они попали хуже, чем на войну — они попали в змеиную яму, где одно неосторожное движение грозит им гибелью. Им рассказали, что здесь они встретятся с отребьем человеческого рода, с людьми, не достойными той русской речи, которою они, к сожалению, владеют. Их предупредили, что люди эти особенно опасны тем, что не показывают открыто своих волчьих зубов, а постоянно носят лживую маску любезности и хорошего воспитания; если же начать их расспрашивать об их преступлениях (что категорически запрещается!) — они постараются хитросплетенной ложью выдать себя за невинно-пострадавших. Девушкам указали, что и они тоже не должны изливать на этих гадов всей ненависти, а в свою очередь вызывать внешнюю любезность — но не вступать с ними в неделовые переговоры, не принимать от них никаких поручений на волю, а при первом же нарушении, подозрении в нарушении или возможности подозрения в нарушении — спешить к оперуполномоченному майору Шикину.

Майор Шикин — черноватый низенький важный мужчина с седоющим ёжиком на большой голове и с маленькими ногами, обутыми

в мальчиковый размер ботинок, высказал при этом такую мысль: что хотя ему и другим бывалым людям предельно ясно змеиное нутро этих злодеев, но из таких неопытных девушек, как прибывшие, может найтись одна, в ком дрогнет гуманное сердце, и она допустит какое-нибудь нарушение — например, даст прочесть книгу из вольной библиотеки (он не говорит — опустит письмо, ибо письмо, какой бы Марье Ивановне оно ни было адресовано, неизменно будет направлено в американский шпионский центр). Майор Шикин наставительно просит остальных девушек, увидевших падение подруги, в этом случае оказать ей товарищескую помощь, а именно: откровенно сообщить майору Шикину о произошедшем.

И в конце беседы майор не скрыл, что связь с заключёнными карается уголовным кодексом, а уголовный кодекс, как известно, растяжим, он включает в себя даже двадцать пять лет каторжных работ.

Нельзя было без содрогания представить того беспроблемного будущего, которое их ждало. У некоторых девушек даже навернулись на глаза слёзы. Но недоверие уже было поселено между ними. И, выйдя с инструктажа, они разговаривали не об услышанном, а о постороннем.

Ни жива, ни мертва вошла Симочка вслед за инженер-майором Ройтманом в Акустическую и даже в первый момент ей хотелось зажурироваться.

С тех пор прошло полгода — и что-то странное случилось с Симочкой. Нет, не была поколеблена её убеждённости в чёрных кознях империализма. И так же она легко допускала, что заключённые, работающие во всех остальных комнатах, — кровавые злодеи. Но каждый день встречаясь с дюжиной эзков Акустической, тщетно силилась она в этих людях, мрачно-равнодушных к свободе, к своей судьбе, к своим срокам в десять лет и в четверть столетия, в кандидате наук, инженерах и монтажниках, повседневно озабоченных одною только работой, чужою, не нужной им, не приносящей им ни гроша заработка, ни крупицы славы, — разглядеть тех отъявленных международных бандитов, которых в кино так легко угадывал зритель и так ловко вылавливала наша контрразведка.

Симочка не испытывала перед ними страха. Она не могла найти в себе к ним и ненависти. Люди эти возбуждали в ней только безусловное уважение — своими разнообразными познаниями, своей стойкостью в перенесении горя. И хотя её комсомольский долг трубил, хотя её любовь к отчизне призывала придирчиво доносить оперуполномоченному обо всех проступках и поступках арестантов, — необъяснимо почему, Симочке это стало казаться подлым и невозможным.

Тем более невозможно это было по отношению к её ближайшему соседу и сотруднику — Глебу Нержину, сидевшему к ней лицом через два их стола.

Всё прошедшее время Симочка тесно проработала с ним, отданная ему под начало для проведения артикуляционных испытаний. На Марфинской шарашке то и дело требовалось оценивать качество слышимости по различным телефонным трактам. При всём совершенстве приборов ещё не был изобретен такой, который бы стрелкой показывал это качество. Только голос диктора, читающего отдельные слоги, слова или фразы, и уши слушачей, ловящие текст на конце испытываемого тракта, могли дать оценку через процент ошибок. Такие испытания и назывались артикуляционными.

Нержин занимался — или, по замыслу начальства, должен был заниматься — наилучшей математической организацией этих испытаний. Они шли успешно, и Нержин даже составил трёхтомную монографию об их методике. Когда у них с Симочкой награждалось много работы сразу, Нержин чётко соображал последовательность отложенных и неотложных действий, распорядился уверенно, при этом лицо его молодедело, и Симочка, воображавшая войну по кино, в такие мину-

ты представляла себе, как Нержин в мундире капитана, среди дыма разрывов с развевающимися русыми волосами выкрикивает батарею: «Огоны!» (Этот момент чаще всего показывали в кино.)

Но такая быстрота нужна была Нержину, чтобы, исполнив внешнюю работу, надолго отделаться от самого движения. Он так и сказал раз Симочке: «Я действителен потому, что ненавижу действие». — «А что ж вы любите?» — спросила она с робостью. — «Размышление», — ответил он. И действительно, спал шквал работы — он часами сидел, почти не меняя положения, кожа лица его серела, старела, изрывалась морщинами. Куда девалась его уверенность? Он становился медленен и нерешителен. Он подолгу думал, прежде чем вписать несколько фраз в те игольчато-мелкие записи, которые Симочка и сегодня ясно видела на его столе среди навала технических справочников и статей. Она даже примечала, что он засовывал их куда-то в левую тумбочку своего стола, словно бы и не в ящик. Симочка изнывала от любопытства узнать, о чём он пишет и для кого. Нержин, того не зная, стал для неё средоточием сочувствия и восхищения.

Девичья жизнь Симочки до сих пор складывалась очень несчастно. Она не была хороша собой: лицо её портил слишком удлинённый нос, волосы были почему-то не густы, плохо росли, собирались на затылке в жиденький узелок. Рост у Симочки был не просто маленький, но чрезмерно маленький, и контуры у неё были скорей как у девочки 7-го класса, чем как у взрослой женщины. К тому же она была строга, не расположена к шуткам, к пустой игре — и это тоже не привлекало молодых людей. Так, к двадцати трём годам у неё сложилось, что ещё никто за ней не ухаживал, никто не обнимал и не целовал.

Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с микрофоном в будке, и Нержин позвал Симочку починить. Она вошла с отвёрткой в руке; в беззвучной душной тесноте будки, где два человека едва помещались, наклонилась к микрофону, который разглядывал уже и Нержин, и при этом, не загадывая того сама, прикоснулась щекой к его щеке. Она прикоснулась и замерла от ужаса — что теперь будет? И надо было бы оттолкнуться, — она же бессмысленно продолжала рассматривать микрофон. Тянулась, тянулась страшнейшая минута в жизни — щёки их горели, соединённые, — он не двигался! Потом вдруг охватил её голову и поцеловал в губы. Всё тело Симочки залила радостная слабость. Она ничего не сказала в этот миг ни о комсомоле, ни о родине, а только:

— Дверь не заперта!..

Тонкая синяя шторка, колыхаясь, отделяла их от шумного дня, от ходивших, разговаривающих людей, могущих войти и откинуть шторку. Арестант Нержин не рисковал ничем, кроме десяти суток карцера, — девушка рисковала анкетой, карьерой, может быть даже свободой, — но у неё не было сил оторваться от рук, запрокинувших её голову.

Первый раз в жизни её целовал мужчина!..

Так змеемудро скованная стальная цепь развалилась в том звене, которое сработали из женского сердца.

8

— Чья там лысина сзади трётся?

— Дитя моё, у меня всё-таки лирическое настроение. Давай потрепемся.

— Вообще-то я занят.

— Ну, ладно тебе — занят!.. Я расстроился, Глебка. Сидел у этой импровизированной немецкой ёлочки, заговорил что-то о своём блиндаже на плацдарме северней Пултуска, и вот — фронт! — нахлынул фронт! — и так живо, так сладко... Слушай, в войне всё-таки есть много хорошего, а?

— До тебя я это вычитал из немецких солдатских журналов, попадались нам иногда: очищение души, Soldaten-treue...

— Мерзавец. Но если хочешь, в этом есть-таки рациональное зерно...

— Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит: «Оружие — орудие несчастья, а не благородства. Мудрый побеждает неохотно».

— Что я слышу? Из скептиков ты уже записался в даосцы?

— Ещё не решено.

— Сперва вспомнил я своих лучших фрицев — как мы вместе с ними составляли подписи к листовкам: мать, обнявшая детей, потом белокурая плачущая Маргарита, это коронная была наша листовка, со стихотворным текстом.

— Я помню, я подбирал её.

— И тут сразу наплыло... Я тебе не рассказывал про Милку? Она была студентка Иняза, кончила в сорок первом, и послали её переводчицей в наш отдел. Немного курносенькая, движения резкие.

— Подожди, это та, которая вместе с тобой пошла принимать капитуляцию Грауденца?

— Ага-га! Удивительно тщеславная была девчёнка, очень любила, чтоб её хвалили за работу (а ругать упаси боже) и представляли к орденам. Ты на Северо-Западном помнишь вот здесь за Ловатью, если от Рахлиц на Ново-Свинухово, поюжней Подцепочья — лес?

— Там много лесов. По тот бок Редьи или по этот?

— По этот.

— Ну, знаю.

— Так вот в этом лесу мы с ней целый день бродили. Была весна... Не весна, март: ногами по воде хлюпаешь, в кирзовых сапогах по лужам, а голова под меховой шапкой от жары взмокла, и этот, знаешь, запах! Воздух! Мы бродили как первовлюблённые, как молодожёны. Почему, если женщина — новая для тебя, переживаешь с нею всё с самого начала, как юноша набухнешь и... А?.. Бесконечный лес! Редько где — дымок блиндажа, батарейка семидесяти шести на поляне. Мы избегали их. Добродились до вечера — сырого, розового. Весь день она меня томила. А тут над нашим расположением начала кружить «рама». И Милка задумала: не хочу, чтоб её сбивали, зла нет. Вот если не собьют — ладно, останемся ночевать в лесу.

— Ну, это уже была сдача! Где ж видано, чтоб наши зенитчики попали в «раму»!

— Да... Какие были зенитки за Ловатью и до Ловати — все по ней час добрый палили и не попали. И вот... Нашли мы пустой блиндажик...

— Надземный.

— Ты помнишь? Именно. Там за год много было понастроено таких, как хижины для зверья.

— Там же земля мокрая, не вкопаться.

— Ну да. Внутри — хвои набросано, запах от брёвен смолистый, и дымоватый от прежних костров — печек нет, так так прямо отапливали. А в крыше дырка. Ну, и света, конечно, никакого... Пока костёр горел — тени на брёвнах... Глубка! Жизнь, а?!

— Я заметил: в тюремных рассказах если участвует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро желают, чтобы к концу рассказа она была уже не девушка. И это составляет для зэков главный интерес повествования. Здесь есть поиск мировой справедливости, ты не находишь? Слепой должен удостоверяться у зрячих, что небо осталось голубым, а трава — зелёной. Зэк должен верить что теоретически на свете ещё осталась милые живые женщины и они — отдаются счастливым... Ишь ты, какой вечер вспомнил! — с любовницей да в смолистом блиндаже, да когда не стреляют. Нашёл хорошую войну!.. А твоя жена в этот вечер отоварила сахарные талоны слипшейся

погушечкой, раздавленной, перемешанной с бумагой, и считала, как разделить дочкам на тридцать дней...

— Ну, кори, кори... Нельзя, Глебка, мужчине знать одну только женщину, это значит — совсем их не знать. Это обедняет наш дух.

— Даже — дух? А кто-то сказал: если ты хорошо узнал одну женщину...

— Чепуха.

— А если двух?

— И двух — тоже ничего не даёт. Только из многих сравнений можно что-то понять. Это не порок наш и не грех — это замысел природы.

— Так насчёт войны! В Бутырках, в 73-й камере...

— ...на втором этаже, в узком коридоре...

— ...точно! — молодой московский историк профессор Разводовский, только что посаженный, и никогда, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, убедительно доказывал соображениями социальными, историческими и этическими, что в войне есть и хорошее. А в камере было человек десять фронтовиков — наших и власовцев, все ребята отчаюги, оторви, где только не воевали, — так они чуть не загрызли этого профессора, рассвирепели: нет в войне ни хрёнышка хорошего! Я слушал — и молчал. У Разводовского были сильные аргументы, минутами он казался мне прав, и мои воспоминания тоже мне подсказывали хорошее иногда, — но я не осмелился спорить с солдатами: кое-что, на которое я хотел согласиться со штатским профессором, было то кое, что отличало меня, артиллериста при крупных пушках, от пехоты. Лев, пойми, ты был ча фронте, кроме взятия этой крепости, — полный *придурок*, раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого нельзя — ценою головы! — отступить. А я — *придурок* отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не поднимал людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет...

— Да я не говорю...

— ...а приятное всплывает. Но от такого денька, когда «Юнкерсы» пикирующие чуть не на части меня рвали под Орлом — никак я не могу воссоздать в себе удовольствия. Нет, Лёвка, хороша война за горами!

— Да я не говорю, что хороша, но вспоминается хорошо.

— Так и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. И пересылки.

— Пересылки? Горьковскую? Кировскую? Не-е...

— Это потому, что у тебя там администрация чемодан захалтырила, и ты не хочешь быть объективным. А кто-нибудь и там был большим человеком — каптёром или банщиком, да жил в законе с шалашовкой, так и будет всем рассказывать, что нет места лучше пересыльной тюрьмы. Вообще-то ведь понятие *счастья* — это условность, выдумка.

— Мудрая этимология в самом слове запечатлела преходящность и нереальность понятия. Слово «счастье» происходит от *се-часье*, то есть, *этот час, это мгновение!*

— Нет, магистр, простите! Читайте Владимира Даля. «Счастье» происходит от *со-частье*, то есть, кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология даёт нам очень низменную трактовку счастья.

— Подожди, так моё объяснение — тоже из Даля.

— Удивляюсь. Моё тоже.

— Это надо исследовать по всем языкам. Запишу!

— Маньяк!

— От дурандая слышу! Давай сравнительным языкознанием заниматься.

— Всё происходит от *руки*? Марр?

— Ну, пёс с тобой, слушай — ты вторую часть «Фауста» читал?

— Спроси — читал ли я первую? Все говорят, что гениально, но никто не читает. Или изучают его по Гуно.

— Нет, первая часть доступна, чего там!

Мне нечего сказать о солнцах и мирах,—
Я вижу лишь одни мученья человека...

— Вот это до меня доходит!

— Или:

Что нужно нам — того не знаем мы,
Что знаем мы — того для нас не надо.

— Здорово!

— А вторая часть, правда, тяжеловата. Но зато какая глубокая идея! Ты же знаешь уговор Фауста с Мефистофелем: только тогда получит Мефистофель душу Фауста, когда Фауст воскликнет: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Но всё, что ни раскладывает Мефистофель перед Фаустом — возвращение молодости, любовь Маргариты, лёгкая победа над соперником, бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия — ничто не вырывает из груди Фауста заветного восклицания. Прошли долгие годы, Мефистофель уже сам измучился бродить за этим ненасытным существом, он видит, что сделать человека счастливым нельзя, и хочет отстать от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ослепший, Фауст велит созвать тысячи рабочих и начать копать каналы для осушения болот. В его дважды старческом мозгу, для циничного Мефистофеля затемнённом и безумном, засверкала великая идея — ошастливить человечество. По знаку Мефистофеля являются слуги ада — лемуры, и начинают рыть могилу Фаусту. Мефистофель хочет просто закопать его, чтоб отделаться, уже без надежды на его душу. Фауст слышит звук многих заступов. Что это? — спрашивает он Мефистофеля не изменяя дух насмешки. Он рисует Фаусту ложную картину, как осушаются болота. Наша критика любит истолковывать этот момент в социально-оптимистическом смысле: дескать, ощутив, что принёс пользу человечеству и найдя в этом высшую радость, Фауст восклицает:

Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!

Но разобраться — не посмеялся ли Гёте над человеческим счастьем? Ведь на самом-то деле никакой пользы, никакому человечеству. Долгожданную сакраментальную фразу Фауст произносит в одном шаге от могилы, обманутый и, может быть, правда обезумевший? — и лемуры тотчас же спихивают его в яму. Что же это — гимн счастью или насмешка над ним?

— Ах, Лёвочка, вот таким, как сейчас, я тебя только и люблю — когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки

— Жалкий последыш Пиррона! Я же знал, что доставлю тебе удовольствие. Слушай дальше. На этом отрывке из «Фауста» на одной из своих довоенных лекций, — а они тогда были чертовски смелые! — я развил элегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно... И вдруг мне подали записку, вырванную из миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой:

«А вот я люблю — и счастлив а! Что вы мне на это скажете?»

— И что ты сказал?..

— А что на это скажешь?..

9

Они так увлеклись, что совсем не слышали шума лаборатории и назойливого радио из дальнего угла. На своём поворотном стуле Нержин опять обернулся к лаборатории спиной, Рубин избоченился и положил бороду поверх рук, скрещенных на кресельной спинке.

Нержин говорил, как поведывают давно выношенные мысли:

— Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле жизни или о том, что такое счастье, — я мало понимал эти места. Я отдавал им должное: мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни? Мы живём — и в этом смысл. Счастье? Когда очень-очень хорошо — вот это и есть счастье, общеизвестно... Благословение тюрьме! Она дала мне задуматься. Чтобы понять природу счастья, — разреши мы сперва разберём природу сытости. Вспомни Лубянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую полуводяную — без единой звездочки жира! — ячневую или овсяную кашу! Разве её *ешь*? разве её *кушаешь*? — ею причащаешься! к ней со священным трепетом приобщаешься, как к той пране йогов! Ешь её медленно, ешь её с кончика деревянной ложки, ешь её, весь уходя в процесс еды, в думанье о еде — и она нектаром расходится по твоему телу, ты содрогаешься от сладости, которая тебе открывается в этих разваренных крупинках и в мутной влаге, соединяющей их. И вот, по сути дела питаешься *ничем*, ты живёшь шесть месяцев и живёшь двенадцать! Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет?

Рубин не умел и не любил подолгу слушать. Всякую беседу он понимал так (да так чаще всего и получалось), что именно он размётывал друзьям духовную добычу, захваченную его восприимчивостью. И сейчас он порывался прервать, но Нержин пятью пальцами впился в комбинезон на его груди, тряс, не давал говорить:

— Так на бедной своей шкуре и на несчастных наших товарищах мы узнаём природу сытости. Сытость совсем не зависит от того, сколько мы едим, а от того, как мы едим! Так и счастье, так и счастье, Лёвушка, оно вовсе не зависит от объёма внешних благ, которые мы урвали у жизни. Оно зависит только от нашего отношения к ним! Об этом сказано ещё в даосской этике: «Кто умеет довольствоваться, тот всегда будет доволен».

Рубин усмехнулся:

— Ты эклектик. Ты выдираешь отовсюду по цветному перу и всё вплетаешь в свой хвост.

Нержин резко покачал рукой и головой. Волосы сбились ему на лоб. Очень интересно оказалось поспорить, и выглядел он как мальчишка лет восемнадцати.

— Не путай, Лёвка, совсем не так! Я делаю выводы не из прочтённых философий, а из людских биографий, которые рассказываются в тюрьмах. Когда же потом мне нужно свои выводы сформулировать — зачем мне открывать ещё раз Америку? На планете философии все земли давно открыты! Я перелистываю древних мудрецов и нахожу там мои новейшие мысли. Не перебивай! Я хотел привести пример: в лагере, а тем более здесь, на шарашке, если выдастся такое чудо — тихое нерабочее воскресенье, да за день отмёрзнет и отойдёт душа, и пусть ничего не изменилось к лучшему в моём внешнем положении, но иго тюрьмы чуть отпустит меня, и случится разговор по душам или прочтёшь искреннюю страницу — и вот уже я на гребне! Настоящей жизни много лет у меня нет, но я забыл! Я невесом, я взвешен, я нематериален!! Я лежу там у себя на верхних нарах, смотрю в близкий потолок, он гол, он худо оштукатурен — и вздрагиваю от полнейшего счастья бытия! засыпаю на крыльях блаженства! Никакой президент, никакой премьер-министр не могут заснуть столь довольные минувшим воскресеньем!

Рубин добро оскалился. В этом оскале было и немного согласия и немного снисхождения к заблудшему младшему другу.

— А что говорят по этому поводу великие книги Вед? — спросил он, вытягивая губы шутливой трубочкой.

— Книги Вед — не знаю, — убеждённо парировал Нержин, — а книги Санкья говорят: «Счастье человеческое причисляется к страданию теми, кто умеет различать».

- Здорово ты насобачился, — буркнул в бороду Рубин.
- Идеализм? Метафизика? Что ж ты не клеишь ярлыков?
- Это тебя Митяй сбивает?

— Нет, Митяй совсем в другую сторону. Борода лохматая! Слушай! Счастье непрерывных побед, счастье триумфального исполнения желаний, счастье полного насыщения — есть *страдание!* Это душевная гибель, это некая непрерывная моральная изжога! Не философы Веданты или там Санкья, а я, я лично, арестант пятого года упряжки Глеб Нержин, поднялся на ту ступень развития, когда плохое уже начинает рассматриваться и как хорошее, — и я придерживаюсь той точки зрения, что люди сами не знают, к чему стремиться. Они исходят в пустой колотьбе за горстку материальных благ и умирают, не узнав своего собственного душевного богатства. Когда Лев Толстой мечтал, чтоб его посадили в тюрьму — он рассуждал как настоящий зрячий человек со здоровой духовной жизнью.

Рубин расхохотался. Он хохотал в спорах, если совершенно отвергал взгляды своего противника (а именно так и приходилось ему в тюрьме).

— Внемли, дитя! В тебе сказывается неокрепость юного сознания. Свой личный опыт ты предпочитаешь коллективному опыту человечества. Ты отравлен ароматами тюремной парашы — и сквозь эти пары хочешь увидеть мир. Из-за того, что мы лично потерпели крушение, из-за того, что нескладна наша личная судьба — как может мужчина дать измениться, хоть сколько-нибудь повернуться своим убеждениям?

— А ты гордишься своим постоянством?

— Да! Hier stehe ich und kann nicht anders.

— Каменный лоб! Вот это и есть метафизика! Вместо того чтобы здесь, в тюрьме, учиться, впитывать новую жизнь...

— Ка-кую жизнь? Ядовитую желчь неудачников?

— ...ты сознательно залепил глаза, заткнул уши, занял позу — и в этом видишь свой ум? В отказе от развития — ум? В торжество вашего чёртова коммунизма ты насилуешь себя верить, а не веришь!

— Да не вера — научное знание, обалдон! И — беспристрастность.

— Ты?! Ты — беспристрастен?

— Аб-солютно! — с достоинством произнёс Рубин.

— Да я в жизни не знал человека пристрастнее тебя!

— Да поднимись ты выше своей кочки зрения! Да взгляни же в историческом разрезе! За-ко-но-мерность! Ты понимаешь это слово? Неизбежно обусловленная закономерность! Всё идёт туда, куда надо! Исторический материализм не мог перестать быть истиной из-за того только, что мы с тобой в тюрьме. И нечего рыться носом, выворачивать какой-то трухлявый скепсис!

— Лев, пойми! Я не с радостью — я с болью сердечной расстаюсь с этим учением! Ведь оно было — звон и пафос моей юности, я для него всё остальное забыл и проклял! Я сейчас — стебелёк, расту в воронке, где бомбой вывернуло дерево веры. Но с тех пор, как меня в тюремных спорах били и били...

— Потому что у тебя ума не хватало, дура!

— ...я по честности должен был отбросить ваши хилые построения. И искать другие. А это нелегко. Скептицизм у меня, может быть — сарай при дороге, пересидеть непогоду.

— Утки в дудки, тараканы в барабаны! Ске-епсис! Да разве из тебя выйдет порядочный скептик? Скептику положено воздержание от суждений — а ты обо всём лезешь с приговором! Скептику положена атакарксия, душевная невозмутимость — а ты по каждому поводу кипятишься!

— Да! Ты прав! — Глеб взялся за голову. — Я мечтаю быть сдержанным, я воспитываю в себе только... парящую мысль, а обстоятельства завертят — и я кружусь, огрызаюсь, негодую...

— Парящую мысль! А мне в глотку готов вцепиться из-за того, что в Джекказгане не хватает питьевой воды!

— Тебя бы туда загнать, падло! Изю всех нас ты же один считаешь, что методы МГБ необходимы...

— Да! Без твёрдой пенитенциарной системы государство существовать не может...

— ...Так вот тебя и загнать в Джекказган! Что ты там запоёшь?

— Да дурак ты набитый! Ты бы хоть прежде почитал, что говорят о скептицизме большие люди. Ленин!

— А ну? Что — Ленин? — Нержин притих.

— Ленин сказал: «у рыцарей либерального российского языкоблудия скептицизм есть форма перехода от демократии к холуйскому грязному либерализму».

— Как-как-как? Ты не переврал?

— Точно. Это из «Памяти Герцена» и касается...

Нержин убрал голову в руки, как сражённый.

— А? — помягчел Рубин. — Схватил?

— Да, — покачался Нержин всем туловищем. — Лучше не скажешь. И я на него когда-то молился!..

— А что?

— Что?? Это — язык великого философа? Когда аргументов нет — вот так ругаются. Рыцари языкоблудия! — произнести противно. Либерализм — это любовь к свободе, так он — холуйский и грязный. А аплодировать по команде — это прыжок в царство свободы, да?

В захлёбе спора друзья потеряли осторожность, и их восклицания уже стали слышны Симочке. Она давно взглядывала на Нержина со строгим неодобрением. Ей обидно было, что проходил вечер её дежурства, а он никак не хотел использовать этого удобного вечера и даже не удосуживался обернуться в её сторону.

— Нет, у тебя-таки совсем вывернуты мозги, — отчаялся Рубин. — Ну, определи лучше.

— Да хоть какой-то смысл будет сказать так: скептицизм есть форма глушения фанатизма. Скептицизм есть форма высвобождения догматических умов.

— И кто ж тут догматик? Я, да? Неужели я — догматик? — большие тёплые глаза Рубина смотрели с упреком. — Я такой же арестант *призыва* сорок пятого года. И четыре года фронта у меня осколком в боку сидят, и пять лет тюрьмы на шее. Так я не меньше тебя вижу. И если б я убедился, что всё до сердцевины гниль — я бы первый сказал: надо выпускать «Колокол»! Надо бить в набат! Надо рушить! Уж я бы не прятался под кустик воздержания от суждений! не прикрывался бы фиговым листочком, скепсисом!.. Но я знаю, что гнило — только по видимости, только снаружи, а корень здоровый, а стержень здоровый, и значит надо спасать, а не рубить!

На пустующем столе инженер-майора Ройтмана, начальника Акустической, зазвонил внутриинститутский телефон. Симочка встала и подошла к нему.

— Пойми ты, усвой ты железный закон нашего века: *два мира — две системы!* И третьего не дано! И никакого «Колокола», звон по ветру распускать — нельзя! недопустимо! Потому что выбор неизбежный: за какую ты из двух мировых сил?

— Да пошёл ты вон! Это Пахану так выгодно рассуждать! На этих «двух мирах» он под себя всех и подмял.

— Глеб Викентьич!

— Слушай, слушай! — теперь Рубин властно схватил Нержина за комбинезон. — Это — величайший человек!

— Тупица! Боров тупой!

— Ты когда-нибудь поймёшь! Это вместе — и Робеспьер и Наполеон нашей революции. Он — мудр! Он — действительно мудр! Он видит так далеко, как не захватывают наши куцые взгляды...

— И ещё смеет нас всех дураками считать! Жвачку свою нам подсовывает...

— Глеб Викентьич!

— А? — очнулся Нержин, отрываясь от Рубина.

— Вы не слышали? По телефону звонили! — очень сурово, сдвинув брови, в третий раз обращалась Симочка, стоя за своим столом, руками крест-накрест стягивая на себе коричневый платок козьего пуха. — Антон Николаевич вызывает вас к себе в кабинет.

— Да-а?.. — на лице Нержина явственно угас порыв спора, исчезнувшие морщины вернулись на свои места. — Хорошо, спасибо, Серафима Витальевна. Ты слышишь, Лёвка, — Антон. С чего б это?

Вызов в кабинет начальника института в десять часов вечера в субботу был событием чрезвычайным. Хотя Симочка старалась казаться официально-равнодушной, но взгляд её, как понимал Нержин, выражал тревогу.

И как будто не было возгоравшегося ожесточения! Рубин смотрел на друга заботливо. Когда глаза его не были искажены страстью спора, они были почти женственно мягки.

— Не люблю, когда нами интересуется высшее начальство, — сказал он.

— С чего бы? — пожимал плечами Нержин. — Уж такая у нас второстепенная работёнка, какие-то голоса...

— Вот Антон нас и наладит скоро по шее. Выйдут нам боком воспоминания Станиславского и речи знаменитых адвокатов, — засмеялся Рубин. — А может насчёт артикуляции Семёрки?

— Так уж результаты подписаны, отступления нет. На всякий случай, если я не вернусь...

— Да глупости!

— Чего глупости! Наша жизнь такая... Сожжёшь там, знаешь где. — Глеб защёкнул шторы тумбочек стола, ключи тихо переложил в ладонь Рубину и пошёл неторопливой походкой арестанта пятого года упряжки, который потому никогда не спешит, что от будущего ждёт только худшего.

10

По красной ковровой дорожке широкой лестницы, безлюдной в этот поздний час, под сенью медных бра и высокого лепного потолка, Нержин поднялся на третий этаж, придавая своей походке беспечность, миновал стол *вольного* дежурного у городских телефонов и постучал в дверь начальника института инженер-полковника госбезопасности Антона Николаевича Яконова.

Кабинет был широк, устлан коврами, обставлен креслами, диванами, голубел посередине ярко-лазурной скатертью на длинном столе заседаний и коричнево закруглялся в дальнем углу гнутыми формами письменного стола и кресла Яконова. В этом великолепии Нержин бывал только несколько раз и больше на совещаниях, чем сам по себе.

Инженер-полковник Яконов, за пятьдесят лет, ещё в расцвете, роста выдающегося, с лицом, может быть чуть припудренным после бритья, в золотом пенсне, с мягкой дородностью какого-нибудь Оболенского или Долгорукова, с величественно-уверенными движениями, выделялся изо всех сановников своего министерства.

Он широко пригласил:

— Садитесь, Глеб Викентьич! — несколько хохлясь в своём полукресле и поигрывая толстым цветным карандашом над коричневой гладью стола.

Обращение по имени-отчеству означало любезность и доброжелательство, одновременно не стоя инженер-полковнику труда, так как под стеклом у него лежал перечень всех заключённых с их именами-отчествами (кто не знал этого обстоятельства, поражался памяти Яко-

нова). Нержин молча поклонился, не держа рук по швам, однако и не размахивая ими,— и выжидающе сел за изящный лакированный столик.

Голос Яконова, играючи, рокотал. Всегда казалось странным, что этот барин не имеет изысканного порока грассирования:

— Вы знаете, Глеб Викентьевич, полчаса назад пришлось мне к слову вспомнить о вас, и я подумал — каким, собственно, ветром вас занесло в Акустическую, к... Ройтману?

Яконов произнёс эту фамилию с откровенной небрежностью и даже — перед подчинённым Ройтмана! — не присовокупив к фамилии звание майора. Плохие отношения между начальником института и его первым заместителем зашли так далеко, что не считалось нужным их скрывать.

Нержин напрягся. Разговор, как чуял он, принимал дурной оборот. Вот с этой же небрежной иронией не тонких и не толстых губ большого рта Яконов несколько дней назад сказал Нержину, что, может быть, он, Нержин, в результатах артикуляции и объективен, но отнёсся к Семёрке не как к дорогому покойнику, а как к трупю безвестного пьяницы, найденного под марфинским забором. Семёрка была главная лошадка Яконова, но шла она плохо.

— ...Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги в науке артикуляции...

(Издевается!)

— ...Чертовски жалко, что ваша оригинальная монография напечатана засекреченным малым тиражом, лишаящим вас славы некоего русского Джорджа Флетчера...

(Нагло издевается!)

— ...Однако, я хотел бы иметь от вашей деятельности несколько больший... профит, как говорят англо-саксы. Я преклоняюсь перед абстрактными науками, но я — человек деловой.

Инженер-полковник Яконов находился уже на той высоте положения и ещё не в той близости к Вождю Народов, при которых мог разрешить себе роскошь не скрывать ума и не воздерживаться от своеобразных суждений.

— Ну, так-таки вас спросить откровенно — ну что вы там сейчас делаете в Акустической?

Нельзя было придумать вопроса беспощаднее! Яконову просто некогда было за всем доспеть, он бы раскусил.

— Какого чёрта вам заниматься этой попугайщиной — «стыр», «смыр»? Вы — математик? Универсант? Оглянитесь.

Нержин оглянулся и привстал: в кабинете их было не двое, а трое! Навстречу Нержину с дивана поднялся скромный человек в гражданском, в чёрном. Круглые светлые очки поблескивали перед его глазами. В щедром верхнем свете Нержин узнал Петра Трофимовича Веренёва, довоенного доцента в своём Университете. Однако, по привычке, выработанной в тюрьмах. Нержин смолчал и не выказал никакого движения, полагая, что перед ним — заключённый и опасаясь ему повредить поспешным узнанием. Веренёв улыбался, но тоже казался смущённым. Голос Яконова успокоительно рокотал:

— Воистину, в секте математиков завидный ритуал сдержанности. Математики мне всю жизнь казались какими-то розенкрейцерами, я всегда жалел, что не пришлось приобщиться к их таинствам. Не стесняйтесь. Пожмите друг другу руки и располагайтесь без церемоний. Я оставляю вас на полчаса: для дорогих воспоминаний и для информации профессором Вереневым о задачах, выдвигаемых перед нами Шестым Управлением.

И Яконов поднял из полуторного кресла своё представительное нелёгкое тело, означенное серебряно-голубыми погонами, и довольно легко понёс его к выходу. Когда Веренёв и Нержин встретились в рукопожатии, они уже были одни.

Этот бледный человек в светлых очках показался устоявшемуся арестанту Нержину — привидением, незаконно вернувшимся из забытого мира. Между миром тем и сегодняшним прошли леса под Ильмень-озером, холмы и овраги Орловщины, пески и болотца Белоруссии, сытые польские фольварки, черепица немецких городков. В ту же девятилетнюю полосу отчуждения врезались ярко-голые «боксы» и камеры Большой Лубянки. Серые провонявшиеся пересылки. Удушливые отсеки вагон-заков. Режущий ветер в степи над голодными, холодными зэками. Черезо всё это было невозможно возобновить в себе чувство, с каким выписывались буквы функций действительного переменного на податливом линолеуме доски.

Оба закурили, Нержин волнуясь, и сели, разделённые маленьким столиком.

Веренёв не в первый раз встречал своих прежних студентов — по Московскому университету и по Ростовскому, куда его в борьбе теоретических школ послали перед войной для проведения твёрдой линии. Но и для него было необычное в сегодняшней встрече: единённость подмосковного объекта, окутанного дымкой трегубой секретности, оплетенного многими рядами колючей проволоки; странный синий комбинезон вместо привычной людской одежды.

По какому-то праву, резко обозначив морщины у губ, спрашивал младший из двух, неудачник, а старший отвечал — застенчиво, будто стыдясь своей незатейливой биографии ученого: эвакуация, реэвакуация, работал три года у К... , защитил докторскую по топологии... До неучтивости рассеянный, Нержин не спросил даже темы диссертации из этой сухотелой науки, из которой сам когда-то выбирал курсовой проект. Ему вдруг стало жаль Веренёва... Множества упорядоченные, множества не вполне упорядоченные, множества замкнутые... Топология! Стратосфера человеческой мысли! В двадцать четвёртом столетии она, может быть, и понадобится кому-нибудь, а пока... А пока..

Мне нечего сказать о солнцах и мирах,—
Я вижу лишь одни мученья человека...

А как он попал в это ведомство? почему ушёл из Университета?.. Да направили... И нельзя было отказаться?.. Да отказаться можно было, но... Тут и ставки двойные... Есть детишки?.. Четверо...

Стали зачем-то перебирать студентов нержинского выпуска, последний экзамен которого был в день начала войны. Кто поталантливей — контузило, убило. Такие вечно лезут вперёд, себя не берегут. От кого и ждать было нельзя — или аспирантуру кончает, или ассистентствует. Да, ну а гордость-то наша — Дмитрий Дмитрич! Горяинов-Шаховской?!

Горяинов-Шаховской! Маленький старик, уже неопрятный от глупой старости, то перемажет мелом свою чёрную вельветовую куртку, то тряпку от доски положит в карман вместо носового платка. Живой анекдот, собранный из многочисленных «профессорских» анекдотов, душа Варшавского императорского университета, переехавшего в девятьсот пятнадцатом в коммерческий Ростов как на кладбище. Полвека научной работы, поднос поздравительных телеграмм — из Милуоки, Кейптауна, Йокогамы. А в 30-м году, когда университет перестряпали в «индустриально-педагогический институт» — был *вычищен* пролетарской комиссией по чистке как элемент буржуазно-враждебный. И ничто не могло б его спасти, если б не личное знакомство с Калининым — говорили, будто отец Калинина был крепостным у отца профессора. Так или нет, но съездил Горяинов в Москву и привёз указание: этого не трогать!

И не стали трогать. До того стали не трогать, что вчуже становилось страшно: то напишет исследование по естествознанию с матема-

тическим доказательством бытия Бога. То на публичной лекции о своём кумире Ньютоне прогудит из-под жёлтых усов:

— Тут мне прислали записку: «Маркс написал, что Ньютон — материалист, а вы говорите — идеалист». Отвечаю: Маркс передёргивает. Ньютон верил в Бога, как всякий крупный учёный.

Ужасно было записывать его лекции! Стенографистки приходили в отчаяние! По слабости ног усевшись у самой доски, к ней лицом, к аудитории спиной, он правой рукой писал, левой следом стирал — и всё время что-то непрерывно бормотал сам с собой. Понять его идеи во время лекции было совершенно исключено. Но когда Нержину с товарищем удавалось вдвоём, деля работу, записать, а за вечер разобрать — душу осеняло нечто, как мерцание звёздного неба.

Так что же с ним?.. При бомбёжке города старика контузило, полуживого увезли в Киргизию. А с сыновьями-доцентами во время войны, Веренёв точно не знает, но что-то грязное, какое-то предательство. Младший Стивка, говорят, сейчас грузчиком в нью-йоркском порту.

Нержин внимательно смотрел на Веренёва. Учёные головы, вы кидаетесь многомерными пространствами, отчего ж вы только жизнь просматриваете коридорчиками? Над мыслителем издевались какие-то хари и твари — это была недоработка, временный загиб; дети припомнили унижения отца — это грязное предательство. И кто это знает — грузчиком, не грузчиком? Оперуполномоченные формируют общественное мнение...

Но за что... Нержин сел?

Нержин усмехнулся.

Ну, а за что, все-таки?

— За образ мыслей, Пётр Трофимович. В Японии есть такой закон, что человека можно судить за образ его невысказанных мыслей.

— В Японии! Но ведь у нас такого закона нет?..

— У нас-то он как раз и есть и называется *Пятьдесят восемь — десять*.

И Нержин плохо стал слышать то главное, для чего Яконов свёл его с Вереневым. Шестое Управление прислало Веренёва для углубления и систематизации криптографическо-шифровой работы здесь. Нужны математики много математиков, и Веренёву радостно увидеть среди них своего студента, подававшего столь большие надежды.

Нержин полусознательно задавал уточняющие вопросы, Пётр Трофимович, постепенно разгораясь в математическом задоре, стал разъяснять задачу, рассказывал, какие пробы придётся сделать, какие формулы перетряхнуть. А Нержин думал о тех мелко исписанных листиках, которые так безмятежно было насыщать, обложась бутофорией, под затаённо-любящие взгляды Симочки, под добродушное бормотание Льва. Эти листики были — его первая тридцатилетняя зрелость.

Конечно, завиднее достичь зрелости в своём исконном предмете. Зачем, кажется, ему головой соваться в эту пасть, откуда и историки сами уносят ноги в прожитые безопасные века? Что влечёт его разгадать в этом раздутом мрачном великане, кому только ресницею одной пошевелить — и отлетит у Нержина голова? Как говорится — *что тебе надо больше всех?* Больше всех — что тебе надо?

Так отлаяться в лапы осьминогу криптографии?.. Четырнадцать часов в день, не отпуская и на перерывы, будут владеть его головой теория вероятностей, теория чисел, теория ошибок... Мёртвый мозг. Сухая душа. Что ж останется на размышления? Что ж останется на познание жизни?

Зато — шарашка. Зато не лагерь. Мясо в обед. Сливочное масло утром. Не изрезана, не ошершавлена кожа рук. Не отморожены пальцы. Не валишься на доски замертво бесчувственным бревном, в гряз-

ных чунях, — с удовольствием ложишься в кровать под белый пододеяльник.

Для чего же жить всю жизнь? Жить, чтобы жить? Жить, чтобы сохранять благополучие тела?

Милое благополучие! Зачем — ты, если ничего, кроме тебя?..

Все доводы разума — да, я согласен, гражданин начальник!

Все доводы сердца — отойди от меня, сатана!

— Пётр Трофимович! А вы... сапоги умеете шить?

— Как вы сказали?

— Я говорю: сапоги вы меня шить не научите? Мне бы вот сапоги научиться шить.

— Я, простите, не понимаю...

— Пётр Трофимович! В скорлупе вы живёте! Мне ведь, окончу срок, — ехать в глухую тайгу, на вечную ссылку. Работать я руками ничего не умею — как прожить? Там — медведи бурые. Там Леонарда Эйлера функции еще три мезозойских эры никому не понадобятся.

— Что вы говорите, Нержин?! В случае успеха работы вас как криптографа досрочно освободят, снимут судимость, дадут квартиру в Москве...

— Эх, Пётр Трофимович, скажу вам поговорку доброго хлопца, моего лагерного друга: «одна дьяка, что за рыбу, что за рака». Дьяка — это по-украински благодарность. Так вот не жду я от них дьяки, и прощения я у них не прошу, и рыбки я им ловить не буду!

Дверь растворилась. Вошел осанистый вельможа с золотым пенсне на дородном носу.

— Ну, как, розенкрейцеры? Договорились?

Не поднимаясь, твёрдо встретив взгляд Яконова, Нержин ответил:

— Воля ваша, Антон Николаич, но я считаю свою задачу в Акустической лаборатории не законченной.

Яконов уже стоял за своим столом, опершись о стекло суставами мягких кулаков. Только знающие его могли бы признать, что это был гнев, когда он сказал:

— Математика! — и артикуляция... Вы променяли пищу богов на чечевичную похлебку. Идите.

И двуцветным грифелем толстого карандаша начертил в настольном блокноте:

«Нержина — списать».

11

Уже много лет — военных и послевоенных, Яконов занимал верный пост главного инженера Отдела Специальной Техники МГБ. Он с достоинством носил заслуженные его знаниями серебряные погоны с голубой окаёмкой и тремя крупными звёздами инженер-полковника. Пост его был таков, что руководство можно было осуществлять издали и в общих чертах, порою сделать эрудированный доклад перед высоко-чиновными слушателями, порою умно и цветисто поговорить с инженером над его готовой моделью, а в общем слыть за знатока, не отвечать ни за что и получать в месяц изрядно тысяч рублей. Пост был таков, что красноречием своим Яконов осенял колыбели всех технических затей Отдела; увитал от них в пору их трудного возмужания и болезней роста; вновь чтил своим присутствием или долблёные корыта их чёрных гробов или золотое коронование героев.

Антон Николаевич не был так молод и так самонадеян, чтобы самому гнаться за обманчивым поблеском Золотой Звезды или значком сталинского лауреата, чтобы собственными руками подхватывать каждое задание министерства или даже самого Хозяина. Антон Николаевич был уже достаточно опытен и в годах, чтобы избегать этих спаянных вместе волнений, взлётов и глубин.

Придерживаясь таких взглядов, он безбедно существовал до января тысяча девятьсот сорок восьмого года. В этом январе Отцу восточных и западных народов кто-то подсказал идею создать особую секретную телефонию — такую, чтоб никто никогда не мог бы понять, даже перехватив, его телефонный разговор. Такую, чтоб можно было с кунцевской дачи разговаривать с Молотовым в Нью-Йорке. Августейшим пальцем с жёлтым пятном никотина у ногтя генералиссимус выбрал на карте объект Марфино, до того занимавшийся созданием портативных милицейских радиопередатчиков. Исторические слова при этом были сказаны такие:

— За-чэм мне эти передатчики? Квэр-тырных варов ловить?

И сроку дал — до первого января сорок девятого года. Потом подумал и добавил:

— Ладна, да́ первого мая.

Задание было сверхответственно и исключительно по сжатому сроку. В министерстве подумали — и определили Яконову вытаскивать Марфино самому. Напрасно тщился Яконов доказать свою загруженность, невозможность совмещения. Начальник Отдела Фома Гурьянович Осколупов посмотрел кошачьими зеленоватыми глазами — Яконов вспомнил замаранность своей анкеты (он шесть лет просидел в тюрьме) и смолк.

С тех пор, скоро два года, пустовал кабинет главного инженера Отдела в апартаментах министерства. Главный инженер дневал и ночевал в загородном здании бывшей семинарии, венчавшейся шестиугольной башнею над куполом упразднённого алтаря.

Сперва даже приятно было самому поруководить: устало захлопнуть дверь в персональной «Победе», убаюканно домчаться в Марфино; миновать в оплетенных колючкою воротах вахтера, отдающего приветствие; и ходить в окружении свиты майоров и капитанов под столетними липами марфинской рощи. Начальство ещё ничего не требовало от Яконова — только планы, планы, планы и сообразительства. Зато рог изобилия МГБ опрокинулся над Марфинским институтом: английская и американская покупная аппаратура; немецкая трофейная; отечественные эски. вызванные из лагерей; техническая библиотека на двадцать тысяч новинок; лучшие оперуполномоченные и архивариусы, зубры секретного дела; наконец, охрана высшей лубянской выучки. Понадобилось отремонтировать старый корпус семинарии, возвести новые — для штаба спецтюрьмы, для экспериментальных мастерских, — и в пору желтоватого цветения лип, когда они сладили запахом, под сенью исполинов послышалась печальная речь нерадивых немецких военнопленных в потрёпанных ящеричных кителях. Эти ленивые фашисты на четвёртом году послевоенного плена совершенно не хотели работать. Невыносимо было русскому взгляду смотреть, как они разгружают машины с кирпичом: медленно, бережно, будто он из хрусталя, передают с рук на руки каждый кирпичик до укладки в штабель. Ставя радиаторы под окнами, перестилая подгнившие полы, немцы слонялись по сверхсекретным комнатам и исподлобья читали то немецкие, то английские надписи на аппаратуре — германский школьник мог бы догадаться, какого профиля эти лаборатории! Всё это было изложено в рапорте заключённого Рубина на имя инженер-полковника и было совершенно справедливо, но очень неудобен был этот рапорт оперуполномоченным Шикину и Мышину (в арестантском просторечии — Шишкину-Мышкину), ибо что теперь делать? не рапортовать же выше о своей оплошности? А момент всё равно был упущен, потому что военнопленных уже отправляли на родину, и кто уехал в Западную Германию, тот мог, если это кому интересно знать, доложить расположение всего института и отдельных лабораторий. Когда же офицеры других управлений МГБ искали инженер-полковника по служебным делам, он не имел права называть им адрес своего объек-

та, а для соблюдения неуцерблённой секретности ехал разговаривать с ним на Лубянку.

Немцев отпускали, а на ремонт и на строительство вместо немцев прислали таких же, как на шарашке, эзков, только в грязных рваных одеждах и не получавших белого хлеба. Под липами теперь по надобности и без надобности гудела добрая лагерная брань, напоминавшая эзам шарашки об их устойчивой родине и неотвратимой судьбе; кирпичи с грузовика как ветром срывало, так что уцелевших почти не оставалось, а только половняк: эзки же с покрикиванием «раз-два-взяли!» опрокидывали на кузов грузовика фанерный колпак, затем, чтоб их легче было охранять, влезали под него сами, весело обнимаясь с матюгающимися девками, всех их под колпаком запирали и увозили московскими улицами — в лагерь, ночевать.

Так в этом волшебном замке, отделённом от столицы и её несведущих жителей очарованною огнестрельною зоной, лемуры в чёрных бушлатах создавали сказочные перемены: водопровод, канализацию, центральное отопление и разбивку клумб.

Между тем благоучреждённое заведение росло и ширилось. В состав Марфинского института влили в полном штате ещё один исследовательский институт, уже занимавшийся сходной работой. Этот институт приехал со своими столами, стульями, шкапами, папками-скорошивателями, аппаратурой, стареющей не по годам, а по месяцам, и со своим начальником инженер-майором Ройтманом, который стал заместителем у Яконова. Увы, создатель новоприехавшего института, его вдохновитель и покровитель, полковник Яков Иванович Мамурин, начальник Особой и Специальной связи МВД, один из самых выдающихся государственных мужей, погиб прежде того при трагических обстоятельствах.

Однажды Вождь Всего Прогрессивного Человечества разговаривал с китайской провинцией Янь-Нань и остался недоволен хрипами и помехами в трубке. Он позвонил Берии и сказал по-грузински:

— Лаврентий! Какой дурак у тебя начальником связи? Убери.

И Мамурина убрали — то есть, посадили на Лубянку. Его убрали, однако, не знали, что с ним делать дальше. Не было привычных указаний — судить ли и за что, и какой давать срок. Будь это человек посторонний, ему бы сунули *четвертню* и закатали бы в Норильск. Но помня истину «сегодня ты, а завтра я», вершители МВД попридержали Мамурину; когда же убедились, что Сталин о нём забыл — без следствия и без срока отправили на загородную дачу.

Как-то, летним вечером сорок восьмого года, на марфинскую шарашку привезли нового эзка. Всё было необычно в этом приезде: и то, что привезли его не в воронке, а в легковой машине; и то, что сопровождал его не простой *вертухай*, а Начальник Отдела Тюрем МГБ; и то, наконец, что первый ужин ему понесли под марлевой накидкой в кабинет начальника спецтюрьмы.

Слышали (эзкам ничего не положено слышать, но они всегда всё слышат) — слышали, как приезжий сказал, что «колбасы он не хочет» (?!), начальник же Отдела Тюрем уговаривал его «покушать». Подслушал это через перегородку эзк, который пошёл к врачу за порошком. Обсудив такие вопиющие новости, коренное население шарашки пришло к выводу, что приезжий всё-таки арестант, и, удовлетворённое, легло спать.

Где ночевал приезжий в ту ночь — историки шарашки не выяснили. Но ранним утренним часом у широкого мраморного крыльца (куда позже арестантов уже не пускали) один простецкий эзк, косопалый слесарь, столкнулся с новичком лицом к лицу.

— Ну, браток, — толкнул он его в грудки, — откуда? На чём погөрел? Садись, покурим.

Но приезжий в брезгливом ужасе отшатнулся от слесаря. Бледно-лимонное лицо его исказилось. Слесарь разглядел белые глаза, выпадающие светлые волосы на облезшем черепе и в сердцах сказал:

— Ух ты, гад из стеклянной банки! Ни хрена, после отбоя запрут с нами — разговоришься!

Но «гада из стеклянной банки» в общую тюрьму так и не заперли. В коридоре лабораторий, на третьем этаже, нашли для него маленькую комнатку, бывшую проявительную фотоаппаратуры, внесли туда кровать, стол, шкаф, горшок с цветами, электроплитку и сорвали картон, закрывавший обрешеченное окошко, выходявшее даже не на свет Божий, а на площадку задней лестницы, сама же лестница — на север, так что свет и днём еле брезжил в камере привилегированного арестанта. Конечно, окно можно было бы разрешетить, но тюремное начальство, после колебаний, определило всё же решётку оставить. Даже оно не понимало этой загадочной истории и не могло установить верной линии поведения.

Тогда-то и окрестили приехавшего «Железной Маской». Долгое время никто не знал его имени. Никто не мог и поговорить с ним: видели через окно, как он сидел, понурясь, в своей одиночке или бледной тенью бродил под липами в часы, когда простым энкам гулять было недозволено. Железная Маска был так жёлт и тощ, как бывает доходный энка после хорошего двухлетнего следствия, — однако, безрассудный отказ от колбасы противоречил этой версии.

Много позже, когда Железная Маска уже стал являться на работу в Семёрку, энка узнали от вольных, что он и был тот самый полковник Мамурин, который в Отделе Особой связи МВД запрещал проходить по коридору, ступая на пятки, а только на носках; иначе он в бешенстве выбегал через комнату секретарш и кричал:

— Ты мимо чьего кабинета топаешь, хам?? Как твоё фамилие?

Много позже выяснилось и то, что причина страданий Мамурина была нравственная. Мир вольных оттолкнул его, к миру энков он сам пренебрегал пристать. Сперва в своём одиночестве он всё читал книги — «Борьба за мир», «Кавалер Золотой Звезды», «России славные сыны», потом стихи Прокофьева, Грибачёва — и! — с ним случилось чудесное превращение: он и сам стал писать стихи! Известно, что поэтов рождает несчастье и душевные муки, а муки у Мамурина были острее, чем у какого-нибудь другого арестанта. Сидя второй год без следствия и суда, он по-прежнему жил только последними партийными директивами и по-прежнему боготворил Мудрого Вождя. Мамурин так открывался Рубину, что не тюремная балада страшна (ему, кстати, готовили отдельно) и не разлука с семьёй (его, между прочим, один раз в месяц тайком возили на собственную квартиру с ночёвкой), вообще — не примитивные животные потребности, — горько лишиться доверия Иосифа Виссарионовича, больно чувствовать себя не полковником, а разжалованным и опороченным. Вот почему им, коммунистам, неизмеримо тяжелее переносить заключение, чем окружающей беспринципной сволочи.

Рубин был коммунист. Но услышав откровенности своего как будто единомышленника и почитав его стихи, Рубин откинулся от такой находки, стал избегать Мамурина, даже прятаться от него, — всё же своё время проводил среди людей, несправедливо на него нападающих, но делящих с ним равную участь.

А Мамурин стегало безутишное, как зубная боль, стремление — оправдаться перед партией и правительством. Увы, всё знакомство со связью его, начальника связи, кончалось держанием в руках телефонной трубки. Поэтому *работать* он, собственно, не мог, мог только руководить. Но и руководство, если б это было руководством делом заведомо гиблым, не могло вернуть ему расположения Лучшего Друга Связистов. Руководить надо было делом заведомо надёжным.

К этому времени в Марфинском институте проступило два таких обнадёживающих дела: Вокодер и Семёрка.

По какому-то глубинному импульсу, рвущему плети логических доводов, люди сходятся или не сходятся с первого взгляда. Яконов и его заместитель Ройтман не сошлись. Что ни месяц, они становились невыносимее друг для друга и лишь впряженные более тяжёлой рукой в одну колесницу, не могли из нее вырваться, а только тянули в разные стороны. Когда секретная телефония начала осуществляться пробными параллельными разработками, Ройтман, кого мог, стянул в Акустическую для разработки системы «вокодер», что значило по-английски voice coder (кодированный голос), а по-русски было окрещено «аппарат искусственной речи», но это не привилось. В ответ и Яконов ободрал все прочие группы; самых схватчивых инженеров и самую богатую импортную аппаратуру стянул в Семёрку, лабораторию № 7. Хилые поросли остальных разработок погибли в неравной борьбе.

Мамурин избрал для себя Семёрку и потому, что не мог же он войти в подчинение к своему бывшему подчинённому Ройтману, и потому, что в министерстве тоже считали разумным, чтоб за плечами беспартийного подпорченного Яконова горел бы неусыпный огненный глаз.

С этого дня Яконов мог быть или не быть ночью в институте — разжалованный полковник МВД, подавивший в себе стихотворную страсть ради технического прогресса родины, одинокий узник с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой ввалившихся щёк, отклоняя пищу и сон, таяя на руководстве до двух часов ночи, переводя Семёрку на пятнадцатичасовой рабочий день. Такой удобный рабочий день мог быть только в Семёрке, ибо над Мамуриным не требовалось контроля вольняшек и их особых ночных дежурств.

Туда, в Семёрку, и пошел Яконов, когда оставил Веренёва с Нержиным у себя в кабинете.

12

Как у простых солдат, хотя никто не объявляет им генеральских диспозиций, всегда бывает ясное сознание, попали они на направление главного или неглавного удара, — так и среди трёхсот зёков марфинской шарашки утвердилось верное представление, что на решающий участок выдвинута Семёрка.

Все в институте знали её истинное наименование — «лаборатория клипированной речи», но предполагалось, что об этом никто не знает. Слово *клипированная* было с английского и означало «стриженная» речь. Не только все инженеры и переводчики института, но и монтажники, токари, фрезеровщики, чуть ли даже не глуховатый глуповатый столяр знали, что установка эта строится с использованием американских образцов, однако принято было, что — только по отечественным. И поэтому американские радиожурналы со схемами и теоретическими статьями о клипировании, продававшиеся в Нью-Йорке на лотках, здесь были пронумерованы, прошнурованы, засекречены и опечатывались от американских же шпионов в несгораемых шкафах.

Клипирование, демпфирование, амплитудное сжатие, электронное дифференцирование и интегрирование привольной человеческой речи было таким же инженерным издевательством над ней, как если б кто-нибудь взялся расчленить Новый Афон или Гурзуф на кубики вещества, втиснуть их в миллиард спичечных коробок, перепутать, перевезти самолётом в Нерчинск, на новом месте распутать, неотличимо собрать и воссоздать субтропики, шум прибоя, южный воздух и лунный свет.

То же, в пакетиках-импульсах, надо было сделать и с речью, да ещё воссоздать её так, чтоб не только было всё понятно, но Хозяин мог бы по голосу узнать, с кем говорит.

На шарашках, в этих полубархатных заведениях, куда, казалось, не проникал зубовой скрежет лагерной борьбы за существование, издавна было достойно учреждено начальством: в случае успеха разработки ближайшие к ней зэки получали всё — свободу, чистый паспорт, квартиру в Москве; остальные же не получали ничего — ни дня скидки со срока, ни ста граммов водки в честь победителей.

Середины не было.

Поэтому арестанты, наиболее усвоившие ту особенную лагерную цепкость, с которой, кажется, зэк может ногтями удержаться на вертикальном зеркале, — самые цепкие арестанты старались попасть в Семёрку, чтоб из неё *выскочить* на волю.

Так попал сюда жестокий инженер Маркушев, прыщеватое лицо которого дышало готовностью умереть за идеи инженер-полковника Яконова. Так попали и другие, того же духа.

Но проницательный Яконов выбирал в Семёрку и из тех, кто не напрашивался. Таков был инженер Амантай Булатов, казанский татарин в больших роговых очках, пряموдушный, с оглушающим смехом, осуждённый на десять лет за плен и за связи с врагом народа Мусой Джалилем. (В шутку Амантая считали старейшим работником *фирмы*, ибо, кончив радиоинститут в июне сорок первого года и брошенный в месиво смоленского направления, он как татарин был извлечён немцами из лагеря военнопленных и начал свою производственную практику в цехах этой самой фирмы «Лоренц», когда её руководители ещё подписывались в письмах «mit Neil Hitler!».) Таков был и Андрей Андреевич Потапов, специалист совсем не по слабым токам, а по сверхвысоким напряжениям и строительству электростанций. На шарашку Марфино он попал по ошибке неосведомлённого чиновника, отбиравшего карточки в картотеке ГУЛага. Но, будучи истинным инженером и беззаветным работягой, Потапов в Марфино быстро развернулся и стал незаменимым при аппаратуре наиболее точных и сложных радиоизмерений.

Ещё тут был инженер Хоробрóв, большой знаток радио. В группу № 7 он был назначен с самого начала, когда она была рядовая группа. Последнее время он тяготился Семёркой, никак не включался в её бешеный темп — и Мамурин тоже тяготился им.

Наконец долгоруким молниевидным *спецнарядом* сюда, в марфинскую Семёрку, был доставлен из-под Салехарда, из бригады усиленного режима каторжного лагеря мрачный арестант и гениальный инженер Александр Бобынин — и сразу поставлен надо всеми. Бобынин был взят из самого зева смерти. Бобынин был первый кандидат на освобождение в случае успеха. Поэтому он работал, тянул и после полуночи, но с таким презрительным достоинством, что Мамурин боялся его и ему одному не смел делать замечаний.

Семёрка была такая же комната, как Акустическая, только этажом над ней. Так же она была заставлена аппаратурой и смешанной мебелью, только не было в её углу одоробла акустической будки.

Яконов по несколько раз на дню бывал в Семёрке, поэтому приход его не воспринимался тут как приход большого начальства. Только Маркушев и другие угодники выдвинулись вперёд и захопотали ещё радостней и быстрее, да Потапов, чтобы закрыть видимость, добавил частотомер — в просвет, на многоэтажный стеллаж приборов, отгораживающий его от остальной лаборатории. Он свою работу выполнял без рынков, с долгами всеми был разочтён и сейчас мирно ладил портсигар из прозрачной красной пластмассы, предназначенный на завтрашнее утро в подарок.

Мамурин поднялся навстречу Яконову как равный к равному. Он был не в синем комбинезоне простых эзков, а в костюме дорогой шерсти, но и этот наряд не красил его измождённого лица и костлявой фигуры.

То, что было сейчас изображено на его лимонном лбу и бескровных губах не жильца на этом свете, условно означало и было воспринято Яконовым как радость:

— Антон Николаич! Перестроили на каждый шестнадцатый импульс — и гораздо лучше стало. Вот послушайте, я вам почитаю.

«Почитать» и «послушать» — это была обычная проба качества телефонного тракта: тракт менялся по несколько раз в день — добавкой, или устранением, или заменой какого-нибудь звена, а устраивать каждый раз артикуляцию было громоздко, невдоспех за конструктивными мыслями инженеров, да и расчёта не было получать грубые цифры от этой недружелюбной науки, захваченной ройтмановским выкормышем Нержиным.

Привычно подчинённый единой мысли, ничего не спрашивая и не объясняя, Мамурин пошёл в дальний угол комнаты и там, отвернувшись, прижав трубку к скуле, стал читать в телефон газету, а Яконов около стойки с панелями надел наушники, включённые на другом конце тракта, и стал слушать. В наушниках творилось нечто ужасное: звуки разрывались тресками, грохотами, визжанием. Но как мать с любовью вглядывается в уродство своего детёныша, так Яконов не только не сдёргивал телефонов со страдающих ушей, но плотнее вслушивался и находил, что это ужасное было как будто лучше того ужасного, которое он слышал перед обедом. Речь Мамурина была вовсе не живая разговорная речь, а размеренное нарочито-чёткое чтение, к тому же Мамурин читал статью о наглости югославских пограничников и о распоясанности кровавого палача Югославии Ранковича, превратившего свободолюбивую страну в сплошной застенок, — поэтому Яконов легко угадывал недослышанное, понимал, что это — угадка, и забывал, что это угадка, и всё более утверждался, что слышимость с обеда стала лучше.

И ему хотелось поделиться с Бобыниным. Грузный, широкоплечий, с головой, демонстративно остриженной наголо, хотя на шарашке разрешались любые причёски, Бобынин сидел неподалеку. Он не обернулся при входе Яконова в лабораторию и, склонясь над длинной лентой фото-осциллограммы, мерил остриями измерителя.

Этот Бобынин был букашка мироздания, ничтожный эзк, член последнего сословия, бесправнее колхозника. Яконов был вельможа.

И Яконов не решался отвлечь Бобынина, как ему этого ни хотелось!

Можно построить Эмпайр-стэйт-билдинг. Вышколить прусскую армию. Взнести иерархию тоталитарного государства выше престола Всевышнего.

Нельзя преодолеть какого-то странного духовного превосходства иных людей.

Бывают солдаты, которых боятся их командиры рот. Чернорабочие, перед которыми робеют прорабы. Подследственные, вызывающие трепет у следователей.

Бобынин знал всё это и нарочно так ставил себя с начальством. Всякий раз, разговаривая с ним, Яконов ловил себя на трусливом желании угодить этому эзку, не раздражать его, — негодовал на это чувство, но замечал, что и все другие так же разговаривают с Бобыниным.

Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина:

— Лучше, Яков Иваныч, определённо лучше! Хотелось бы Рубину дать послушать, у него ухо хорошее.

Кто-то когда-то, довольный отзывом Рубина, сказал, что у него ухо хорошее. Бессознательно это подхватили, поверили. Рубин на шарашку попал случайно, перебивался тут переводами. Было у него левое ухо, как у всех людей, а правое даже приглушено фронтовой контузией — но после похвалы пришлось это скрывать. Славой своего «хорошего уха» он и держался тут прочно, пока ещё прочней не окочался капитальной работой «Русская речь в восприятии слухо-синтетическом и электро-акустическом».

Позвонили в Акустическую за Рубиным. Пока ждали его, стали, уже по десятому разу, слушать сами. Маркушев, сильно сдвинув брови, с напряжёнными глазами, чуть-чуть подержал трубку и резко заявил, что — лучше, что намного лучше (идея перестройки на шестнадцать импульсов принадлежала ему, и он ещё до перестройки знал, что будет лучше). Булатов завопил на всю лабораторию, что надо согласовать с шифровальщиками и перестроить на тридцать два импульса. Двое услужливых электромонтажников, Любимичев и Сиромаха, раздрав наушники между собой, стали слушать каждый одним ухом и тотчас же с кипучей радостью подтвердили, что стало именно разборчивее.

Бобынин, не поднимая головы, продолжал мерить осциллограмму.

Чёрная стрелка больших электрических часов на стене перепрыгнула на половину одиннадцатого. Скоро во всех лабораториях, кроме Семёрки, должны были кончать работу, сдавать секретные журналы в несгораемый шкаф, эки — уходить спать, а вольняшки — бежать к остановке автобусов, ходящих попоздну уже реже.

Илья Терентьевич Хоробров задней стороной лаборатории, не на виду у начальства, тяжёлой поступью прошёл за стеллаж к Потапову. Хоробров был вятич, и из самого медвежьего угла — из-под Кая, откуда сплошным тысячевёрстным царством не в одну Францию по болотам и лесам раскинулась страна ГУЛаг. Он навиделся и понимал побольше многих, ему иногда становилось так не вперетерп, что хоть лбом колотись о чугунный столб уличного репродуктора. Необходимость постоянно скрывать свои мысли, подавлять своё ощущение справедливости, — пригнула его фигуру, сделала взгляд неприятным, врезала трудные морщины у губ. Наконец, в первые послевоенные выборы его задавленная жажда высказаться прорвалась, и на избирательном бюллетене подле вычеркнутого им кандидата он написал мужицкое ругательство. Это было время, когда из-за нехватки рабочих рук не восстанавливались жилища, не засеивались поля. Но несколько лбовсыщиков в течение месяца изучали почерки всех избирателей участка — и Хоробров был арестован. В лагерь он ехал с простодушной радостью, что хоть здесь-то будет говорить от души. Да не свободной республикой оказался и лагерь! — под доносами стукачей пришлось замолчать Хороброву и в лагере.

Сейчас благоразумие требовало чтоб он толпошился среди общей работы Семёрки и обеспечил бы себе если не освобождение, то безбедное существование. Но тошнота от несправедливости, даже не касавшейся лично его, поднялась в нём до той высоты, когда уже не хочется и жить.

Зайдя за стеллаж Потапова, он приклонился к его столу и тихо предложил:

— Андреич! Смыть пора. Суббота.

Потапов как раз прилаживал к прозрачному красному портсигару бледно-розовую защёлку. Он отклонил голову, любуясь, и спросил:

— Как, Терентьич, подходит? По цвету?

Не получив ни одобрения, ни порицания, Потапов посмотрел на Хороброва поверх очков в простой металлической оправе, как смотрят бабушки, и сказал:

— Зачем раздражать дракона? Читайте передовицы «Правды»: время работает на нас. Антон уйдет — и мы тот-час же испаримся.

У него была манера делить по слогам и поддерживать мимикой какое-нибудь важное слово во фразе.

Тем временем в лаборатории уже был Рубин. Именно сейчас, к одиннадцати часам, Рубину, и без того весь вечер настроенному нербоче, хотелось только идти скорей в тюрьму и глотать дальше Хемингуэя. Однако, придав своему лицу подобие большого интереса к новому качеству тракта Семёрки, он попросил, чтобы читал обязательно Маркушев, ибо его высокий голос с основным тоном 160 герц должен проходить хуже (этим подходом к делу сразу проявлялся специалист). Надев наушники, Рубин несколько раз подавал команды Маркушеву читать то громче, то тише, то повторять фразы «Жирные сазаны ушли под палубу» и «Вспомнил, прыгнул, победил» — известные всем на шарашке фразы, придуманные Рубиным же для проверки отдельных звукосочетаний. Наконец он вынес приговор, что общая тенденция к улучшению есть, гласные звуки проходят просто замечательно, несколько хуже с глухими зубными, ещё беспокоит его форманта «ж» и вовсе не идёт столь характерное для славянских языков сочетание согласных «всп», над чем и надо поработать.

Сразу раздался хор голосов, обрадованный, что, значит, тракт стал лучше. Бобынин поднял голову от осциллограммы и густым басом отозвался насмешливо:

— Глупости! Лапоть вправо, лапоть влево. Не наугад щупать надо, а метод искать.

Все неловко замолчали под его твёрдым неотклоняемым взглядом.

А за стеллажом Потапов грушевой эссенцией приклеивал к портсигару розовую защёлку. Все три года немецкого плена Потапов просидел в лагерях — и выжил главным образом своим умением делать привлекательные зажигалки, портсигары и мундштуки из отбросов, да ещё и не пользуясь никакими инструментами.

Никто не спешил уйти с работы! И это было накануне украденного воскресенья!

Хоробров выпрямился. Положив свои секретные дела на стол Потапову для сдачи в шкаф, он вышел из-за стеллажа и неторопливо направился к выходу, по дороге обходя всех столпившихся у стойки клиппера.

Мамурин бледно полыхнул ему в спину:

— Илья Терентьич! А вы почему не слушаете? Вообще — куда вы направилесь?

Хоробров так же неторопливо обернулся и, искажённо улыбаясь, ответил раздельно:

— Я хотел бы избежать говорить об этом вслух. Но если вы настаиваете, извольте: в данный момент я иду в уборную, то бишь в сортир. Если там обойдётся всё благополучно — проследую в тюрьму и лягу спать.

В наступившей трусливой тишине Бобынин, чьего смеха почти никогда не слышали, гулко расхохотался.

Это был бунт на военном корабле! Словно собираясь ударить Хороброва, Мамурин сделал к нему шаг и спросил визгливо:

— То есть, как это — спать? Все люди работают, а вы — спать?

Уже взявшись за ручку двери, Хоробров ответил едва на грани самообладания:

— Да так — просто спать! Я по конституции свои двенадцать часов отработал — и хватит! — И, уже начиная взрываться, что-то хотел добавить непоправимое, но дверь распахнулась — и дежурный по институту объявил:

— Антон Николаич! Вас — срочно к городскому телефону.

Яконов поспешно встал и вышел перед Хоробровым.

Вскоре и Потапов погасил настольную лампу, переложил свои и Хороброва секретные дела на стол к Булатову и средним шагом, совсем безобидно, прохромал к выходу. Он прилегал на правую ногу после пережитой ещё до войны аварии с мотоциклом.

Звонил Яконову замминистра Селивановский. К двенадцати часам ночи он вызывал его в министерство, на Лубянку.

И это была жизнь!..

Яконов вернулся в свой кабинет к Веренёву и Нержину, отправил второго, первому предложил подъехать в его машине, оделся, уже в перчатках вернулся к столу и под записью «Нержина — списать» добавил:

«и — Хороброва».

13

Когда Нержин, сознавая, что произошло непоправимое, но ещё не почувствовав его до конца, вернулся в Акустическую, — Рубина не было. Остальные были все те же, и Валентуля, возясь в проходе с панелью, усаженной десятками радиоламп, вскинул живые глаза.

— Спокойно, парниша! — задержал он Нержина взброшенной пятернёй, как автомашину. — Почему у меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете? — И вспомнил: — Да! А зачем вас вызывали? *ке пассэ?*

— Не хамите, Валентайн, — хмуро уклонился Нержин. Этому одноподанцу своей науки он не мог бы признаться, что отрёкся, только что отрёкся от математики.

— Если у вас неприятности — могу порекомендовать: включайте танцевальную музыку! А чего нам огорчаться? Вы читали этого... как его... ? ну, папироса в зубах, метр курим, два бросаем... сам лопатой не ворочает, других призывает... ну, вот это:

Моя милиция —
 Меня стережёт!
 В запретной зоне —
 Как хорошо!

Но тут же, занятый новой мыслью, Валентуля уже подавал команду:

— Вадька! Осциллограф включи-ка!

Нержин подошёл к своему столу, ещё не сел и увидел, что Симочка была вся в тревоге. Она открыто смотрела на Глеба, и тонкие бровки её подрагивали.

— А где Борода, Серафима Витальевна?

— Его тоже Антон Николаич вызвал, в Семёрку, — громко ответила Симочка. И, отойдя к щитку коммутатора, ещё громче, слышно всем, попросила:

— Глеб Викентьич! Вы проверьте, как я новые таблицы читаю. Ещё есть полчаса.

Симочка была в артикуляции одним из дикторов. Полагалось следить, чтобы чтение всех дикторов было стандартным по степени вынности.

— Где ж я вас проверю в таком шуме?

— А... в будку пойдёмте — Она со значением посмотрела на Нержина взяла таблицы написанные тушью на ватмане, и прошла в будку.

Нержин последовал за ней. Закрыл за собой сперва полулю. аршинной толщины дверь на засов потом протиснулся в маленькую вторую дверь и, ещё шторы не сбросил, Сима повисла у него на шее, привстав на дыпочки, целуя в губы.

Он подобрал её на руки, лёгкую, — было так тесно, что носки её туфель стукнулись о стену, сел на единственный стул перед концертным микрофоном и на колени к себе опустил.

— Что вас Антон вызывал? Что было плохого?

— А усилитель не включён? Мы не договоримся, что нас через динамик будут транслировать?..

— ...Что было плохое?

— Почему ты думаешь, что плохое?

— Я сразу почувствовала, когда ещё звонили. И по вас вижу.

— А когда будешь звать на «ты»?

— Пока не надо... Что случилось?

Тепло её незнакомого тела передавалось его коленям и через руки, и по всей высоте. Незнакомого до полной загадки, ибо всякое было незнакомо арестанту-солдату через столько лет. А и память юности не у каждого обильна.

Симочка была удивительно легка: кости ли её надуты воздухом, из воска ли её сделали — она казалась невесомой, как птица, увеличенная в объёме перьями.

— Да, перепёлочка... Кажется, я... скоро уеду.

Она извернулась в его руках и, роня платок с плеч, сколь крепко могла, обнимала:

— Ку-да-а?

— Как куда? Мы — люди бездны. Мы исчезаем, откуда выплыли, — в лагерь, — рассудливо объяснял Глеб.

— За что-о-о же?? — не словами, а стоном вышло из Симочки.

Глеб смотрел близко и даже недоумённо в глаза этой некрасивой девушки, любовь которой так нечаянно, так без усилий заслужил. Она была захвачена его судьбою больше, чем он сам.

— Möglich было и остаться. Но в другой лаборатории. Мы всё равно не были бы вместе.

(Он так сейчас выговорил, будто именно из-за этого в кабинете Антона отказался. Но он выговорил механическим сочетанием звуков, как говорил и Вокодер. На самом деле таково было арестантское крайнее положение. что и перейдя в другую лабораторию, Глеб искал бы всего этого с женщиной, работающей рядом, и оставшись в Акустической — с любой другой женщиной, любого вида, назначенной работать за смежный стол вместо Симочки.)

А она маленьким тельцем вся теснилась к нему и целовала.

Эти минувшие недели, после первого поцелуя, — зачем было падать Симочку, жалеть её призрачное будущее счастье? Вряд ли найдёт она жениха, всё равно достанется кому-нибудь так. Сама идёт в руки, и с таким испугом стучит у обоих... Перед тем, как нырнуть в лагерь, где уж этого ни за что не будет...

— Мне жаль будет уехать... так... Я хотел бы увезти память о... о твоём... о твоей... Вообще оставить тебя... с ребёнком...

Она стремглав опустила пристыженное лицо и сопротивлялась его пальцам, пытавшимся вновь запрокинуть ей голову.

— Перепёлочка... ну, не прячься... Ну, подними головку. Что ты замолчала? А ты — хочешь?

Она вскинула голову и изглубока сказала:

— Я буду вас ждать! Вам — пять осталось? — я буду вас пять лет ждать! А вы, когда освободитесь — вернётесь ко мне?

Он этого не говорил. Она поворачивала так, будто у него нет жены. Она обязательно хотела замуж, долгоносенькая!

Жена Глеба жила тут же, где-то в Москве. Где-то в Москве, но всё равно, как если бы и на Марсе.

А кроме Симочки на коленях и кроме жены на Марсе, ещё были в письменном столе захороненные — его этюды о русской революции,

забравшие столько труда, втянувшие лучшие мысли. Его первые нащупывающие формулировки.

Ни клочка записей не выпускали с шарашки. Да и на обысках пересылок они могли дать ему только новый срок.

И надо было солгать сейчас! Солгать, пообещать, как это всегда обещается. И тогда, уезжая, безопасно оставить написанное у Симочки.

Но и во имя такой цели не было у него сил солгать перед глазами, смотревшими с надеждой.

Убегая от тех глаз, от того вопроса, он стал целовать её маленькие неокруглые плечи, оголённые из-под блузки его руками.

— Ты меня как-то спрашивала, что я всё пишу да пишу,— с затруднением сказал он.

— А что? Что ты пишешь? — любопытно спросила Симочка.

Если б она не перебила, не спросила так жадно, — он бы, кажется, сейчас ей сам что-то рассказал. Но она с нетерпением спросила — и он насторожился. Он столько лет жил в мире, где протянуты были всюду хитрые незаметные проволочки мин, проволочки ко взрывателям.

Вот эти доверчивые любящие глаза — они вполне могли работать на оперуполномоченного.

Ведь с чего началось у них? Первый прикоснулся щекою не он — она. Так это могло быть подстроено!..

— Так, историческое, — ответил он. — Вообще историческое, из петровских времён... Но мне это дорого. Пока Антон меня не вышвырнет — я ещё буду писать. А куда я всё дену, уезжая?

И подозрительно углубился глазами в её глаза.

Симочка покойно улыбалась:

— Как — куда? Мне отдашь. Я сохраню. Пиши, милый. — И ещё выматривала в нём: — Скажи, а твоя жена — очень красивая?

Зазвонил индукторный полевой телефон, которым будка соединялась с лабораторией. Сима взяла трубку, нажала разговорный клапан, так что её стало слышно на другом конце провода, но не поднесла трубки ко рту, а — раскрасневшаяся, в расстрёпанной одежде — стала читать бесстрастным мерным голосом артикуляционную таблицу:

— ...дьер... фскоп... штап... Да, я слушаю... Что, Валентин Мартыныч? Двойной диод-триод?... Шесть-Гэ-семь нету, но кажется есть шесть-Гэ-два. Сейчас я кончу таблицу и выйду... гвен... жан... — и отпустила клапан. И ещё тёрлась головой о грудь Глеба. — Надо идти, становится заметно. Ну, отпустите меня...

Но в голосе её не было никакой решительности.

Он плотней охватил и сильно прижал её к себе вверху внизу, всю:

— Нет!.. Я отпускал тебя — и зря. А вот теперь нет!

— Опомнитесь, меня ждут! Надо лабораторию закрывать!

— Сейчас! Здесь! — требовал он.

И целовал.

— Не сегодня! — возражала она, послушная.

— Когда же?

— В понедельник... Я опять буду дежурить, вместо Лиры... Приходите в ужинный перерыв... Целый час будем с вами... Если этот сумасшедший Валентуля не придёт..

Пока Глеб открывал двери и отпирал другие двери Сима была уже застёгнута, причёсана и вышла первая, неприступно-холодна.

14

— Я в эту синюю лампочку когда-нибудь сапогом запущу, чтоб не раздражала.

— Не попадёшь.

— С пяти метров — чего не попасть? Спорим на завтрашний компот?

— Ты ж разуваешься на нижней койке, метр добавь.

— Ну, с шести. Ведь вот, гады, чего не выдумают — лишь бы зэкам досадить. Всю ночь на глаза давит.

— Синий свет?

— А что? Световое давление. Лебедев открыл. Аристипп Иваныч, вы не спите? Не откажите в любезности, подайте мне наверх один мой сапог.

— Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать, но ответьте прежде, чем вам не угодил синий свет?

— Хотя бы тем, что у него длина волны короткая, а кванты большие. Кванты по глазам бьют.

— Светит он мягко, и мне лично напоминает синюю лампадку, которую в детстве зажигала на ночь мама.

— Мама! — в голубых погонах! Вот вам, пожалуйста, разве можно людям дать подлинную демократию? Я заметил: в любой камере по любому мельчайшему вопросу — о мытье мисок, о подметании пола, вспыхивают оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей. Только дубина, увы, может указать им истину.

— А что, лампадке здесь было бы подстать. Ведь это бывший алтарь.

— Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили.

— Дмитрий Александрыч! Что вы делаете? В декабре окно открываете! Пора это кончать.

— Господа! Кислород как раз и делает зэка бессмертным. В комнате двадцать четыре человека, на дворе — ни мороза, ни ветра. Я открываю на Эренбурга.

— И даже на полтора! На верхних койках духотища!

— Эренбурга вы как считаете, — по ширине?

— Нет, господа, по длине, очень хорошо упирается в раму.

— С ума сойти, где мой лагерный бушлат?

— Всех этих кислородников я послал бы на Оймякон, на общице. При шестидесяти градусах ниже нуля они бы отработали двенадцать часиков, — в козлятник бы приползли, только бы тепло!

— В принципе я не против кислорода, но почему кислород всегда холодный? Я — за подогретый кислород.

— ...Что за чёрт? Почему в комнате темно? Почему так рано гасят белый свет?

— Валентуля, вы фрайер! Вы бродили б ещё до часу! Какой вам свет в двенадцать?

— А вы — пижон!

В синем комбинезоне
Надо мной пижон.
В лагерной зоне —
Как хорошо!

Опять накурили? Зачем вы все курите? Фу, гадость... Э-э, и чайник холодный.

— Валентуля, где Лев?

— А что, его на койке нет?

— Да книг десятка два лежит, а самого нет.

— Значит, около уборной.

— Почему — около?

— А там лампочку белую вкрутили, и стенка от кухни тёплая. Он, наверно, книжку читает. Я иду умываться. Что ему передать?

— Да-а... Стелет она мне на полу, а себе тут же, на кровати. Ну, сочная баба, ну такая сочная...

— Друзья, я вас прошу — о чём-нибудь другом, только не про баб. На шарашке с нашей мясной пищей — это социально-опасный разговор.

— Вообще, орлы, кончайте! Отбой был.

— Не то что отбой, по-моему уже гимн слышно откуда-то.

— Спать захочешь — уснёшь, небось.

— Никакого чувства юмора: пять минут сплошь дуют гимн. Все книжки вылезают: когда он кончится? Неужели нельзя было ограничиться одной строфой?

— А позывные? Для такой страны, как Россия?!.. Жабьи вкусы.

— В Африке я служил. У Роммеля. Там что плохо? — жарко очень и воды нет...

— В Ледовитом океане есть остров такой — Махоткина. А сам Махоткин — лётчик полярный, сидит за антисоветскую агитацию.

— Михаил Кузьмич, что вы там всё ворочаетесь?

— Ну, повернуться с боку на бок я могу?

— Можете, но помните, что всякий ваш даже небольшой поворот внизу отдаётся здесь, наверху, громадной амплитудой.

— Вы, Иван Иванович, ещё лагерь миновали. Там — вагонка четвертая, один повернётся — троих качает. А внизу ещё кто-нибудь цветным тряпьем завесится, бабу приведёт — и наворачивает. Двенадцать баллов качка! Ничего, спят люди.

— Григорий Борисыч, а когда вы на шарашку первый раз попали?

— Я думаю там пентод поставить и реостатик маленький.

— Человек он был самостоятельный, аккуратный. Сапоги на ночь скинет — на полу не оставит, под голову лóжит.

— В те года на полу не оставляй!

— В Освенциме я был. В Освенциме вот страшно: с вокзала к крематориям ведут — и музыка играет.

— Рыбалка там замечательная, это одно, а другое — охота. Осенью час походишь — фазанами весь изувешен. В камыши зайдёшь — кабаны, в поле — зайцы...

— Все эти шарашки повелись с девятьсот тридцатого года, как стали инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора составляли. Потом — рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух больших учёных: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию, обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на воле — это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу полстакана сметаны и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живёт в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматинки, покурят — скучно. Может, изобретём что-нибудь? Давайте! Так создано многое в нашей науке! И в этом — основная идея шарашек.

— ...Друзья! Новость!! Бобынина куда-то повезли!

— Валька, не скули, подушкой наверну!

— Куда, Валентуля?

— Как повезли?

— Младшина пришёл, сказал — надеть пальто, шапку.

— И с вещами?

— Без вещей.

— Наверно, к начальству большому.

— К Фоме?

— Фома бы сам приехал, хватай выше!

— Чай остыл, какая пошлость!..

— Валентуля, вот вы ложечкой об стакан всегда стучите после отбоя, как это мне надоело!

— Спокойно, а как же мешать сахар?

— Беззвучно.

— Беззвучно происходят только космические катастрофы, потому что в мировом пространстве звук не распространяется. Если бы за нашими плечами разорвалась Новая Звезда, — мы бы даже не услы-

шали. Руська, у тебя одеяло упадёт, что ты свесил? Ты не спишь? Тебе известно, что наше Солнце — Новая Звезда, и Земля обречена на гибель в самое ближайшее время?

— Я не хочу в это верить. Я молодой и хочу жить!

— Ха-ха! Примитивно!.. Какой чай холодный... *С'э лё мо!* Он хочет жить!

— Валька! Куда повезли Бобынина?

— Откуда я знаю? Может — к Сталину.

— А что бы вы сделали, Валентуля, если бы к Сталину позвали вас?

— Меня? Хо-го! Парниша! Я б ему объявил протест по всем пунктам!

— Ну, по каким, например?

— Ну, по всем — по всем — по всем. *Пар экзапль* — почему живём без женщин? Это сковывает наши творческие возможности.

— Пряничик! Заткнись! Все спят давно — чего разорался?

— Но если я не хочу спать?

— Друзья, кто курит — прячьте огоньки, идёт младшина.

— Что это он, падло?.. Не споткнитесь, гражданин младший лейтенант — долго ли нос расшибить?

— Пряничиков!

— А?

— Где вы? Ещё не спите?

— Уже сплю.

— Оденьтесь быстро.

— Куда? Я спать хочу.

— Оденьтесь-оденьтесь, пальто, шапку.

— С вещами?

— Без вещей. Машина ждёт, быстро.

— Это что — я вместе с Бобыниным поеду?

— Уж он уехал, за вами другая.

— А какая машина, младший лейтенант, — воронок?

— Быстрей, быстрей. «Победа».

— Да кто вызывает?

— Ну, Пряничиков, ну что я вам буду всё объяснять? Сам не знаю, быстрей.

— Валька! Сказані там!

— Про свидания скажи! Что, гады, Пятьдесят Восьмой статье свидание раз в год?

— Про прогулки скажи!

— Про письма!..

— Про обмундирование!

— Рот фронт, ребята! Ха-ха! *Агьё!*

— ...Товарищ младший лейтенант! Где, наконец, Пряничиков?

— Даю, даю, товарищ майор! Вот он!

— Про всё Валька, кроши, не стесняйся!..

— Во псы разбегались среди ночи!

— Что случилось?

— Никогда такого не было...

— Может, война началась? Расстреливать возят?..

— Тю на тебя, дурак! Кто б это стал нас — по одному возить? Когда война начнётся — нас скопом перебьют или чумой заразят через кашу, как немцы в концлагерях, в сорок пятом...

— Ну, ладно, спать, братья! Завтра узнаем.

— Это вот так, бывало, в тридцать девятом — в сороковом Бориса Сергеевича Стечкина с шарашки вызовет Берия. — уж он с пустыми руками не вернётся: или начальника тюрьмы переменят или прогулки увеличат... Стечкин терпеть не мог этой системы подкупа, этих категорий питания, когда академикам дают сметану и яйца, профессорам — сорок грамм сливочного масла, а простым лошадам по два-

дцать... Хорош человек был Борис Сергеевич, царство ему небесное...

— Умер?

— Нет, освободился... Лауреатом стал.

15

Потом стих и мерный усталый голос *повторника* Абрамсона, побывавшего на шарашках ещё во время своего первого срока. В двух сторонах дошёптывали начатые истории. Кто-то громко и противно храпел, минутами будто собираясь взорваться.

Неяркая синяя лампочка над широкими четырехстворчатыми дверьми, вделанными во входную арку, освещала с дюжину двухэтажных наваренных коек, веером расставленных по большой полукруглой комнате. Эта комната — может быть, единственная такая в Москве, имела двенадцать добрых мужских шагов в диаметре, вверху — просторный купол, сведенный парусом под основание шестиугольной башни, а по дуге — пять стройных, скругленных поверху окон. Окна были обрешечены, но *наморгников* на них не было, днём сквозь них был виден по ту сторону шоссе парк, необихоженный, как лес, а летними вечерами доносились тревожащие песни безмужних девушек московского предместья.

Нержин на верхней койке у центрального окна не спал, да и не пытался. Внизу под ним безмятежным сном рабочего человека давно спал инженер Потапов. На соседних койках — слева, через проходец, доверчиво раскидался и посапывал круглолицый вакуумщик Земеля (под ним пустела кровать Пряничкова), справа же, на койке, приставленной вплотную, метался в бессоннице Руська Доронин, один из самых молодых зсков шарашки.

Сейчас, отдаляясь от разговора в кабинете Яконова, Нержин понимал всё ясней: отказ от криптографической группы был не служебное происшествие, а поворотный пункт целой жизни. Он должен был повлечь — и, может быть, очень вскоре — тяжёлый долгий этап куда-нибудь в Сибирь или в Арктику. Привести к смерти или к победе над смертью.

Хотелось и думать об этом жизненном изломе. Что успел он за трёхлетнюю шарашечную передышку? Достаточно ли он закалил свой характер перед новым швырком в лагерный провал?

И так совпало, что завтра Глебу тридцать один год (не было, конечно, никакого настроения напоминать друзьям эту дату). Середина ли это жизни? Почти конец её? Только начало?

Но мысли мешались. Огляд вечности не состраивался. То вступала слабость: ведь ещё не поздно и поправить, согласиться на криптографию. То приходила на память обида, что одиннадцать месяцев ему всё откладывают и откладывают свидание с женой — и уж теперь дадут ли до отъезда?

И, наконец, просыпался и раскручивался в нём — нахрап и хват, совсем не он, не Нержин, а тот, кто вынужденно выпер из нерешительного мальчика в очередях у хлебных магазинов первой пятилетки, а потом утверждался всей жизненной обстановкой и особенно лагерем. Этот внутренний, цепкий, уже бодро сообразжал, какие обыски ждут — на выходе из Марфина, на приёмке в Бутырки, на Красную Пресню; и как спрятать в телогрейке кусочки изломанного грифеля; как суметь вывезти с шарашки старую спецодежду (работяге каждая лишняя шкура дорога); как доказать, что алюминиевая чайная ложка, весь срок возимая им с собой, его собственная, а не украдена с шарашки, где почти такие же.

И был зуд — прямо хоть сейчас, при синем свете, вставать и начинать все приготовления, перекладки и похоронки.

Между тем Руська Доронин то и дело резко менял положение: он валился ничком, по самые плечи уходя в подушку, натягивал одеяло

на голову и стаскивая с ног; потом перепластывался на спину, сбрасывая одеяло, обнажая белый пододеяльник и темноватую простыню (каждую баню меняли одну из двух простынь, но сейчас, к декабрю, спецтюрьма перерасходовала годовой лимит мыла, и баня задерживалась). Вдруг он сел на кровати и посунулся назад вместе с подушкой к железной спинке, открыв там на углу матраса томищу Моммзена, «Историю древнего Рима». Заметив, что Нержин, уставясь в синюю лампочку, не спит, Руська хриплым шёпотом попросил:

— Глеб! У тебя есть близко папиросы? Дай.

Руська обычно не курил. Нержин дотянулся до кармана комбинезона, повешенного на спинку, вынул две папиросы, и они закурили.

Руська курил сосредоточенно, не оборачиваясь к Нержину. Лицо Руськи, всегда изменчивое, то простодушно-мальчишеское, то лицо вдохновенного обманщика — под клубом вольных тёмно-белых волос даже в мертвенном свете синей лампочки казалось привлекательным.

— На вот,— подставил ему Нержин пустую пачку из-под «Беломора» вместо пепельницы.

Стали стряхивать туда.

Руська был на шарашке с лета. С первого же взгляда он очень понравился Нержину и возбудил желание покровительствовать ему.

Но оказалось, что Руська, хотя ему было только двадцать три года (а лагерный срок закатали ему двадцать пять), в покровительстве вовсе не нуждался: и характер, и мировоззрение его вполне сформировались в короткой, но бурной жизни, в пестроте событий и впечатлений — не так двумя неделями учёбы в Московском университете и двумя неделями в Ленинградском, как двумя годами жизни по поддельным паспортам под всесоюзным розыском (Глебу это было сообщено под глубоким секретом) и теперь двумя годами заключения. Со мгновенной переимчивостью, как говорится — с ходу, усвоил он волчьи законы ГУЛага. всегда был насторожен, лишь с немногими — откровенен, а со всеми — только казался ребячески откровенным. Ещё он был кипуч, старался уместить много в малое время — и чтение тоже было одним из таких его занятий.

Сейчас Глеб, недовольный своими беспорядочными мелкими мыслями, не ощущая наклона ко сну и ещё меньше предполагая его в Руське, в тишине умолкнувшей комнаты спросил шёпотом:

— Ну? Как теория циклов?

Эту теорию они обсуждали недавно, и Руська взялся поискать ей подтверждений у Моммзена.

Руська обернулся на шёпот, но смотрел непонимающе. Кожа лица его, особенно лба, перебегала, выражая усилие доосмыслить, о чём его спросили.

— Как с теорией цикличности, говорю?

Руська вздохнул, и вместе с выдохом с его лица ушло то напряжение и та беспокойная мысль. Он обвис, сполз на локоть, бросил погасший недокурок в подставленную ему пустую пачку и вяло сказал:

— Всё надоело. И книги. И теории.

И опять они замолчали. Нержин уже хотел отвернуться на другой бок, как Руська усмехнулся и зашептал, постепенно увлекаясь и убыстряя:

— История до того однообразна, что противно её читать. Всё равно как «Правду». Чем человек благородней и честней, — тем хамее поступают с ним соотечественники. Спурий Кассий хотел добиться земли для простолюдинов — и простолюдины же отдали его смерти. Спурий Мелий хотел накормить хлебом голодный народ — и казнён будто бы он добивался царской власти. Марк Манлий тот, что проснулся по гоготанию хрестоматийных гусей и спас Капитолий, — казнён как государственный изменник! А?..

— Да что ты!

— Начитаешься истории — самому хочется стать подлецом, наиболее выгодное дело! Великого Ганнибала, без которого мы и Карфагена бы не знали — этот ничтожный Карфаген изгнал, конфисковал имущество, срыл жилище! Всё — уже было... Уже тогда Гнея Невия сажали в колодки, чтоб он перестал писать смелые пьесы. Ещё этолицы, задолго до нас, объявили лживую амнистию, чтоб заманить эмигрантов на родину и умертвить их. Ещё в Риме выяснили истину, которую забывает ГУЛаг: что раба незаконно оставлять голодным и надо кормить. Вся история — одно сплошное ...ядство! Кто кого схопает, тот того и лопает. Нет ни истины, ни заблуждения, ни развития. И некуда звать.

В безжизненном освещении особенно растравно выглядело подёрживание неверия на губах — таких молодых.

Мысли эти отчасти были подготовлены в Руське самим же Нержиным, но сейчас, из уст Руськи, вызвали желание протестовать. Среди своих старших товарищей Глеб привык ниспровергать, но перед арестантом более молодым чувствовал ответственность.

— Хочу тебя предупредить, Ростислав, — очень тихо возражал Нержин, склоняясь почти к уху соседа. — Как бы ни были остроумны и беспощадны системы скептицизма или там агностицизма, пессимизма, — пойми, они по самой сути своей обречены на безволие. Ведь они не могут руководить человеческой деятельностью — потому что люди ведь не могут остановиться, и значит не могут отказаться от систем, что-то утверждающих, куда-то призывающих...

— Хотя бы в болото? Лишь бы переться? — со злостью возразил Руська.

— Хотя бы... Ч-ч-чёрт его знает, — заколебался Глеб. — Ты пойми, я сам считаю, что скептицизм человечеству очень нужен. Он нужен, чтобы расколоть наши каменные лбы, чтобы поперхнуть наши фанатические глотки. На русской почве особенно нужен, хотя и особенно трудно прививается. Но скептицизм не может стать твёрдой землёй под ногой человека. А земля всё-таки — нужна?

— Дай ещё папиросу! — попросил Ростислав. И закурил нервно. — Слушай, как хорошо, что МГБ не дало мне учиться! на историка! — раздельным громковатым шёпотом говорил он. — Ну, кончил бы я университет или даже аспирантуру, кусок идиота. Ну, стал бы учёным, допустим даже не продажным, хотя трудно допустить. Ну, написал бы пухлый том. С какой-то ещё восьмьсот третьей точки зрения посмотрел бы на новгородские пятинны или на войну Цезаря с гелльетами. Столько на земле культур! языков! стран! и в каждой стране столько умных людей и ещё больше умных книжек — какой дурак всё это будет читать?! Как это ты приводил? — «То, что с трудом великим измыслили знатоки, раскрывается другими, ещё большими знатоками, как призракное», да?

— Вот-вот, — упрекнул Нержин. — Ты теряешь всякую опору и всякую цель. Сомневаться можно и нужно. Но не нужно ли что-нибудь и полюбить, что ли?

— Да, да любить! — торжествующим хриплым шёпотом перехватил Руська. — Любить! — но не историю, не теорию, а де-вущ-ку! — Он перегнулся на кровать к Нержину и схватил его за локоть. — А чего лишили нас, скажи? Права ходить на собрания? На политучёбу? Подписываться на заём? Единственное, в чём Пахан мог нам навредить — это лишить нас женщины! И он это сделал. На двадцать пять лет! Собака!! Да кто это может представить, — бил он себя в грудь, — что такое женщина для арестанта?

— Ты... не кончи сумасшествием! — пытался обороняться Нержин. но самого его охватила внезапная горячая волна при мысли о Симочке, о её обещании в понельник вечером... — Выбрось эту мысль! На ней мозг затемнится. — (Но в понедельник!.. Чего совсем не ценят благополучные семейные люди, но что подымается ознобляющим

зверством в измученном арестанте!) — Фрейдовский комплекс или симплекс, как там его чёрта — всё слабей говорил он, мутясь. — В общем: сублимация! Переключай энергию в другие сферы! Занимайся философией — не нужно ни хлеба, ни воды, ни женской ласки.

(А сам содрогнулся, представляя подробно, как это будет послезавтра — и от этой мысли, до ужаса сладкой, отнялась речь, не хотелось продолжать.)

— У меня мозг уже затемнился! Я не засну до утра! Девушку! Девушку каждому надо! Чтоб она в руках у тебя... Чтобы... А, да что там!.. — Руська обронил ещё горящую папиросу на одеяло, но не заметил того, резко отвернулся, шлёпнулся на живот и дёрнул одеяло на голову, стягивая с ног.

Нержин еле успел подхватить и погасить папиросу, уже катившуюся меж их кроватей вниз на Потапова.

Философию представлял он Руське как убежище, но сам в том убежище был давно. Руську гонял всесоюзный розыск, теперь когтила тюрьма. Но что держало Глеба, когда ему было семнадцать и девятнадцать и вот эти горячие шквалы затмений налетали, отнимая разум? — а он себя струнил, передавливал и пятаком поросычьим тыкался, тыкался в ту диалектику, хрюкал и втягивал, боялся не успеть. Все эти годы до женитьбы, свою невозвратимую, не тем занятую юность, горше всего вспоминал он теперь в тюремных камерах. Он беспомощно не умел разрешать тех затмений: не знал тех слов, которые приближают, того тона, которому уступают. Ещё его связывала от прошлых веков вколоченная забота о женской чести. И никакая женщина, опытней и мудрей, не положила ему мягкой руки на плечо. Нет, одна и звала его, а он тогда не понял! только на тюремном полу перебрал и осознал — и этот упущенный случай, целые годы упущенные, целый мир — жгли его тут напрокол.

Ну ничего, теперь уже дожить меньше двух суток, до вечера понедельника.

Глеб наклонился к уху соседа:

— Руська! А у тебя — что? Кто-нибудь есть?

— Да! Есть! — с мукой прошептал Ростислав, лёжа пластом, сжимая подушку. Он дышал в неё — и ответный жар подушки, и весь жар юности, так зло-бесплодно чахнувшей в тюрьме, — всё накаляло его молодое, пойманное, просящее выхода и не знающее выхода тело. Он сказал — «есть», и он хотел верить, что девушка есть, но было только неуловимое: не поцелуй, даже не обещание, было только то, что девушка со взглядом сочувствия и восхищения слушала сегодня вечером, как он рассказывал о себе — и в этом взгляде девушки Руська впервые осознал сам себя как героя, и биографию свою как необыкновенную. Ничего ещё не произошло между ними, и вместе с тем уже произошло что-то, отчего он мог сказать, что девушка у него — есть.

— Но кто она, слушай? — допытывался Глеб.

Чуть приоткрыв одеяло, Ростислав ответил из темноты:

— Тс-с-с... Клара...

— Клара?? Дочь прокурора?!!

16

Начальник Отдела Специальных Задач кончал свой доклад у министра Абакумова. (Речь шла о согласовании календарных сроков и конкретных исполнителей смертных актов за границей в наступающем 1950-м году; принципиальный же план политических убийств был утверждён самим Сталиным ещё перед уходом в отпуск.)

Высокий (ещё увышенный высокими каблуками), с зачёсанными назад чёрными волосами, с погонами генерального комиссара второго ранга, Абакумов победно попира локтями свой крупный письменный стол. Он был дюж, но не толст (он знал цену фигуре и даже поигрывал

в теннис). Глаза его были неглупые и имели подвижность подозрительности и сообразительности. Где надо, он поправлял начальника отдела, и тот спешил записывать.

Кабинет Абакумова был если и не зал, то и не комната. Тут был и бездействующий мраморный камин и высокое пристенное зеркало; потолок — высокий, лепной, на нём люстра, и нарисованы купидоны и нимфы в погоне друг за другом (министр разрешил там оставить всё как было, только зелёный цвет перекрасить, потому что терпеть его не мог). Была балконная дверь, глухо забитая на зиму и на лето; и большие окна, выходявшие на площадь и не отворяемые никогда. Часы тут были: стоячие, отменные футляром; и накаминные, с фигуркою и боем; и вокзальные электрические на стене. Часы эти показывали довольно-таки разное время, но Абакумов никогда не ошибался, потому что ещё двое золотых у него было при себе: на волосатой руке и в кармане (с сигналом).

В этом здании кабинеты росли с ростом чинов их обладателей. Росли письменные столы. Росли столы заседаний под скатертями синего, алого и малинового сукна. Но ревнивее всего росли портреты Вдохновителя и Организатора Побед. Даже в кабинете простых следователей он был изображён много больше своей натуральной величины, в кабинете же Абакумова Вождь Человечества был выписан кремлёвским художником-реалистом на полотне пятиметровой высоты, в полный рост от сапог до маршальского картуза, в блеске всех орденов (никогда им и не носимых), полученных большей частью от самого себя, частью — от других королей и президентов, и только югославские ордена были старательно потом замазаны под цвет сукна кителя.

Как бы, однако, сознавая недостаточность этого пятиметрового изображения и испытывая потребность всякую минуту вдохновляться видом Лучшего Друга контрразведчиков, даже когда глаза не подняты от стола,—Абакумов ещё и на столе держал барельеф Сталина на стоячей родонитовой плите.

А ещё на одной стене просторно помещался квадратный портрет сладковатого человека в пенсне, кто направлял Абакумова непосредственно.

Когда начальник смертного отдела ушёл,— во входных дверях показались пепочкой и прошли цепочкой по узору ковра заместитель министра Селивановский, начальник отдела Специальной Техники генерал-майор Осколупов и главный инженер того же отдела инженер-полковник Яконов. Соблюдая чинопочитание друг перед другом и выказывая особое уважение к обладателю кабинета, они так и шли, не сходя со средней полоски ковра, гуськом. по-индейски, ступая след в след, слышны же были шаги одного Селивановского.

Худощавый старик с перемешанными седыми и серыми волосами, стриженными бобриком, в сером костюме невоенного покроя, Селивановский из десяти заместителей министра был на особом положении как бы нестроевого: он заведовал не оперчекистскими и не следовательскими управлениями, а связью и хрупкой секретной техникой. Поэтому на совещаниях и в приказах ему меньше перепало от гнева министра, он держался в этом кабинете не так скованно и сейчас уселся в кожаное толстое кресло перед столом.

Когда Селивановский сел,— передним оказался уже Осколупов. Яконов же стоял позади него, как бы пряча свою дородность.

Абакумов посмотрел на открывшегося ему Осколупова, которого видел в жизни разве что раза три — и что-то симпатичное показалось ему в нём. Осколупов был расположен к полноте, шея его распирала воротник кителя, а подбородок, сейчас подобострастно подобранный, несколько отвисал. Одубелое лицо его, изрытое оспой щедрее, чем у Вождя, было простое честное лицо исполнителя, а не заумное лицо интеллигента, много из себя воображающего.

Прищурясь поверх его плеча на Яконова, Абакумов спросил:

— Ты — кто?

— Я? — перегнулся Осколупов, удручённый, что его не узнали.

— Я? — выдвинулся Яконов чуть вбок. Он втянул, сколько мог, свой вызывающий мягкий живот, выросший вопреки всем его усилиям, — и никакой мысли не дозволено было выразиться в его больших синих глазах, когда он представился.

— Ты, ты, — подтвердительно просопел министр. — Объект Марфино — твой, значит? Ладно, садитесь.

Сели.

Министр взял разрезной нож из рубинового плексигласа, почесал им за ухом и сказал:

— В общем, так... Вы мне голову морочите сколько? Два года? А по плану вам было пятнадцать месяцев? Когда будут готовы два аппарата? — И угрожающе предупредил: — Не врать! Вранья не люблю!

Именно к этому вопросу и готовились три высоких агуна, узнав, что их троих вызывают вместе. Как они и договорились, начал Осколупов. Как бы вырываясь вперёд из отогнутых назад плеч и восторженно глядя в глаза всесильного министра, он произнёс:

— Товарищ министр!.. Товарищ генерал-полковник! — (Абакумов больше любил так, чем «генеральный комиссар») — Разрешите заверить вас, что личный состав отдела не пожалеет усилий...

Лицо Абакумова выразило удивление:

— Что мы? — на собрании, что ли? Что мне вашими усилиями? — задницу обматывать? Я говорю — к числу к какому?

И взял авторучку с золотым пером и приблизился ею к семидневке-календарю.

Тогда по условию вступил Яконов, самым тоном своим и негромкостью голоса подчёркивая, что говорит не как администратор, а как специалист:

— Товарищ министр! При полосе частот до двух тысяч четырёхсот герц, при среднем уровне передачи ноль целых девять десятых непера...

— Херц, херц! Ноль целых, херц десятых — вот это у вас только и получается! На хрена мне твои ноль целых? Ты мне аппарата дай — да! целых! Когда? А? — И обвёл глазами всех троих.

Теперь выступил Селивановский — медленно, перебирая одной рукой свой серо-седой бобрик:

— Разрешите узнать, что вы имеете в виду, Виктор Семёнович. Двусторонние переговоры ещё без абсолютной шифрации...

— Ты что из меня дурочку строишь? Как это — без шифрации? — быстро взглянул на него министр.

Пятнадцать лет назад, когда Абакумов не только не был министром, но ни сам он, ни другие и предполагать такого не могли (а был он фельдъегерем НКВД, как парень рослый, здоровый, с длинными ногами и руками), — ему вполне хватало его четырёхклассного начального образования. И поднимал он свой уровень только в джиу-джицу и тренировался только в залах «Динамо».

Когда же, в годы расширения и обновления следовательских кадров, выяснилось, что Абакумов хорошо ведёт следствие, руками длинными ловко и лихо подносы в морду, и началась его великая карьера, и за семь лет он стал начальником контрразведки СМЕРШ, а теперь вот и министром, — ни разу на этом долгом пути восхождения он не ощутил недостатка своего образования. Он достаточно ориентировался и тут, наверху, чтобы подчинённые не могли его дурочить.

Сейчас Абакумов уже начинал злиться и приподнял над столом сжатый кулак с булыгу, — как растворилась высокая дверь и в неё без стука вошёл Михаил Дмитриевич Рюмин — низенький кругленький херувимчик с приятным румянцем на щеках, которого всё министерство называло *Минькой*, но редко кто — в глаза.

Он шёл, как котик, беззвучно. Приблизясь, невинно-светлыми гла-

зами окинул сидящих, поздоровался за руку с Селивановским (тот привстал), подошёл к торцу стола министра и, склонив головку, маленькими пухлыми ладонями чуть поглаживая желобчатый скос столешницы, задумчиво промурлыкал:

— Вот что, Виктор Семёныч, по-моему это задача — Селивановского. Мы отдел спецтехники не даром же хлебом кормим? Неужели они не могут по магнитной ленте узнать голоса? Разогнать их тогда.

И улыбнулся так сладенько, будто угощал девочку шоколадкой. И ласково оглядел всех трех представителей отдела.

Рюмин прожил много лет совершенно незаметным человеком — бухгалтером райпотребсоюза в Архангельской области. Розовенький, одуловатый, с обиженными губками, он, сколько мог, донимал ехидными замечаниями своих счетоводов, постоянно сосал леденцы, угощал ими экспедитора, с шоферами разговаривал дипломатически, с кучерами заносчиво и аккуратно подкладывал акты на стол председателя.

Но во время войны его взяли во флот и приготовили из него следователя Особого отдела. И тут Рюмин нашёл себя! — с усердием и успехом (может, к этому прыжку он и жмурился всю жизнь?) он освоил намотку дел. Даже с усердием избыточным — так грубо сляпал дело на одного северофлотского корреспондента, что всегда покорная Органам прокуратура тут не выдержала и — не остановила дела, нет! — но осмелилась донести Абакумову. Маленький северофлотский смершевский следователь был вызван к Абакумову на расправу. Он робко вступил в кабинет, чтобы потерять там круглую голову. Дверь затворилась. Когда она растворилась через час, Рюмин вышел оттуда со значительностью, уже старшим следователем по спецделам центрального аппарата СМЕРШа. С тех пор звезда его только взлетала (на гибель Абакумову, но оба ещё не знали о том).

— Я их и без этого разгону, Михал Дмитрич, поверь. Так разгону — костей не соберут! — ответил Абакумов и грозно оглядел всех троих.

Трое виновато потупились.

— Но что ты хочешь — я тоже не понимаю. Как же можно по телефону по голосу узнать? Ну, неизвестного — как узнать? Где его искать?

— Так я им ленту дам, разговор записан. Пусть крутят, сравнивают.

— Ну, а ты — арестовал кого-нибудь?

— А как же? — сладко улыбнулся Рюмин. — Взяли четверых около метро «Сокольники».

Но по лицу его промелькнула тень. Про себя он понимал, что взяли их слишком поздно, это не они. Но уж раз взяты — освобождать не полагается. Да может кого-то из них по этому же делу и придётся оформить, чтоб не осталось оно нераскрытым. Во вкрадчивом голосе Рюмина проскрипнуло раздражение:

— Да я им полминистерства иностранных дел сейчас на магнитофон запишу, пожалуйста. Но это лишнее. Там выбирать из человек пяти-семи, кто мог знать, в министерстве.

— Так арестуй их всех, собак, чего голову морочить? — возмутился Абакумов. — Семь человек! У нас страна большая, не обедняем!

— Нельзя, Виктор Семёныч, — благорассудно возразил Рюмин. — Это министерство — не Пищепром, так мы все нити потеряем, да ещё из посольств кто-нибудь в невозвращенцы лупанёт. Тут именно надо найти — кто? И как можно скорей.

— Гм-м... — подумал Абакумов. — Так что с чем сравнивать, не пойму?

— Ленту с лентой.

— Ленту с лентой?.. Да, когда-то ж надо эту технику осваивать. Селивановский, сможете?

— Я, Виктор Семёныч, ещё не понимаю, о чём речь.

— А чего тут понимать? Тут и понимать нечего. Какая-то сволоочь, гадюга какой-то, наверно, что дипломат, иначе ему неоткуда было узнать, сегодня вечером позвонил в американское посольство из автомата и завалил наших разведчиков там. Насчёт атомной бомбы. Вот угадай — молодчик будешь.

Селивановский, минуя Осколупова, посмотрел на Яконова. Яконов встретил его взгляд и немного приподнял брови, как бы расправляя их. Он хотел этим сказать, что дело новое, методики нет, опыта тоже, а хлопот и без того хватает — не стоит браться. Селивановский был достаточно интеллигентен, чтобы понять и это движение бровей и всю обстановку. И он приготовился запутать ясный вопрос в трёх соснах.

Но у Фомы Гурьяновича Осколупова шла своя работа мысли. Он вовсе не хотел быть дубиной на месте начальника отдела. С тех пор, как он был назначен на эту должность, он исполнился достоинства и сам вполне поверил, что владеет всеми проблемами и может в них разбираться лучше других — иначе б его не назначили. И хотя он в своё время не кончил и семилетки, но сейчас совершенно не допускал, чтобы кто-нибудь из подчинённых мог понимать дело лучше его — разве только в деталях, в схемах, где нужно руку приложить. Недавно он был в одном первоклассном санатории, был там в гражданском, без мундира, и выдавал себя за профессора электроники. Там он познакомился с очень известным писателем Казакевичем, тот глаз не спускал с Фомы Гурьяновича, всё записывал в книжку и говорил, что будет с него писать образ современного учёного. После этого санатория Фома окончательно почувствовал себя ученым.

И сейчас он сразу понял проблему и рванул упряжку:

— Товарищ министр! Так это мы — можем!

Селивановский удивлённо оглянулся на него:

— На каком объекте? Какая лаборатория?

— Да на телефонном, в Марфине. Ведь говорили ж — по телефону? Ну!

— Но Марфино выполняет более важную задачу.

— Ничего-о! Найдём людей! Там триста человек — что ж, не найдём?

И вперился взглядом готовности в лицо министра.

Абакумов не то что улыбнулся, но выразилась в его лице опять какая-то симпатия к генералу. Таким был и сам Абакумов, когда выдвигался — беззаветно готовый рубить в крошку всякого, на кого покажут. Всегда симпатичен тот младший, кто похож на тебя.

— Молодец! — одобрил он. — Так и надо рассуждать! Интересы государства! — а потом остальное. Верно?

— Так точно, товарищ министр! Так точно, товарищ генерал-полковник!

Рюмин, казалось, ничуть не удивился и не оценил самоотверженности рябого генерал-майора. Рассеянно глядя на Селивановского, он сказал:

— Так утром я к вам пришло.

Переглянулся с Абакумовым и ушёл, ступая неслышно.

Министр поковырялся пальцем в зубах, где застряло мясо с ужина.

— Ну, так когда же? Вы меня манили-манили — к первому августа, к октябрьским, к новому году, — ну?

И упёрся глазами в Яконова, вынуждая отвечать именно его.

Как будто что-то стесняло Яконова в постановке его шеи. Он повёл ею чуть вправо, потом чуть влево, поднял на министра свой холодноватый синий взгляд — и опустил.

Яконов знал себя остро-талантливым. Яконов знал, что ещё более талантливые люди, чем он, с мозгами, ничем другим, кроме рабо-

ты, не занятыми, по четырнадцать часов в день, без единого выходного в году, сидят над этой проклятой установкой. И безоглядчивые щедрые американцы, печатающие свои изобретения в открытых журналах, также косвенно участвуют в создании этой установки. Яконов знал и те тысячи трудностей, уже побеждённых и еще только возникающих, среди которых, как в море пловцы, пробираются его инженеры. Да, через шесть дней истекал последний из последних сроков, выпрошенных ими же самими у этого куска мяса, затянутого в китель. Но выпрашивать и назначать несуразные сроки приходилось потому, что с самого начала на эту десятилетнюю работу Корифей Наук отпустил срок год.

Там, в кабинете Селивановского, договорились просить отсрочки десять дней. К десятому января обещать два экземпляра телефонной установки. Так настоял замминистра. Так хотелось Осколупову. Расчёт был на то, чтобы дать хоть какую-нибудь недоработанную, но свежепокрашенную вещь. Абсолютности или неабсолютности шифрации никто сейчас проверять не будет и не сумеет — а пока испытывают общее качество да пока дойдет дело до серии, да пока повезут аппараты в наши посольства за границу — за это время ещё пройдет полгода, наладится и шифрация и качество звучания.

Но Яконов знал, что мёртвые вещи не слушаются человеческих сроков, что и к десятому января будет выходить из аппаратов не речь человеческая, а месиво. И неотклонимо повторится с Яконовым то же, что с Мамуриным: Хозяин позовёт Берию и спросит: какой дурак делал эту машину? Уберя его. И Яконов тоже станет в лучшем случае Железной Маской, а то и снова простым ээком.

И под взглядом министра почувствовав неразрываемую стяжку петли на своей шее, Яконов преодолел жалкий страх и бессознательно, как набирая воздуха в лёгкие, ахнул:

— Месяц ещё! Ещё один месяц! До первого февраля!

И просительно, почти по-собачьи, смотрел на Абакумова.

Талантливые люди иногда несправедливы к серякам. Абакумов был умней, чем казалось Яконову, но просто от долгого неупражнения ум стал бесполезен министру: вся его карьера складывалась так, что от думанья он проигрывал, а от служебного рвения выигрывал. И Абакумов старался меньше напрягать голову.

Он мог в душе понять, что не помогут десять дней и не поможет месяц там, где ушли два года. Но в его глазах виновата была эта тройка лгунов — сами были виноваты Селивановский, Осколупов и Яконов. Если так трудно — зачем, принимая задачу двадцать три месяца назад, согласились на год? Почему не потребовали три? (Он уже забыл, что так же нещадно торопил их тогда.) Упрись они тогда перед Абакумовым, — упёрся бы Абакумов перед Сталиным, два бы года выторговали, а третий протянули.

Но столь велик страх, вырабатываемый долголетним подчинением, что ни у кого из них ни тогда, ни сейчас не хватило мужества остояться перед начальством.

Сам Абакумов следовал известной похабной поговорке про запас и перед Сталиным всегда набавлял ещё пару запасных месяцев. Так и сейчас: обещано было Иосифу Виссарионовичу, что один аппарат будет стоять перед ним первого марта. Так что на худой конец можно было разрешить ещё месяц, — но чтоб это был действительно месяц.

И опять взяв авторучку, Абакумов совсем просто спросил:

— Это как — месяц? По-человечески месяц или опять брешете?

— Это точно! Это — точно! — обрадованный счастливым оборотом, сиял Осколупов так, будто прямо отсюда, из кабинета, порывался ехать в Марфино и сам братья за паяльник.

И тогда, мажа пером, Абакумов записал в настольном календаре:

— Вот. К ленинской годовщине. Все получите сталинскую премию. Селивановский — будет?

— Будет! будет!

— Осколупов! Голову оторву! Будет?

— Да товарищ министр, да там всего-то осталось...

— А — ты? Чем рискуешь — знаешь? Будет?

Ещё удерживая мужество, Яконов настоял:

— Месяц! К первому февраля.

— А если к первому не будет? Полковник! Взвесь! Врёшь.

Конечно, Яконов лгал. И конечно надо было просить два месяца. Но уж открыто.

— Будет, товарищ министр, — печально пообещал он.

— Ну, смотри, я за язык не тянул! Всё прощу — обмана не прощу!

Идите.

Облегчённые, всё так же цепочкой, след в след, они ушли, потупляясь перед ликом пятиметрового Сталина.

Но они рано радовались. Они не знали, что министр устроил им крысоловку.

Едва их вывели, как в кабинете было доложено:

— Инженер Прянчиков!

17

В эту ночь по приказу Абакумова сперва через Селивановского был вызван Яконов, а потом, уже втайне от них всех, на объект Марфино были посланы с перерывами по пятнадцать минут две телефонограммы: вызывался в министерство зэ-ка Бобынин, потом зэ-ка Прянчиков. Бобынина и Прянчикова доставили в отдельных машинах и посадили дожидаться в разных комнатах, лишая возможности сговориться.

Но Прянчиков вряд ли был способен сговариваться — по своей неестественной искренности, которую многие трезвые сыны века считали душевной ненормальностью. На шарашке её так и называли: «сдвиг фаз у Валентули».

Тем более не был он способен к сговору или какому-нибудь умыслу сейчас. Вся душа его была всколыхнута светящимися видениями Москвы, мелькавшими и мелькавшими за стёклами «Победы». После полосы окраинного мрака, окружавшего зону Марфина, тем разительней был этот выезд на сверкающее большое шоссе, к весёлой суете привокзальной площади, потом к неоновым витринам Сретенки. Для Прянчикова не стало ни шофёра, ни двух сопровождающих переодетых — казалось, не воздух, а пламя входило и выходило из его лёгких. Он не отрывался от стекла. Его и по дневной-то Москве никогда не возили, а вечерней Москвы ещё не видел ни один арестант за всю историю шарашки!

Перед Сретенскими воротами автомобиль задержался: из-за толпы, выходящей из кино, потом в ожидании светофора.

Миллионам заключённых, им казалось, что жизнь на воле без них остановилась, что мужчин нет и женщины изнывают от избытка никем не разделённой, никому не нужной любви. А тут катилась сытая, возбуждённая столичная толпа, мелькали шляпки, вуалетки, чернубурки — и вибрирующие чувства Валентина воспринимали, как сквозь мороз, сквозь непроницаемый кузов автомобиля его обдают удары, удары, удары духов проходящих женщин. Слышался смех, смутный говор, не до конца разборчивые фразы, — Валентину в пору было расшибить неподатливое пластмассовое стекло и крикнуть этим женщинам, что он молод, что он тоскует, что он сидит ни за что! После монастырского уединения шарашки это была какая-то феерия, кусочек той изящной жизни, которую ему никак не доводилось познать то из-за студенческой скудости, то из-за плена, то из-за тюрьмы.

Потом, ожидая в какой-то комнате, Пряничков не различал столов и стульев, стоявших там: чувства и впечатления, захватив его, отпустили нехотя.

Молодой лощёный подполковник попросил его следовать за собой. Пряничков, с нежной шеей, с тонкими запястьями, узкоплечий, тонконогий, никогда не выглядел ещё таким щуплым, как вступая в этот зал-кабинет, на пороге которого сопровождающий оставил его.

Пряничков даже не догадался, что это — кабинет (так он был просторен), и что пара золотых погонов в конце зала есть хозяин кабинета. И пятиметрового Сталина за своей спиной он тоже не заметил. Перед глазами его всё ещё шли ночные женщины и проносились ночная Москва. Валентин был словно пьян. Трудно было сообразить, зачем он в этом зале, что это за зал. Он не удивился бы, если б сюда вошли разряженные женщины и начались бы танцы. Нелепо было предположить, что в какой-то полукруглой комнате, освещённой сиянием лампочки, хотя война кончилась пять лет назад, остался его недопитый холодный стакан чая, и мужчины бродят в одном белье.

Ноги ступали по ковру, расточительно расстеленному по полу. Ковёр был мягок, ворсист, по нему хотелось просто кататься. Правой стороной зала шли большие окна, а на левой стороне виселось зеркало от самого пола.

Вольняшки не знают цены вещам! Для ээка, кому не всегда доступно дешёвенькое зеркальце меньше ладони, посмотреть на себя в большое зеркало — праздник!

Пряничков, как притянутый, остановился около зеркала. Он подошёл к нему очень близко, с удовлетворением рассмотрел своё чистое свежее лицо. Поправил немного галстук и воротник голубой рубашки. Потом стал медленно отходить, неотрывно оглядывая себя анфас, в три четверти и в профиль. Чуть прошёлся так, сделал некое полутанцующее движение. Опять приблизился и посмотрелся вплотную. Найдя себя, несмотря на синий комбинезон, вполне стройным и изящным и прийдя в наилучшее расположение духа, он не потому двинулся дальше, что его ждал деловой разговор (об этом Пряничков вовсе забыл), а потому, что намеревался продолжить осмотр помещения.

А человек, который мог из одной половины мира любого посадить в тюрьму, а из другой половины — любого убить, всевластный министр, перед которым впадали в бледность генералы и маршалы, теперь смотрел на этого щуплого синего ээка с любопытством. Миллионы людей арестовав и осудив, он сам давно уже не видел их близко.

Походкой гуляющего франта Пряничков подошёл и вопросительно посмотрел на министра, как бы не ожидав его тут встретить.

— Вы — инженер... — Абакумов сверился с бумажкой, — ...Пряничков?

— Да, — рассеянно подтвердил Валентин. — Да.

— Вы — ведущий инженер группы... — он опять заглянул в записку... — аппарата искусственной речи?

— Ка-кого аппарата искусственной речи! — отмахнулся Пряничков. — Что за чушь! Его никто так у нас не называет. Это переименовали в борьбе с низкопоклонством. Во-ко-дер. Voice coder.

— Но вы — ведущий инженер?

— Вообще да. А что такое? — насторожился Пряничков.

— Садитесь.

Пряничков охотно сел, заправски придерживая разглаженные ножные трубки комбинезона.

— Прошу вас говорить совершенно откровенно, не боясь никаких репрессий со стороны вашего непосредственного начальства. Вокодер — когда будет готов? Откровенно! Через месяц будет? Или, может быть, нужно два месяца? Скажите, не бойтесь.

— Вокодер? Готов?? Ха-ха-ха-ха! — звонким юношеским смехом, никогда не раздававшимся под этими сводами, расхохотался Пряничков, откинулся на мягкие кожаные спинки и всплеснул руками. — Да вы что?!! Что вы?!! Вы, значит, просто не понимаете, что такое вокодер. Я вам сейчас объясню!

Он упруго вскочил из пружинящего кресла и бросился к столу Абакумова.

— У вас клочок бумажки найдётся? Да вот! — Он вырвал лист из чистого блокнота на столе министра, схватил его ручку цвета красного мяса и стал торопливо коряво рисовать сложение синусоид.

Абакумов не испугался — столько детской сложности искренности и непосредственности было в голосе и во всех движениях странного инженера, что он стерпел этот натиск и с любопытством смотрел на Пряничкова, не слушая.

— Надо вам сказать, что голос человека составляется из многих гармоник, — почти захлёбываясь Пряничков от напора желая всё скорей высказать. — И вот идея вокодера состоит в искусственном воспроизведении человеческого голоса... Чёрт! Как вы пишете таким гадким пером?.. воспроизведении путём суммирования если не всех, то хотя бы основных гармоник, каждая из которых может быть послана отдельным датчиком импульсов. Ну, с системой декартовых прямоугольных координат вы, конечно, знакомы, это каждый школьник, а ряды Фурье вы знаете?

— Подождите, — опомнился Абакумов. — Вы мне только скажите одно: к о г д а будет готово? Г о т о в о — когда?

— Готово? Хм-м... Я над этим не задумывался. — В Пряничкове уже сменилась инерция вечерней столицы на инерцию его любимого труда, и снова уже ему было трудно остановиться. — Тут вот что интересно: задача облегчается, если мы идём на огрубление тембра голоса. Тогда число сагаемых...

— Ну, к какому числу? К какому? К первому марта? К первому апреля?

— Ой, что вы! Апреля?.. Без криптографов мы будем готовы месяца... ну, через четыре, через пять, не раньше. А что покажут шифрация и потом дешифрация импульсов? Ведь там качество ещё огрубится! Да не станем загадывать! — уговаривал он Абакумова, тняя его за рукав. — Я вам сейчас всё объясню. Вы сами поймёте и согласитесь, что в интересах дела не надо торопиться!..

Но Абакумов, заторможенным взглядом уперевшись в бессмысленные кривые линии чертежа, уже надавил кнопку в столе.

Появился тот же лощёный подполковник и пригласил Пряничкова к выходу.

Пряничков повиновался с растерянным выражением, с полуоткрытым ртом. Ему досаднее всего было, что он не досказал мысль. Потом, уже на ходу, он напрягся, соображая, с кем это он сейчас разговаривал. Почти уже подойдя к двери, он вспомнил, что ребята просили его жаловаться, добиваться... Он круто обернулся и направился назад:

— Да!! Слушайте! Я же совсем забыл вам...

Но подполковник преградил дорогу и теснил его к двери, начальник за столом не слушал, — и в этот короткий неловкий момент из памяти Пряничкова, давно уже захваченной одними радиотехническими схемами, как назло ускользнули все беззакония, все тюремные непорядки, и он только вспомнил и прокричал в дверях:

— Например, насчёт кипятка! С работы поздно вечером придёшь — кипятка нет! чаю нельзя пить!..

— Насчёт кипятка? — переспросил тот начальник, вроде генерала. — Ладно. Сделаем.

В таком же синем комбинезоне, но крупный, ражий, с остриженной каторжанской головой вошёл Бобынин.

Он проявил столько интереса к обстановке кабинета, как если бы здесь бывал по сту раз на дню, прошёл, не задерживаясь, и сел, не поздоровавшись. Сел он в одно из удобных кресел неподалеку от стола министра и обстоятельно высморкался в не очень белый, им самим стираный в последнюю баню платок.

Абакумов, несколько сбитый с толку Прянчиковым, но не принявший всерьёз легкомысленного юнца, был доволен теперь, что Бобынин выглядел внушительно. И он не крикнул ему: «встать!», а, полагая, что тот не разбирается в погонах и не догадался по анфиладе преддверий, куда попал, спросил почти миролюбиво:

— А почему вы без разрешения садитесь?

Бобынин, едва скосясь на министра, ещё кончая прочищать нос при помощи платка, ответил запросто:

— А, видите, есть такая китайская поговорка: стоять — лучше, чем ходить, сидеть — лучше, чем стоять, а ещё лучше — лежать.

— Но вы представляете — кем я могу быть?

Удобно облокотясь в избранном кресле, Бобынин теперь осмотрел Абакумова и высказал ленивое предположение:

— Ну — кем? Ну, кто-нибудь вроде маршала Геринга?

— Вроде к о г о ???..

— Маршала Геринга. Он однажды посетил авиазавод близ Галле, где мне пришлось в конструкторском бюро работать. Так тамошние генералы на цыпочках ходили, а я даже к нему не повернулся. Он посмотрел-посмотрел и в другую комнату пошёл.

По лицу Абакумова прошло движение, отдалённо похожее на улыбку, но тотчас же глаза его нахмурились на неслыханно-дерзкого арестанта. Он мигнул от напряжения и спросил:

— Так вы что? Не видите между нами разницы?

— Между *вами*? Или между *нами*? — голос Бобынина гудел как растревоженный чугуун. — Между *нами* отлично вижу: я вам нужен, а вы мне — нет!

У Абакумова тоже был голосок с громовыми раскатами, и он умел им припугнуть. Но сейчас чувствовал, что кричать было бы беспомощно, несолидно. Он понял, что арестант этот — трудный.

И только предупредил:

— Слушайте, заключённый. Если я с вами мягко, так вы не забываетесь...

— А если бы вы со мной грубо — я б с вами и разговаривать не стал, гражданин министр. Кричите на своих полковников да генералов, у них слишком много в жизни есть, им слишком жалко этого всего.

— Сколько нужно — и вас заставим.

— Ошибаетесь, гражданин министр! — И сильные глаза Бобынина сверкнули открытой ненавистью. — У меня ничего нет, вы понимаете — нет ничего! Жену мою и ребёнка вы уже не достанете — их взяла бомба. Родители мои — уже умерли. И имущества у меня всего на земле — носовой платок, а комбинезон и вот белё под ним без пуговиц (он обнажил грудь и показал) — казенное. Свободу вы у меня давно отняли, а вернуть её не в ваших силах, ибо её нет у вас самих. Лет мне отроду сорок два, сроку вы мне отсыпали двадцать пять, на каторге я уже был, в номерах ходил, и в наручниках, и с собаками, и в бригаде усиленного режима — чем ещё можете вы мне угрожать? чего ещё лишить? Инженерной работы? Вы от этого потеряете больше. Я закурю.

Абакумов раскрыл коробку «Тройки» кремлёвского выпуска и пододвинул Бобынину:

— Вот, возьмите этих.

— Спасибо. Не меняю марки. Кашель. — И достал «беломорину» из самодельного портсигара. — Вообще, поймите и передайте там, кому надо выше, что вы сильны лишь постольку, поскольку отбираете у людей не всё. Но человек, у которого вы отобрали всё — уже не подвластен вам, он снова свободен.

Бобынин смолк и углубился в курение. Ему нравилось дразнить министра и нравилось полулежать в таком удобном кресле. Он только жалел, что ради эффекта отказался от роскошных папирос.

Министр сверился с бумажкой.

— Инженер Бобынин! Вы — ведущий инженер установки «клипированная речь»?

— Да.

— Я вас прошу сказать совершенно точно: когда она будет готова к эксплуатации?

Бобынин вскинул густые тёмные брови:

— Что за новости? Не нашлось никого старше меня, чтобы вам на это ответить?

— Я хочу знать именно от вас. К февралю она будет готова?

— К февралю? Вы что — смеётесь? Если для отчёта, на скорую руку да на долгую муку — ну, что-нибудь... через полгодика. А абсолютная шифрация? Понятия не имею. Может быть — год.

Абакумов был огушен. Он вспомнил злобно-нетерпящее подёргивание усов Хозяина — и ему жутко стало тех обещаний, которые, повторяя Селивановского, он дал. Всё опустилось в нём, как у человека, пришедшего лечить насморк и открывшего у себя рак носоглотки.

Обеими руками министр подпёр голову и сдавленно сказал:

— Бобынин! Я прошу вас — взвесьте ваши слова. Если можно быстрее, скажите: что нужно сделать?

— Быстрее? Не выйдет.

— Но причины? Но какие причины? Кто виноват? Скажите, не бойтесь! Назовите виновников, какие бы погоны они ни носили! Я сорву с них погоны!

Бобынин откинул голову и глядел в потолок, где резвились нимфы страхового общества «Россия».

— Ведь это получается два с половиной — три года! — возмущался министр. — А вам срок был дан — год!

И Бобынина взорвало:

— Что значит — дан срок? Как вы представляете себе науку: Сивка-Бурка, вещь каурка? Воздвигни мне к утру дворец — и к утру дворец? А если проблема неверно поставлена? А если обнаруживаются новые явления? Дан срок! А вы не думаете, что кроме приказа ещё должны быть спокойные сытые свободные люди? Да без этой атмосферы подозрения. Вон мы маленький токарный станочек с одного места на другое перетаскивали — и не то у нас, не то после нас станина хрупнула. Чёрт её знает, почему она хрупнула! Но её заварить — час работы сварщику. Да и станок — говно, ему полтора года лет, без мотора, шкив под открытый ременной привод! — так из-за этой трещины оперуполномоченный майор Шикин две недели всех тягает, допрашивает, ищет, кому второй срок за вредительство намотать. Это на работе — опер, дармод, да в тюрьме ещё один опер, дармод, только нервы дёргает, протоколы, закорючки — да на чёрта вам это оперное творчество?! Вот все говорят — секретную телефонию для Сталина делаем. Лично Сталин насаждает — и даже на таком участке вы не можете обеспечить технического снабжения: то конденсаторов нужных нет, то радиолампы не того сорта, то электронных осциллографов не

хватает. Нищета! Позор! «Кто виноват»? А о людях вы подумали? Работают вам все по двенадцать, иные по шестнадцать часов в день, а вы мясом только ведущих инженеров кормите, а остальных — костями?.. Свиданий с родственниками почему Пятьдесят Восьмой не даёт? Положено раз в месяц, а вы даёте раз в год. От этого что — настроение подымается? Может, воронок не хватает, в чём арестантов возить? Или надзирателям — зарплаты за выходные дни? Ре-жим!! Режим вам голову мутит, с ума скоро сойдёте от режима. По воскресеньям раньше можно было весь день гулять, теперь запретили. Это зачем? Чтобы больше работали? На говне сметану собираете? От того, что без воздуха задыхаются — скорее не будет. Да чего говорить! Вот меня зачем ночью вызвали? Дня не хватает? А ведь мне работать завтра. Мне спать нужно.

Бобынин выпрямился, гневный, большой.

Абакумов тяжело сопел, придавленный к кромке стола.

Было двадцать пять минут второго ночи. Через час, в половине третьего, Абакумов должен был предстать с докладом у Сталина, на кунцевской даче.

Если этот инженер прав — как теперь изворачиваться?

Сталин — не прощает...

Но тут, отпуская Бобынина, он вспомнил эту тройку агунов из отдела специальной техники. И тёмное бешенство обожгло ему глаза.

И он позвонил за ними.

19

Комната была невелика, невысока. В ней было две двери, а окно, если и было, то намертво зашторено сейчас, слито со стеною. Однако воздух стоял свежий, приятный (особое лицо отвечало за впуск и выпуск воздуха и химическую безвредность его).

Много места занимала низкая оттоманка с цветастыми подушками. Над ней со стены горели двоянные лампы, прикрытые абажурами.

На оттоманке лежал человек, чьё изображение столько раз было изваяно, писано маслом, акварелью, гуашью, сепией, рисовано углем, мелом, толчёным кирпичом, сложено из придорожной гальки, из морских ракушек, поливанной плитки, из зерён пшеницы и соевых бобов, вырезано по кости, выращено из травы, выткано на коврах, составлено из самолётов, заснято на киноплёнку — как ничьё никогда за три миллиарда лет существования земной коры.

А он просто лежал, немного подобрал ноги в мягких кавказских сапогах, похожих на плотные чулки. На нём был френч с четырьмя большими карманами, нагрудными и боковыми — старый, обжитый, из тех серых, защитных, чёрных и белых френчей, какие (немного повторяя Наполеона) он усвоил носить с гражданской войны и сменил на маршальский мундир только после Сталинграда.

Имя этого человека склоняли газеты земного шара, бормотали тысячи дикторов на сотнях языков, выкрикивали докладчики в началах и окончаниях речей, выпевали тонкие пионерские голоса, провозглашали во здравие архиереи. Имя этого человека запекалось на обмирающих губах военнопленных, на опухших дёснах арестантов. По этому имени во множестве были переименованы города и площади, улицы и проспекты, дворцы, университеты, школы, санатории, горные хребты, морские каналы, заводы, шахты, совхозы, колхозы, линкоры, ледоколы, рыболовные баркасы, сапожные артели, детские ясли — и группа московских журналистов предлагала также переименовать Волгу и Луну.

А он был просто маленький желтоглазый старик с рыжеватыми (их изображали смоляными) уже редеющими (изображали густыми)

волосами; с рытвинками оспы кое-где по серому лицу, с усохшей кожной сумочкой на шее (их не рисовали вовсе); с тёмными неровными зубами, частью уклонёнными назад, в рот, пропахший листовым табаком; с жирными влажными пальцами, оставляющими следы на бумагах и книгах.

К тому ж он чувствовал себя сегодня неважно: и устал, и переел в эти юбилейные дни, в животе была тяжесть каменная и отрыгалось тухло, не помогли салол с беладонной, а слабительных он пить не любил. Сегодня он и вовсе не обедал и вот рано, с полуночи, лёг по-лежать. В тёплом воздухе он ощущал спиной и плечами как бы холодок и прикрыл их бурой верблюжьей шалью.

Глухонемая тишина налила дом и двор, и весь мир.

В этой тишине почти не продрогало, почти не проползало время, и надо было пережить его как болезнь, как недуг, всякую ночь придумывая дело или развлечение. Не стоило большого труда исключить себя из мирового пространства, не двигаться в нём. Но невозможно было исключить себя из времени.

Сейчас он перелистывал книжечку в коричневом твёрдом переплёте. Он с удовольствием смотрел на фотографии и местами читал текст, уже почти знакомый наизусть, и опять перелистывал. Книжечка была тем удобна, что могла, не погнувшись, поместиться в кармане пальто — она могла повсюду сопровождать людей в их жизни. Страниц в ней было четверть тысячи, но редким крупным толстым шрифтом, так что и малограмотный и старый могли без утомления её читать. На переплёте было выдавлено и позолочено: «Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая биография».

Незамысловатые честные слова этой книги ложились на человеческое сердце покойно и неотвратимо. Стратегический гений. Его мудрая прозорливость. Его мощная воля. Его железная воля. С 1918 года стал фактическим заместителем Ленина. (Да, да, так и было.) Полководец революции застал на фронте тоACHEY, растерянность. Сталинские указания лежали в основе оперативного плана Фрунзе. (Верно. Верно.) Это наше счастье, что в трудные годы Отечественной войны нас вёл мудрый и испытанный Вождь — Великий Сталин. (Да, народу повезло.) Все знают сокрушительную силу сталинской логики, кристальную ясность его ума. (Без ложной скромности — всё это правда.) Его любовь к народу. Его чуткость к людям. Его нетерпимость к парадной шумихе. Его удивительную скромность. (Скромность — это очень верно.)

Безотказное знание людей помогло юбиляру собрать хороший коллектив авторов для этой биографии. Но какие б они старательные ни были, из кожи вон, — а никто не напишет так умно, так сердечно, так верно о твоих делах, о твоём руководстве, о твоих качествах, как ты сам. И приходилось Сталину вызывать к себе из этого коллектива то одного, то другого, беседовать неторопливо, смотреть их рукопись, указывать мягко на промахи, подсказывать формулировки.

И вот теперь книга имеет большой успех. Это второе издание вышло пятью миллионами экземпляров. Для такой страны? — маловато. Надо будет третье издание запустить миллионов на десять, на двадцать. Продавать на заводах, в школах, в колхозах. Можно прямо распределять по списку сотрудников.

Никто, как сам Сталин, не знал, до чего эта книга нужна его народу. Этот народ нельзя оставить без постоянных правильных разъяснений. Этот народ нельзя держать в неуверенности. Революция оставила его сиротой и безбожником, а это опасно. Уже двадцать лет, сколько мог, Сталин исправлял такое положение. Для того и нужны были миллионы портретов по всей стране (а Сталину самому они зачем? — он скромён), для того и нужно было постоянное громкое повторение

его славного имени, постоянное упоминание в каждой статье. Это нужно было совсем не для Вождя — его это уже не радовало, ему уже давно приелось, — это нужно было для подданных, для простых советских людей. Как можно больше портретов, как можно больше упоминаний — а самому появляться редко и говорить мало, как будто ты не всё время с ними на земле, а бываешь ещё где-то. И тогда нет предела их восхищению и преклонению.

Не тошнило, но как-то тяжело поднималось из желудка. Из вазочки с очищенными фруктами он взял фейхуа.

Три дня назад отгремело его славное семидесятилетие.

По кавказским понятиям семьдесят лет — это ещё джигит! — на гору, на коня, на женщину. И Сталин тоже ещё вполне здоров, ему надо обязательно жить до девяноста, он так загадал, так требуют дела. Правда, один врач предупредил его, что... (впрочем, кажется, его расстреляли потом). Настоящей серьёзной болезни никакой нет. Никаких уколов, никакого лечения, лекарства он и сам знает, умеет выбрать. «Побольше фруктов!» Рассказывай кавказскому человеку про фрукты!..

Он сосал мякоть, прижмурив глаза. Слабый привкус иода ложился на язык.

Он вполне здоров, но что-то и меняется с годами. Уже нет прежнего свежего наслаждения едой — как будто все вкусы надоели, припустились. Уже нет острого ощущения в переборе вин и в смеси их. И хмель переходит в головную боль. И если по-прежнему Сталин просиживает полночи со своими вождишками за обедом, то не потому, что так наслаждается едой, а куда-то же надо деть это пустое долгое время.

Уже и женщины, с которыми он так попировал после Надиной смерти, нужны ему были мало, редко, и с ними было не до дрожи, а мутновато как-то. Уже и сон не облегчал по-молодому, а проснувшись слабым и со сдавленной головой, не хотелось подниматься.

Положив себе дожить до девяноста, Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости, он просто должен домучиться ещё двадцать лет ради общего порядка в человечестве.

Семидесятилетие праздновали так. 20-го вечером забили насмерть Трайчо Костова. Только когда глаза его собачьи остеклели — мог начаться настоящий праздник. 21-го в Большом театре было торжественное чествование, выступали Мао, Долорес и другие товарищи. Потом был широкий банкет. Ещё потом — узкий банкет. Пили старые вина испанских погребов, когда-то присланные за оружие. Потом отдельно с Лаврентием — кахетинское, пели грузинские песни. 22-го был большой дипломатический приём. 23-го смотрел о себе вторую серию «Сталинградской битвы» и «Незабываемый 1919».

Хотя и утомив, произведения эти ему очень понравились. Теперь всё более и более правдиво вырисовывается его роль не только в отечественной, но и в гражданской войне. Видно, каким большим человеком он был уже тогда. И экран и сцена показывали теперь, как часто он серьёзно предупреждал и поправлял слишком опрометчивого поверхностного Ленина. И благородно вложил драматург в его уста: «Каждый трудящийся свои мысли имеет право высказывать!» А у сценариста хорошо сочинена эта ночная сцена с Другом. Хотя такого преданного большого Друга у Сталина никого не осталось из-за постоянной неискренности и коварства людей — да и за всю жизнь не было такого Друга! вот так складывалось, что никогда его не было! — но, увидев на экране, Сталин почувствовал умиление в горле (это художник — так художник!): как бы хотел он иметь такого правдивого бескорыстного Друга, и вот что думаешь целыми ночами про себя — говорить ему вслух.

Однако, невозможно иметь такого Друга, потому что он должен был бы тогда быть чрезвычайно велик. А — где ему тогда жить? чем заниматься?

А эти все, с Вячеслава — Каменной задницы и до Никиты-плясуна — разве это вообще люди? За столом с ними от скуки подохнешь, никто ничего умного первый не предложит, а как им укажешь — так сразу все соглашаются. Когда-то Ворошилова Сталин немножко любил — по Царицыну, по Польше, потом за кисловодскую пещеру (доложил о совещании предателей, Каменева-Зиновьева с Фрунзе), — но тоже манекен для фуражки и орденов, разве это человек?

Никого он сейчас не мог вспомнить, как своего друга. Ни о ком не вспоминалось больше доброго, чем плохого.

Друга нет и быть не может, но зато весь простой народ любит своего Вождя, готов жизнь и душу отдать. Это и по газетам видно, и по кино, и по выставке подарков. День рождения Вождя стал всенародным праздником, это радостно сознавать. Сколько пришло приветствий — от учреждений приветствия, от организаций приветствия, от заводов приветствия, от отдельных граждан приветствия. Просила «Правда» разрешения печатать их не все сразу, а по два столбца каждый номер. Ну, растянется на несколько лет, ничего, это не плохо.

А подарки в музее Революции не уместились в десяти залах. Чтоб не мешать москвичам осматривать их днём, Сталин съездил посмотреть их ночью. Труд тысяч и тысяч мастеров, лучшие дары земли, стояли, лежали и висели перед ним — но и тут его настигла та же безучастность, то же угасание интересов. Зачем ему были все эти подарки?.. Он соскучился быстро. И ещё какое-то неприятное воспоминание подступило к нему в музее, но, как часто в последнее время, мысль не дошла до ясности, а осталось только, что — неприятно. Сталин прошёл три зала, ничего не выбрал, постоял у большого телевизора с гравированной надписью «Великому Сталину от чекистов» (это был самый крупный советский телевизор, сделанный в одном экземпляре в Марфине), повернулся и уехал.

А в общем прошёл замечательный юбилей — такая гордость! такие победы! такой успех, какого не знал ни один политик мира! — а полноты торжества не было.

Что-то, как в груди застрявшее, досаждало и пекло.

Он откусил и пососал ещё.

Народ-то его любил, это верно, но сам народ кишел очень уж многими недостатками, сам народ никуда не годился. Достаточно вспомнить: из-за кого отступали в сорок первом году? Кто ж тогда отступал, если не народ?

Вот почему не праздновать надо было, не лежать, а — приниматься за работу. Думать.

Думать — был его долг. И рок его, и казнь его тоже была — думать. Ещё два десятилетия, подобно арестанту с двадцатилетним сроком, он должен был жить, и не больше же в сутки спать, чем восемь часов, больше не выспишь. А по остальным часам, как по старым камням, надо было ползти, перетягиваться уже не молодым, уязвимым телом.

Невыносимее всего было Сталину время утреннее и полуденное: пока солнце восходило, играло, поднималось на кульминацию — Сталин спал в темноте, зашторенный, закрытый, запертый. Он просыпался, когда солнце уже спадало, умерялось, заваливало к окончанию своей короткой однодневной жизни. Около трёх часов дня Сталин завтракал и лишь к вечеру, к закату, начинал оживать. Его мозг в эти часы разрабатывался недоверчиво, хмуро, все решения его были запретительные и отрицательные. С десяти вечера начинался обед, куда обычно приглашались ближайшие из Политбюро и иностранных коммунистов. За многими блюдами, бокалами, анекдотами и разговорами

хорошо убивалось четыре-пять часов, и одновременно брался разгон, собирались толчки для созидательных, законодательных мыслей второй половины ночи. Все главные Указы, направившие великое государство, формировались в сталинской голове после двух часов ночи — и только до рассвета.

И сейчас то время как раз начиналось. И был тот уже зреющий указ, которого ощутимо не хватало среди законов. Почти всё в стране удалось закрепить навечно, все движения остановить, все потоки перепрудить, все двести миллионов знали своё место — и только колхозная молодёжь давала утечку. Это тем более странно, что общие колхозные дела обстояли наглядно хорошо, как показывали фильмы и романы, да Сталин и сам толковал с колхозниками в президиумах слётов и съездов. Однако, проницательный и постоянно самокритичный государственный деятель, Сталин заставлял себя видеть ещё глубже. Кто-то из секретарей обкомов (кажется, его расстреляли потом) проговорился ему, что есть такая теневая сторона: в колхозах безотказно работают старики и старухи, вписанные туда с тридцатого года, а вот несознательная часть молодёжи старается после школы обманным образом получить паспорт и увильнуть в город. Сталин услышал — и в нём началась подтачивающая работа.

Образование!.. Что за путаница вышла с этим всеобщим семилетним, всеобщим десятилетним, с кухаркиными детьми, идущими в ВУЗ! Тут безответственно напутал Ленин, вот уж кто без оглядки сорил обещаниями, а на сталинскую спину они достались непоправимым кривым горбом. Каждая кухарка должна управлять государством! — как он себе это конкретно представлял? Чтобы кухарка по пятнице не готовила, а ходила заседать в Облисполком? Кухарка — она и есть кухарка, она должна обед готовить. А управлять людьми — это высокое умение, это можно доверить только специальным кадрам, особотобраннным кадрам, закалённым кадрам, дисциплинированным кадрам. Управление же самими кадрами может быть только в единых руках, а именно в привычных руках Вождя.

Установить бы по уставу сельхозартели, что как земля принадлежит ей вечно, так и всякий, родившийся в данной деревне, со дня рождения автоматически принимается в колхоз. Оформить как почётное право. Сразу — агиткомпанию: «Новый шаг к коммунизму», «юные наследники колхозной житницы»... ну, там писатели найдут, как выразиться.

Но — наши сторонники на Западе?..

Но — кому же работать в колхозах?..

Нет, что-то не шли сегодня рабочие мысли. Нездоровилось.

Раздался лёгкий четырёхкратный стук в дверь — не стук даже, а четыре мягких поглаживания по ней, будто о дверь скреблась собака.

Сталин повернул около оттоманки ручку тяти дистанционного запора, предохранитель сощёлкнул, и дверь приотворилась. Её не закрывала портьера (Сталин не любил пологов, складок, всего, где можно прятаться), и видно было, как голая дверь растворилась ровно настолько, чтобы пропустить собаку. Но не в нижней, а в верхней части просунулась голова как будто ещё и молодого, но уже лысого Поскрёбышева с постоянным выражением честной преданности и полной готовности на лице.

С тревогой за Хозяина он посмотрел, как тот лежал, полуприкрывшись верблюжьей шалью, однако не спросил прямо о здоровье (Сталин не любил таких вопросов), а недалеко от шёпота:

— Есь Сарионыч! Вы сегодня на полтретьего Абакумову назначали. Будете принимать? нет?

Иосиф Виссарионович отстегнул клапан грудного кармана и на печеничке вытащил часы (как все люди старого времени, терпеть не мог ручных).

Ещё не было и двух часов ночи.

Тяжёлый ком стоял в желудке. Вставать, переодеться не хотелось. Но и распускать никого нельзя: чуть-чуть послабь — сразу почувствуют.

— Пá-смотрим,— устало ответил Сталин и моргнул.— Нэ знаю.

— Ну, пусть себе едет. Подождёт! — подтвердил Поскрёбьшев и кивнул с излишком раза три. И замер опять, со вниманием глядя на Хозяина: — Какие распоряжения ещё, Ё-Сарионьч?

Сталин смотрел на Поскрёбьшева вялым полуживым взглядом, и никакого распоряжения не выражалось в нём. Но при вопросе Поскрёбьшева вдруг высекалась из его прорончивой памяти внезапная искра, и он спросил, о чём давно хотел и забывал:

— Слушай, как там кипарисы в Крыму? — рубят?

— Рубят! Рубят! — уверенно тряхнул головой Поскрёбьшев, будто этого вопроса только и ждал, будто только что звонил в Крым и справался.— Вокруг Массандры и Ливадии уже много свалили, Ё-Сарионьч!

— Ты всё ж таки сводку пá-требуи. Цы-фравую. Нэт ли саботажа? — озабочены были жёлтые нездоровые глаза Всесильного.

В этом году сказал ему один врач, что его здоровью вредны кипарисы, а нужно, чтобы воздух пропитывался эвкалиптами. Поэтому Сталин велел крымские кипарисы вырубить, а в Австралию послать за молодыми эвкалиптами.

Поскрёбьшев бодро обещал и навязался также узнать, в каком положении эвкалипты.

— Ладно,— удовлетворённо вымолвил Сталин.— Идѣ-пока, Саша.

Поскрёбьшев кивнул, попятился, ещё кивнул, убрал голову вовсе и затворил дверь. Иосиф Виссарионович снова спустил дистанционный запор. Придерживая шаль, повернулся на другой бок.

И опять стал листать свою Биографию.

Но, расслабляемый лежаньем, ознобом и несвареньем, невольно предался угнетённому строю мысли. Уже не ослепительный конечный успех его политики выступил перед ним, а: как ему в жизни не везло, и как несправедливо-много препятствий и врагов городила перед ним судьба.

20

Две трети столетия — сизая даль, из начала которой самым смелым мечтам не мог бы представиться конец, из конца — трудно ожить и поверить в начало.

Безнадёжно народилась эта жизнь. Незаконный сын, приписанный захудалому пьянице-сапожнику. Необразованная мать. Замарашка Сосо не вылезал из луж подле горки царицы Тамары. Не то, чтобы стать властелином мира, но как этому ребёнку выйти из самого низменного, самого униженного положения?

Всё же виновник жизни его похлопотал, и в обход церковных установлений приняли мальчика не из духовной семьи — сперва в духовное училище, потом даже в семинарию.

Бог Саваоф с высоты потемневшего иконостаса сурово призвал новопослушника, распластанного на холодных каменных плитах. О, с каким усердием стал мальчик служить Богу! как доверился ему! За шесть лет ученья он по силам долбил Ветхий и Новый Заветы, Жития святых и церковную историю, старательно прислуживал на литургиях.

Вот здесь, в «Биографии», есть этот снимок: выпускник духовного училища Джугашвили в сером подряснике с круглым глухим воротом; матовый, как бы изнурённый молениями, отроческий овал лица; длинные волосы, подготавливаемые к священнослужению, строго пробраны;

со смирением намазаны лампадным маслом и напущены на самые уши — и только глаза да напряжённые брови выдают, что этот послушник пойдёт, пожалуй, до митрополита.

А Бог — обманул... Заспанный постылый городок среди круглых зелёных холмов, в извилах Меджуды и Лиахви, отстал: в шумном Тифлисе умные люди давно уже над Богом смеялись. И лестница, по которой Сосо цепко карабкался, вела, оказывается, не на небо, а на чердак.

Но клокочущий забиячный возраст требовал действия! Время уходило — не сделано ничего! Не было денег на университет, на государственную службу, на начало торговли — зато был социализм, принимающий всех, социализм, привыкший к семинаристам. Не было наклонностей к наукам или к искусствам, не было умения к ремеслу или воровству, не было удачи стать любовником богатой дамы — но открытыми объятьями звала всех, принимала и всем обещала место — Революция.

Сюда, в «Биографию», он посоветовал включить и фото этого времени, его любимый снимок. Вот он, почти в профиль. У него не борода, не усы, не бакенбарды (он не решил ещё, что), а просто не брился давно, и всё воедино живописно заросло буйной мужской порослью. Он весь готов устремиться, но не знает, куда. Что за милый молодой человек! Открытое, умное, энергичное лицо, ни следа того изуверопослушника. Освобождённые от масла, волосы воспряли, густыми волнами украсили голову и, колыхаясь, прикрывают то, что в нём может быть несколько не удалось: лоб невысокий и покатый назад. Молодой человек беден, пиджачок его куплен поношенным, дешёвый клетчатый шарфик с художнической вольностью облегает шею и закрывает узкую болезненную грудь, где и рубашки-то нет. Этот тифлиский плебей не обречён ли уже и туберкулёзу?

Всякий раз, когда Сталин смотрит на эту фотографию, сердце его переполняется жалостью (ибо не бывает сердец, совсем не способных к ней). Как всё трудно, как всё против этого славного юноши, ютящегося в бесплатном холодном чулане при обсерватории и уже исключённого из семинарии! (Он хотел для страховки совместить то и другое, он четыре года ходил на кружки социал-демократов и четыре года продолжал молиться и толковать катехизис — но всё-таки исключили его.)

Одиннадцать лет он кланялся и молился — впустую, плакало потерянное время... Тем решительней передвинул он свою молодость — на Революцию!

А Революция — тоже обманула... Да и что то была за революция — тифлисская, игра хвастливых самомнений в погребках за вином? Здесь пропадёшь, в этом муравейнике ничтожеств: ни правильного продвижения по ступенькам, ни выслуги лет, а — кто кого переболтает. Бывший семинарист возненавидевает этих болтунов горше, чем губернаторов и полицейских. (На тех за что сердиться? — те честно служат за жалованье и естественно должны обороняться, но этим выскочкам не может быть оправдания!) Революция? среди грузинских лавочников? — никогда не будет! А он потерял семинарию, потерял верный путь жизни.

И чёрт ему вообще в этой революции, в какой-то гольфтьбе, в рабочих, пропивающих получку, в каких-то больных старухах, чьих-то недоплаченных копейках? — почему он должен любить их, а не себя, молодого, умного, красивого и — обойденного?

Только в Батуме, впервые ведя за собой по улице сотни две людей, считая с зеваками, Коба (такова была у него теперь кличка) ощутил прорастаемость зёрен и силу власти. Люди шли за ним! — отпробовал Коба, и вкуса этого уже не мог никогда забыть. Вот это одно ему подходило в жизни, вот эту одну жизнь он мог понять: ты скажешь — а

люди чтобы делали, ты укажешь — а люди чтобы шли. Лучше этого, выше этого — ничего нет. Это — выше богатства.

Через месяц полиция раскачалась, арестовала его. Арестов никто тогда не боялся: дело какое! два месяца подержат, выпустят, будешь — страдалец. Коба прекрасно держался в общей камере и подбодрял других презирать тюремщиков.

Но в него вцепились. Сменились все его однокамерники, а он сидел. Да что он такого сделал? За пустячные демонстрации никого так не наказывали.

Прошёл год! — и его перевели в кутаисскую тюрьму, в тёмную сырую одиночку. Здесь он пал духом: жизнь шла, а он не только не поднимался, но спускался всё ниже. Он больно кашлял от тюремной сырости. И ещё справедливее ненавидел этих профессиональных крикунов, баловней жизни: почему *им* так легко сходит революция, почему *их* так долго не держат?

Тем временем приезжал в кутаисскую тюрьму жандармский офицер, уже знакомый по Батуму. Ну, вы достаточно подумали, Джугашвили? Это только начало, Джугашвили. Мы будем держать вас тут, пока вы сгниёте от чихотки или исправите линию поведения. Мы хотим спасти вас и вашу душу. Вы были без пяти минут священник, отец Иосиф! Зачем вы пошли в эту свору? Вы — случайный человек среди них. Скажите, что вы сожалеете.

Он и правда, сожалел, как сожалел! Кончалась его вторая весна в тюрьме, тянулось второе тюремное лето. Ах, зачем он бросил скромную духовную службу? Как он поторопился!.. Самое разнузданное воображение не могло представить себе революции в России раньше, чем через пятьдесят лет, когда Иосифу будет семьдесят три года... Зачем ему тогда и революция?

Да не только поэтому. Но уже сам себя изучил и узнал Иосиф — свой неторопливый характер, свой основательный характер, свою любовь к прочности и порядку. Так именно на основательности, на неторопливости, на прочности и порядке стояла Российская империя, и зачем же было её расшатывать?

А офицер с пшеничными усами приезжал и приезжал. (Его жандармский чистый мундир с красивыми погонами, аккуратными пуговицами, кантами, пряжками очень нравился Иосифу.) В конце концов то, что я вам предлагаю, — есть государственная служба. (На государственную службу бесповоротно был готов перейти Иосиф, но он сам себе, сам себе напортил в Тифлисе и Батуме.) Вы будете получать от нас содержание. Первое время вы нам поможете среди революционеров. Изберите самое крайнее направление. Среди них — выдвигайтесь. Мы повсюду будем обращаться с вами бережно. Ваши сообщения вы будете давать нам так, чтоб это не бросило на вас тени. Какую изберём кличку?.. А сейчас, чтобы вас не расконспирировать, мы этапирuem вас в далёкую ссылку, а вы оттуда уезжайте сразу, так все и делают.

И Джугашвили решился! И третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию!

В ноябре его выслали в Иркутскую губернию. Там у ссыльных он прочёл письмо некоего Ленина, известного по «Искре». Ленин откололся на самый край, теперь искал себе сторонников, рассылал письма. Очевидно, к нему и следовало примкнуть.

От ужасных иркутских холодов Иосиф уехал на Рождество, и ещё до начала японской войны был на солнечном Кавказе.

Теперь для него начался долгий период безнаказанности: он встречался с подпольщиками, составлял листовки, звал на митинги — арестовывали других (особенно — несимпатичных ему), а его — не узнавали, не ловили. И на войну не брали.

И вдруг! — никто не ждал её так быстро, никто её не подготовил, не организовал — а Она наступила! Пошли по Петербургу толпы с политической петицией, убивали великих князей и вельмож, бастовал Ивано-Вознесенск, восставали Лодзь, «Потёмкин» — и быстро из царского горла выдавили манифест, и всё равно ещё стучали пулемёты на Пресне и замерли железные дороги.

Коба был поражён, оглушён. Неужели опять он ошибся? Да почему ж он ничего не видит вперёд?

Обманула его охранка!.. Третья ставка его была бита! Ах, отдали б ему назад его свободную революционную душу! Что за безвыходное кольцо? — вытрясать революцию из России, чтоб на второй её день из архива охранки вытрясли твои донесения?

Не только *стальной* не была его воля тогда, но раздвоилась совсем, он потерял себя и не видел выхода.

Впрочем, постреляли, пошумели, повешали, оглянулись — где ж та революция? Нет её!

В это время большевики усваивали хороший революционный способ эксов — экспроприаций. Любому армянскому толстосуму подбрасывали письмо, куда ему принести десять, пятнадцать, двадцать пять тысяч. И толстосум приносил, чтоб только не взрывали его лавку, не убивали детей. Это был метод борьбы — так метод борьбы! — не схоластика, не листовки и демонстрации, а настоящее революционное действие. Чистюли-меньшевики брюзжали, что — грабёж и террор, противоречит марксизму. Ах, как издевался над ними Коба, ах, гонял их как тараканов, за то и назвал его Ленин «чудесным грузином!» — эксы — грабёж, а революция — нэ грабёж? ах, лакированные чистоплюи! Откуда же брать деньги на партию, откуда же — на самих революционеров? Синица в руках лучше журавля в небе.

Изо всей революции Коба особенно полюбил именно эксы. И тут никто кроме Кобы не умел найти тех единственных верных людей, как Камо, кто будет слушаться его, кто будет револьвером трясти, кто будет мешок с золотом отнимать и принесёт его Кобе совсем на другую улицу, без принуждения. И когда выгребли 340 тысяч золотом у экспедиторов тифлисского банка — так вот это и была пока в маленьких масштабах пролетарская революция, а другой, большой революции ждут — дураки.

И этого у Кобе — не знала полиция, и ещё подержалась такая средняя приятная линия между революцией и полицией. Деньги у него были всегда.

А революция уже возила его европейскими поездами, морскими пароходами, показывала ему острова, каналы, средневековые замки. Это была уже не вонючая кутаисская камера! В Таммерфорсе, Стокгольме, Лондоне Коба присматривался к большевикам, к одержимому Ленину. Потом в Баку подышал парами подземной этой жидкости, кипящего чёрного гнева.

А его берегли. Чем старше и известнее в партии он становился, тем ближе его ссылали, уже не к Байкалу, а в Сольвычегодск, и не на три года, а на два. Между ссылками не мешали крутить революцию. Наконец, после трёх сибирских и уральских уходов из ссылки, его, непримиримого, неутомимого бунтаря загнали... в город Вологду, где он поселился на квартире у полицейского и поездом за одну ночь мог доехать до Петербурга.

Но февральским вечером девятьсот двенадцатого года приехал к нему в Вологду из Праги младший бакинский его сотоварищ Орджоникидзе, тряс за плечи и кричал: «Сосо! Сосо! Тебя кооптировали в ЦК!»

В ту лунную ночь, клубящую морозным туманом, тридцатидвухлетний Коба, завернувшись в доху, долго ходил по двору. Опять он заколебался. Член ЦК! Ведь вот Малиновский — член большевистско-

го ЦК — и депутат Государственной Думы. Ну, пусть Малиновского особо любит Ленин. Но ведь это же при царе! А после революции сегодняшний член ЦК — верный министр. Правда, никакой революции теперь уже не жди, не при нашей жизни. Но даже и без революции член ЦК — это какая-то власть. А что он выслужит на тайной полицейской службе? Не член ЦК, а мелкий шпик. Нет, надо с жандармерией расставаться. Судьба Азефа как призрака-великана качалась над каждым днём его, над каждой его ночью.

Утром они пошли на станцию и поехали в Петербург. Там схватили их. Молодому неопытному Орджоникидзе дали три года шлиссельбургской крепости и ещё потом ссылку добавочно. Сталину, как повелось, дали только ссылку, три года. Правда, далековато — Нарымский край, это как предупреждение. Но пути сообщения в Российской империи были налажены неплохо, и в конце лета Сталин благополучно вернулся в Петербург.

Теперь он перенёс нажим на партийную работу. Ездил к Ленину в Краков (это не было трудно и ссыльному). Там какая типография, там маёвка, там листовка — и на Калашниковской бирже, на вечеринке, завалили его (Малиновский, но это узналось потом гораздо). Рассердилась Охранка — и загнали его теперь в настоящую ссылку — под Полярный Круг, в станок Курейка. И срок ему дали — умела царская власть лепить безжалостные сроки! — *четыре* года, страшно сказать.

И опять заколебался Сталин: ради чего, ради кого отказался он от умеренной благополучной жизни, от покровительства власти, дал заслать себя в эту чёртову дыру? «Член ЦК» — словечко для дурака. От всех партий тут было несколько сотен ссыльных, но оглядел их Сталин и ужаснулся: что за гнусная порода эти профессиональные революционеры — вспышкopusкатели, хрипуны, несамостоятельные, несостоятельные. Даже не Полярный Круг был страшен кавказцу Сталину, а — оказаться в компании этих легковесных, неустойчивых, безответственных, неположительных людей. И чтобы сразу себя от них отделить, отсоединить — да среди медведей ему было бы легче! — он женился на челдонке, телом с мамонта, а голосом пискливым, — да уж лучше её «хи-хи-хи» и кухня на зловонном жире, чем ходить на те сходки, диспуты, передряги и товарищеские суды. Сталин дал им понять, что они — чужие люди, отрубил себя от них ото всех и от революции тоже. Хватит! Не поздно честную жизнь начать и в тридцать пять лет, когда ж надо кончать по ветру носиться, карманы как паруса. (Он себя самого презирал, что столько лет возился с этими щелкопёрами.)

Так он жил, совсем отдельно, не касался ни большевиков, ни анархистов, пошли они все дальше. Теперь он не собирался бежать, он собирался честно отбывать ссылку до конца. Да и война началась, и только здесь, в ссылке, он мог сохранить жизнь. Он сидел со своей челдонкой, затаясь; родился у них сын. А война никак не кончалась. Хоть ногтями, хоть зубами натягивай себе лишний годик ссылки — даже сроков настоящих не умел давать этот немощный царь!

Нет, не кончалась война! И из полицейского ведомства, с которым он так сжился, карточку его и душу его передали воинскому начальнику, а тот, ничего не смысля ни в социал-демократах, ни в членах ЦК, призвал Иосифа Джугашвили, 1879 года рождения, ранее воинской повинности не отбывавшего, — в русскую императорскую армию рядовым. Так будущий великий маршал начал свою военную карьеру. Три службы он уже перепробовал, должна была начаться четвёртая.

Санным сонным полозом его повезли по Енисею до Красноярска, оттуда в казармы в Ачинск. Ему шёл тридцать восьмой год, а был он — ничто, солдат-грузин, съёженный в шинельке от сибирских морозов и везомый пушечным мясом на фронт. И вся великая жизнь его должна была оборваться под каким-нибудь белорусским хутором или еврейским местечком.

Но ещё он не научился скатывать шинельной скатки и заряжать винтовку (ни комиссаром, ни маршалом потом тоже не знал, и спросить было неудобно), как пришли из Петрограда телеграфные ленты, от которых незнакомые люди обнимались на улицах и кричали в морозном дыхании: «Христос воскрес!» Царь — отрёкся! Империи — больше не было!

Как? Откуда? И надеяться забыли, и рассчитывать забросили. Верно учили Иосифа в детстве: «неисповедимы пути Твои, Господи!»

Не запомнить, когда так единодушно веселилось русское общество, все партийные оттенки. Но чтобы возликовал Сталин, нужна была ещё одна телеграмма, без неё призрак Азефа, как повешенный, всё раскачивался над головой.

И пришла через день та депеша: Охранное отделение сожжено и разгромлено, все документы уничтожены!

Знали революционеры, что надо было сжигать побыстрее. Там, наверно, как понял Сталин, было немало таких, немало таких, как он...

(Охранка сгорела, но ещё целую жизнь Сталин косился и оглядывался. Своими руками перелистал он десятки тысяч архивных листов и бросал в огонь целые папки, не просматривая. И всё-таки пропустил, едва не открылось в тридцать седьмом. И каждого однопартийца, отдаваемого потом под суд, непременно обвинял Сталин в осведомительстве: он узнал, как легко пасть, и трудно было вообразить ему, чтобы другие не страховались тоже.)

Февральской революции Сталин позже отказал в звании великой, но он забыл, как сам ликовал и пел, и нёсся на крыльях из Ачинска (теперь-то он мог и дезертировать!), и делал глупости и через какое-то захоластное окошечко подал телеграмму в Швейцарию Ленину.

В Петроград он приехал и сразу согласился с Каменевым: вот это оно и есть, о чём мы мечтали в подполье. Революция совершилась, теперь укреплять достигнутое. Пришло время положительных людей (особенно, если ты уже член ЦК). Все силы на поддержку временного правительства!

Так все ясно было им, пока не приехал этот авантюрист, не знающий России, лишённый всякого положительного равномерного опыта, и, захлёбываясь, дёргаясь и картавя, не полез со своими апрельскими тезисами, запутал всё окончательно! И таки заговорил партию, потащил её на июльский переворот! Авантюра эта провалилась, как верно предсказывал Сталин, едва не погибла и вся партия. И куда же делась теперь петушиная храбрость этого героя? Убежал в Разлив, спасая шкуру, а большевиков тут марали последними ругательствами. Неужели его свобода была дороже авторитета партии? Сталин откровенно это высказал им на Шестом съезде, но большинства не собрал.

Вообще, семнадцатый год был неприятный год: слишком много митингов, кто красивей врёт, того и на руках носят, Троцкий из цирка не вылезал. И откуда их налетело, краснобаев, как мухи на мёд? В ссылках их не видели, на эсках не видели, по границам болтались, а тут приехали горло драть, на переднее место лезть. И обо всём они судят, как блохи быстрые. Ещё вопрос и в жизни не возник, не поставлен — они уже знают, как ответить! Над Сталиным они обидно смеялись, даже не скрывались. Ладно, Сталин в их споры не лез, и на трибуны не лез, он пока помалкивал. Сталин это не любил, не умел — выбрасывать слова наперегонки, кто больше и громче. Не такой он себе представлял революцию. Революцию он представлял: занять руководящие посты и дело делать.

Над ним смеялись эти остробородки но почему наладили всё тяжёлое, всё неблагоприятное сваливать именно на Сталина? Над ним смеялись, но почему во дворце Кшесинской все животами переболели и в Петропавловку послали не кого другого, а именно Сталина, когда

надо было убедить матросов отдать крепость Керенскому без боя, а самим уходить в Кронштадт опять? Потому что Гришку Зиновьева камнями бы забросали матросы. Потому что уметь надо разговаривать с русским народом.

Авантюрой был и октябрьский переворот, но удался, ладно. Удастся. Хорошо. За это можно Ленину пятёрку поставить. Там что дальше будет — неизвестно, пока — хорошо. Наркомнац? Ладно, пусть. Составлять конституцию? Ладно. Сталин приглядывался.

Удивительно, но похоже было, что революция за один год полностью удалась. Ожидать этого было нельзя — а удалась! Этот клоун, Троцкий, ещё и в мировую революцию верил, Брестского мира не хотел, да и Ленин верил, ах, книжные фантазёры! Это ослом надо быть — верить в европейскую революцию, сколько там сами жили — ничего не понял, Сталин один раз проехал — всё понял. Тут перекреститься надо что своя-то удалась. И сидеть тихо. Соображать.

Сталин оглядывался трезвыми непредвзятыми глазами. И обдумывал. И ясно понял, что такую важную революцию эти фразёры загубят. И только он один, Сталин, может её верно направить. По чести, по совести, только он один был тут настоящий руководитель. Он беспристрастно сравнивал себя с этими кривляками, попрыгунами, и ясно видел своё жизненное превосходство, их непрочность, свою устойчивость. Ото всех них он отличался тем, что понимал людей. Он там их понимал, где они соединяются с землёй, где базис, в том месте их понимал, без которого они не стоят, не устоят, а что выше, чем при-творяются, чем красуются — это *настройка*, ничего не решает.

Верно, у Ленина был орлиный полёт, он мог просто удивить: за одну ночь повернул — «земля — крестьянам!» (а там посмотрим), в один день придумал Брестский мир (ведь не то, что русскому, даже грузину больно пол-России немцам отдать, а ему не больно!). Уж о НЭПе совсем не говори, это хитрей всего, таким манёврам и поучиться не стыдно.

Что в Ленине было выше всего, сверхзамечательно: он крепчайше держал реальную власть только в собственных руках. Менялись лозунги, менялись темы дискуссий, менялись союзники и противники, а полная власть оставалась только в собственных руках!

Но не было в этом человеке — настоящей надёжности, предстояло ему много горя со своим хозяйством, запутаться в нём. Сталин верно чувствовал в Ленине хлипкость, перебросчивость, наконец плохое понимание людей, никакое не понимание. (Он по самому себе это проверил: каким хотел боком — поворачивался, и с этого только боку Ленин его видел.) Для тёмной рукопашной, какая есть истинная политика, этот человек не был годен. Себя ощущал Сталин устойчивей и твёрже Ленина настолько, насколько шестьдесят шесть градусов туруханской широты крепче пятидесяти четырёх градусов пушкенской. И что испытал в жизни этот книжный теоретик? Он не прошёл низкого звания, унижений, нищеты, прямого голода: хоть плохенький был, да поменьше. Он из ссылки ни разу не уходил, такой примерный! На тюрем настоящих не видел, он и России самой не видел, он четырнадцать лет проболтался по эмиграциям. Что тот писал — Сталин больше половины не читал, не предполагал набраться умного. (Ну, бывали у него и замечательные формулировки. Например: «Что такое диктатура? Неограниченное правительство, не сдерживаемое законами». Написал Сталин на полях: «Хорошо!») Да если бы был у Ленина настоящий трезвый ум, он бы с первых дней ближе всех приблизил Сталина, он бы сказал: «Помоги! Я политику понимаю, классы понимаю — живых людей не понимаю!» А он не придумал лучше, как заслать Сталина каким-то уполномоченным по хлебу, куда-то в угол России. Самый нужный был ему в Москве человек — Сталин, а он его в Царицын послал...

И на всю Гражданскую Ленин устроился сидеть в Кремле, он себя берёт. А Сталину досталось три года кочевать, по всей стране гонять, когда трястись верхом, когда в тачанке, и мёрзнуть, и у костра греться. Ну, правда, Сталин любил себя в эти годы: как бы молодой генерал без звания, весь подтянутый, стройный; фуражка кожаная со звёздочкой; шинель офицерская двубортная, мягкая, с кавалерийским разрезом — и не застёгнута; сапожки хромовые, шитые по ноге; лицо умное, молодое, чисто-побритое, и только усы литые, ни одна женщина не устоит (да и своя жена третья — красавица).

Конечно, сабли он в руки не брал и под пули не лез, он дороже был для Революции, он не мужик Будённый. А приедешь в новое место — в Царицын, в Пермь, в Петроград, — помолчишь, вопросы задашь, усы поправишь. На одном списке напишешь «расстрелять», на другом списке напишешь «расстрелять» — очень тогда люди тебя уважать начинают.

Да и правду говоря, показал он себя как великий военный, как создатель победы.

Вся эта шайка, которая наверх лезла, Ленина обступала, за власть боролась, все они очень умными себя представляли, и очень тонкими, и очень сложными. Именно сложностью своей они бахвалились. Где было дважды два четыре, они всем хором гадали, что ещё одна десятая и две сотых. Но хуже всех, но гаже всех был — Троцкий. Просто такого мерзкого человека за всю жизнь Сталин не встречал. С таким бешеным самомнением, с такими претензиями на красноречие, а никогда честно не спорил, не бывало у него «да» — так «да», «нет» — так «нет», обязательно: и так — и так, ни так — ни так! Мира не заключать, войны не вести — какой разумный человек может это понять? А заносчивость? Как сам царь, в салон-вагоне мотался. Да куда же ты в главковёрхи лезешь, если у тебя нет стратегической жилки?

До того жёг и пёк этот Троцкий, что в борьбе с ним на первых порах Сталин сорвался, изменил главному правилу всякой политики: вообще не показывать, что ты ему враг, вообще не обнаруживать раздражения. Сталин же открыто ему не подчинялся, и в письмах ругал, и устно, и жаловался Ленину, не пропускал случая. И как только он узнавал мнение, решение Троцкого по любому вопросу — сейчас же выдвигал, почему должно быть совсем наоборот. Но так нельзя победить. И Троцкий вышибал его как городошной палкой под ноги: выгнал его из Царицына, выгнал с Украины. А однажды получил Сталин суровый урок, что не все средства в борьбе хороши, что есть запретные приёмы: вместе с Зиновьевым они пожаловались в Политбюро на самоуправные расстрелы Троцкого. И тогда Ленин взял несколько чистых бланков, по низам расписался «одобряю и впредь!» — и тут же при них Троцкому передал для заполнения.

Наука! Стыдно! На что жаловался?! Нельзя даже в самой напряжённой борьбе апеллировать к благодущию. Прав был Ленин, и в виде исключения также и Троцкий прав: если без суда не расстреливать — вообще ничего невозможно сделать в истории.

Все мы — люди, и чувства толкают нас впереди разума. От каждого человека запах идёт, и по запаху ты ещё раньше головы действуешь. Конечно, ошибся Сталин, что открылся против Троцкого раньше времени (больше никогда так не ошибался). Но те же чувства повели его самым правильным способом на Ленина. Если головой рассуждать — надо было угождать Ленину говорить «ах, как правильно! я тоже — за!». Однако, безошибочным сердцем Сталин нашёл совсем другой путь: грубить ему как можно резче, упираться ишаком — мол, необразованный, неотёсанный, диковатый человек, хотите принимайте, хотите нет. Он не то, что грубил — он хамил ему («ещё могу быть на фронте две недели, потом давайте отдых» — кому это Ленин мог про-

стить?), но именно такой — неломаемый, неуступчивый, завоевал уважение Ленина. Ленин почувствовал, что этот *чуждый грузин* — сильная фигура, такие люди очень нужны, а дальше — больше будут нужны. Ленин шибко слушал Троцкого, но и к Сталину прислушивался. Потеснит Сталина — потеснит и Троцкого. Тот за Царицын виноват, а тот — за Астрахань. «Вы научитесь сотрудничать» — уговаривал их, но принимал и так, что они не ладят. Прибежал Троцкий жаловаться, что по всей республике сухой закон, а Сталин распивает царский погреб в Кремле, что если на фронте узнают... — отшутился Сталин, рассмеялся Ленин, отвернул бородёнку Троцкий, ушёл ни с чем. Сняли Сталина с Украины — так дали второй наркомат, РКИ.

Это был март 1919 года. Сталину шёл сороковой год. У кого другого была б РКИ задрипанная инспекция, но у Сталина она поднялась в главнейший наркомат! (Ленин так и хотел. Он знал сталинскую твёрдость, неуклонность, неподкупность.) Именно Сталину поручил Ленин следить за справедливостью в Республике, за чистотой партийных работников, до самых крупных. По роду работы, если её правильно понять, если отдать ей душу и не шадить своего здоровья, должен был теперь Сталин тайно (но вполне законно) собирать уличающие материалы на всех ответственных работников, посылать контролёров и собирать донесения, а потом руководить *чистками*. А для этого надо было создать аппарат, подобрать по всей стране таких же самоотверженных, таких же неуклонных, подобных себе, готовых скрытно трудиться, без явной награды. Кропотливая работа, терпеливая работа, долгая работа, но Сталин готов был на неё.

Правильно говорят, что сорок лет — наша зрелость. Только тут понимаешь окончательно, как надо жить, как себя вести. Только тут Сталин ощутил свою главную силу: силу невысказанного решения. Внутри ты уже решение принял, но чьей головы оно касается — тому прежде времени знать его не надо. (Когда голова его покатится — тогда пусть узнает.) Вторая сила: чужим словам никогда не верить, своим — значенья не придавать. Говорить надо не то, что будешь делать (ты ещё и сам, может, не знаешь, там видно будет, что), а то, что твоего собеседника сейчас успокаивает. Третья сила: если тебе кто изменил — тому не прощать, если кого зубами схватил — того не выпускать, уж этого ни за что не выпускать, хотя бы солнце пошло назад и небесные явления разные. И четвёртая сила: не на теории голову направлять, это ещё никому не помогало (теорию потом какую-нибудь скажешь), а постоянно соображать: с кем тебе сейчас по пути и до какого столба.

Так постепенно выправилось и положение с Троцким — сперва поддержкой Зиновьева, потом и Каменева. (Душевные создались отношения с ними обоими.) Уяснил себе Сталин, что с Троцким он зря волновался: такого человека, как Троцкий, никогда не надо в яму толкать, он сам попрыгает и свалится. Сталин знал своё, он тихо работал: медленно подбирал кадры, проверял людей, запоминал каждого, кто будет надёжный, ждал случая их поднять, передвинуть. Подошло время — и, точно! свалился Троцкий сам на профсоюзной дискуссии — набелибердил, наегозил, Ленина разозлил — партию не уважает! — а у Сталина как раз готово, кем людей Троцкого заменять: Крестинского — Зиновьевым, Преображенского — Молотовым, Серебрякова — Ярославским. Подтянулись в ЦК и Ворошилов, и Орджоникидзе, все свои. И знаменитый главнокомандующий запатался на журавлиных своих ножках. И понял Ленин, что только Сталин один за единство партии как скала, а для себя ничего не хочет, не просит.

Простодушный симпатичный грузин, этим и трогал он всех ведущих, что не лез на трибуну, не рвался к популярности, к публичности, как они все, не хвастался знанием Маркса, не цитировал звонко, а скромно работал, аппарат подбирал — уединённый товарищ, *очень*

твёрдый, очень честный, самоотверженный, старательный, немножко правда невоспитанный, грубоватый, немножко недалёкий. И когда стал Ильич болеть — избрали Сталина генеральным секретарём, как когда-то Мишу Романова на царство, потому что никто его не боялся.

Это был май 1922 года. И другой бы на том успокоился, сидел бы — радовался. Но только не Сталин. Другой бы «Капитал» читал, выписки делал. А Сталин только ноздрями потянул и понял: время — крайнее, завоевания революции в опасности, ни минуты терять нельзя: Ленин власти не удержит и сам её в надёжные руки не передаст. Здоровье Ленина пошатнулось, и может быть это к лучшему. Если он задержится у руководства — ни за что ручаться нельзя, ничего нет надёжного: раздёрванный, вспльчивый, а теперь ещё больной, он всё больше нервировал, просто мешал работать. Всем мешал работать! Он мог ни за что человека обругать, осадить, снять с выборного поста.

Первая идея была — отослать Ленина например на Кавказ, лечиться, там воздух хороший, места глухие, телефона с Москвой нет, телеграммы идут долго, там его нервы успокоятся без государственной работы. А приставить к нему для наблюдения за здоровьем — проверенного товарища, экспроприатора бывшего, налетчика Камо. И соглашался Ленин, уже с Тифлисом переговоры вели, но как-то затянулось. А тут Камо автомобилем раздавили (много болтал об эксах).

Тогда, беспокоясь за жизнь вождя, Сталин через Наркомздрав и через профессоров-хирургов поднял вопрос: ведь пуля невынутая — она отравляет организм, надо ещё одну операцию делать, вынимать. И убедил врачей. И все повторяли, что надо, и Ленин согласился — но опять затянулось. И всего-навсего уехал в Горки.

«По отношению к Ленину нужна твёрдость!» — написал Сталин Каменеву. И Каменев с Зиновьевым, его лучшие в то время друзья, полностью соглашались. Твёрдость в лечении, твёрдость в режиме, твёрдость в отстранении от дел — в интересах его же драгоценной жизни. И в отстранении от Троцкого. И Крупскую тоже обуздать, она рядовой партийный товарищ. «Ответственным за здоровье товарища Ленина» назначился Сталин и не считал это для себя чёрной работой: заниматься непосредственно лечащими врачами и даже медсёстрами, указывать им, какой именно режим полезней всего для Ленина: ему полезней всего — запрещать и запрещать, даже если поволнуется. То же и в политических вопросах. Не нравится ему законопроект насчёт Красной армии — провести, не нравится насчёт ВЦИКа — провести. и не уступать ни за что, ведь он больной. он не может знать, как лучше. Если что настаивает проводить скорей — наоборот медленней проводить, отложить. И может быть даже грубо, очень грубо ему ответить — так это у генсека от прямоты, свой характер не переломает.

Однако, несмотря на все усилия Сталина, Ленин плохо выздоравливал, болезнь его затянулась до осени, а тут еще спор обострился насчёт ЦИКа-ВЦИКа, и не надолго сумел дорогой Ильич подняться на ноги. Только и встал для того, чтобы в декабре 22-го года восстановить сердечный союз с Троцким — против Сталина, конечно. Так для этого и вставать не надо было, лучше опять лечь. Теперь еще строже врачебный догляд, не читать, не писать, о делах не знать, кушай манную кашку. Придумал дорогой Ильич тайком от генсека написать политическое завешание — опять против Сталина. По пять минут в день диктовал, больше ему не разрешали (Сталин не разрешил). Но генеральный секретарь смеялся в усы: стенографистка тук-тук-тук каблучками, и приносила ему обязательную копию. Тут пришлось ещё Крупскую одернуть, как она заслужила, — заклинялся дорогой Ильич — и третий удар! Так не помогли все усилия спасти его жизнь.

Он в удачное время умер: как раз Троцкий был на Кавказе, и Сталин туда неправильный день похорон сообщил, потому что незачем

тому приезжать: клятву верности гораздо приличнее, очень важно, произнести генеральному секретарю.

Но от Ленина осталось завещание. От него у товарищей мог создаваться разнобой, непонимание, даже хотели Сталина снимать с генсека. Тогда ещё тесней подружился Сталин с Зиновьевым, он ему так доказывал, что очевидно тот будет теперь вождь партии, и пусть на XIII съезде делает отчёт от ЦК, как будущий вождь, а Сталин будет скромный генсек, ему ничего не нужно. И Зиновьев покрасовался на трибуне, сделал доклад (только и всего доклад, куда ж его и кем выбирать, такого нет поста — «вождь партии»), а за тот доклад уговорил ЦК — завещания на съезде даже не читать, Сталина не снимать, он уже исправился.

Все они в Политбюро были тогда очень дружны, и все против Троцкого. И хорошо опровергали его предложения и снимали с постов его сторонников. И другой бы генсек на том успокоился. Но неутомимый неуспящий Сталин знал, что далеко ещё до покая.

Хорошо ли было Каменеву оставаться вместо Ленина предсовнаркома? (Ещё когда вместе с Каменевым посещали больного Ленина, Сталин отчитывался в «Правде», что он ходил без Каменева, один. На всякий случай. Он предвидел, что Каменев тоже не вечен.) Не лучше ли — Рыкова? И сам Каменев согласился, и Зиновьев тоже, вот так дружно жили!

Но скоро большой удар пришёлся по их дружбе: обнаружилось, что Зиновьев — Каменев — лицемеры, двурушники, что они только к власти стремятся, а ленинскими идеями не дорожат. Пришлось их поджать. Они стали «новая оппозиция» (и болтушка Крупская полезла туда же), а Троцкий битый-битый пока присмирел. Это очень удобное создалось положение. Тут кстати большая сердечная дружба наступила у Сталина с милым Бухарчиком, первым теоретиком партии. Бухарчик и выступал, Бухарчик базу подводил и обоснования (те дают — «наступление на кулака!», а мы с Бухариным даём — «смычка города с деревней!»). Сам Сталин нисколько не претендовал на известность, ни на руководство, он только следил за голосованием и кто на каком посту. Уже многие правильные товарищи были на нужных постах и правильно голосовали. Сняли Зиновьева с Коминтерна, отобрали у них Ленинград.

И кажется бы им смириться, так нет: они теперь с Троцким объединились, спохватился и тот кривляка в последний раз, дал лозунг: «индустриализация». А мы с Бухарчиком даём — единство партии! Во имя единства все должны подчиниться! Сослали Троцкого, заткнули Зиновьева с Каменевым.

Тут ещё очень помог *ленинский набор*: теперь большинство партии составляли люди, не заражённые интеллигентщиной, не заражённые прежними склоками подполья и эмиграции, люди, для которых уже ничего не значила прежняя высота партийных лидеров, а только их сегодняшнее лицо. Из партийных низов поднимались здоровые люди, преданные люди, занимали важные посты. Сталин никогда не сомневался, что он таких найдёт, и так они спасут завоевания революции.

Но какая роковая неожиданность: Бухарин, Томский и Рыков оказались тоже лицемеры, они не были за единство партии! И Бухарин оказался — первый путаник, а не теоретик. И его хитрый лозунг «смычка города с деревней» скрывал в себе реставраторский смысл, сдачу перед кулаком и срыв индустриализации!.. Так вот они где нашлись. наконец, правильные лозунги, только Сталин сумел их сформулировать: наступление на кулака и форсированная индустриализация! И — единство партии, конечно! И эту гнусную компанию «правых» тоже отмени от руководства.

Хвастался как-то Бухарин, что некий мудрец вывел: «низшие умы более способны в управлении». Дал ты маху, Николай Иванович, вместе со своим мудрецом: не низшие — *здравые*. Здравые умы.

А какие вы были умы — это вы на процессах показали. Сталин сидел на галерее в закрытой комнате, через сеточку смотрел на них, посмеивался: что за краснойбай были когда-то! что за сила когда-то казалась! и до чего дошли? размокли как.

Именно знание человеческой природы, именно трезвость всегда помогали Сталину. Понимал он тех людей, которых видел глазами. Но и тех понимал, которых не видел глазами. Когда трудности были в 31-м—32-м, нечего было в стране ни надеть, ни поесть — казалось, только придите и толкните снаружи, упадём. И партия дала команду — бит набат, опасность интервенции! Но никогда Сталин сам ни на мизинец не верил: потому что тех, западных, болтунов он тоже заранее представлял.

Не посчитать, сколько сил, сколько здоровья, сколько выдержки пошло, чтоб очистить от врагов партию, страну и очистить ленинизм — это безошибочное учение, которому Сталин никогда не изменял: он точно делал, что Ленин наметил, только мягче немножко и без суеты.

Столько усилий! — а все равно никогда не было покойно, никогда не было так, чтоб никто не мешал. То наскакивал этот кривогубый сосунок Тухачевский, что будто из-за Сталина он Варшаву не взял. То с Фрунзе не очень чисто получилось, проморгал цензор, то в дрянной повестушке представили Сталина на горé стоячим мертвецом, и тоже прохлопали, идиоты. То Украина хлеб гноила, Кубань стреляла из обрзов, даже Иваново бастовало.

Но ни разу Сталин не вышел из себя, после ошибки с Троцким — никогда больше ни разу. Он знал, что медленно мелют жернова истории, но — крутятся. И без всякой парадной шумихи все недоброжелатели, все завистники уйдут, умрут, будут растерты в навоз. (Как ни обидели Сталина те писатели — он им не мстил, за это не мстил, это было бы не поучительно. Он другого случая дожидался, случай всегда придёт.)

И правда: кто в гражданскую войну хоть батальоном командовал, хоть ротой в частях, не верных Сталину, — все куда-то уходили, исчезали. И делегаты Двенадцатого, и Тринадцатого, и Четырнадцатого, и Пятнадцатого, и Шестнадцатого, и Семнадцатого съездов как просто бы по спискам — уходили туда, откуда не проголосуешь, не выступишь. И дважды чистили смутьянский Ленинград, опасное место. И даже друзьями, как Серго, приходилось жертвовать. И даже старательных помощников, как Ягода, как Ежов, приходилось потом убирать. Наконец, и до Троцкого дотянулись, раскроили череп.

Не стало главного врага на земле и, кажется, заслужена была передышка? Но отравила ее Финляндия. За это срамное топтание на перешейке просто стыдно было перед Гитлером — тот по Франции с тросточкой прогулялся! Ах, несмываемое пятно на гении полководца! Этих финнов, насквозь буржуазную враждебную нацию, эшелонами отправлять бы в Кара-Кумы до маленьких детей, сам бы у телефона сидел, сводки записывал: сколько уже расстреляли-закопали, сколько ещё осталось.

А беды сыпались и сыпались просто навалом. Обманул Гитлер, напал, такой хороший союз развалили по недоумию! И губы перед микрофоном дрогнули, сорвались «братья и сестры», теперь из истории не вытравишь. А эти братья и сестры бежали как бараны, и никто не хотел постоять насмерть, хотя им ясно было приказано стоять насмерть. Почему ж — не стояли? почему — не сразу стояли?!.. Обидно.

И потом этот отъезд в Куйбышев, в пустые бомбоубежища... Какие положения осваивал, никогда не сгибался, единственный раз поддался панике — и зря. Ходил по комнатам — неделю звонил: уже

сдали Москву? уже сдали?— нет, не сдали!! Поверить нельзя было, что останоят — остановили! Молодцы, конечно. Молодцы. Но многих пришлось убрать: это будет не победа — если пронесётся слух, что Главнокомандующий временно уезжал. (Из-за этого пришлось седьмого ноября небольшой парад зафотографировать.)

А берлинское радио полоскало грязные простыни об убийстве Ленина, Фрунзе, Дзержинского, Куйбышева, Горького — города выше! Старый враг, жирный Черчилль, свинья для чохохбия, прилетал позлорадствовать, выкурить в Кремле пару сигар. Изменили украинцы (была такая мечта в 44-м: выселить всю Украину в Сибирь, да не кем заменить, много слишком); изменили литовцы, эстонцы, татары, калмыки, чечены, ингуши, латыши — даже опора революции латыши! И даже родные грузины, обережённые от мобилизаций — и те как бы не ждали Гитлера! И верны своему Отцу остались только: русские да евреи.

Так даже национальный вопрос посмеялся над ним в те тяжёлые годы...

Но, слава Богу, миновали и эти несчастья. Многое Сталин исправил тем, как переиграл Черчилля и Рузвельта-святошу. От самых 20-х годов не имел Сталин такого успеха, как с этими двумя растяпами. Когда на письма им отвечал или в Ялте в комнату к себе уходил — просто смеялся над ними. Государственные люди, какими же умными они себя считают, а — глупее младенцев. Всё спрашивают: а как будем после войны, а как? Да вы самолёты шлите, консервы шлите, а там посмотрим — как. Им слово бросишь, ну первое проходное, они уже радуются, уже на бумажку записывают. Сделаешь вид — от любви размягчился, они уже — вдвое мягкие. Получил от них ни за так, ни за понюшку: Польшу, Саксонию, Тюрингию, власовцев, красновцев, Курильские острова, Сахалин, Порт-Артур, пол-Кореи, и запутал их на Дунае и на Балканах. Лидеры «сельских хозяев» побеждали на выборах и тут же садились в тюрьму. И быстро свернули Миколайчика, отказало сердце Бенеша, Масарика, кардинал Миндсенти сознался в злодеяниях, Димитров в сердечной клинике Кремля отрёкся от вздорной Балканской Федерации.

И посажены были в лагеря все советские, вернувшиеся из европейской жизни. И — туда же на вторые десять лет все отсидевшие только по разу.

Ну, кажется всё начинало окончательно налаживаться!

И вот когда даже в шелесте тайги не расслышать было о каком-нибудь другом варианте социализма — выполз черный дракон Тито и загородил все перспективы.

Как сказочный богатырь, Сталин изнемогал отсекал все новые и новые вырастающие головы гидры!..

Да как же можно было ошибиться в этой скорпионовой душе?! — ему! знатоку человеческих душ! Ведь в 36-м году уже за глотку держали — и отпустили!.. Ай-я-я-я-яй!

Сталин со стоном спустил ноги с оттоманки и взялся за голову, уже с плешинной. Ничем не поправимая досада саднила его. Горы валял — а на вонючем бугорке споткнулся.

Иосиф споткнулся на Иосифе...

Ничуть не мешал Сталину доживающий где-то Керенский. Пусть бы из гроба вернулся и Николай Второй или Колчак — против всех них Сталин не имел личного зла: открытые враги, они не изворачивались предлагать какой-то свой, новый, лучший социализм.

Лучший социализм! Иначе, чем у Сталина! Сопляк! Социализм без Сталина — это же готовый фашизм!

Не в том, что у Тито что-нибудь получится — выйти у него ничего не может. Как старый коновал, перепоровший множество этих животных, отсекавший несчётно этих конечностей в курных избах, при доро-

гах, смотрит на беленькую практикантку-медичку, — так смотрел Сталин на Тито.

Но Тито всколыхнул давно забытые побрякушки для дурачков: «рабочий контроль», «земля — крестьянам», все эти мыльные пузыри первых лет революции.

Уже три раза сменено собрание сочинений Ленина, дважды — основоположников. Давно заснули все, кто спорил, кто упоминался в старых примечаниях, — все, кто думал и н а ч е строить социализм. И теперь, когда ясно, что другого пути нет, и не только социализм, но даже коммунизм давно был построен,

если б не зазнавшиеся вельможи; не лживые рапорта; не бездушные бюрократы; не равнодушие к общественному делу; не слабость организационно-разъяснительной работы в массах; не самотёк в партийном просвещении; не замедленные темпы строительства;

нэ простой, нэ прогулы на производстве, нэ выпуск нэдоброкачественной продукции, нэ плохое планирование, нэ безразличие к внедрению новой техники, нэ бездеятельность научно-исследовательских институтов, нэ плохая подготовка молодых специалистов, нэ уклонение молодёжи от посылки в глушь, нэ саботаж заключённых, нэ потери зерна на поле, нэ растраты бухгалтеров, нэ хищения на базах, нэ жульничество завхозов и завмагов, нэ рвачество шоферов,

нэ самоуспокоенность местных властей! нэ либерализм и взятки в милиции! нэ злоупотребление жилищным фондом! нэ нахальные спекулянты! нэ жадные домохозяйки! нэ испорченные дети! нэ трамвайные болтуны! нэ критиканство в литературе! нэ вывихи в кинематографии!—

когда всем уже ясно, что камунизм на-верной-дороге и-нэдалёк ат-завершения,— высовывается этот кретин Тито сá своим талмудистом Карделем и заявляет, шьтò-камунизм надо строить н э т а к !!!

Тут Сталин заметил, что он говорит вслух, рубит рукой, что сердце его ожесточённо бьётся, застало глаза, во все члены вступило неприятное желание подёргиваться.

Он перевёл дух. Разгладил рукой лицо, усы. Ещё перевёл. Нельзя же подаваться.

Да, Абакумова надо принять.

И хотел уже встать, но проясненными глазами увидел на телефонной тумбочке чёрно-красную книжечку дешёвого массового издания. И с удовольствием потянулся за ней, подмостил подушек, на несколько минут полуприлёг опять.

Это был сигнальный экземпляр из подготовленного на десяти европейских языках многомиллионного издания «Тито — главарь предателей» Рено де-Жувенеля (удачно, что автор — как бы посторонний в споре, объективный француз, да ещё с дворянской частицей). Сталин уже прочёл эту книгу подробно несколько дней назад (да и при написании её давал советы), но, как со всякой приятной книгой, с ней не хотелось расстаться. Скольким миллионам людей она откроет глаза на этого тшеславного, самолюбивого, жестокого, трусливого, гадкого, лицемерного, подлого тирана! гнусного предателя! безнадёжного тупицу! Ведь даже коммунисты на Западе растерялись, тычутся в два угла, не знают, кому верить. Старого дурака Андре Марти — и того за защиту Тито придётся выгнать из компартии.

Он перелистал книжку. Вот! Пусть не венчают Тито героем: дважды по трусости он хотел сдаться немцам, но начальник штаба Арсо Иованович заставил его остаться главнокомандующим! Благородный Арсо! Убит. А Петричевич? «Убит только за то, что любил Сталина». Благородный Петричевич! Лучших людей всегда кто-нибудь убивает, а худших достаётся приканчивать Сталину.

Всё здесь есть, всё — и как Тито, наверно, был английский шпион, и как кичился кальсонами с королевской короной, и как он физически безобразен, похож на Геринга, и пальцы все в бриллиантовых перстнях, увешан орденами и медалями (что за жалкое чванство в человеке, не одарённом полководческим гением!).

Объективная, принципиальная книга. Нет ли ещё у Тито половой неполноценности? Об этом тоже надо бы написать.

«Югославская компартия во власти убийц и шпионов». «Тито потому только мог заняться руководством, что за него поручились Бела Кун и Трайчо Костов».

Костов!! — укололо Сталина. Бешенство бросилось ему в голову, он сильно ударил сапогом — в морду Трайчо, в окровавленную морду! — и серые веки Сталина вздрогнули от удовлетворённого чувства справедливости.

Проклятый Костов! Грязный мерзавец!

У-у-удивительно, как задним числом становятся понятны козни этих негодяев! Они все были троцкисты — но как маскировались! Куна хоть расшлёпали в тридцать седьмом, а Костов ещё десять дней назад поносил социалистический суд. Сколько удачных процессов Сталин провёл, каких врагов заставил топтать самих себя — и такой срыв в процессе Костова! Позор на весь мир! Какая подлая изворотливость! Обмануть опытное следствие, ползать в ногах — а на публичном заседании ото всего отказаться! При иностранных корреспондентах! Где же порядочность? где же партийная совесть? где же пролетарская солидарность? — жаловаться империалистам? Ну хорошо, ты не виноват, — но умри так, чтобы была польза коммунизму!

Сталин отшвырнул книжку. Нет, нельзя было лежать! Звала борьба.

Он встал. Выпрямился, не допряма. Отпер (и запер за собой) другую дверь, не ту, в которую стучался Поскрёбышев. За нею, чуть шаркая мягкими сапогами, пошёл низким узким кривым коридором, тоже без окон, миновал люк потайного хода на подземную автодорогу, остановился у смотровых зеркал, откуда можно было видеть приёмную. Посмотрел.

Абакумов был уже там. С большим блокнотом в руках сидел напряжённо, ждал, когда позовут.

Всё более твёрдо, не шаркая, Сталин прошёл в спальню, такую же невысокую, непросторную, без окон, с нагнетаемым воздухом. Под сплошной дубовой обкладкой стен спальни шли бронированные плиты и только потом камень.

Маленьким ключиком, носимым у пояса, Сталин отпер замочек на металлической крышке графина, налил стакан своей любимой бодрящей настойки, выпил, а графин снова запер.

Подошёл к зеркалу. Ясно, неподкупно-строго смотрели глаза, которых не выдерживали западные премьер-министры. Вид был суровый, простой, солдатский.

Он позвонил ординарцу-грузину — одевать себя.

Даже к приближённому он выходил как перед историей.

Его железная воля... Его непреклонная воля...

Быть постоянно, быть постоянно — горным орлом.

Его не то что за глаза, его и про себя-то почти не осмеливались звать Сашкой а только Александром Николаевичем «Звонил Поскрёбышев» значило звонил С а м. «Распорядился Поскрёбышев» значило: распорядился С а м Поскрёбышев держался начальником лично го секретариата Сталина уже больше пятнадцати лет. Это было очень долго, и кто не знал его ближе, мог удивляться, как еще цела его голо-

ва. А секрет был прост: он был по душе денщик и именно тем укреплялся в должности. Даже когда его делали генерал-лейтенантом, членом ЦК и начальником спецотдела по слежке за членами ЦК, — он перед Хозяином ничуть не считал себя выше ничтожества. Тщеславно хихикая, он чокался с ним в тосте за свою родную деревню Сопляки. Никогда не обманывающими ноздрями Сталин не ощущал в Поскрёбышеве ни сомнения, ни противоборства. Его фамилия оправдывалась: выпекая его, ему как бы не наскребли в достатке всех качеств ума и характера.

Но оборачиваясь к младшим, этот плешивый царедворец простоватого вида приобретал огромную значительность. Нижестоящим он еле-еле выдавал голоса по телефону — надо было в трубку головой влезть, чтобы расслышать. Пошутить с ним о пустяках иногда может быть и можно было, но спросить его, как там сегодня — не пошевеливался язык.

Сегодня Поскрёбышев сказал Абакумову:

— Иосиф Виссарионович работает. Может быть и не примет. Велел ждать.

Отобрав портфель (идя к Самому, его полагалось сдавать), ввёл в приёмную и ушёл.

Так Абакумов и не решился спросить, о чём больше всего хотел: о сегодняшнем настроении Хозяина. С тяжело колотящимся сердцем он остался в приёмной один.

Этот рослый мощный решительный человек, идя сюда, всякий раз замирал от страха ничуть не меньше, чем в разгар арестов граждан по ночам, слушая шаги на лестнице. От страха уши его сперва леденели, а потом отпускали, наливались огнём — и всякий раз Абакумов ещё того боялся, что постоянно горящие уши вызовут подозрение Хозяина. Сталин был подозрителен на каждую мелочь. Он не любил, например, чтобы при нём лазили во внутренние карманы. Поэтому Абакумов перекладывал обе авторучки, приготовленные для записи, из внутренних карманов в наружный грудной.

Всё руководство Госбезопасностью изо дня в день шло через Берию, оттуда Абакумов получал большую часть указаний. Но раз в месяц Единодержец сам хотел как живую личность ощутить того, кому доверял охрану передового в мире порядка.

Эти приёмы, по часу, были тяжёлой расплатой за всю власть, за всё могущество Абакумова. Он жил и наслаждался только от приёма до приёма. Наступал срок — всё замирало в нём, уши леденели, он сдавал портфель, не зная, получит ли его обратно, наклонял перед кабинетом свою бычью голову, не зная, разогнёт ли шею через час.

Сталин страшен был тем, что ошибка с ним была та единственная в жизни ошибка со взрывателем, которую исправить нельзя. Сталин страшен был тем, что не выслушивал оправданий, он даже не обвинял — только вздрагивал кончик одного уса, и там, внутри, выносился приговор, а осуждённый его не знал: он уходил мирно, его брали ночью и расстреливали к утру.

Хуже всего, когда Сталин молчал и оставалось мучиться в догадках. Если же Сталин запускал в тебя что-нибудь тяжёлое или острое, наступал сапогом на ногу, плевал в тебя или сдувал горячий пепел трубки тебе в лицо — этот гнев был не окончательный, этот гнев проходил! Если же Сталин грубил и ругался, пусть самыми последними словами, Абакумов радовался: это значило, что Хозяин ещё надеется исправить своего министра и работать с ним дальше.

Конечно, теперь-то Абакумов понимал, что в усердии своём заскочил слишком высоко: пониже было бы безопаснее, с дальними Сталин разговаривал добродушно, приятно. Но вырваться из ближних назад — пути не было.

Оставалось — ждать смерти. Своей. Или... непреодолимой.

И так неизменно складывались дела, что, предстывая перед Сталиным, Абакумов всегда боялся раскрытия чего-нибудь.

Уж перед тем одним ему приходилось трястись, чтобы не раскрылась история его обогащения в Германии.

...В конце войны Абакумов был начальником всесоюзного СМЕРШа, ему подчинялись контрразведки всех действующих фронтов и армий. Это было особое короткое время бесконтрольного обогащения. Чтобы верней нанести последний удар Германии, Сталин перенял у Гитлера фронтовые посылки в тыл: за честь Родины — это хорошо, за Сталина — ещё лучше, но чтобы лезть на колючие заграждения в самое обидное время — в конце войны, не дать ли воину личную материальную заинтересованность в Победе, а именно — право послать домой: солдату — пять килограммов трюфеев в месяц, офицеру — десять, а генералу — пуд? (Такое распределение было справедливо, ибо котомка солдата не должна отягощать его в походе, у генерала же всегда есть свой автомобиль.) Но в несравненно более выгодном положении находилась контрразведка СМЕРШ. До неё не долетали снаряды врага. Её не бомбили самолёты противника. Она всегда жила в той прифронтовой полосе, откуда огонь уже ушёл, но куда не пришли ещё репрессивы казны. Её офицеры были окутаны облаком тайны. Никто не смеял проверять, что они опечатали в вагоне, что они вывезли из арестованного поместья, около чего они поставили часовых. Грузовики, поезда и самолёты повезли богатство офицеров СМЕРШа. Лейтенанты вывозили на тысячи, полковники — на сотни тысяч, Абакумов грёб миллионы.

Правда, он не мог вообразить таких странных обстоятельств, при которых он пал бы с поста министра или пал бы охраняемый им режим — а золото спасло бы его, даже если бы находилось в швейцарском банке. Казалось бы ясно, что никакие драгоценности не спасут обезглавленного. Однако, это было свыше его сил — смотреть, как обогащаются подчинённые, а себе ничего не брать! Такой жертвы нельзя было требовать от живого человека! И он расслышал и рассыла все новые спецкоманды на поиски. Даже от двух чемаданов мужских подтяжек он не мог отказаться. Он грабил загнилотизированно.

Но этот клад Нибелунгов, не принеся Абакумову свободного богатства, стал источником постоянного страха разоблачения. Никто из знающих не посмел бы донести на всесильного министра, зато любая случайность могла всплыть и погубить его голову. Бесполезно было взято — однако и не объявляться же теперь министерству финансов!..

...Он приехал в половине третьего ночи, но ещё и в десять минут четвёртого с большим чистым блокнотом в руках ходил по приёмной и томился, ощущая внутреннюю слабость от боязни, а уши его между тем предательски разгорались. Больше всего он был бы сейчас рад, если бы Сталин заработался и вообще не принял его сегодня: Абакумов опасался расправы за секретную телефонию. Он не знал, что теперь врать.

Но тяжёлая дверь приоткрылась — наполовину. В раскрытую часть вышел тихо, почти на цыпочках, Поскрёбышев и беззвучно пригласил рукой. Абакумов пошёл, стараясь не становиться всей грубой широкой ступнёй. В следующую дверь, тоже полуоткрытую, он протиснулся тушей своей, не раскрывая дверь шире, придерживая её за начищенную бронзовую ручку, чтоб не отошла. И на пороге сказал:

— Добрый вечер, товарищ Сталин! Разрешите?

Он сплоскал, не прокашлялся вовремя, и оттого голос вышел хриплым, недостаточно верноподданный.

Сталин в кителе с золочёными пуговицами, с несколькими рядами орденских колодок, но без погонов, писал за столом. Он дописал фразу, только потом поднял голову, свино-зловеще посмотрел на вошедшего.

И ничего не сказал.

Очень плохой признак! — он ни слова не сказал...

И писал опять.

Абакумов закрыл за собой дверь, но не посмел идти дальше без пригласительного кивка или жеста. Он стоял, держа длинные руки у бёдер, немного наклонясь вперёд, с почтительно-приветственной улыбкой мясистых губ — а уши его пылали.

Министр госбезопасности ещё бы не знал, ещё бы сам не употреблял этот простейший следовательский приём: встречать вошедшего недоброжелательным молчанием. Но сколько бы он ни знал, а когда Сталин встречал его так — Абакумов испытывал внутренний обрыв страха.

В этом малом ночном кабинете, прижатом к земле, не было ни картин, ни украшений, оконца малы. Невысокие стены были обложены резной дубовой панелью, по одной стене проходили небольшие книжные полки. Не впридвиг к стене стоял письменный стол. Ещё — радиола в одном углу, а около неё — этажерка с пластинками: Сталин любил по ночам включать свои записанные старые речи и слушать.

Абакумов просительно перегнулся и ждал.

Да, он весь был в руках Вождя, но отчасти — и Вождь в его руках. Как на фронте от слишком сильного продвижения одной стороны возникает переслойка и взаимный обхват, не всегда поймёшь, кто кого окружает, так и здесь: Сталин сам себя (и всё ЦК) включил в систему МГБ — всё, что он надевал, ел, пил, на чём сидел, лежал — всё доставлялось людьми МГБ, а уж охраняло только МГБ. Так что в каком-то искажённо-ироническом смысле Сталин сам был подчинённым Абакумова. Только вряд ли бы успел Абакумов эту власть проявить первый.

Перегнувшись, стоял и ждал дюжий министр. А Сталин писал. Он всегда так сидел и писал, сколько ни входил Абакумов. Можно было подумать — он никогда не спал и не уходил с этого места, а постоянно писал с той внушительностью и ответственностью, когда каждое слово, стекая с пера, сразу роняется в историю. Настольная лампа бросала свет на бумаги, верхний же свет от скрытых светильников был небольшой. Сталин не всё время писал, он отклонялся, то скашивался в сторону, в пол, то взглядывал недобро на Абакумова, как будто прислушиваясь к чему-то, хотя ни звука не было в комнате.

Из чего рождается эта манера повелевать, эта значительность каждого мелкого движения? Разве не так же точно шевелил пальцами, двигал руками, водил бровями и взглядывал молодой Коба? Но тогда это никого не пугало, никто не извлекал из этих движений их страшного смысла. Лишь после какого-то по счёту продырявленного затылка люди стали видеть в самых небольших движениях Вождя — намёк, предупреждение, угрозу, приказ. И заметив это по другим, Сталин начал приглядываться к себе самому, и тоже увидел в своих жестах и взглядах этот угрожающий внутренний смысл — и стал уже сознательно их отрабатывать, отчего они ещё лучше стали получаться и ещё вернее действовать на окружающих.

Наконец Сталин очень сурово посмотрел на Абакумова и тычком трубки в воздухе указал ему, куда сегодня сесть.

Абакумов радостно встрепенулся, легко прошёл и сел — но не на всё сиденье, а на переднюю только часть его. Так было ему совсем не удобно, зато легче привстать, когда понадобится.

— Ну? — буркнул Сталин, глядя в свои бумаги.

Настал момент! Теперь надо было не терять инициативы!

Абакумов кашлянул и почищенным горлом заторопился, заговорил почти восторженно. (Он себя потом проклинал за эту говорливую угодливость в кабинете Сталина, за неумеренные обещания,—

но как-то само так всегда получалось, что чем недоброжелательней встречал его Хозяин, тем несдержанней Абакумов бывал в заверениях, а это затягивало его в новые и новые обещания.)

Постоянным украшением ночных докладов Абакумова, тем главным, что привлекало в них Сталина, было всегда — раскрытие какой-то очень важной, очень разветвлённой враждебной группы. Без такой обезвреженной (каждый раз новой) группы Абакумов на доклады не приходил. Он и сегодня приготовил такую группу по академии имени Фрунзе и долго мог заполнять время подробностями.

Но сперва принялся рассказывать об успехах (он сам не знал — подлинных или мнимых) подготовки покушения на Тито. Он говорил, что будет поставлена бомба замедленного действия на яхту Тито перед отправлением её на остров Бриони.

Сталин поднял голову, вставил погасшую трубку в рот и раза два просопел ею. Он не сделал больше никаких движений, не выказал никакого интереса, но Абакумов, немного всё-таки проникая в шефа, почувствовал, что попал в точку.

— А — Ранкович? — спросил Сталин.

Да, да! Подгадать момент, чтобы и Ранкович, и Кардель, и Моше Пьяде — вся эта клика взлетела бы на воздух вместе! По расчётам, не позже этой весны так и должно получиться! (Ещё при взрыве должна была погибнуть команда яхты, однако министр такой мелочи не касался, и собеседник его не допытывался.)

Но о чём он думал, сопя погасшей трубкой, невыразительно глядя на министра поверх своего кляплого свисающего носа?

Не о том, конечно, что руководимая им партия родилась с отрицания индивидуального террора. И не о том, что сам он всю жизнь только и ехал на терроре. Сопя трубкой и глядя на этого краснощёкого упитанного молодца с разгоревшимися ушами, Сталин думал о том, о чём всегда думал при виде этих ретивых, на всё готовых, заискивающих подчинённых. Даже это не мысль была, а движение чувства: насколько этому человеку можно сегодня доверять? И второе движение: не наступил ли уже момент, когда этим человеком надо пожертвовать?

Сталин прекрасно знал, что Абакумов в сорок пятом году обогатился. Но не спешил его карать. Сталину нравилось, что Абакумов — такой. Такими легче управлять. Больше всего в жизни Сталин остерегался так называемых «идейных», вроде Бухарина. Это — самые ловкие притворщики, их трудно раскусить.

Но даже и понятному Абакумову нельзя было доверять, как никому вообще на земле.

Он не доверял своей матери. И Богу. И революционерам. И мужикам (что будут сеять хлеб и собирать урожай, если их не заставлять). И рабочим (что будут работать, если им не установить норм). И тем более не доверял инженерам. Не доверял солдатам и генералам, что будут воевать без штрафных рот и заградотрядов. Не доверял своим приближённым. Не доверял жёнам и любовницам. И детям своим не доверял. И прав оказывался всегда!

И доверился он одному только человеку — единственному за всю свою безошибочно-недоверчивую жизнь. Перед всем миром этот человек был так решителен в дружелюбии и во враждебности, так круто развернулся из врагов и протянул дружескую руку. Это не был болтун, это был человек дела.

И Сталин поверил ему!

Человек этот был — Адольф Гитлер.

С одобрением и злорадством следил Сталин, как Гитлер чиховстил Польшу, Францию, Бельгию, как самолёты его застилали небо над Англией. Молотов приехал из Берлина перепуганный. Разведчики доносили, что Гитлер стягивает войска к востоку. Убежал в Ан-

глию Гесс. Черчилль предупредил Сталина о нападении. Все галки на белорусских осинах и галицийских тополях кричали о войне. Все базарные бабы в его собственной стране пророчили войну со дня на день. Один Сталин оставался невозмутим. Он слал в Германию эшелоны сырья, не укреплял границы, боялся обидеть коллегу.

Он верил Гитлеру!..

Едва-едва не обошлась ему эта вера ценою в голову.

Тем более теперь он окончательно не верил никому!

На это давление недоверия Абакумов мог бы ответить горькими словами, да не смел их сказать. Не надо было играть в деревянные лошадки — призывать этого олуха Попивода и обсуждать с ним фельетоны против Тито. И тех славных ребят, которых Абакумов намечал послать колоть медведя, знавших язык, обычаи, даже Тито в лицо, — не надо было отвергать по анкетам (раз жил за границей — не наш человек), а поручить им, поверить. Теперь-то, конечно, чёрт его знает, что из этого покушения выйдет. Абакумова самого сердила такая неповоротливость.

Но он знал своего Хозяина! Надо было служить ему на какую-то долю сил — больше половины, но никогда на полную. Сталин не терпел открытого невыполнения. Однако, чересчур удачное выполнение он ненавидел: он усматривал в этом подкоп под свою единственность. Никто, кроме него, не должен был ничего знать, уметь и делать безупречно!

И Абакумов, — как и все сорок пять министров! — по виду натужась в министерской упряжке, тянул вполплеча.

Как царь Мидас своим прикосновением обращал всё в золото, так Сталин своим прикосновением обращал всё в посредственность.

Но сегодня-таки лицо Сталина по мере абакумовского доклада светлело. И до подробности рассказав о предполагаемом взрыве, министр далее докладывал об арестах в Духовной Академии, потом особенно подробно — об Академии Фрунзе, потом о разведке в портах Южной Кореи, потом...

По прямому долгу и по здравому смыслу он должен был сейчас доложить о сегодняшнем телефонном звонке в американское посольство. Но мог и не говорить: он мог бы думать, что об этом уже доложил Берия или Вышинский, а ещё верней — ему самому могли в эту ночь не доложить. Именно из-за того, что, никому не доверяя, Сталин развёл параллелизм, каждый запряженный мог тянуть вполплеча. Выгодней было пока не высказывать с обещанием найти преступника посредством спецтехники. Всякого же упоминания о телефоне он вдвойне сегодня боялся, чтобы Хозяин не вспомнил секретную телефонию. И Абакумов старался даже не смотреть на настольный телефон, чтобы глазами не навести на него Вожда.

А Сталин вспоминал! Он как раз что-то вспоминал! — и как бы не секретную телефонию! Он собрал в тяжёлые складки лоб, и напряглись хрищи его большого носа, упорный взгляд усталый он на Абакумова (министр придал лицу как можно больше открытой честной прямоты) — но не вспоминалось! Едва державшаяся мысль сорвалась в провал памяти. Беспомощно распустились складки серого лба.

Сталин вздохнул, набил трубку и закурил.

— Да! — вспомнил он в первом дымке, но мимоходом, не то главное, что вспоминал. — Гомулка — арестован?

Гомулка в Польше не так давно был снят со всех постов и, не задерживаясь, катился в пропасть.

— Арестован! — подтвердил облегчённый Абакумов, чуть приподнимаясь со стула. (Да Сталину уже и докладывали об этом.)

Кнопкой в столе Сталин переключил верхний свет на большой — несколько ламп на стенах. Поднялся и, дымя трубкой, начал ходить. Абакумов понял, что доклад его окончен и сейчас будут диктоваться инструкции. Он раскрыл на коленях большой блокнот, достал авто-

ручку, приготовился писать. (Хозяин любил, чтобы слова его тут же записывали.)

Но Сталин ходил к радиоле и назад, дымил трубкой и не говорил ни слова, как бы совсем забыв про Абакумова. Серое рябоватое лицо его надулось в мучительном усилии припоминания. Когда он в профиль проходил мимо Абакумова, министр видел, что уже пригорбливаются плечи, сутулится спина Вождя, отчего он кажется ещё меньше ростом, совсем маленьким. И Абакумов загадал про себя (обычно он запрещал себе здесь такие мысли, чтоб как-нибудь их не учуял Верховный) — загадал, что не проживёт Батяка еще десяти лет, помрёт. Может не рассудительно, а хотелось, чтобы это случилось побыстрее, казалось, что всем им, приближённым, откроется тогда лёгкая вольная жизнь.

А Сталин был подавлен новым провалом в памяти — голова отказывалась ему служить! Идя сюда из спальни, он специально думал, о чём надо спросить Абакумова — и вот забыл. В бессилии он не знал, какую кожу наморщить, чтобы вспомнить.

И вдруг запрокинул голову, посмотрел на верх противоположной стены и вспомнил! — но не то, что надо было, — а то, чего две ночи назад не мог вспомнить в музее революции, что ему так показалось там неприятно.

...Это было в тридцать седьмом году. К двадцатилетию революции, когда так много изменилось в трактовке, он решил сам просмотреть экспозицию музея, не напутали ли там чего. И в одном зале — в том самом, где стоял сегодня огромный телевизор, он с порога внезапно прозревшими глазами увидел на верху противоположной стены большие портреты Желябова и Перовской. Их лица были открыты, бесстрашны, их взгляды неукротимы и каждого входящего звали: «Убей тирана!»

Как двумя стрелами, поражённый в горло двумя взглядами народовольцев, Сталин тогда откинулся, захрипел, закашлялся и в кашле гальцем тряс, показывая на портреты.

Их сняли тотчас.

И из музея в Ленинграде тоже убрали первую реликвию революции — обломки кареты Александра Второго.

С того самого дня Сталин и приказал строить себе в разных местах убежища и квартиры, иногда целые горы прорывать ходами, как на Холодной речке. И, теряя вкус жить в окружении густого города, дошёл до этой загородной дачи, до этого низенького ночного кабинета близ дежурной комнаты лейб-охраны.

Чем больше других людей успевал он лишить жизни, тем настойчивей угнетал его постоянный ужас за свою. И его мозг изобретал много ценных усовершенствований в системе охраны, вроде того, что состав караула объявлялся лишь за час до вступления и каждый наряд состоял из бойцов разных, удалённых друг от друга казарм; сойдясь в карауле, они встречались впервые, на одни сутки, и не могли сговориться. И дачу себе построил мышшеловкой-лабиринтом из трёх заборов, где ворота не приходились друг против друга. И завёл несколько спален, и где стелить сегодня, назначал перед самым тем, как ложиться.

И все эти предосторожности не были трусостью, а лишь — благоразумием. Потому что бесценна его личность для человеческой истории. Однако, другие могли этого не понять. И чтобы изо всех не выделяться одному, он и всем малым вождям в столице и в областях предписал подобные меры: запретил ходить без охраны в уборную, распорядился ездить гуськом в трёх неразличимых автомобилях.

...Так и сейчас, под влиянием острого воспоминания о портретах народовольцев, он остановился посреди комнаты, обернулся к Абакумову и сказал, слегка потрясая в воздухе трубкой:

— А што ты прид-принимайшь па линии безопасности пар-тий-ных кадров?

И сразу зловеще, сразу враждебно смотрел, скривя шею набок.

С раскрытым чистым блокнотом Абакумов приподнялся со стула навстречу Вождю (но не встал, зная, что Сталин любит неподвижность собеседников) — и с краткостью (длинные объяснения Хозяин считал неискренними), и с готовностью, со всей готовностью стал говорить о том, о чём сейчас не собирался (эта постоянная готовность была здесь главным качеством, всякое замешательство Сталин бы истолковал как подтверждение злого умысла).

— Товарищ Сталин! — дрогнул от обиды голос Абакумова. Он от души бы сердечно выговорил «Иосиф Виссарионович», но так не полагалось обращаться, это претендовало бы на приближение к Вождю, как бы почти один разряд с ним. — Для чего и существуем мы, Органы, всё наше министерство, чтобы вы, товарищ Сталин, могли спокойно трудиться, думать, вести страну!..

(Сталин говорил «безопасность партийных кадров», но ответа ждал только о себе, Абакумов знал!)

— Да дня не проходит, чтоб я не проверял, чтоб я не арестовывал, чтоб я не вникал в дела!..

Всё так же в позе ворона со свёрнутой шеей Сталин смотрел внимательно.

— Слушай, — спросил он в раздумьи, — а што? Дзла по террору — идут? Нэ прекращаются?

Абакумов горько вздохнул.

— Я бы рад был вам сказать, товарищ Сталин, что дел по террору нет. Но они есть. Мы обезвреживаем их даже... ну, в самых неожиданных местах.

Сталин прикрыл один глаз, а в другом видно было удовлетворение.

— Это — харашё! — кивнул он. — Значит — работаете.

— Причём, товарищ Сталин! — Абакумову всё-таки невыносимо было сидеть перед стоящим Вождём, и он привстал, не распрямляя колен полностью (а уж на высоких каблуках он никогда сюда не являлся). — Всем этим делам мы не даём созреть до прямой подготовки. Мы их прихватываем на замысле! на намерении! через девятнадцатый пункт!

— Харашё, харашё, — Сталин успокоительным жестом усадил Абакумова (ещё б такая туша возвышалась над ним). — Значит, ты считаешь — нэ-довольные ещё есть в народе?

Абакумов опять вздохнул.

— Да, товарищ Сталин. Ещё некоторый процент..

(Хорош бы он был, сказав, что — нет! Зачем тогда его и фирма?..)

— Верно ты говоришь, — задушевно сказал Сталин. В голосе его был перевес хрипов и шорохов над звонкими звуками. — Значит, ты — можешь работать в госбезопасности. А вот мне говорят — нэт больше нэдовольных, все, кто голосуют на выборах за — всё довольны. А? — Сталин усмехнулся. — Пáлитическая слепота! Враг притаился, голосует за, а он — нэ доволен! Процентом пять, а? Или, может — восемь?..

(Вот эту провокательность, эту самокритичность, эту неподдаваемость свою на фимиах Сталин особенно в себе ценил!)

— Да, товарищ Сталин, — убеждённо подтвердил Абакумов. — Именно так, процентов пять. Или семь.

Сталин продолжил свой путь по кабинету, обошёл вокруг письменного стола.

— Это уж мой недостаток, товарищ Сталин, — расхрабрился Абакумов, уши которого охладилась вполне. — Не могу я самоуспокаиваться.

Сталин слегка постучал трубкой по пепельнице:

— А — настроение молодёжи?

Вопрос за вопросом шли как ножи, и порезаться достаточно было на одном. Скажи «хорошее» — политическая слепота. Скажи «плохое» — не веришь в наше будущее.

Абакумов развёл пальцами, а от слов пока удержался.

Сталин, не ожидая ответа, внушительно сказал, пристукивая трубкой:

— Нада бóльши заботиться а молодёжи. К порокам среди молодёжи надо быть а-собенно нетерпимым!

Абакумов спохватился и начал писать.

Мысль увлекла Сталина, глаза его разгорелись тигриным блеском. Он набил трубку заново, зажёл и снова зашагал по комнате бодрей гораздо:

— Нада усилить наблюдение за настроениями студентов! Нада выкорчевывать нэ по адиночке — а целыми группами! И надо переходить на полную меру, которую даёт вам закон — двадцать пять лет, а не десять! Десять — это шькола, а не тюрьма! Это шькольникам можнэ по десять. А у кого усы пробиваются — двадцать пять! Маладые! Да-живут!

Абакумов строчил. Первые шестерёнки долгой цепи завертелись.

— И надо прэкратить санаторные условия в палитических тюрьмах! Я слышал от Берии: в палитических тюрьмах дб-сих-пор-есть прадуктовые передачи?

— Уберём! Запретим! — с болью в голосе вскрикнул Абакумов, продолжая писать. — Это была наша ошибка, товарищ Сталин, простите!!

(Уж, действительно, это был промах! Это он мог догадаться и сам!)

Сталин расставил ноги против Абакумова:

— Да скóлько жи раз вам объяснять?! Нада жи вам понять на-конец...

Он говорил без злобы. В его помягчевших глазах выражалось доверие к Абакумову, что тот усвоит, поймёт. Абакумов не помнил, когда ещё Сталин говорил с ним так просто и доброжелательно. Ощущение боязни совсем покинуло его, мозг заработал как у обычного человека в обычных условиях. И служебное обстоятельство, давно уже мешавшее ему, как кость в горле, нашло теперь выход. С оживившимся лицом Абакумов сказал:

— Мы понимаем, товарищ Сталин! мы (он говорил за всё министерство) понимаем: классовая борьба будет обостряться! Так тем более тогда, товарищ Сталин, войдите в положение — как нас связывает в работе эта отмена смертной казни! Ведь как мы колотимся уже два с половиной года: проводить расстреливаемых по бумагам нельзя. Значит, приговоры надо писать в двух редакциях. Потом — зарплату исполнителям по бухгалтерии тоже прямо проводить нельзя, путается учёт. Потом — и в лагерях припугнуть нечем. Как нам смертная казнь нужна! Товарищ Сталин, *верните нам смертную казнь!* — от души, ласково просил Абакумов, приложив пятерню к груди и с надеждой глядя на темноголикого Вождя.

И Сталин — чуть-чуть как бы улыбнулся. Его жёсткие усы дрогнули, но мягко.

— Знаю, — тихо, понимающе сказал он. — Думал.

Удивительный! Он обо всём знал! Он обо всём думал! — ещё прежде, чем его просили. Как парящее божество, он предвосхищал людские мысли.

— На-днях верну вам смэртную казнь, — задумчиво говорил он, глядя глубоко вперёд, как бы в годы и в годы. — Эт-та будыт харёшая воспитательная мера.

Ещё бы он не думал об этой мере! Он больше их всех третий год страдал, что поддавался порыву прихвастнуть перед Западом, изменил сам себе — поверил, что люди не до конца испорчены.

А в том и была всю жизнь отличительная черта его как государственного деятеля: ни разжалование, ни всеобщая травля, ни дом умалишённых, ни пожизненная тюрьма, ни ссылка не казались ему достаточной мерой для человека, признанного опасным. Только смерть была расчётом надёжным, спола. Только смерть нарушителя подтверждает, что ты обладаешь реальной полной властью.

И если кончик уса его вздрагивал от негодования, то приговор всегда был один: смерть.

Меньшей кары просто не было в его шкале.

Из далёкой светлой дали, куда он только что смотрел, Сталин перевёл глаза на Абакумова. С нижним прищуром век спросил:

— А ты — нэ боишьса, что мы тебя жи первого и расстреляем?

Это «расстреляем» он почти не договорил, он сказал его на спаде голоса, уже шорохом, как мягкое окончание, как нечто само собой угадываемое.

Но в Абакумове оно оборвалось морозом. Самый Родной и Любимый стоял над ним лишь немного дальше, чем мог бы Абакумов достать протянутым кулаком, и следил за каждой чёрточкой министра, как он поймёт эту шутку.

Не смее встать и не смее сидеть, Абакумов чуть приподнялся на напряжённых ногах, и от напряжения они задрожали в коленях:

— Товарищ Сталин!.. Так если я заслуживаю... Если нужно...

Сталин смотрел мудро, проницательно. Он тихо сверялся сейчас со своей обязательной второй мыслью о приближённом. Увы, он знал эту человеческую неизбежность; от самых усердных помощников со временем обязательно приходится отказаться, отчураться, они себя компрометируют.

— Правильно! — с улыбкой расположения, как бы хваля за сообразительность, сказал Сталин. — Когда заслужишь — тогда расстреляем.

Он провёл в воздухе рукой, показывая Абакумову сесть, сесть. Абакумов опять уселся.

Сталин задумался и заговорил так тепло, как министру госбезопасности ещё не приходилось слышать:

— Скоро будыт много-вам-работы, Абакумов. Будым йищё один раз такое мероприятие проводить, как в тридцать седьмом. Весь мир — против нас. Война давно неизбежна. С сорок четвёртого года неизбежна. А перед баль-шой войной баль-шая нужна и чистка.

— Но товарищ Сталин! — осмелился возразить Абакумов. — Разве мы сейчас не сажаем?

— Эт-та разве сажаем!.. — отмахнулся Сталин с добродушной усмешкой. — Вот начнём сажать — увидишь!.. А во время войны пойдём вперёд — там йи-вропу начнём сажать! Крепи Органы. Крепи Органы! Шьтаты, зарплата — я тебе ныкогда нэ откажу.

И отпустил мирно:

— Ну, иды-пока.

Абакумов не чувствовал — шёл он или летел через приёмную к Поскрёбышеву за портфелем. Не только можно было жить теперь целый месяц — но не начиналась ли новая эпоха его отношений с Хозяином?

Ещё, правда, было угрожено, что его же и расстреляют. Но ведь то была шутка.

(Продолжение следует)

ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

НОЧНОЙ ДОЗОР

Памяти Кедрина

Долгий дождь электричке
омывает окно.
Я последние спички обломал
все равно.
Тесно в тамбуре грязном,
там хватает «Дымков»,
стыки бьются согласно:
так таков, ты таков?
Вот кончаются сроки,
август пышет, знобит.
Был на этой дороге
кто-то прежде убит.
Сброшен местною бандой
под высокий откос,
дождь вечерний, прохладный
поцелует взасос
эти мертвые губы,
голубые зрачки,
а наутро у труп
зашумят дурачки.
Милицейский и сельский,
городской непростой,
разговор ротозейский,
уговор воровской:
«Может, выпал случайно,
оплошал в темноте?»

Не откроется тайна
никогда и нигде.
Здесь, на том перегоне,
порешили его.
И на этом перроне
положили его.
Рвется по Подмоскovie
тот же поезд ночной,
перепачканный кровью
и набитый тоской..
И бузит все наглее
молодая шпана,
все правее, левее
загибает страна.
Спи, покойник, покойся
в скромном доме своем,
на смертельном откосе
мы тебя помянем,
кто небрежно, кто нежно,
кто дождем, кто вином,
только правда, конечно,
совершенно в ином.
Правда в темном просторе,
кривда в светлом пути,
правда в честном раздоре —
впереди, впереди.

* * *

У «Ночного дозора» я стоял три минуты,
и сигнал загудел, изгоняя туристов.
Я бежал, я споткнулся о чекан Бенвенуто,
растолкал итальянок в голландских батистах.
Что-то мне показалось, что-то мне показалось,
что все это за мною, и мой ордер подписан,
и рука трибунала виска мне касалась,
и мой труп увозили в пакгаузы крысам.
Этот вот капитан — это Феликс Дзержинский,
этот в черном камзоле — это Генрих Ягода.
Я безумен? О нет, даже не одержимый,
я — задержанный только с тридцать пятого года.
Кто дитя в кринолине? Это дочка Ежова.
А семит на коленях? Это Блюмкин злосчастный.
Подведите меня к этой стенке — и снова
я увижу ее и кирпичной и красной.
Заводите везде грузовые моторы,
пусть наганы гремят от Гааги до Рима.
Это вы виноваты, ваши переговоры
словно пули в десятку — в молоко или мимо.
И когда в Бенилюксе запотевшее пиво
проливается в остром креветочном хламе,
засыпайте в ячменном отпаде глумливо,
ничего, ВЧК наблюдает за вами.

Вас разбудят приклады «Ночного дозора»,
эти дьяволы выйдут однажды из рамы.
Это было вчера, и сегодня, и скоро...
И тогда мы откроем углы пентаграммы.

Утренняя речь по дороге в Дигоми

Т. Б.

На улице Гамбашидзе,
Где комиссионный хлам
И где, могу побожиться,
Густая пыль по углам,
Зато посреди столовой
Сияет хрустальный стол,
Сидишь ты, белоголовый,
Склоняя чужой глагол.

Шампанским и «Телиани»
Наполнено баккара,
И хватит играть делами —
Теперь отдохнуть пора.
Подходит к тебе собака
По имени Ци Бай-ши.
Как ты одинок, однако,
В своей дорогой глуши.

Наместник и император
Стоят за твоим плечом,
Кудесник и информатор
Тебе уже нипочем.
Ты понял размеры клеток,
Единых во все века,
И в театре марионеток
Ты дергаешь нить слегка.

И ты поднимаешь дивный,
Почти голубой стакан,
И падает отблеск винный
На белый чужой диван.
И ты говоришь хозяйке
Почтительные слова,
И лучшая речь всезнайки
Медова, что пахлава.

И все-таки вижу, вижу
Тебя в отдаленный год:
Пустую кровать и нишу,
Где скомканный коверкот,
И лязганье битых стекол,
И мелкий бумажный сор.
И смотрит веселый сокол
В горячий родной простор.

Грохочет в ночном Тбилиси
Загруженный грузовик,
И желтый зрачок у рыси
К победам уже привык.
В пустом знаменитом доме
Гремит одинокий залп —
Ты знаешь и это, кроме
Испаний, Венеций, Альп.

В четыре утра выходим
С тобою к смешной Куре,
Пустое такси находим
В разнеженном ноябре.
И мчмися, дымя цигаркой,
В Дигоми, где новый стол,
И снова в квартире жаркой
Заморский звучит глагол.

Так здравствуй еще четыре
Последние тыщи лет,
Поскольку в подлунном мире
Другого такого нет.
Хромай через все науки,
Иди через все слова,
И нету на свете скуки
Печальнее торжества.

Сириус над Маасом

Глядя на берег Мааса, где стройки железобетон,
Боже, какая гримаса в этом пейзаже речном.
В старом большом ресторане, где вывален век либерти,
что-нибудь хоть Христа ради, но выпроси, приобрети.
Дайте мне рюмку ликера, дайте шпината еще,
вздора, фурора, фарфора, но только еще и еще.
Пылако дышали тарелки, «веджвуд» с копченым угрем,
выдумка — смерть и безделка, может быть, мы не умрем.
Может быть, вечным обедом нас на террасе займут,
ибо ответ нам неведом, ибо свидетели врут.
Так оскорбительно гаупы, можно сказать, что гаупы
рябчиков тухлые трупы, устрицы, раки, супы.
Тихие флаги речные мимо уносит Маас,
тени и пятна ночные. Сириус смотрит на нас.
Будь же ты проклято, небо, демон распятой земли,
если за корочку хлеба мы тебя приобрели.

ВАСИЛЬ БЫКОВ

*

ОБЛАВА

Повесть

Глава первая. ЧЕЛОВЕК НА ОКОЛИЦЕ

Привечная луговая пойма с разбросанными по ней широкими кустами лозняка дружно зеленела поздней осенней отавой. После недавних дождей окрестные болота разлились, до краев наполнив обычно неглубокую летом речушку, и подтопили пойму, которая поболотному вспучилась мягким молодым мхом. Мох податливо оседал под ногами, выдавливая на поверхность мутную жижу, но не проваливался, трясины здесь не было. Это сейчас, осенью, пойма обильно сочилась влагой, летом же, в сенокосную пору, здесь было сухо, вольно ходили косари, ездили возы с сеном. Следы от колес и лошадиных копыт в свежей траве еще и теперь слабо поблескивали черной водой. Вода была всюду.словно щелок, она разъедала кожу постолов, насквозь промочила портянки. Надо бы присесть, переобуться, но человек, казалось, не обращая внимания на мокрядь и бездорожье, упрямо пробирался по заболоченной пойме.

Осенний день был на исходе, вокруг стояла ветреная тишь, никого живого поблизости не было. Люди работали в поле, убирали картошку, наверно, до далекой поймы никому не было дела. Человек вроде знал это и все же был неспокоен, почти встревожен. Торопливая походка его казалась неестественно напряженной; давняя застарелая тревога сквозила в цепком, настороженном взгляде, привычно таилась в угрюмом выражении немолодого, заросшего серой щетиной лица. Рот полуоткрыт — от усталости или постоянного напряжения, из-под вислых усов выглядывали два нижних зуба, верхних совсем видно не было. Человек часто и хрипло дышал — наверно, нелегко далась ему эта ходьба по болоту. Одет он был в порыжевший от старости, самотканый армячок с заплатой у воротника; на тощем животе кособоко держался узкий, с болтающимся концом ремешок. Глубоко натянутая на голову черная кепка давно потеряла форму — наверно, служила не первый год. Как и портки. В больших и малых заплатках, они казались совсем ветхими, чего нельзя было сказать о постолох. Хотя и раскисшие от воды, но скроенные из прочной сыромятной кожи, стянутые на щиколотках новыми веревочными оборами, они ловко обхватывали снизу и мокрые штанины портков. Никакой ноши, сумки или узла у человека не было, свободные руки настороженно согнуты в локтях, будто наизготовку. Нетрудно было догадаться, что человек давно шел один, свыкся со своим одиночеством и старательно избегал людей. Люди для него представляли наибольшую опасность в поле, в деревнях, на дорогах, и он выбирал путь окольный — перелесками, полем, а еще лучше лесом. За время своего одиночества он почти отвык от звуков человеческого голоса, сам все время молчал, до боли в голове думал, то и дело торопливо озирая окрестности. Слух его стал таким чутким, что он легко различал шорох птицы в ветвях, за версту ловил стук колес на дороге, негромкие детские голоса в отдалении указывали ему место, где пасется деревенское стадо. Стада он не боялся. Раза три добывал у подпасков пищу — хлеб или картошку, однажды разжился кусочком сала у девочек, пасших

коров возле леса. Выйдя из кустарника, сперва поинтересовался, какая деревня рядом и как зовут девочек, а потом попросил хлеба. Девочки — заметно было — испугались, но та, что постарше, вынула из кармана большой, болтавшейся на ней свитки кусок хлеба с салом и молча протянула ему. Он взял кусок, отошел и, хотя оголодал, как мартовский волк, не сразу принялся есть — так тронул его испуганный взгляд девочки, неожиданно напомнивший ему Олю. Он забрался в хвойную чащу и заплакал — может, впервые с того дня, как похоронил дочку. Не суждено было ей увидеть родную землю, прибрал Бог на чужой стороне.

А отец — увидал.

Сенокосные угодья с лозняком и речушкой сворачивали в сторону, впереди, над поймаемым мелколесьем, зазеленела хвойная рощица на пригорке, и Хведор замедлил шаг, пораженный неожиданно открывшимся видом. На пригорке высилась видная издалека купа старых высоких сосен, внизу под ней пролегал большак, которым он много раз ездил на станцию, в местечко — за покупками, на базар, когда вывозил продналог или хлопотал по начальству. Все те хлопоты оказались пустыми, налоги пришлось выплатить полностью, пока не обложили твердым. На твердом его возможности кончились...

Пригорок, кажется, не изменился за последние годы, свежая зелень сосен нарядно выделялась из серого осеннего мелколесья. Сосны будто слали ему привет из того печального дня, когда он прощался с ними по дороге на станцию. Очень хотелось Хведору свернуть к знакомому пригорку, может, взобраться на его крутизну, вдохнуть смолистый аромат хвои, потрогать руками шершавые комли сосен. Но он не пошел. Близо было и желанно, но... Впереди ждали его и другие знакомые места, а там, за пригорком, на большаке, могли встретиться люди. Свои, знакомые, деревенские. Встречи со своими он теперь опасался больше всего.

Да, вот так обернулась жизнь — распроклятая его судьба вырвала его из родных мест, бросила в другие, никогда прежде не слыханные места. Дважды за последний год пускался оттуда в бега — по-дурному, без малейшего шанса на удачу. Но вот — повезло, и как раз в тот момент, когда надежда, казалось, навсегда покинула его и он готов был примириться с неволей. Неужели и в самом деле он скоро увидит свой родной угол, бывшее свое поле, деревенские крыши Недолица с его малоурожайными землями, болотистым выгоном, непролазным ольшаником возле речки? Здесь он родился, тут прошли его молодые годы и будущее вспыхнуло сладкой и такой обманчивой надеждой...

Надо было обойти пригорок, узкой, заросшей кустарником ложбинкой проскочить на ту сторону большака; на этой стороне, вдоль речки, начиналось залитое водой болото, по которому сейчас не пройдешь. Здесь он хорошо знал местность, не надо было спрашивать дорогу. Он и прежде редко у кого о ней спрашивал, разве что у ребят-подпасков в поле, однажды остановил тетку, она несла хворост в село. И никогда — у мужчин или молодых парней, которые, знал он, могли его задержать и сдать в милицию. На молодых надежды у него не было. Молодые теперь сплошь комсомольцы, воспитанные в ненависти и подозрении к любому чужому и незнакомому. А к такому знакомому, как он, — тем более.

Большак он перебежал удачно, никем не замеченный, и, скрываясь в кустах ольшаника, вышел к сосновой опушке. Это был край большого Казенного леса, в котором сельскому люду когда-то выделяли деревья для постройки жилья. Он и сам пилил здесь сосны на хату, когда после революции строился на своем наделе, полученном от сельсовета, — двенадцать десятин земли.

Распределяли по две десятины на душу, а у него к тому времени было уже шестеро душ: он с женой Ганной, двое стариков, сын Ми-

колка да родившаяся в тот год малая Олечка. И он, батрак, потомственный малоземелец, в одно весеннее утро стал владельцем пахотного участка, счастливо доставшегося ему на панском поле у леса. Душа пела от счастья, белый свет казался солнечным раем. Построил хату, гумно, хлева, обзавелся скотиной. Порой было до чертиков трудно, думал, протянет ноги от работы. Но был молодой, сильный и выжил, а потом и вовсе зажил неплохо.

Где-то в той стороне леса среди зарослей подлеска пряталась старая стежка, но он не стал ее искать, пошел напрямик. Усталый, голодный, с мокрыми ногами, он не мог одолеть в себе лихорадочного нетерпения и, не очень разбирая дороги, упрямо стремился вперед. Временами почти забывая об осторожности, шумно продирался сквозь подрост и кустарник, бежал, сминая постоломи трескучий хвойный валежник. Миновал неширокую рощицу березняка среди сосен и выбрался на почти чистую, усыпанную старыми пнями делянку. Кажется, это была та самая делянка, на которой он с шурином Томашем пилил зимой бревна для хаты. Подросток Миколка жег рядом костерок и помогал обсекать сучья. Но теперь его мало интересовала делянка, близость желанной цели захватила его целиком.

Последние сотни метров он бежал по какой-то полузаросшей лесной тропе — идти спокойно уже не доставало сил, все в нем напряглось от нетерпения. Вот-вот должна была показаться опушка, с которой он увидит поле и свою осиротевшую усадьбу. Он понимал, что усадьба теперь вряд ли пустует, кто-то занял ее, может, даже кто из деревенских, знакомых ему. Но главное — скорее бы увидеть ее крышу из дранки с красным кирпичным дымоходом, соломенные стрехи сараев, палисадник под окнами, когда-то полный ярких осенних георгинов, яблоны в саду над прудом. Прививал еще совсем малые, тонкие деревца — теперь, наверно, стоят уже с яблоками...

Он выбрался на опушку возле старой груши-дуплянки, которую помнил с детства, смятая трава под нею пестрела россыпью опавших плодов. Видно, никто их не собирал здесь, и они гнили на земле, во множестве белея на дереве среди поредевшей листвы. Отсюда, с опушки, уже хорошо стало видно широкое пространство вспаханного под зябь поля. Хведор медленно пошел вдоль края леса, все вглядываясь в пространство поля, где чуть дальше лежал и его осиротевший надел. Скоро в отдалении появились и крайние хаты Неодолища, крыши сараев, сады и опускавшиеся к выгону шнуры огородов. На крайнем из них, согнувшись, ковырялась в земле женщина в красном платке — наверно, кто-то из Антосевых баб копал картошку. Но где же его усадьба? Где хата, гумно, дворовые постройки? На равнинной, слегка покатою от леса пашне со слабенькой зеленью озими шевелилось на ветру несколько плодовых деревьев, и ни одного строения не было рядом. Повсюду простиралось голое поле — от леса до самого пруда внизу.

Загребая постоломи в пересохшем бурьяне, Хведор брел по опушке. Силы его быстро убывали, шаг делался тяжелее, он остановился, постоял и обессиленно опустил наземь.

Ну вот и добрал. Дошел, добежал, дотянулся за три месяца невероятного пути, мук и терпенья... Да и на что было надеяться? Чего он хотел? На что рассчитывал? Прежде всего — увидеть. Ну вот и увидел... Разве здесь его ждали? Разве обязан был кто-то беречь его брошенную усадьбу? Перевезли в другое место, наверно, и давно уже служит добрым людям — детям да старикам. И уж наверняка посчастливей они, чем он. А земля?.. Земля все так же и даже весело зеленеет озимью. Кажется, вроде и неплохая озимь. Только на том конце, у пруда, потемнела от влаги. Но там и у него всегда вымокала. Он старался сажать там картошку и лишь два раза посеял коноплю. Зерновые же у пруда не родили. Новые хозяева, наверно, не зная об этом, посеяли рожь..

Он долго сидел, подавленный и вконец обессиленный, уныло вглядываясь в поле и деревню, которых не видел целую вечность. Они снились ему каждую ночь, оставаясь в недостижимой дали. И вот они рядом — рукой подать. Вокруг неспешно ступали ранние сумерки, из леса плыл густой хвойный шум, вверху куда-то летели растерзанные ветром дождевые облака. В поле и близости от деревни никого нигде не было; присутствие людей неясно ощущалось в деревне — на огородах, во дворах, за плетнями и заборами. Из-за крайних хат на дороге появилась телега с парнишкой — он стоя, нахлестывая кнутом, погонял гнедую лошаденку, с замирающим вдали стуком телега скрылась в лощине. Хведор уже и не надеялся узнать парнишку, хотя когда-то знал здесь каждого старого и малого. Но за минувшие годы старики, наверно, ушли на тот свет, повырастали дети, узнать мудрено, особенно издали. Но не приведи Бог, если узнают его. Или хотя бы заметят в поле. Спыхватившись, что он на виду у деревни, Хведор сполз пониже в бурьян. Возбуждение стало понемногу спадать, он спокойнее уже оглядывал знакомое поле — озимые всходы, редкие одинокие деревца в тех местах, где проходили когда-то межи, кустарник в низинке возле болотца. В дальнем конце деревни возвышался пригорок с небольшой сосновой рощицей, что-то там тускло белело под соснами. Это было старинное деревенское кладбище со всей родней Хведора — дедами и прадедами, весь его род. Как и многие деревенские семьи, отошли, отмучившись на этой земле. Завидная все же доля, подумал Хведор: после смерти остаться со своими в родной земле. А его страдальца Гануля легла в промерзлое болото за тысячу верст отсюда, под студеным Котласом. Кому и когда могла привидеться эта доля? Они и не слышали прежде такого чудного названия, а оно стало для Ганули судьбой. Да и для него тоже...

Хведор все сидел на заросшей кустарником опушке, вглядывался в вечернюю даль. Начали зябнуть мокрые ноги, да и самому становилось зябко — под вечер заметно похолодало. В деревне же своим чередом шла обычная сельская жизнь. Люди вернулись с поля, ходили за скотом, занимались обычными делами по дому. На тропинке, ведущей к колодцу, появилась баба с коромыслом, набрала воды, поглядывалась, постояла и, тяжело ступая, понесла воду к хлевам. В хатах затопили печи, и ветер понес над стрехами рваное клочье дыма. Хведор жадно глядел на окрестные поля, деревню, но больше всего его тянуло на место, где некогда был его хутор. Казалось, возле уцелевших яблонь сохранился какой-то неясный след от построек, не все уничтожено. Видны были темные заросли бурьяна, что-то громоздилось там — на месте фундамента, что ли? Надо бы подойти поближе, посмотреть, ступить на землю, когда-то сулившую ему столько радости и давшую одно горе. Но было еще светло, надо бы подождать. И он терпеливо ждал. Когда деревенские хаты затянуло вечерним сумраком и уже мало что можно было увидеть в поле, он поднялся и, пошатываясь, побрел вниз, к деревцам.

Как он и думал, хуторское подворье не было запахано, нетронутым остался двор, уцелели фундаменты, на прежних местах лежали угловые камни амбара. Амбарные камни были огромные, особенно один, лежавший под нижним углом строения. Его привезли из Гораней, вдвоем с Томашем они едва вкатили его на телегу. Этот камень и теперь гладким боком выглядывал из крапивы. Фундамент под хатой местами выкрошился, оброс бурьяном; крыльца уже не было — наверно, вместе с хатой перевезли на новое место. Там, где когда-то стояла печь, громоздилась поросшая польнонью куча кирпичей — это было все, что от нее осталось. Оно и понятно: печной кирпич был никудашный, плохого обжига, в ту осень лучшего не нашлось, на кирпичном заводе не хватало топлива, и Хведору сказали, что для печи сгодится. Он и сгодился, печь простояла лет восемь, пришлось только переложить дымоход, для которого он прикупил в местечке сотню кирпичей

давней, царских времен, формовки. Горько ему было сейчас бродить по развалившемуся подворью, душа обливалась кровавыми слезами. Единственно, что порадовало его, был молодой садик, деревца которого уже вошли в самую силу и теперь беззаботно трепетали листвою на ветру. Три антоновки он привил на третьем году своей хуторской жизни, годом позже — две грушки. Черенки добывал в Фаринове у одного учителя на станции. Первый привой, однако, не удался, осенью прививал снова. Он обошел деревца, ошупал их плотные, крепкие стволы, будто поздоровался с каждым. Уже стемнело, и ему захотелось попробовать яблоки — может, что-нибудь осталось на ветках? Повгладывался в темную листву, потрогал нижние ветки, слегка тряхнул крайнюю антоновку. Нет, нигде ничего не шевельнулось, не упало наземь. Или весь урожай уже сняли?.. Хведор увидел на антоновке обвисший, сломанный сук, другой лежал в траве под ногами, и он понял, что яблочек здесь давно уже не было. Да и как им тут быть, в этом саду среди голого поля, брошенном без хозяйского глаза. Яблони, как и цветы, без человеческой ласки расти не будут.

Хведор обошел подворье. На месте когда-то вырытого им колодца зияла черная, обросшая крапивой яма, от сруба и ворота не осталось и следа. Там, где была дровоколья, валялось в траве несколько палок, но дров уже не было. Постоял на куче битого кирпича в бурьяне, вспоминая, как когда-то грелся здесь на печи, приехав зимой из лесу или осенью с поля, как спали тут старики, а иногда грелась его Гануля. Хотя бедняга Ганулька грелась тут редко — больше хлопотала по хозяйству, старалась накормить немалую тогда семью, таскала тяжелые горшки с кормом скоту. Гануля не имела минуты обогреться дома и никогда уже не обогрется в мерзлой земле, на краю заболоченного кладбища. Болела недолго. Перед тем как слечь, с осени работала на лесоповале, где с бригадой таких, как она, переселенок собирала и сжигала сучье. Правда, нездоровилось ей давно, с Покрова, зимой по ночам сильно кашляла, жаловалась на боли в боку. Но к докторам не шла — докторов она побаивалась, как и начальства, стараясь лишней раз не попадаться им на глаза. Потом ей вроде полегчало от заговора Банадысихи, старой ворчливой женщины, высланной отсюда из-под Орши. Но полегчало ненадолго. В чистый четверг, притащившись с делянки, Ганулька слегла, чтобы уже не подняться. Ухаживать за ней Хведор не мог, самого ежедневно гоняли на трелевку, готовились к весеннему сплаву, надо было создать немалый задел древесины. Начальник участка не давал дыхания перевести, и бригады работали в лесу от зари до вечерних сумерек. Крепя сердце он оставил жену на Олечку, которая целыми днями то плакала, то тоненьким детским голоском пела матери ее любимую «Уточку». Наверно, так и ушла с этого света Ганулька под жалобный напев дочки. Когда он вечером притащился в барак, притихшая Олечка сказала: «Мама спит». Он кинулся к нарам, где лежала Ганулька, тормошил, звал, но тщетно — Гануля была уже мертвой. Они заплакали разом: Оля во весь голос, безутешно и горестно, он молча давился слезами.

Назавтра его освободили от работы. Не скрывая раздражения, нарядчик сказал: на полдня. За эти полдня следовало вырыть могилу, сбить какой-нибудь гроб, отвезти на кладбище за поселком. Кладбище было новое — недавно отведенный под захоронения участок лощины, хотя крестов там уже стояло немало. Спецпереселенцы вымирили дружно, особенно те, кто постарше, — не приживались на этой дикой, холодной земле. Впрочем, мерли и молодые — с голоду, от непосильной работы и чахотки, которая валила даже сильных, молодых мужиков. Говорили люди, что мрут от болезней, но больше от тоски по родным местам, от мысли о вечной с ними разлуке. Оно, может, и правда.

Как раз приближалась весна, на пригорках начинал таять снег, хотя в низине за поселком еще лежал толстым, затвердевшим настом.

Хведор не меньше часа скреб его лопатой, потом долбил кайлом мерзлую землю. Выкопал неглубокую, до пояса, могилку, копать глубже не было ни сил, ни времени — он очень боялся опоздать, не успеть до полудня. Потом, бросив лопату и кайло, побежал сколачивать гроб. Столярничать он умел, руки сызмала были приучены к нехитрому столярному инструменту, но нужны были доски. Завхоз, к которому он сунулся в конторскую пристройку, долго и молча копался в бумагах, у порога молчал Хведор, терпеливо дожидаясь ответа. Наконец завхоз встал, неторопливо закурил и очень нехотя подался на задворки, где были сложены доски. Там их, засыпанных снегом, было несколько штабелей — толстых и тонких, двадцаток и сороковок, всякого другого пиловочника. Но этот мрачный человек, кивнув в сторону торчавших из снега горбылей, процедил сквозь зубы: «Тащи вон. Пять штук, не больше». Разгребая ногами снег, Хведор вытащил пять штук сучковатых неошкуренных горбылей и, сжав зубы, отволок их к бараку, где принялся сколачивать гроб. Плакать хотелось от обиды, глядя на этот гроб, в котором суждено было его Ганульке найти свое последнее успокоение, но что он мог сделать... Что он вообще мог в каторжной неволе?

Хоронили вдвоем с Банадысихой, больше с работы никого не отпустили. Кое-как втащили промерзший гроб на водовозные сани, Банадысиха с Олечкой примостились сбоку, измученный и обессиленный, он тащил за узду старую подслеповатую кобылу. Благо везти было недалеко. Банадысиха на санях тихо бормотала молитву, а Хведор с тоской в душе думал, что надо поторопиться и ему. Жить так, как они жили тут, стало невозможным, лучше умереть. И он, пожалуй, умер бы, если бы не Оля. Девочке шел десятый годок, была она не по-детски умная (в кого только удалась?), серьезная, никогда не улыбенется, бывало, все глядит и глядит широко раскрытыми глазами, будто ожидает чего. И он думал, может, хоть она дождетя чего-нибудь лучшего. Очень хотел, чтобы дождалась. Да не сбылось — видно, не суждена была и Олечке лучшая доля...

Но что делать теперь, он не мог придумать. Он сбился с толку в этот ветреный вечер на пустом подворье и стоял, позабыв вдруг все, чего раньше желал. Главное — потерял цель, которая вела его долгие недели через все препятствия и невзгоды в родные места, к своему дому. Что его ждет здесь, он об этом, пожалуй, не думал, главным было — дойти, доползти, чтоб хоть одним глазом взглянуть на эти места, а там можно и умереть. Умереть тут, найти вечный покой в родной стороне было бы для него счастьем, о котором он мог только мечтать...

Но как быть, пока жив, куда податься? Пойти в деревню он не решился: навлечешь беду на людей, да и сам боялся милиции. Пока никто из деревенских его не заметил, он на свободе, она оставалась единственной его целью. А если заметят, узнают, тогда для него все и кончится и снова настанет то, что хуже погубило. Так пускай лучше смерть. Теперь уже на родной стороне.

Уже совсем стемнело, подул холодный ветер, и Хведор озяб: дрожь то и дело сотрясала его. Укрыться же здесь было негде. Хоть бы оставили какую сараяшку или навесик. Хотя бы конуру, где жил Лобатик, ласковый щенок, которого он незадолго до высылки принес на хутор. Так нет, не оставили ничего, сплошь пустырь и разор. Но и идти отсюда ему было некуда, и он не уходил. Долго неприкаянно слонялся по чертополоху, оглядывая темные заросли репья и крапивы. Взобрался на печище, постоял и сел на кирпичную кучу — стоять уже не было сил, болели ноги. Сидел думал. Про былые годы и былые заботы. Про свои глупые несбывшиеся мечты. О Гануле. Вспомнил, как, закладывая сруб хаты, в красный угол положили они царский рубль и повязь — ее и его вместе связанные лоскуты одежды. На богатство и чтоб жили в согласии, не ссорились и не разлучались. Оно так и

вышло — не разлучились до самой ее смерти. Хорошая была женщина, тихая и работающая. Хведор не помнил случая, чтобы они хоть раз всерьез поссорились. Хотя в жизни хватало всякого, больше трудного и плохого. Но разве их вина? Такая выпала жизнь. Большею частью дразнила счастьем, а вдоволь наделила работой, тревогами и — бедой. Думал: пусть, они выдержат все, но, может, детям будет полегче. Все же займели землю, больше батраками не будут. И правда, сынок Миколка еще подростком впрягся в работу плечо в плечо с батькой. Был он плотный, широкий в кости, мосластый парень, упрямый характером, но незлобивый. Любо было глядеть, как он гнал борозду новеньким синим плугом или на сенокосе шел в ряду взрослых мужиков. Но понемногу как-то стал отдаляться от хозяйства, сперва в школе, затем — как вступил в комсомол. В деревне начались сходки, митинги, споры. Организовали ячейку и назначили его секретарем. Стало не до хозяйства... Впрочем, отец не перечил, думал: пускай, авось выйдет в люди, займет свой хлеб, а уж он как-нибудь перебьется и без помощника. Конечно, на хуторе легче не стало. Особенно когда сын перебрался в район и совсем забыл дорогу в Недолище.

Миколка, понятно, парень разумный, грамотный, не ровня батьке. А то, что он отошел от хозяйства, может, и к лучшему. В этом, наверно, его спасение — иначе где бы он оказался теперь? В Котласе или еще дальше? А так поставили начальником, почет и уважение. Никому Хведор не писал из ссылки, а шури у Томашу как-то послал письмо, когда еще жива была Ганулька, и через полгода получил ответ. Томаш не сообщал, как живет, какие порядки в районе, немного написал о здорье, а в конце приписал самую может, важную вещь: Миколка вернулся из Красной Армии и сейчас большой начальник в районе. Ганулька впервые за последние годы счастливо заулыбалась, на миг просияло печальное лицо Оли, а он захмурился. И рад был, и точило беспокойство. Шуточки: сын раскулаченного пролез в начальники? А если дознаются?

Хведор ночи напролет думал о сыне-начальнике и его должности, тревожился и переживал. Но Сталин сказал, сын за отца не отвечает. Эти слова он прочел в газете, не раз слышал их от людей. Должно быть, Сталин говорил правду. Если Миколку поставили в районе начальником, значит, должны были знать, где его родители, из какой он семьи. А может, разобрались, что раскулачили неправильно, незаслуженно, потому и сын ни при чем. Тем более что он давно уже не жил с родителями, не хозяйствовал на отцовской земле, работал в райкоме, потом служил в Красной Армии, даже был командиром. За что же ему отвечать?

И все же Хведор ни разу не написал сыну, не мог побороть в себе страха и неуверенности, хотя Ганулька очень просила написать, даже расплакалась однажды. Он боялся — не за себя, конечно, за сына. Думал, если опасности совсем нет, Миколка напишет сам. Томаш писал, что видел его в райцентре, сын мог бы спросить у Томаша адрес ссыльных родителей. А если не пишет, значит... Значит, что-то не так.

И все же он не хотел думать плохого, он надеялся. И когда задунал этот побег, и прежде того, до побега. И в страшной дороге — на платформах, на железнодорожных платформах среди штабелей леса, в долгих скитаниях по лесам и проселкам. Днем и ночью он думал, сомневался, но так ничего и не надумал. Он не знал, как ему отнестись к сыну, а главное — как сын отнесется к отцу.

Правда, если Миколка большой начальник, то, наверное, что-то же может... Начальнику многое позволено. Бывает, простому человеку нельзя, а начальству не запрещается — это Хведор знал хорошо. Насмотрелся и в царское время, и в армии, и при новой власти тоже.

Над полями и лесом полновластно хозяйничала осенняя ночь; без остатка потонув во мраке, притихла вдали деревня. Поначалу где-то поблескивала пара огоньков, вроде на том конце улицы, да и они по-

гасли. И Хведор поднялся на ноги. Неожиданно для себя он вдруг решил пройти по ночной улице, взглянуть на знакомые хаты, на колхозную контору, возле которой когда-то возвышалась над дорогой широкая арка с выцветшим кумачовым лозунгом. Тут всюду жили знакомые люди, старые и помоложе, охочие до работы и не очень, добрые, злые, безразличные, — бывшие его односельчане. Он никого из них не видел с того мартовского утра, как выехал на санях из усадьбы и все оглядывался — до самого оврага, когда уже ничего не стало видеть. И ему вслед глядели и плакали деревенские бабы, собравшиеся под суковатой вербой возле Савчиковой хаты.

Прежней дорожки от усадьбы до улицы, кажется, уже не было, заросла травой, и он пошел напрямик, пока не выбрался на дорогу. В привычном месте с грязноватого, разбитого проселка спустился в овражек с ветхим мостком на дне. Как и много лет назад, мосток еле держался и, бывало, сильно грохотал под колесами телег и бричек. Почти сразу за овражком начиналась улица. Старая верба будто усохла даже, но по-прежнему клонилась над дорогой, и за ней чернела во мраке такая же старая Савчикова хата. Живет ли там Савчик, Хведор не знал, за все пять лет его ссылки никто не написал ему из этой деревни, да и он не писал никому, ничего ни о ком не знал. А с Лёксом Савчиком когда-то учились в церковноприходской школе в одном классе, потом вместе призывались в солдаты. Был Лёкса спокойный, рассудительный мужик, горемычный бедняк, наверно, как и все тут в деревне, растил пятерых дочек. Где он теперь?

Улица лежала по-ночному черная и пустая, посередине мягкий, истоптанный скотиной песок, у оград заросли репейника. Хведор обошел кучу новых бревен у Авдотьиново подворья, уж не строится ли вдова? Хотя почему вдова? Наверно же, подросли сыны, может, и женился который, вот и строится. Тихонько прошел мимо палисадника Зыркаша, о нем теперь не хотел и думать. Искалечил этот Зыркаш ему жизнь (да и не только ему), завистливый был человек и недобрый. Когда-то настроил в район жалобу по поводу Хведоровой молотилки, с которой все и началось. Если бы не та его жалоба, может, все бы обошлось и не рыскал бы теперь Хведор в ночи, как вор, жил бы вместе со всеми. И не испытал бы тех бед, которые так щедро отмерила ему злосчастная его судьба.

За подворьем Зыркаша остановился, постоял возле изгороди, вслушиваясь, не подаст ли где голос собака. Но собаки пока молчали, или, может, их вовсе не было в деревне. Здесь особо-то они не водились и прежде, разве что на хуторах да в местечке. Деревенские же по своей бедности предпочитали завести лишнего поросенка. Должно быть, и теперь так же. Видно, не разбогатели его земляки. За редким вишенником вросла в землю убогая халупа с голыми ребрами стропил на крыше. Судя по всему, нежилая. Но где же тогда многодетная семья Ивана Погорельца из этой хаты? И еще одну постройку с черными провалами пустых окон разглядел он за тыном — тоже, наверно, покинутое жилье. Соседняя с ней хата уютной завалинкой подалась на самую улицу, здесь некогда любили посидеть мужики, посудачить на досуге о житье-бытье. Теперь эту скособоченную стену подпирал ряд кольев — чтоб не упала. Тут некогда жил самый горластый активист комбеда, худой и длинный, как жердь, Цыпрукон Змитер. Уж он-то наверняка выслужил у советской власти получше жилье — был самый бедный. Да, видно, не выслужил, если дожился до такой вот кольями подпертой халупы.

Хведор наступил на свежие коровьи лепехи и подался в сторону, ближе к репьям. Все же он боялся: не наткнуться бы на что, не услышал бы кто, как крадется он улишей. Но в потемках поблизости никого вроде не было, видно, вся деревня уснула. Только за бревенчатыми стенами хлевов сонно вздыхали коровы да на той стороне улицы тихо стукнула дверь — кто-то вышел по нужде ненадолго.

Тихо ступая по мягкой земле, Хведор миновал крайние хаты улицы и очутился у кладбища.

Как всегда, тут царили тишь и покой, могучие сосны печально шумели в вышине. За штакетником низкой ограды тускло светилось в темноте несколько новых крестов — больших и низеньких, детских. Он немного постоял у оградки и, найдя проход, с дрогнувшим сердцем ступил в это темное поселение мертвых. От прохода короткая дорожка вела на пригорок под сосны, где хоронили издавна и где он помнил каждую могилу. Первыми в ряду поднимались над всеми дубовые кресты Шуляков — отца и трех сыновей, род их был, может, самый старый в Недолище. Рассказывали, что самый первый Шуляк пришел сюда с литовской земли и осел в имении, женившись на горничной здешней барыни. Все произошло неожиданно: однажды он распрягал лошадей, а из-за угла на горничную бросился бык, наверно, ее красный платок разозлил его. Кучер Шуляк храбро преградил быку путь, видно, тогда он и заметил служанку. Ее госпожа, единственная дочь у родителей, уговорила отца отдать три крепостные семьи за одного кучера, чтоб только не разлучаться с любимой горничной. Поженившись, кучер и горничная долго жили в имении, нажили шестерых сыновей, трое из которых второе столетие лежали под смолистыми комлями кладбищенских сосен. Напротив и пониже высилась металлическая беседка с красивыми, чугунного литья столбиками, их обвивали литые виноградные ветки. Там лежала мраморная плита на могиле молодого пана поручика, тяжело раненного на войне с германцами и скончавшегося в своем имении. Теперь, конечно, никого из панов не осталось, заброшенная могила заросла бурьяном; в проржавевшей беседке иногда резвились деревенские озорники, укрывались от дождя прохожие. По другую сторону от этой могилы, меж двух разлапистых сосен, был небольшой участок, где покоился крестьянский род Ровбов: деды, отец с матерью, младшая сестра Текля, двое младенцев, умерших перед войной от дифтерита. Крайней была могила его младшего брата Прокопа, доброго, ласкового мужика, который так и не успел жениться и никого не оставил после себя. Он умер от тифа в восемнадцатом, когда Хведор был в германском плену. Уйдя на войну в четырнадцатом, братья больше не встретились. Было бы славно и ему примоститься рядом, места вроде хватало. В крайнем случае можно было потеснить соседнюю могилу, лежащий в ней не обидится. Может, не признаваясь себе, Хведор ради этого больше всего и стремился сюда, за тысячу километров, после пяти лет изгнания.

Неторопливо и почти без опаски он обошел в темноте могилки родных — четыре рядышком и две чуть пониже — на пологом склоне пригорка, прикоснулся к их шершавым, обомшелым крестам. Боялся, что рядом окажется новый, незнакомый крест. Но в этом месте новых могил вроде не было. Хотя, конечно, могли похоронить и подальше, место есть. Теперь не прежние времена — хоронят где придется, вместе с чужими, да и в чужой земле тоже. Как его Ганулю. Или Олечку. В который раз он почувствовал горький укор, что в спешке так неудачно похоронил дочку — ни оградки, ни даже креста не поставил. Не из чего было, и очень спешил: его поджидали плотгоны, и он верст пять догонял их по берегу.

Он сидел на чьей-то старой, без креста, но аккуратно обложенной камнями могиле, слушал шепот гигантских суковатых сосен, думал. Тяжело навалилась многодневная, застарелая усталость. Чтобы не свалиться от бессилья, надо было встать и идти. Но куда? В хату ни к кому не попросишься, а в сарае найдут поутру. Оставаться же здесь нельзя: на рассвете его сразу обнаружат. Значит, опять — в лес. Лес всегда с молчаливой готовностью принимал его. Тем более примет знакомый с детства Казенный лес. Выручит и теперь, бездомного, не откажет...

Глава вторая. НОЧЬ И ПОКОЙ

Должно быть, он недалеко отошел от опушки. Среди деревьев и часто подлеска было вроде тише, даже теплее будто, он забрался в густую чащобу и упал в жесткие, измятые стебли папоротника. Больше не было сил — ни идти, ни ползти. Перед тем как уснуть, забыться, вспомнил, что за этот день протопал, считай, верст сорок — от утренней зорьки до ночи. Больше ему не пройти и сорока шагов.

Проснулся, заочневши от стужи, ноги одеревенели до колен, голова тяжелая, будто с похмелья. Не сразу понял, где он; сперва показалось — на торфяниках под Котласом и что опоздал на работу. Но, разлепив глаза, сообразил: Котлас далеко. Он — дома. В утреннем лесу, у себя на родине. Эта мысль придавала ему бодрости, он поднялся на колени и стал согреваться — внутренним усилием преодолевая стужу, как делал это не раз на чужой стороне. На севере мерз почти каждое утро. Правда, там не было времени согреться, там он едва успевал собраться, чтоб не опоздать на развод — в тайгу на лесоповал или на торфоразработки. Там были строгие десятники, крикливые бригадиры, не дай Бог припоздниться — голодным останешься на весь день. А то еще побьют и запрут в каталажку.

Тело помаленьку согревалось, а затекшие ноги по-прежнему были, впрочем, ноги согреются при ходьбе. Он понимал, что надо идти, днем тут оставаться нельзя. Рядом деревня, в лес скоро пригонят стадо, его могут заметить. Да, скот здесь хорошо походил — Хведор увидел на земле следы коровьих копыт, а потом услышал и голоса: где-то перекликались пастухи. Чтоб не попасться никому на глаза, он поднялся и тихо побрел в глубь леса.

Постепенно становилось теплее, тихо в лесу. Меж разлапистых елей за пожелтевшими вершинами берез проглядывало хмурое небо, и во все стороны плыл, то затихая, то усиливаясь, печальный лесной шум. Хведору очень хотелось есть, давно уже назойливо-пусто урчало в животе. Оно и неудивительно: за весь вчерашний день ни крошки во рту не было, не до еды было — так он рвался домой. Последнюю корку хлеба, которой разжился у женщины на дороге, съел позавчера, картофеля не попалось нигде, пришлось идти впроголодь. Вчера то терпел — от волнения перед скорой встречей с родными местами не чувствуя голода, сегодня же с самого утра терпеть стало невмочь. Только чем тут разживешься? К пастухам не подойдешь, пастухи могут узнать. На дорогу тоже не сунешься — наверняка встретишь знакомого. С незнакомыми легче. Пускай придерется — у Хведора была справка, что он Зайцев Андрей Фомич, уроженец Смоленской области и работает на Тасьминском деревообрабатывающем комбинате разнобразчим. Конечно, Смоленская область далеко, а где Тасьминский ДОК, не знал и сам Хведор. Справка, известное дело, могла послужить ему где-нибудь в Коми и не очень — за тысячу верст от нее. Но что было делать? Другой бумаги у Хведора не было, а эта дважды помогла ему. И на том ей спасибо.

Тихо, словно крадучись ступая по палой листве, Хведор шел лесом, держа направление на опушку. Он вспомнил старую грушу, под которой вчера было чем поживиться, но тогда ему было не до еды. Теперь же голод упорно гнал его через лес, пока между кустарников он не увидел простор знакомого поля.

Возле груши никого не было, трава по-прежнему была усыпана плодами. Должно быть, от скотины со стороны поля грушу оберегала зеленевшая рядом озимь, стадо прогоняли стороной, по лесу. Хведор набил карманы армячка гнилобокими грушами, вкус он помнил с детства и стал жевать. Скоро понял, что одними грушами сыт не будешь, значит, надо искать картошку. С этой стороны вдоль опушки всюду зеленела озимь, картошка, наверно, была за лесом. Если не убрали

еще. Но не должны забыть, раньше конца сентября никогда не убирали.

В лесу уже совсем рассвело, сильнее шумели сосны, и плыли, мчались по небу косматые тучи. Но дождя не было, не было и росы на земле. Ноги в растоптанных, заскорузлых постолах на ходу согревались. Эти постолы, слава Богу, неплохо ему послужили — какая обувка выдержала бы такую дорогу? В дождь промокнут, а не разлезутся, в сухмень съезжатся, задубеют, станут будто железные. Неизносимые постолы! Спасибо тому рабочему, что с косой на плече встретился ему возле путевого барака и вынес кусок зачерствевшего хлеба и эти постолы: «Обувайся, ловчее будет». Хведор был босой, палец на левой ноге был сбит и кровоточил. Он не стал мешкать. Привычно обернув ноги старенькими онучами, натянул постолы. И правда, стало куда лучше, чем босиком, он протопал в них верст, наверно, двести и мог бы еще столько пройти. Постолы выдержат.

Напрягая слух, сторожась, Хведор опять не спеша шел по знакомому лесу, и тихое ощущение счастья лилось в его душу. То был его родной лес, тут он пас когда-то скотину, собирал грибы, потом валял деревья, когда зимой заготавливал рудничную стойку для нужд Донбасса. Казалось, он даже узнает полузабытый шум и шелест здешних деревьев. Там, на севере, лес был другой и шумел иначе — нелюдимо, могуче, угрожающе. Этот же — нет, не угрожал. Деликатно и мелодично трепетала на ветру листва порыжелых березок, вверху, мерно покачиваясь, медленно плыли куда-то вершины елей. Подлесок, однако, поредел за то время, что Хведор не видел его, или, может, бывшее мелкоколесье поднялось, превратясь в ладные деревца вокруг. И была уже осень — желтая и жухлая листва осыпалась, стелилась по траве, местами шурша под его постолами, и он опасался, как бы его кто не услышал. Но миновал, слава Богу, сосновый пригорок, по краю овражка вышел на давнишние корчевья — в глухом углу Казенного леса. Заброшенные давнишние делянки густо заросли кустами ольшаника, молодым ельником, всюду зеленел можжевельник. Чуть дальше начинался Долгий овраг с тихо текущим по дну ручьем. Миновав овраг, Хведор прошел версты две мелкоколесьем и вышел на опушку. Дальше лежало поле.

Как он и думал, эта часть поля от леса была занята картошкой. Ее уже выкопали, распаханые борозды чернели раскиданной ботвой, земля была перерыта, истоптана людьми и лошадиными копытами. Постояв на опушке, Хведор поковырялся в конце борозды и сразу нашел картофелину, потом еще две. Плохо выбирают, подумал он с внезапно проснувшимся хозяйским чувством, разве что перепахивать будут... Но если как следует выкопать, то и перепахивать можно на скорую руку. Тут же, похоже, и копали для отвода глаз. Заскорузлыми пальцами он крошил сухие комья земли, находил в них картофелины, запихивал их в карманы. Довольно скоро набралось три полных кармана, класть уже было некуда, и он с сожалением выпрямился: такое богатство в земле! Попадись оно ему под Котласом, где ели траву, кору с деревьев... Картофелина там была ценнее яблока. Даже сырая.

Довольный, с тяжелыми карманами подался назад в лес. Надо было выбрать место, разжечь костерок. Пожалуй, это было теперь самое опасное — костерок. Дым могли заметить в лесу. Пожалуй, лучше всего было податься на вырубку за оврагом, куда, знал, в прежние времена из Недолица нечасто заглядывали. Разве что бабы летом — по ягоды, грибы там не росли. Когда-то там водились волки, их вой на Филиппов пост доносился до его деревни. Дети туда вообще не ходили. Самый раз было ему забраться туда, поближе к волкам. Не к людям же, хмуρο подумал Хведор.

Он долго шел лесом, пока набрел на корчевье, спустился в темный, густо заросший ольшаником овраг, ополоснул в ручье грязные руки. Вода была студеная и чистая как слеза, и он про запас напился

из пригоршней. По склизким, зеленым от водорослей камням перешел на другую сторону оврага. Вскрабкался по склону не сразу, дважды отдыхая. — все же ослаб. Как два года назад на торфоразработках, когда вечером уже не было силы вылезти из торфяной ямы, а лопата казалась тяжелее бревна. Вот что значит жизнь! Да и годы. В молодости, бывало, легко подымал комель сосны на сани, бегом таскал по сходням мешки жита на мельнице. Однажды, чудак, на спор с кузенковскими хлопцами поднял Иванову жеребку. Славная была жеребочка, с лысинкой на храпе, потом на ней ездил милиционер Завьялов... А теперь еле выбрался из оврага, который подростком перемахивал с ходу, без передышки. Вот что сотворило с Хведором время и его нелепая каторжная жизнь. Если бы знать заранее, разве бы так ее устроил? Но и как было устроить иначе? Он ли распорядился ею?

Вырубки и впрямь густо заросли ольшаником, осиною, по пояс стояли жесткие папоротники, за лето вытянулось к солнцу крупнолистное лесное разнотравье. Отойдя подальше от оврага, Хведор выбрал в кустах небольшую прогалину и принялся ладить костерок. По-прежнему очень хотелось есть, казалось, ничего на свете нет вкуснее печеной, только что вынутой из золы картошки. Но сначала надо было нажечь золы. Костер из валежника, которого тут хватало, загорелся от первой спички, но повалил густой рыжий дым, и Хведор испугался: его запросто могли тут заметить. Он немного раскидал костерок, чтобы уменьшить дым, совсем его унять было невозможно. Подбросил в огонь побольше хвороста, а сам отошел в кустарник и затаился. Если кто и придет на дым, то возле костра никого не обнаружит.

Он сидел в мелком кустарнике и, глядя на хвост дыма поодаль, горестно думал: до чего дожил! Ну ладно, там, на чужой стороне, за тысячу верст отсюда, там приходилось всего бояться, прятаться, таиться. А здесь? На своей земле? Среди своих людей? Когда и с кем такое случалось? А с ним вот случилось. И ничего не поделаешь. Должен скрываться. Иначе...

Хотя а что — иначе? Погибнет? Это было бы даже заманчиво — погибнуть, может, похоронили бы на своем кладбище. Посадят в тюрьму? Наверно, в тюрьме хуже не будет — будет какая-то пища и крыша над головой. После всего, им пережитого, тюрьмы он не очень боялся. Но его вряд ли накажут тюрьмой. Скорей всего отправят назад, снова туда, на студеную землю, на которой он жить не мог. Мог только умереть. Как умерла от чахотки его Ганулька, сторела за два дня Олечка. Почуял тогда, что пришел и его черед.

Но он хотел умереть дома.

И вот ему повезло — он добрался до дома.

Так на что же ему жаловаться? Вчера, как увидел родное поле и деревню, все в душе его засияло, запело. Конечно, расстроился, что гнездо разорено, думал, хутор его стоит. Сколько раз снились ему сад, подворье, колодец с гремучим воротом, недостроенная трехстенка. Все думал, догадались ли те, кто живет там, перекрыть угол амбара. Стреха в левом углу стала протекать, особенно в ливень, все собирался перекрыть свежими снопами. Да не собрался...

Где теперь все это? Куда вывезли? Или, может, пустили на дрова для сельсовета? Как после войны пустили на дрова фольварк Альбертовку. Славный был фольварочек — и дом и конюшня. Конюшня особенно была завидная. Собранная из пиленого бруса, под гонтом. Разорили все, разломали. сожгли в сельсовете и хате-читальне. Похоже, его хутор тоже пошел огнем и дымом. Странно, но он не жалел. Если жалеть все, что нажил и потерял, можно умом тронуться. Наживал годами, за немалую копейку, кровавыми мозолями и хребтом — своим и жены, — трясся над каждой соткой земли, над каждой соломиной и щенкой. А потерял все в один миг и сам очутился на каторге.

Только за что?

Это проклятое за что раскаленным гвоздем сидело у него в го-

лове. Тысячу раз спрашивал себя, когда ехали в смрадных вагонах на север, когда их гнали обозом по замерзшей реке, когда мучился на лесоповале в тайге,— спрашивал у жены, у людей, знакомых и незнакомых, спрашивал у начальников — за что? Ему толковали о власти, о классовой борьбе и коллективизации. Но никто не смог объяснить так, чтобы стало понятно: за что у него отняли землю, которую ему дала власть, лишили нажитого им имущества и сослали на каторгу? За что? В чем его преступление? В том, что поверил и согласился взять? Так как же было не взять, как бы он кормил семью? Брат Митька не хотел делиться, потому что и правда делить было нечего — шесть десятин неудобницы, что бы вышло из того раздела? Опять же, брат был старше его, на хозяйство имел больше права, нежели он, младший Хведор. Два лета кряду Хведор батрачил в фольварке, потом женился на такой же батрачке, как сам, без земли и приданого. У Ганульки тоже земли было с заячий хвостик, а семейка дай Бог — восемь душ, из которых пятеро братьев. Как было отказаться от казенной? Взял землю.

За то, что работал с прибытком? Так ведь и зиму и лето бился как рыба об лед: строился, обрабатывал поле, старался исправно платить налоги, выплачивать самообложение, займы, страховку. Подрос сын Миколка — стал помогать. Да и лозунг был от правительства — создавайте культурное хозяйство, — кому хотелось прозябать в нищете, есть хлеб с мякиной? Хведор поверил, что власть говорит правду.

Оказывается — обманулся.

Костерок еще не догорел, когда он нетерпеливо закопал в мелкие угли десяток картофелин — на больше углей не хватило — и снова отошел подальше, стал ждать. Пока вокруг было тихо, только у оврага недолго пострекотала и улетела сорока. А голод донимал все сильнее и сильнее. Минут через десять Хведор, не выдержав, прутиком выкатил из углей крайнюю картофелину. Она была еще сыроватая и твердая, но для голодного сгодится и такая. Он вытер о штаны перемазанные золой руки и, обжигаясь, принялся есть. Выгреб еще одну. Картошка, как он и ожидал, оказалась на удивление вкусной, и он ел ее одну за другой, пока в костре не остались последние. Эти, видно, испеклись как следует, и он горячими сунул их в карман свитки.

Подкрепившись, почувствовал себя бодрее. Теперь надо думать, как выбраться из леса. Очень хотелось взглянуть на поле, может, узнает кого из сельчан — хотя бы издалека он попробует угадать, как живется в колхозе. Видно, не очень чтоб здорово, но все-таки лучше, чем жилось ему эти годы. Главное — на свободе, на своей земле. Под Котлас из деревни никаких известий не приходило, только слухи, да и то иногда. Невеселые, однако, слухи, верить желания не было. А как здесь на самом деле?

Он выбрался из зарослей, обошел овраг и краем мшистого сырого болота вышел на опушку — уже с третьей стороны леса. Здесь поле называлось Сёрбово и граничило с соседней деревней Черно-ручье, стрехи которой виднелись вдаль на пригорке. Поодаль в поле действительно работали люди, его соседи-колхозники, — копали картошку. Ему ни дня не довелось поработать в колхозе, но он читал о колхозной работе в газетах и ожидал здесь увидеть дружную работу сообща, всю артелью. Может, даже с песнями. Вместо того в ветреной полевой дали разрозненно ковырялся в бороздах десяток деревенских баб, и он видел отсюда их согнутые спины, большие головы в толсто повязанных платках, босые ноги. Все таскали за собой огромные коши с картошкой, которые относили к куче посреди участка. Возле той кучи бегал с бумагой в руке голенастый мужик, должно быть учетчик, в то время как трое других гнали плугами борозды, то и дело зло покрикивая на лошадей. Лошади — видно было отсюда — едва двигались от усталости, мотая низко опущенными головами. Это были худые, заморенные крестьянские лошади, которых в их дерев-

не когда-то можно было увидеть разве что у самых никудышных хозяев — Цыпрукова Змитера да у Игналёнка. Все же другие, как бы там ни жилось, за лошадьми старались досматривать, потому что без лошади нет хозяйства. Тут же, судя по всему, коней доби́ли основательно. Правда, он наблюдал издали — может, вблизи эта работа не казалась такой тяжкой, может, и бабы работали веселее. Но что-то откровенно-печальное влилось в его ощущения возле того поля и угнетало. Конечно, люди были слишком далеко, чтобы можно было кого-то узнать, хотя узнать очень хотелось... Он недолго постоял и краем леса двинулся в другую сторону — к большаку, надеясь, может, там встретить кого из знакомых. Только бы в лицо узнать, а заговорить да расспрашивать он не решится. Довольствуйся малым, а что поделаешь: видно, такая его судьба. Его выслали из деревни, выбраковали, словно запаршивевшего подсвинка, чтобы не портил стадо, вышвырнули подальше и забыли. Мог ли он кому навязывать себя? Тем более причинять вред внезапным своим появлением?

Большак, сколько Хведор помнил его, не изменился — был все так же разбит, разъезжен, поблескивал застарелыми лужами посередине, которые, видно было по колеям, с обеих сторон объезжали повозки. И две березы на той стороне стояли, как стояли и в его молодости, одна высокая и прямая, а другая раздвоенная, вилами — старые, заскорузлые березы с иссеченной на комлях корой. Под прямой, видно было через дорогу, недавно горел костер, пламя опалило кору, сожгло нижние ветки. Пастухи, наверное. Хведор присел пониже за пыльным придорожным кустарником, ждал, поглядывая в оба конца дороги. Пока никого не видать, должно быть, все в поле, чего ради колесить по дорогам без дела. Но он терпеливо сидел и думал. Кого прежде всего хотел бы он здесь увидеть? Пожалуй, Савчика Лёксу. Все же сосед, одноклассник и вообще душевный мужик, дай Бог ему счастья. Только не очень-то Бог наделил Лёксу счастьем. В николаевскую войну он был ранен шрапнелью в плечо и, сколько его помнил Хведор, все маялся с рукой, тяжелая работа ему не давалась. Но в крестьянском деле где возьмешь легкую? Бился несчастный Лёкса на одном наделе с кучей малых ребят. Хведор иногда подсоблял ему — то напилит дров, то навоз поможет накидать на телегу. Но помогал так, по-соседски, без большой охоты, а иногда и с досадой, когда, бывало, попросит хомут, а тут самому запрягать надо. Порой одалживал ему денег. В общем, Хведор его жалел, потому что сосед, к тому же ровесник, оба немало натерпелись на германской войне. Знать бы, как все обернется дальше, жалел бы больше, с большей душой. Все же хороший был человек Лёкса.

Ну да, видно, зряшное это дело — ждать того, чего хочешь.

Немало времени Хведор просидел у дороги, она по-прежнему была пустынной, пожалуй, напрасно он сюда притащился. И только подумал — со стороны местечка появилась повозка. Пегая лошадка живо катила вниз с горки, в телеге двое — мужик и баба. Любопытно, что лошадью правила сидевшая в передке баба. Бабу он не узнал, даже когда повозка подъехала ближе. А вот мужик... Мужик был в зимней кудлатой шапке, в кожухе с поднятым воротником, понуро сидел в заду повозки, сложив на коленях руки, ноги были укутаны пестрым лоскутным одеялом. И все время он глухо, нехорошо покашливал. Что-то знакомое показалось Хведору в его измученном лице, и, когда телега совсем была близко, вдруг он, словно кто подсказал, узнал Зыркаша. Да, это был Микита Зыркаш, который написал на Хведора, что у него молотилка, с этого все и пошло. Сперва одно твердое задание, потом другое, дальше — больше, пока не выслали. Однако же, видно, и у завистника Зыркаша не задалась жизнь, ясно, что болен. Видно, жена везла его из больницы или от доктора, и, взглядевшись в бледное лицо Зыркаша, Хведор понял: не жилец на этом свете Зыркаш. Одной ногой он уже там. Хведор хорошо чувствовал это — на-

смотрелся на таких за свою жизнь. В душе невольно шевельнулось мстительное чувство к больному: действительно, Бог видит все и карает по справедливости. Раньше он бы порадовался, а теперь не смог. Зла на обидчиков он уже почти не держал — перегорело оно за годы собственных мук, никому он не желал зла, как и себе тоже. Пусть поправляется и долго живет на земле завистник Зыркаш.

Но почему-то стало тоскливо. И горько. День вроде клонился к вечеру — кончался первый долгожданный день его пребывания на родине. Все получалось не так, как он ждал, все через пень колоду. Что будет дальше?

Он еще посидел немного, может, еще увидит кого на вечерней дороге, но больше никто не появился на ней. Стало смеркаться, он поднялся и краем леса потащился к деревне. Пожалуй, пока не стемнело, надо было пробраться на свое корчевье, но его упрямо тянуло к деревне. И он медленно шел по лесу, потом, осмелев, выбрался на опушку к озимому полю. Над ложиной и полем уже сгущались осенние сумерки, слабо заблестело вдали несколько огоньков в деревне — колхозники зажигали свет. И ему захотелось заглянуть с улицы в чье-нибудь окошко, посмотреть на людей в хатах, может, увидеть знакомые лица. Рискованно было, но, может, не узнают, даже если заметят. А окликнут — он не отзовется, словно глухой, тихо пройдет по улице. Так подмывало увидеть кого живого-знакового! Но доброго человека, не злыдня, конечно.

Тихо, словно крадучись, останавливаясь на каждом шагу, он, как и вчера, миновал по озими свое несчастливое селище, медленно вышел огородами к улице. Вот и приземистая Савчикова хата под кривой суковатой вербой. Если забраться в огород, то окажешься возле окна, напротив Лёксовой печи, у того же окна впритык к подоконнику когда-то стоял кухонный столик. Вовсе уже впотьмах Хведор перелез через изгородь, обжигая в крапиве руки, пробрался ближе к постройкам. Света в окнах у Лёксы пока не было, но Хведор чувствовал, что там не спали — какие-то неясные звуки из хаты порой доносились до его слуха. Затаившись в крапиве, он ждал. И правда, где-то наконец глухо стукнула дверь, в окне появился зыбкий свет от коптилки. Мелькнул в одном окне, в другом и замер в дальнем углу, у запечья. Хведор напряженно вглядывался — кто там? За окном метнулась и пропала чья-то неясная тень. Кто это был, отсюда разобрать было невозможно. Не слышно было и человеческого голоса в Лёксовой хате, а когда-то набита была ребятишками. Или, может, там никого не было, кроме этой безмолвной тени? Но где же тогда остальные? Где сам Лёкса? И его пять дочерей?

Больше из крапивы ничего не видать, огородам — на улицу и снова, как вчера, неслышно побрел Хведор по деревне. Красный мигающий свет от коптилок засветился еще в нескольких хатах, но в двух окна были завешены, а возле третьей кто-то топтался во дворе у самой калитки, и Хведор, втянув голову в плечи, торопливо протопал мимо.

Глава третья. ПОЛНОЛУНИЕ

Ночевал снова в лесу. По опушке отошел подальше от деревни, набрел на сухой боровой мшаник и скорчился под кустом можжевельника. Ночь выдалась холодной, сон долго не шел. Почти до первых петухов он вертелся на мху, содрогаясь от стужи и все размышляя над нелепыми вывертами своей несчастной судьбы.

Все не переставал удивляться, как ему повезло, может, первый раз в жизни. Правда, если бы знал заранее, что его ждет дома, то, может, подумал бы, стоит ли рисковать ради такого. Но не знал, не догадывался, и, в общем, хорошо, что не знал, поэтому вот теперь — дома. Что будет потом, он не думал ни тогда, когда решился на это, ни сейчас, когда достиг цели. Главное — он добился чего хотел, а там будь

что будет. Не очень это разумно, если вовсе не глупо. Как у пьяницы, который стремится раздобыть бутылку, а о будущем похмелье не думает. Или как голодный — лишь бы сейчас наестся, а что будет потом — его мало заботит. Казалось, Хведор утолил жажду своей души, а о дне завтрашнем боялся и думать.

Ночью снова стал донимать голод. Две печеные картофелины он съел, блуждая по лесу, в кармане оставались лишь три сырые. Там, под Котласом или Сыктывкарком, за милую душу ели и сырые. Если нарезать дольками и положить на хлеб, как редьку или брюкву, съешь и пальчики оближешь. И очень годится от цинги. Видно, придется и тут переходить на сырое, особенно когда кончатся спички. Как он ни берег их, осталось всего шесть штук в измятом, потертом коробке, а больше где взять? В лесу не найдешь, в деревне не попросишь. Попросить можно было в той стороне, где тебя не могли узнать. А тут сразу узнают. Вот диво, подумал Хведор, выходит, что беглецу в чужой стороне сподручнее, чем в родной. К которой так рвался, о которой не переставал думать ни ночью, ни днем, где столько знакомых, соседей, односельчан. С которыми прошла его жизнь. Но как раз к ним и не сунься, их надо остерегаться пуще всего. Вот как нелепо получилось. Так не по-людски и не по-божески. Почему так?

Теперь у него, как у малого ребенка, были десятки и сотни таких по чем у, ответить на которые он не мог, сколько ни думал. И никто ответить не мог, у кого он ни спрашивал.

Эта ночь казалась бесконечной и прошла для Хведора в непрерывном борении с холодом. Он все вертелся на стылом мшанике, уже не преодолевая дрожи, стучал остатками зубов — старался согреться. Но согреться было невозможно. Да и смутная тревога, неотвязная на грани сна, цепко держала его в своих объятиях. Он то забывался в каких-то дремотных видениях, то просыпался снова. Вокруг было тихо. К полуночи почти затих привычный шум леса, вершины елей совсем пропали в густой темени неба; между туч сверкнула и исчезла высокая одинокая звездочка. Наверно, уже за полночь где-то заиграла лесная сова — в стороне болота, за вырубками, — коротко гикнула в последний раз и умолкла, будто подавилась. Может, и он ненадолго задремал под утро, совсем обессилив в борьбе со стужей и незаметно для себя притерпевшись к ней.

Проснулся, охваченный неясным беспокойством, почти испугом, поднял голову и увидел перед собой мокрую коровью морду с ниткой зеленой слюны на губе. Корова в упор разглядывала его большими печальными глазами и жевала. Рядом зашелестели ветки, и из кустов появилась еще одна буренка со сломанным рогом на крутом лбу, которая тоже уставилась на Хведора. В следующее мгновение он со страхом понял, что очутился возле деревенского стада, которое того и гляди сейчас обступит его, и вскочил. Конечно, коровы были ему страшны, но где-то поблизости шли пастухи, они могли его увидеть. Взмахнувши на коров руками, он двинулся в сторону, в заросли можжевельника, когда совсем рядом залилась лаем собака. Судя по визгливому голосу, собачонка была так себе, во всяком случае не овчарка. Но, черт бы ее побрал, она устроила немалый переполох в лесу и, конечно, дала знать о нем пастухам. Что было мочи Хведор бросился прочь, в глубь леса. Собачонка выскочила из-за можжевельника и помчалась рядом, словно наперегонки с ним. Ослабело трюхая меж деревьев, Хведор вполголоса ругался, пытаясь унять собаку, но та не унималась, и ее остервенелый лай неотвязно сопровождал его. «Маленькая, а злая, чтоб ты сдохла, поганка», — на бегу думал Хведор. Но видно, сдыхать она не собиралась и долго еще гнала Хведора.

Наконец, притомившись, собачонка начала отставать, ее пронзительный лай прерывался порой, пока наконец и вовсе не затих позади. Но и Хведор изрядно вымотался от этого бега наперегонки и едва брел между деревьями. Его душили злость и обида. Это ж надо — еще

и собака! Боялся нарваться на собаку в деревне, а она настигла его в лесу. Пусть бы уж волк, дикий кабан или овчарка, как это случилось на севере, а то мелкая визгливая тварь. Чтoб ты сдохла, проклятая! Хорошо еще, если в мелком кустарнике его не заметили пастухи.

Проклятая собачонка загнала его в тот край леса, который он знал хуже всего. На сумрачной голой земле тут не было даже травы или мха — все сплошь усыпано хвоей. Вокруг тесно стояли темные суковатые ели, сквозь их чащобу почти не проглядывало далекое небо. Зато было тихо, покойно, казалось, людские страсти совсем не проникают сюда. Ровный лесной шум катился-плыл где-то поверху, почти не достигая земли, и треск сучка под ногой был слышен далеко. В этой стороне леса Хведор был когда-то всего два раза, и, кажется, оба зимой, когда валили лес для Донбасса; помнилось, как отвозил тогда свои кубометры за сорок километров на станцию. Далее к западу начиналась знаменитая в здешних местах Боговизна — огромное, без дорог и селений болотное пространство, широкой полосой протянувшееся до самой польской границы. Это был уже совсем чужой край, таинственный и малознакомый.

От усталости плохо держали ноги, хотелось упасть и не подняться. Хведор долго не мог успокоиться после изнурительного бега и неприкаянно брел ельником, то и дело обходя низко торчащее еловое сучье. Наверно, теперь можно было не бояться: стадо сюда вряд ли пригонят, людям и скотине тут делать нечего. Понемногу он успокаивал себя, но вместе с успокоением все настойчивее давало себя знать привычное чувство голода. Он невольно озирался, словно пытаясь разглядеть что-либо съестное. Но, видно, съестного тут не водилось. Вконец измотавшись, сел на низкий сук выворотня, достал из кармана старенький ножик. Когда-то, еще до колхозов, купленный в сельской лавке, он неплохо послужил Хведору и там, на севере, и в дороге. Большое лезвие его расшаталось, сточилось до узкого перышка, зато меньшее прочно сидело в железном черенке. Этим лезвием Хведор слегка поскоблил картофелину и стал ее есть, отрезая небольшими ломтиками. Вкус сырого картофеля был не очень привычен Хведору, но ему теперь было не до вкуса. Лишь бы что-нибудь да жевать, чтобы приглушить голод. Потому что уже не было сил брести по этому неприветливому, диковатому лесу.

Так он съел и остальные картофелины (больше в карманах ничего не было), нисколько не утолив голода. По-прежнему хотелось есть, и он подумал, что надо поискать грибов. Есть сырые грибы, конечно, риск, но если развести костерок... Пожалуй, тут можно. Или зайти еще глубже в лес, поближе к Боговизне. Уж там его вряд ли кто обнаружит.

Потом он долго расслабленно брел ельником, не очень и представляя, где он находится, а ельник все не кончался, и никаких грибов в нем не было видно. Изредка попадались старые, очевидно летние, почерневшие мухоморы, и ничего больше. Или, может, не грибной выдался год, думал Хведор, все больше впадая в уныние из-за своей сегодняшней невезухи. Потом он свернул в сторону — ближе к лесной деревушке Чезляки, которая, как он представлял, должна была находиться где-то поблизости. Уж там, наверное, этот ельник кончится, и в тамошних перелесках он что-нибудь да отыщет. Если не боровики, так хотя бы сыроежки. Только бы не пасли там скотину. Где пасется скотина, туда по грибы не ходят.

Он еще не дошел до Чезляков — не знал даже, много ли до них осталось, — как на болотистом мшанике между елей увидел клюкву. Густая ягодная россыпь в мелких глянцевиных листочках, никем, казалось, не тронутая, будто нарочно дожидалась его. Хведор бросился на мшаник и с жадностью стал есть ягоды, не очень разбирая, с листьями и мусором. Ползая на коленях по волглому мху, загребал их пригоршнями, ссыпал в карманы. Конечно, клюква плохо утоляла го-

лод, но вкус у нее был приятный — кислый, с детства привычный вкус, который он не забывал и на севере. Там тоже время от времени случалось набрести на заросли клюквы или морошки, которые не раз спасали ссыльных от голода и болезней. Только там нечасто выпадало такое ягодное изобилие — вблизи от поселков ягоду поедали еще зелеными. Жаль, что целыми, без дыр оказались у него лишь три кармана — в штанах и в свитке, — много ли наберешь в них. Когда карманы были наполнены, он принялся грести ягоды в кепку и ползал по мшанику, пока наконец не сказал себе: хватит! Всего не съешь, а взять с собою больше не во что. На всякий случай постарался заметить счастливый мшаничек — за большим ельником в сторону Чезляков. Может, еще пригодится.

Немного повеселев, с набитыми клюквой карманами и полной кепкой пошел дальше. Куда — и сам не знал. Ельнику, казалось, не было конца-края — или, может, Хведор взял не то направление?

Должно быть, и в самом деле не то. Он понял это, когда ельник вдруг оборвался, впереди посветлело и он увидел широкую полосу осоки, за которой простирались глухие заросли лозы, крушины, ольшаника. Кажется, тут начиналась Боговизна, слышавшая среди здешних жителей особенным, почти дьявольским местом. Все необыкновенное и жуткое было связано с Боговизной. Ею пугали плаксивых детей и пьяных мужиков, в гнев желали обидчикам провалиться сквозь землю в Боговизне. Говорили про какой-то подземный ход, или подземное русло, которое будто бы соединяло тамошние бочажины с другими омутами и озерами. Когда перед революцией в Боговизне утопла Змитрокова корова, то осенью ее труп нашли в Белом озере — за семь верст от Боговизны, хотя на поверхности их не соединяла никакая даже самая малая речка. То был людьми и Богом проклятый край — многие версты непролазной трясины и болотных омутов с зарослями чахлого ольшаника, камыша, айра, местами на кочках буйно разрастался лозняк. Люди испокон веку обходили эти места, а если кто ненароком и забредал сюда, то потом спасу не было от темных страхов, испуганно кричал по ночам. Зимой Боговизна слегка подмерзала, но ее бесчисленные окна-бочаги даже в самый лютей мороз покрывались лишь тонким, непрочным льдом, который не держал человека. Разве что волка. И в морозные январские ночи оттуда доносился протяжный вой многочисленных волчьих стай. Некогда в соседних с Боговизной лесах водились медведи, немало досаждавшие жителям окрестных селений. С детства Хведор помнил рассказ деда про встречу с косолапым, когда старика захватил ливень и он укрылся в выжженном пастухами дупле старого дуба. Лил дождь, были сумерки, а в дупле и вовне стало темно, когда снаружи в него сунулось что-то косматое и вонючее. Дед сжался, ни живой ни мертвый, медведь так его придавил широким косматым задом, что невозможно былодохнуть. Косолапый поудобнее устраивался в тесноте, видно, собираясь задержаться здесь надолго. Но деду задерживаться было некогда, ему нужно было домой, а прежде найти и обратять лошадь, которую он отпустил попасться неподалеку. И как было выбраться, чтобы не потревожить непрошеного гостя? Дед думал, сомневался, но не надумал ничего лучшего, чем изо всей мочи крикнуть из-за спины. И медведь, словно пробка из бутылки, выскочил из дупла, обдав деда смрадом. Такой была Боговизна.

Хведор постоял возле болота, и подался прочь от гиблого места, и снова долго брел лесом. Опять притомившись, сел под толстой смолистой елью, положил на колени кепку с клюквой, по ягодке жевал, думал. Как все-таки славно в лесу на воле! Никто тебя никуда не гонит, ты никому не нужен, никто не нужен тебе. Если бы так можно было прожить жизнь! Впрочем, так когда-то и жили — в дружбе с природой и лесом, находя в нем и прокорм в голодные годы, и пристанище во время лихолетий. Лес оборонял, согревал, кормил — был

лучшим благодетелем людей. Но то прежде. А теперь вот настало другое время — не спастись и в лесу. У людей всегда отыщется повод, зависть или злоба, — разыщут в лесу, найдут под землей. Это он хорошо усвоил. Хотя и не заметил, с чего все повелось, что стало тому причиной. Вот и в природе, кто знает, в чем тут загадка, но случается почти так же. Ему припомнился случай на северной реке, когда он работал сплавщиком. Сидел однажды в будке на плоту, затесывал клин под ослабшее перевясло. И вдруг через открытую дверь к нему стремглав влетел воробей, бросился на плечи, на голову, сбил на пол шапку. Хведор с перепугу пригнулся, замаха л руками, словно отбиваясь от птицы, которая тотчас же вылетела на волю. Выскочив следом, Хведор понял, что заставило ее броситься к человеку. Над плотами стремительно вилась воробьиная стая, которая вся враз словно по команде набросилась на беднягу. В воздухе ошалело завертелся злой птичий клубок, воробьи в клочья рвали несчастного собрата. Скоро от него ничего не осталось, только несколько перышек тихо опускались над водой. Круто развернувшись, стайка скрылась за лесистым обрывом реки. Удивленный Хведор стоял и думал: за что? Даже и птицы! Неужели в этом исконный закон природы, чтобы все — на одного? Но почему на этого одного? Чем этот воробей вызвал гнев остальных? Поступил иначе, чем все? Нарушил какой-то птичий порядок? А может, своей несхожестью с другими? Разве не могло так быть, что виноват не он — виновата стая? Как у людей? Разве у птиц так не бывает?

Хотя, наверно, у птиц бывает иначе, чем у людей. Все же у птиц больше справедливости. Случай с воробьями он наблюдал один раз в жизни, а на людскую несправедливость насмотрелся до тошноты. Видел ее, считай, каждый день.

В этот раз он долго сидел под елью, как-то по-домашнему расслабился, даже вздремнул немного. Где-то над ним, на еловой вершине, горласто прокаркала ворона, и он очнулся от дремы. Все его мысли были далеко от этого ельника — они были там, в деревне. Он думал о ней на севере, думал теперь. О ее хатах, заботах. О своих соседях. О ее полях, политых потом. Он не мог войти в нее запросто, но мысленно всегда был там. И его неудержимо тянуло туда. Невзирая на опасность.

Где-то под вечер он наконец решился и снова потащился лесом. Шел прежней дорогой сквозь ельник туда, откуда его прогнала собака. Шел осторожно, оглядываясь по сторонам, часто останавливался, прислушивался к звукам леса, всегда таинственным. Вокруг было тихо и пусто. К вечеру, кажется, утих ветер, ели стояли в отрешенном покое, словно задумавшись о чем-то. Напугавшее его стадо, должно быть, уже бредет к выгону, думал Хведор, злая собачонка старательно подгоняет оставших коровенок. Люди тоже спешат с поля к своему жилью; на ночь глядя в лесу никто не хочет остаться. Даже такой несчастный бродяга, как Хведор.

Он еще не вышел к опушке, как начало смеркаться. В лесу под деревьями густел мрак, сливалась в непроницаемую массу ближний кустарник, волглой становилась трава под ногами, и Хведор заторопился. Уже в сумерках миновал то место, где на него набросилась собака, и вскоре вышел из леса. Впереди светлело подернутое сумерками поле, стада на нем нигде не было видно. К деревне надо было идти вдоль леса по истоптанной скотом стерне. Но выходить в поле было еще рано — все-таки еще не совсем стемнело, и он сел под кустом на опушке. Сидел. Опять ел свою клюкву, коротал время. Поодаль перед ним лежал выгон, знакомая до мелочей околица деревни — с двумя грушками на Петраковом наделе, с кучей камней на бывшей меже в конце выгона. Некогда тут был и отцовский надел, на котором немало потрудился Хведор. Правда, больше и дольше его хозяйствовал там старший брат Митька, который в начале коллективизации подался

в Донбасс. Сперва уехал сам, а потом забрал и семейство, навсегда оставив хату, землю, все дворовое имущество. Должно быть, невозможно тут стало жить брату сосланного кулака, и Митька решил на добровольную ссылку. Как он теперь там, на шахтах? Ни разу не написал Хведору в далекий Котлас, как, впрочем, и Хведор не отважился написать ему. Да он и не знал адреса брата. Распадались семьи, рушились кровные человеческие связи. Братья становились чужими. Такое настало время.

Да что брат, если вот и сын тоже.

Про сына Миколку Хведор не переставал думать ни на минуту, это была его вечная боль, неумная большая забота. Хорошо, конечно, что сыну удалось отмежеваться от позора семьи и даже пробраться в начальство. Но, надо думать, очень рискованно все это, можно и погореть дотла. Чуждо отцовское сердце, что чересчур шаткое, должно быть, ненадежное положение у Миколки, и так хотелось уберечь его от беды. Но много ли он мог сделать, беглый спецпереселенец? Разве что отречься от сына, никогда не напомнив о себе ни просьбой, ни письмом, ни даже скупой весточкой,— будто он умер или его вовсе не существовало на свете. Пусть будет счастлив сынок Миколка, пусть никогда и ни в чем не упрекнет отца. Может, повезет хоть последнему из рода Ровбов, других удача уже навсегда миновала.

Над полем и выгоном тихо опустилась холодная ночь. На небе в рваных ошметках туч появился сверкающий диск луны, недолго повисел над полем и закатился за взлохмаченный край тучи. Скоро он выкатился снова и светил долго и ярко, обливая поле, опушку и человека на ней призрачным серебристым светом. Хведор не любил полнолуния, оно всегда тревожило его причудливым светом, загадочным смутным предчувствием. Теперь же полная луна и вовсе была ни к чему, и Хведор ждал, когда она скроется надолго. Деревня и хаты с опушки были видны плохо, отсюда их закрывала купа кладбищенских сосен, которые слитной высокой массой чернели за выгоном. Там царил тьма и даже при лунном свете ничего нельзя было разобрать. Хведор, однако, вглядывался в далекие очертания деревенской околицы, и его все больше тянуло к кладбищу. Когда луна наконец скрылась в тучах и вокруг все враз будто съезжилось, потемнело, он поднялся из-под кустов и торопливо пошел по полю. Луна между тем снова ненадолго выглянула и снова скрылась за облаками, но он уже не останавливался до самого кладбища.

Со стороны поля ветхая кладбищенская ограда была сломана, должно быть скотиной, он перелез через уцелевшую нижнюю жердку и остановился. Скупой свет луны, словно инеем, серебрил беспорядочное нагромождение крестов и могил. Это были, очевидно, новые захоронения, их собралось тут много, и ни одно из них не было знакомо Хведору. Кресты, большие и малые, а то и вовсе махонькие, могильные холмики совсем без крестов заняли всю низинку у выгона. На высоких католических крестах кое-где виднелись белые ситцевые ленты, засохшие букеты внизу. Хведор заметил в отдалении вырезанную, должно быть, из фанеры пятиконечную звезду, отчетливым силуэтом выделявшуюся на фоне светловатого неба. С затаенным любопытством он осторожно прошел между могил и в свете луны ошеломленно прочитал на черной дощечке: «Сокур Иван». Ниже были обозначены даты рождения и смерти. Минуту он недоуменно смотрел на надпись, оглядел невысокий могильный холмик. Было заметно, что могилу не обкладывали и, похоже, никто не присматривал за ней, вся она густо поросла бурьяном и выглядела совершенно заброшенной. Впрочем, как и многие другие могилы рядом. Но те были, наверно, давние, забытые могилы, а вот эта принадлежала человеку, которого должны были помнить в деревне. Когда Хведора ссылали на север, этот Сокур помогал районным начальникам и в то время казался бодрым, вполне здоровым мужиком. И отчего он очутился тут до поры, недоу-

мевал Хведор. И злым он, кажется, не был, Хведор на него обиды не держал. Хотя... Может, знай он, что близкий конец, мог бы быть и получше. Таким, как его отец, спокойный, рассудительный старик, не только никому не причинивший зла, но многим помогавший в их трудный час. Было время, он приютил семью брата, убитого молнией. Была гроза, брат укрылся под грушей в поле, да так там и остался. Вечером его, мертвого, нашли пастухи, назавтра схоронили, осталась вдова с шестью детишками. Старый Сокур всех перевез к себе в хату, воспитал, вывел в люди детей. Хороший был человек. Но, должно быть, сын пошел не в отца. Большого зла он людям не чинил, но, видно, был слишком покладист на должности председателя сельсовета, и районное начальство помыкало им как хотело. В тот день, как высылали Ровбу, он был поставлен следить, чтобы раскулаченные согласно приказу взяли с собой только пилу, топор, кое-какую одежку да харчей на три дня. Все остальное — картофель, зерно, имущество, нажитое годами труда и пота, — реквизируют в пользу сельсовета. Пускай бы реквизировали на общественные нужды, думал потом Хведор, но они же отбирали прежде всего затем, чтобы не оставить ссыльным, не позволить взять в дальнюю дорогу, чтобы те поскорее поумирали там от голода и стужи. Шестилетняя Олечка как раз надела новые валеночки, осенью скатанные для нее в местечке. Всю зиму девочка берегла их, обходясь старенькими, латаными-перелатаными отопками, которые было решено доносить до весны и выкинуть. Но когда стали собираться в эту дорогу, мать велела ей надеть новые — все же выправлялись в люди и матери не хотелось, чтобы девочка выглядела хуже других. Олечка послушалась, на свою беду, и перед самым отъездом стояла на затоптанном крыльце в ладных черных валеночках. Зря, видно, стояла. Бросились эти валеночки в хищные очи уполномоченного, мрачного человека в черном полушубке, и тот что-то приказал Сокуру Ивану. Сокур помялся, передернул бритым лицом, но подошел к девочке и передал приказ. Оля послушно сняла валенки и осталась на снегу в одних рваных чулочках. Увидев это, Ганулька заплакала и вынесла из сеней оставленные там отопки. Хведор укоризненно проговорил про себя: «Да-а-а!» — на что Сокур молча пожал плечами: мол, при чем я — приказали! Он подобрал те маленькие валеночки и носил с собой, пока раскулаченные грузили пожитки, прощались с родней. А Хведор все думал про него: не по-божески это — разуть дитя, не в теплые же края едут — на север, в стужу и морозы. Нет, не сказал. И поехала Олечка в ветхих отопках, и ходила в них еще две зимы, и простужалась, и хворала. Пока не простудилась последний раз, когда уже ничего ей не стало нужно.

В тот раз по широкой северной реке они гнали плоты — целый плавающий караван из бревен на тысячи кубометров древесины. Было их тринадцать человек в бригаде Кузнецова, средних лет бородатого мужика, наверно, всю свою жизнь проработавшего на сплаве. Он хорошо знал реку, все ее повороты, мели и перекаты, умел сноровисто обойти опасный каменистый слив, не рассыпать связи, не напороться на камни или на какой-нибудь полузатопленный песчаный остров. С людьми был строг, неразговорчив, не любил лодырей и слабосильных (что было для него одно и то же). Поэтому, видно, Ровба и попал в его бригаду — он был тогда вынослив, терпелив и беспрекословен. Нашлась, однако, причина, от которой едва не кончилась его работа на сплаве. После смерти жены осталась одна, без присмотра десятилетняя Олечка, и Хведор вынужден был взять дочку с собой. Но находиться на плотах посторонним строго запрещалось, поэтому Кузнецов, увидев плотогона с ребенком, тут же отправил его в контору. Может, он думал, что Ровба станет артачиться или упрашивать, а Ровба покорно собрал свой узелок, взял за руку дочку и, сказав «до свиданья», молча сошел на берег. С берега в последний раз оглянулся на реку и бригадира, который молча стоял на плоту. И вдруг бригадир взмах-

нул рукой, давая им знак вернуться. Хведор покорно, как и уходил, вернулся, и Кузнецов раздраженно выпалил: «Оставайся. Только смотри: погоришь — я ничего не знаю. Понял?» «Понял», — скупое сказал Хведор, безмерно обрадовавшись такому повороту судьбы. В самом деле, он уже свыкся с работой на сплаве, ему нравилось речное при-волье, лесные берега вокруг и высокое вольное небо над ними. Тяжелой работы он не боялся, думал, что тяжелее, чем на торфоразработках или на лесоповале в тайге, нигде не будет. Опять же при нем всегда будет Олечка, и душу его не будет щемить всякий раз, когда придется оставлять дочку одну и терзаться, как она там, не голодна ли, не обидел ли ее кто из взрослых. При жизни матери все было проще и спокойнее (хотя и тогда Олечка целыми днями сидела в холодном бараке, пока мать работала на лесосеке). Теперь же в поселке не осталось ни одной знакомой, родной души, а люди там были разные, собранные со всего света — как было бросить дитя без присмотра? Хведор был очень благодарен бригадиру за его доброту и за двоих вкалывал на сплаве.

Если бы он знал, чем обернется для него эта доброта, лучше бы оставил дочку в тайге, в первом попавшемся лесном поселении среди чужих, незнакомых людей. О, если бы знал...

На плотах Олечка не оставалась без дела, была услужливой, очень старательной девочкой и чем могла помогала строгим молчаливым дядькам. Спустя несколько дней бригадир поставил ее помощницей к кашевару Кравцу, тихому, покладистому человеку, самому старому в их бригаде. Кравец, в общем, неплохо относился к девочке, не обижал. Иногда, правда, прикрикнет, если она сделает что не так или замешкается, но прикрикнет без злости. Без злости — это главное. Не то что его земляк Роговцев — крикливый, психованный проходимец, который на каждом шагу все с матом, с самыми паскудными словами. По всякому поводу и без повода, наверно, больше по причине своей вечной нутряной озлобленности. Всякий раз, когда Хведор слышал эту матерщину, ему словно гвоздем протыкало сердце. По возможности он старался оградить от нее Олечку и, как только Роговцев начинал сквернословить, нарочно заговаривал о чем-нибудь с ней или отсылал ее на другой конец каравана. Но однажды, когда этот матерщинник особенно похабно заговорил при ней о бабах, стоящих на берегу, Хведор не вытерпел и сдержанно упрекнул человека: мол, негоже так распускать язык при ребенке, можно бы немного и полюдски. Роговцев тут же заорал, что ссыльный Ровба ему не указ, что его матюки — мелочь для того, кто нелегально содержит на плоту посторонних и тем самым нарушает режим. Вот он стукнет в ближайшем поселке, и тогда его доченька не такое услышит на ближайшем этапе, куда ее запроторят вместе с ее чистоплюем папашей.

Хведор так растерялся от этих бессовестных слов, что не нашелся что ответить. Казалось, он уже достаточно посмотрелся на всяческую человеческую подлость, но такой не видел. Вечером, когда они прошли трудную Устюжную мель, об угрозе Роговцева он рассказал бригадиру, думал, бригадир заступится, отчитает наглеца. Но Кузнецов только насушился и сказал: «Этот все может». «Так что же мне делать?» — растерянно спросил Хведор. И Кузнецов, сверкнув на него строгим взглядом, ответил: «Появятся чужие — прячь дочку». «Где же тут спрячешь на плоту?» — искренне изумился Хведор. «А под плотом и спрячешь», — бросил бригадир и зашагал себе по скользким бревнам на корму к стерновому. Хведор стоял, не зная, всерьез это или может, в издевку. Только постепенно до его сознания дошло: а и правда, можно ведь спрятаться в воде, за плотом. Олечка уже научилась неплохо плавать, будет держаться за бревно, авось не утонет. Тревожило только одно: лето было на исходе, вода с каждым днем холодала, они на плотах уже перестали купаться, только умывались по утрам. Утра становились совсем холодными.

Кто знает, исполнил ли свою угрозу этот Роговец, но вот как-то на плот для проверки прыгнул вохровец из районной комендатуры. Была как раз остановка плотов перед Усывинским перекатом. Случалось, вохровцы навевались для проверки и прежде, но проверяли больше для вида: спросят кое о чем у бригадира, позыркают по сторонам и спешат на берег. Этот же, мордастый приземистый вахлак в длинной серой шинели, поговорив с бригадиром, намерился пройти по плотам до кормы, и у Хведора недобро заняло сердце. С багром в руках он стоял по правую сторону плота, а в пяти шагах от него, держась за веревку, сидела в воде Олечка; только ее светлая головка покачивалась возле бревна на поверхности. И вот вохровец остановился посреди плота, лениво пораскачивался на толстом комле и завел с бригадиром разговор о хитростях здешней рыбалки, о том, на какую блесну берется осенью семга. Время было не позднее, но уже далеко не полдень, с севера дул холодный ветерок. Хведор напрягся от нетерпения, слушая этот бесконечный пустой разговор. Но вот, кажется, они уже собрались возвращаться к берегу, уже повернулись, уже шагнули идти... И снова остановились. Вохровец, показывая на поселок, что-то говорил бригадиру, а Хведор молча, про себя ругался: чтоб ты сдох, сытый пес! Олечка, видно, уже закоченела в воде за плотом, а вохровец медленно, с остановками шел по неподвижным плотам, говорил и говорил, потом бесцельно топтался у берега, все оглядывая реку. Хведор стоял, напряженно думая, стукнул Роговец или нет. Наконец вохровец исчез за прибрежным кустарником, и он с трудом вытащил Олечку из воды — та вся посинела от холода и, дробно стуча зубами, не могла вымолвить ни слова. Дрожаящими руками отец торопиво вытирал ее грубой мешковиной, тер худенькие плечики, впалую грудку. Надо было переодеть ее в сухое, и он снял с себя свитку, укутал дочку. Пришел Кузнецов, глянул, все понял и сбросил ватник — на, укрой! Спасибо ему, укрыл. Потом Кравец вскипятил воду, и он поил ее кипятком — казалось, как-то отогрел девочку.

На ночь положил на обычном их месте — за будкой, на влажном слежавшемся тряпье, закутал в мешковину и бригадирский ватник. Она согрелась и уснула, и он, сидя рядом, думал: может, и обойдется. Но не обошлось. Под утро начался жар, запылала дочка, просила пить, жаловалась, что болит головка. Он поил ее теплой водой, ничего другого у них не нашлось — ни лекарства, ни какой-либо травы. Утром слегка задремала, но во сне вся горела, а ему нужно было заступать за стернового. «Впереди, — сказал бригадир, — самый трудный участок реки, всем надо глядеть в оба». Но как ни глядели, все же посадили крайний плот на камни, едва сдернули его к беду. За эти часы он сумел выкроить несколько минут, чтобы навеститься за будку, и у него всякий раз недобро сжималось сердце — Олечке было плохо. Как на беду, по обе стороны реки проплывали пустые таежные берега, тянулись дикие откосы, и над ними высился дремучий лес. Человеческого жилья нигде не было видно. Бригадир видел его горе и, похоже, сочувствуя ему, сказал: «В конце недели приедем в Мезу, там есть амбулатория, может, несем туда девочку». Как избавления Хведор ждал, когда появится эта Меза, ждал два дня и две ночи, ни на минуту не сомкнул глаз, не прилег. То ворочал стерном или багром, то бегал по шатким плотам к будке. Олечке становилось все хуже. На третий день она уже не узнавала его, только просила отогнать птиц, и он удивился: каких птиц? Потом понял: она бредит. На следующую ночь малюк-ла, совсем успокоилась и тихо покинула этот мир. Как светлая маленькая птичка, навсегда отлетела в небытие ее чистая детская душа.

До полудня она лежала все там же, на тряпье за будкой, и они не знали, что делать. Наконец бригадир, выломав из пола будки три доски, велел Кравцу сколотить гроб. Тот и правда сколотил — небольшой продолговатый ящичек, в который положили остывшее тело

Олечки. Ну а где хоронить? Кругом вода, плоты не пристают к берегу — что будешь делать? И бригадир надумал немного подать задний плот к мели на повороте (совсем остановить эту громадину было невозможно) и по отмели снести гробик на берег. Хведор спрыгнул с плота, ему передали гробик, и он, стоя по грудь в воде, принял его. Пока выбирался на сушу, несколько раз окунулся в воду, едва живой вскарабкался на обрыв и огляделся. Всюду стеной стоял лес — ели и пихты. Человеческого жилья по-прежнему нигде не видать. В одном месте на обрыве зияла глубокая промоина, и рядом с ней образовался ровный голый мысок. На этот мысок он перенес гробик и принялся копать могилу. Рыл каменистую землю долго и трудно, не сдерживаясь, дал волю слезам. Жизнь отняла у него последнюю радость, единственное его утешение, и Хведор думал: чего еще ждать от нее, что она может отнять еще? После всего, что с ним приключилось, собственная жизнь потеряла всякую цену, он не дорожил ею, она стала обузой. Но что было делать? Повеситься? Утопиться? Он мог бы тогда бежать, но не хотел подводить бригадира и, наспех закопав дочку, берегом бросился вниз по реке.

Поздно вечером догнал плоты и долго еще не мог глядеть на Роговцева, содрогаясь при одном только звуке его голоса. И не мог понять, как это другие, и бригадир Кузнецов тоже, держат себя с этим человеком так, будто у них ничего не случилось. Или они ничего не понимали? Или, может, боялись его? Или еще что? Но Хведору все же сочувствовали. Кравец, тихо охая, качал головой. Бригадир же упорно молчал, казалось, ни о чем другом и не думая, кроме своих плотов. Когда наконец пришли в Котлас и были на лесной бирже свой караван, бригадир вроде смягчился, стал разговорчивее. Однажды воротясь вечером в их хибарку, незаметно кивнул Хведору и вывел его за угол складского строения. Там никого не было, и он тихо спросил: «Справка нужна?» «Какая справка?» — не понял Хведор. «Как какая — держи! — зло бросил Кузнецов, оглянувшись, и сунул ему в руки сложенный квадратик бумажки. — Берег для себя, но вижу, тебе в самый раз будет», — добрее закончил он.

Хведор взял справку на имя какого-то Зайцева Андрея Фомича, которая и правда вскоре ему пригодилась. Он был бы от души благодарен бригадиру, если бы не та цена, которую он за нее заплатил. Эта непомерная цена мешала его благодарности, и он порой думал, что в сравнении с загубленной детской душой все остальное ровным счетом ничего не стоит.

В разрывах туч над полем холодно и ярко светила луна, косо бросала на могилы изломанные тени крестов. Поодаль же, под соснами, лежал непроницаемый мрак, широкой тенью достигавший кладбищенского края над выгоном. Но поблизости все было отчетливо видно — каждый крест и каждый могильный холмик. И только когда луна опять скрывалась за тучей, все вокруг снова тонуло в темени; Хведор тогда как бы закрывал глаза и незряче стоял посреди могил. Вообще ему тут было покойно и радостно, он словно обретал оборванную общность с людьми и вел с ними молчаливый разговор обо всем — рассуждал, спрашивал, жаловался. Жаль, что не получал ответа, но он уже привык не получать ответа на свои немые вопросы, будто оглохнув за годы нелепых скитаний. В сонной задумчивости бродя по кладбищу, наткнулся на свежую могилу — на склоне, ближе к пригорку с соснами. Даже ночью бросались в глаза ухоженность и аккуратность этой любовно обложенной дерном могилки, обсыпанной вокруг свежим чистым песочком, в лунном освещении казавшимся совсем белым. Здесь же стояли два восьмиконечных креста — большой и перед ним поменьше, оба старательно выкрашенные белой краской. Рядом приткнулась маленькая, словно игрушечная скамеечка, на которую и опустился Хведор. Кто здесь похоронен, он не мог догадаться. Но, надо думать, не старик, не старуха — за моги-

дами стариков так не смотрят. Может, это жена постаралась для любимого мужа? Однако баба вряд ли бы сделала все так мастеровито и добротнo. Тогда — муж для жены? А скорее всего родители для своего дитяти — это, пожалуй, самая верная из всех догадок. Но нигде не было никакой надписи — безымянная могила, навек прописанная только в сердцах, близких покойному.

А у его Олечки, видно, уже не сохранилось и холмика..

Длилась тихая лунная ночь. Под утро на кладбище стало холодновато, похоже, повернуло на заморозки, думал Хведор, понуро сидя возле неизвестной чужой могилки. Ему не хотелось уходить отсюда — как ни в каком другом месте он тут чувствовал себя почти в безопасности, тут ему было спокойно. Наверно, уже под утро закатилась-пропала луна, вокруг стало темно, как в склепе. К ночной тьме Хведор, однако, привык давно, тьма его не пугала. И он сидел, припоминал, думал. Жевал кислые клоковины, экономно выбирая из кармана по две-три ягоды. Незаметно для себя дремал. Как всегда, ночью стал докучать холод. К холоду он не мог привыкнуть, особенно под старость, на дрянных харчах, — страдал от него на войне, в ссылке, а теперь вот и дома. Видно, потому, что за жизнь ему довелось намерзнуться как никому другому: не умел согреться, как другие, охлывая себя руками, приседая и топя. На холоде он терял свою подвижность и делался как деревянный, весь напрягался, сжимался — терпел. Так же как терпел голод, унижение, отчаяние. Немало лет все его усилия были направлены только на одно — перетерпеть. Он не взрывался, как некоторые, когда, казалось, терпеть невозможно, не возмущался скверной кормежкой, непосильной работой, людской несправедливостью — стискивал зубы, когда те еще были у него, — и терпел. Пожалуй, не было на свете такой каторги, которую бы он не научился претерпевать молча. И только одно было для него нестерпимым — тоска по родному краю, лесу, невзрачным лесным перелескам. Тут уж он не мог превозмочь себя: вся натура его всему вопреки рвалась домой, сперва только в мыслях, а потом вот и на деле. В первый раз не удалось, не повезло во второй. Зато достиг своего с третьего раза и теперь хотел, чтоб был покой на душе. Так что ему холода!

Пожалуй, надо было уходить в лес, чтобы утром не попасться кому на глаза. Однако, разморенный дремотой, он медлил, тянул время, не спеша оставлять темное предутреннее кладбище. Спустя какое-то время заметил, что вокруг стало светлее, проступили из мрака сосны, ближние могилы, кресты, и он понял: светает. Краешек неба над лесом уже прояснился первым зачином дня. Хведор поднялся со скамейки. Появилась сумасбродная мысль именно сейчас, в самую рань, пока не проснулась деревня, тихо пройти по улице — кто знает, может, в последний раз, больше уж не придется. А теперь, может, его не заметят.

Узкой дорожкой между могил прошел через поредевшую тьму под соснами и спустился на деревенскую улицу. Стрехи домов, вершины уличных деревьев, садов только еще выплывали из мрака, улица и дворы лежали в сумерках, ники в предутреннем сонном покое деревенские хаты: серые сумерки ютились под их обвислыми стрехами, меж хлевов и дворовых строений. Хведор тихонько прошел до середины деревни. На колях ограды утренний ветерок трепал пеструю с красными полосками тряпку, и Хведор подумал: однако быстро светает, похоже, он припозднился. Прибавив шагу, он шел обочинной улицы, мягко шурша в траве постоломи, с настороженной жадностью оглядываясь по сторонам — хотелось как можно больше увидеть и узнать. И вдруг его взгляд в недоумении застыл на неподвижном женском лице за тыном; устремленные на него глаза тоже округлились в немом удивленном испуге. Выражение, какое — и не поймешь, сразило его внезапной догадкой: Любка! И он остановился. Рядом, в двух шагах, была калитка, он резко толкнул ее от себя, не зная

зачем, и та отворилась. Женщина секунду молча смотрела на него — не понять, узнала или нет, — сдавленно вскрикнула и бросилась к хате. Онемев от испуга, он стоял перед калиткой, пока не услышал, как стукнула дверь в хату, тут же гроыхнул железный засов.

Боясь, что сейчас выскочат на крыльцо или увидят его в окно, Хведор вбежал во двор и по росистой свекольной ботве огорода пустился в рассветное поле. Никто его не догонял и даже не окликнул сзади. Все в нем мелко дрожало от неожиданной встречи с Любкой, с которой они вместе росли в деревне, работали рядом на отцовских наделах, в которую он даже влюблен был перед призывом на военную службу. И обидно было ему, и горько... Должно быть, испугалась женщина и едва не погубила его. А может, и не узнала, приняла за ночного вора, грабителя? И неудивительно — разве узнал бы себя он сам? Что в нем осталось от прежнего наивного молчаливого Хведора Ровбы? Теперь он — больше привидение, чем человек, ночной бестелесный призрак, от которого в ужасе шарахаются люди, место которого только с волками в лесу...

Глава четвертая. РАДОСТЬ ЗЕМЛИ

Когда рассвело, он уже был в лесу, растерянно брел истоптанной скотом стежкой, приглядываясь, где бы приткнуться на дневку. Наверно, сюда снова пригонят скот — места ему тут не будет. А где тогда будет? Конечно, подальше от жилья и людей, поля и сенокосов. Значит, опять тащиться на вырубку или в дальний и мрачный ельник, на болотные мшаники. Поразмыслив, все же решил: лучше — на вырубку. Там, правда, опаснее, чем в ельнике, зато в той стороне картофель, надо наведаться. Как всегда, с утра засало под ложечкой, хотелось есть. Клюкву он почти всю съел ночью, клюква плохо утоляла голод, вот пить после нее не хотелось. Надо идти за картошкой.

В эту раннюю пору, наверно, можно было не бояться случайной встречи в лесу, и он версту или больше шел хорошо утоптанной стежкой, замысловато петлявшей в молодом березняке. Стежка свернула в сторону зимних делянок, он пошел к Долгому оврагу. Миновав перелесок с редкими елями, устало поднялся по пологому склону вверх. В лесу уже развиднелось, светло как днем; вокруг тихо дремали ели, не шевелился ни один листок на тронутых желтизной березах. Кажется, погода установилась, скоро, наверно, начнет подмораживать. Тогда враз почернеет ольха, золотом засветятся березы, дружно зашелестит листопад. Пройдет еще время — и лиственный лес станет сквозным для взгляда, все живое в нем будет далеко видно. Тогда ему станет худо... Но Хведору не хотелось думать о том, что будет, он жил одним днем, дальше ближайшего вечера он не заглядывал. Вечером, конечно, будет поспокойнее, а днем держи ухо востро.

Кажется, в том самом месте, где и в первый раз, он осторожно спустился кустарником в широкий провал оврага, напился из ручья, умыл лицо и руки. Поднимался на противоположный склон долго, останавливаясь и отдыхая, не впервые чувствуя, как убавилось сил. Совсем недавно, в дороге, слабости не примечал, должно быть, им двигала великая сила цели. А тут... цель — позади. За долгие дни скитаний ослаб без хлеба, ягодами сыт не будешь. Так что же — снова идти в деревню, просить хлеба краюшку? Чем это кончится? Тревожила недавняя встреча с Любкой — не раззвонила бы по селу. А может, и не узнала, раз закричала так жутко?..

Когда выбрался из оврага, долго не мог отдышаться. Потом углубился в лес, нашел вроде бы место — между двумя кустами орешника, сомкнувшимися верхушками. Прежде чем лечь, обшарил со всех сторон ветки — нет, на его беду, орех тут не уродился, не разживешься. Правда, на полянках в траве попадались грибы — сыроежки и волнушки, — изредка выглядывали красные шапочки мухоморов,

и он подумал, что скоро, видно, дойдет очередь до настоящих грибов. Но больше его мысли занимала картошка, пока она еще в поле.

С картошкой у него был связан один малоприятный случай в германском плену — теперь смешно и вспоминать о нем. Но иногда вспоминалось, наверно, потому, что горькое и смешное в пережитом всегда рядом. Первые полгода плена Ровба просто доходил на вареной брюкве, которой их впроголодь кормили на чугунолитейном заводе в Руре. Потом судьба смилостивилась, и он попал к бауэру. Это был пожилой немец по имени Еган, два сына у него воевали на русском фронте, дома оставались невестка и два внука-подростка. Земли же у Егана было гектаров двадцать, и, чтобы обрабатывать ее, бауэр взял шестерых батраков из числа русских пленных, солдат генерала Самсонова. В общем, у бауэра Хведору было неплохо, кормили по-человечески, хотя работать заставляли помногу, без выходных и праздников. И они работали как черти, как волю, управляясь со всеми работами в поле, на гумне и даже по дому. У Егана был заведен твердый, словно в казарме, порядок, за которым следил сам хозяин усадьбы, служивший когда-то фельдфебелем, о чем он без конца напоминал пленным. А на поле командовала невестка. Она на ладном буланом жеребчике носилась по полям, высматривая, где что не так, кого наказать, а кого похвалить. Хозяин заботился о них и воспитывал весьма своеобразно, видно, на свой, фельдфебельский, лад. Как-то оштрафовал кухарку — переложил мяса в котел с супом, за недобросовестность в работе лишил митага (обеда), позавтракал утром — и хватит с тебя. Однажды, когда пленный туляк Белошеев пожаловался хозяину, что другой пленный украл у него портсигар, герр Еган, особенно не вникая в дело, наказал обоих. Он приказал батракам сцесить левые руки, как при рукопожатии, а правой рукой шлепать другого по ушам, приговаривая: «Гутен морген — гутен таг». Все батраки, а также кухарка, дети и хозяин с невесткой сидели на крыльце и глядели. Поначалу было даже забавно, как двое русских вроде бы лениво, вполсилы тузили друг друга, но очень скоро их пришлось разнимать, потому что разошлись чуть не до крови.

В пять утра ежедневно они вставали по звонку дежурного, тщательно застлали одеялами свои топчаны, пили кофе с повидлом и хлебом и строились на работу. В обед им давали по миске супа, кашу с куском мяса, хлеба полагалось по фунту на человека. Спали на чистом белье, которое старая кухарка меняла каждую субботу, по субботам же мылись под теплым душем в пристройке. Белошеев, с которым подружился Хведор, не мог нарадоваться на свою военную судьбу, говорил, что дома не спал в такой чистоте и не ел так сытно, как в этом плену. А работа, что ж, — к крестьянской работе им не привыкать. И пожалуй, все, в общем, было бы неплохо, если бы не Руди, четырнадцатилетний внук старого Егана.

Этот гаденыш Руди, наверно, не помышлял ни о чем больше, как только устроить какую-нибудь пакость русским. То он подопрет вилами дверь в уборной, когда кто-нибудь из них займет ее, то спрячет череседыльник, когда надо запрятать лошадь, то подставит под хвост кобыле кувшин из-под кваса. Однажды он тайком вынул шкворень из груженной картофелем фуры, и когда Хведор тронулся с места, фура свалилась с передка и картошка рассыпалась. Пока Хведор, чертыхаясь, собирал картошку, этот Руди нагло ржал в огороде. Хведор вышел из себя и огрел его кнутом через изгородь, приладил фуру и, ничего никому не сказав, уехал в поле. Вечером, возвратясь во двор, увидел на крыльце старого хозяина, покрасневшую от гнева Герду и этого гаденыша Руди с кровавым шрамом через всю щеку. Старый Еган тут же учинил следствие. Хведор пытался оправдаться, но его никто не слушал. Невестка что-то геррекала про гауптвахту, свекор же сказал, что гауптвахты не будет. Он не может допустить, чтобы в страдную пору его работник сидел в кутузке на дармовых харчах

или лежал на топчане с поротой розгами задницей. Он накажет его позором: завтра Фэдэр отправится на работу без штанов («венигер альс хозе»).

Сперва Хведор не понял: что за чудное наказание — без штанов? В одних подштанниках, что ли? Но оказалось, что не в подштанниках, а вовсе с неприкрытой нижней частью тела. Было нехолодно, пригревало весеннее солнце, но страдания Хведора не было предела. Все время он тянул и одергивал недлинный подол рубахи, тщетно стараясь прикрыть свой мужской срам, но прикрыть было невозможно — надо работать, нагружать фуры картошкой, таскать коши в поле. А кругом были люди, немцы и немки, их дети, подростки, девчата, — все с хохотом или ошалело смотрели на него, а он чуть не выл от обиды. Он едва дождался вечера того бесконечного дня и, добравшись до своего закутка, без ужина залез под одеяло. Какое это счастье — чувствовать, что твое тело скрыто от чужих глаз! Ему шел тогда тридцать первый год, он был женат и думал, что худшего унижения нельзя и придумать. Но прошло время, посыпались другие унижения, в сравнении с которыми изощренная выдумка герра Егана казалась нелепой шуткой — не больше.

Глотая голодную слюну, Хведор скрючился под кустами на реденькой мелкой траве, втянул голову в мятый-перемятый ворот, опустил руки за пазуху и так лежал. Глаза порой закрывал, не очень опасаясь что-нибудь прозевать — из-под кустов и так не много увидишь. Зато его слух, как всегда, был обостренно чуток. Даже во сне Хведор прислушивался, иначе как еще обезопасить себя в таком положении. Деревья слегка пошумливали совсем близко, но этот шум не нарушал привычной для Хведора лесной тишины; порой вспархивала в кустах мелкая птица, но и она не тревожила его покой. Постепенно и незаметно для себя он словно замкнулся от этого леса, выскользнул из своего времени, будто засыпая, увидел себя со стороны и, может, впервые осознал всю безысходность своего положения. Он увидел себя словно извне и невольно вздрогнул в полусонном удивлении — что с ним? В самом деле, почему он неприкаянно валялся здесь, в двух верстах от места, где впервые увидел свет, где прожил взрослую свою жизнь, где родились его дети? Почему он стал презренным для всех чужаком, ненавистным изгоем, кто в том повинен? Он сам или кто другой? А может, никто? Но как же тогда все это стало возможно? Чего ради надо было, получив землю, потерять все, сделаться изгнанником, беглым каторжником, человеком без прав, вне закона? И откуда все началось? Сколько он ни думал о том — как и с чего началось, — вразумительного ответа найти не мог. Наверно, потому, что началось все незаметно, нелепо и неожиданно, а обернулось именно тем, чем обернулось. Мог ли он предвидеть все в тот зимний морозный вечер, когда сидел в сельсоветской хате и председатель Сокур вынес на обсуждение головоломный вопрос: на кого распределить три твердых задания, которые он привез из райисполкома? Нелегкое это было дело для членов сельского Совета, в состав которого входил тогда и Ровба. В те годы он числился середняком — у него было двенадцать гектаров земли. Было в деревне несколько хозяйств побогаче, у некоторых было по четырнадцать и пятнадцать гектаров. Но что это были за гектары? Змитрок Бедута, к примеру, имел шестнадцать гектаров, но оставался бедняк бедняком, потому что работать на земле было некому: двое сыновей не вернулись с войны, сам был старый и немощный. Его надел в дальней пойме у реки за время войны, революции и гражданской войны сплошь покрывался кустарником и только на бумаге числился пашней. Но где-то все-таки числился, и Змитрок первым в деревне получил квиток на твердое кулацкое задание. Хведор же не допускал и мысли, что его когда-либо может постигнуть такая же судьба. Хоть и жил вроде не хуже других, но какой он кулак? Одна лошадь, две коровы, овцы, кабанчик — считай, как у всех

в Недолище. Правда, у него были гуси, плавали в пруду, где огороды кончались. Тек ручей из болотца, как-то весной они с сыном загатили русло возле мостика, натекла неглубокая лужа, так и осталась. Но надо думать, не из-за гусей же его зачислили в кулаки и тем сгубили жизнь.

Сгубила жизнь молотилка.

Проклятая молотилка, зачем он с нею связался!.. Молотил бы, как прежде, цепами, не так уж много было тогда жита, чтобы за зиму не обмолотить его на току в три цепа. Так нет, захотелось, чтоб культурно, чтоб молотилкой...

Мысль о молотилке подал ему сын Миколка. В ту пору это был уже бойкий и рослый парень, осенью ждал призыва в Красную Армию и ходил в секретарях местной комсомольской ячейки. Когда он стал секретарить, в хате появились газеты и брошюры, кое-какие интересные журналы. «Безбожник», к примеру. Обычно сын весь день был занят делами, а читал ночью при лампе и назавтра утром самое интересное подсовывал батьке — то статью про налог и самообложение в «Белорусской вёске», то выступление товарища Сталина насчет оппозиции, то брошюру наркома Прищепова о культурном ведении сельского хозяйства. Хведор читал, не все понимая, но главное все же схватывал. Да и сам видел: жили действительно плохо, бедно, малокультурно, хозяйство вели неправильно. А как вести правильно? Наверно, чтобы правильно вести хозяйство, одних знаний мало, нужны деньги, инвентарь, удобрения. Именно чтобы больше получить удобрений для своих гектаров, он завел вторую корову. Вырастил телушку, хотя молока для семейства и от одной было вдоволь. Года за четыре до того, может, самый первый в деревне купил в Полоцке новенький фабричный плуг, окрашенный в приятный васильковый цвет, с точеными дубовыми ручками. Справный оказался плужок, одно удовольствие было пахать им, даже соседи просили попробовать. Потом такие плуги купили еще несколько мужиков. Плуги всем нравились.

Как-то поздним осенним вечером приходит домой Миколка. Усталый, голодный, по колено в грязи, оказывается, был на каком-то важном совещании в районе. Мать скорее миску на стол, он немного поел и говорит: «Батька, давай купим молотилку. Есть такая возможность — через потребкооперацию. Плата в рассрочку». Хведор ответил не сразу, подумал. Конечно, совсем бы не худо молотилку, он уже видел такую в соседней деревне, там несколько хозяйств сложились и купили. Говорили, хорошо молотит, очень довольны были мужики. И лучше, чем цепами, и быстрее. Однако... Будто чуяло его сердце, чем это может обернуться. Он уже знал по опыту, что новое и небывалое в крестьянской жизни часто соседствует с дуростью или обманом, и надо хорошо подумать, чтобы не попасть впросак. Так он и сказал сыну, а тот в ответ засмеялся: какой же обман от молотилки? За неделю все обмолотит, не придется всю зиму цепами махать. Оно так, думал Хведор, да все молчал, сомневался. Утром, когда Миколка побежал по своим комсомольским делам, осторожно посоветовался с Ганулей, и тогда порешили: купить. Пока не перехватил кто другой из чужой деревни.

Молотилку приволокли через день после Покрова. Помог шурия Томаш, долго налаживали под поветью привод с деревянными дышлами и железной зубчатой передачей. Отложив свои комсомольские дела, помогал и Миколка, который тоже кое-что понимал в новой крестьянской технике. Наконец все наладили и опробовали машину. Ну, конечно, никакого сравнения с цепами — и быстро, и намолот другой. Правда, народу требовалось больше, чем на току: развязывать перевясла, подавать на стол, затем — машинист, самый главный человек при молотилке, двое — отгребать зерно и убирать солому. И еще погонять коней по кругу. Человек шесть, не меньше, требовала для себя та молотилка. Да все оправдывалось. Молотили толокой, хо-

зайствами двумя или тремя сразу, как когда получалось. Хведор никому не отказывал, подбирались кто с кем хотел, а платили кто сколько мог. В зависимости от намолота, конечно. Все по уговору, разве он эксплуататор для своих сельчан? Впрочем, он готов был молотить и даром, если бы не нуждался в деньгах,— все же молотилка стоила недешево и, хотя взяли ее в кредит, плату следовало вносить каждый квартал. До Рождества обмолотились все соседи и некоторые из его родни. Даже привозили из соседних сел. Всем молотил Ровба.

Недолго, однако, прогροхотала на току его красная молотилочка. В начале следующей осени пришел тот самый сельсоветский председатель Сокур, с ним еще какой-то усатый хлыщ из района и опечатали ток. Оказывается, Ровба допустил эксплуатацию, нетрудовой доход. «А как же теперь? Что будет?» — спрашивал Хведор. «Что будет, то и будет», — туманно ответил усатый, застегивая потертый портфельчик. Оба, не оглядываясь, пошли со двора, а он остался у ворот, уже чувствуя, что это — не потеря молотилки. Это — начало много худшей беды, когтистым вороном закружилась она над его хутором. К тому времени Миколки уже не было дома, месяца два как призвали на военную службу, отправили на дальневосточную границу. Прислал оттуда первое письмо — в восторге от службы «в непосредственном соприкосновении с японскими самураями». Хведор скупко написал о здоровье, и все. О молотилке ни слова. Пусть сын служит спокойно.

А в Недолище невеселые дела заварились. Нашлись завистники вроде Зыркаша, который написал на него в Полоцк — мол, обирает крестьян. Но разве он обирал? Он даже не назначал платы. Впрочем, его ни о чем не спрашивали, только, распределяя твердый налог, вспомнили молотилку, и Сокур сказал, что будет по справедливости обложить твердым Ровбу, который на молотье кое-что заработал. Хведор не знал, как ответить: коротко он не умел, а долго объяснять не было возможности. И вышло так, что заработал Ровба или нет, но в деревне другой молотилки не было, и твердый налог вlepили ему по закону. Закона же в его защиту не предусматривалось.

Сколько раз потом Хведор твердил себе: на кой черт она сдалась ему, та молотилка? Лучше бы, как все, молотил цепами, имел бы какой-никакой хлеб и свой угол. И не было бы тех несчастий, какими с дьявольской выдумкой начала преследовать его жизнь.

Хотя, пожалуй, ничто уже его не спасло бы, молотилка была только зацепкой. Так, если тяжело нагруженный воз станет крениться на косогоре, то, как ни хватайся за него, опрокинется, одна сторона перевесит. Молотилка была последним довеском, который опрокинул и без того накренившийся воз жизни Ровбы. Потому что его уже пометили, как помечают шкодливую скотину в стаде, какая-то особая мета появилась возле его фамилии в сельсовете или, может, в районе. Твердый налог — семьдесят пудов жита — он кое-как уплатил, хотя подчистую вымел хлебные сусеки в амбаре, вывез все до первого марта, как и предписывала бумага. Голодновато стало на хуторе, нечем было засеять яровой клин — осталось пуда два ячменя да полмешка овса. И он не знал, то ли покупать остальное, то ли одолжить у кого. Но купить нужны были деньги, а денег у него не было. Он ничего еще не придумал, как принесли новый, еще более твердый налог — восемьдесят пудов хлеба и сто рублей деньгами. Тогда он сказал себе: рехнулись они там, что ли, где он столько возьмет? Ходил в сельсовет, ездил в район к знакомому секретарю Теревильникову, который вместе с Миколой недавно работал в комсомоле, — жаловаясь, унижаясь, просил. Не помогло ничего, сказали: не уплатишь в срок, опишем хозяйство, «в том числе дворовые строения и скот». Погоревал пару дней и стал бегать по родственникам своим и жены, хоть сколько-нибудь зажиточным людям в своей и соседней деревнях — просить денег. Но все будто одеревенели, оглохли, никто не хотел понять его беды и никто ничего не дал. Конечно, в то время каждый думал

о том, как выкрутиться самому, потому что бумажки с твердым налогом уже замелькали не только в Недолище, но и в других селах. И он кинулся продавать молотилку, объявил о том по знакомым и даже на базаре в местечке. Да никто не покупал, не поинтересовался даже. Пришлось распродать скотину — обеих коров, всех овец и подсвинка. Конечно, был дурак, не понимал, что зря это, что не спасет его и квитанция о полном расчете. Ничто уже, видно, не могло спасти Ровбу, помеченного поганым и страшным словом «кулак».

В те запыленные дни, бегая в поисках денег, встретил в местечке Нозма, старого еврея, с которым когда-то имел дело, заходил в его хатку под липой, когда покупал молотилку. Большой дружбы у них никогда не было, но Нозм мог дать в долг и даже подождать, если долг не выпадало вернуть вовремя, или вместо денег принять яйца, масло, а то и пару мешков картошки. Всегда деловой и подвижный, Нозм растерянно брел по местечковой улице, будто ничего не видя вокруг. Хведор деликатно поздоровался, они разговорились, и оказалось, что у Нозма также серьезные нелады с властью. Когда Хведор пожаловался на свою беду, старый еврей взял его за пуговицу и сильно привлек к себе: «Я тебе скажу: бросай все, бери детей в охапку и утекай. Куда? Не важно куда — куда глаза глядят. Потом поздно будет... Это тебе говорит Нозм! Я все бросил и вот с этой котомкой иду на станцию. Я тут больше не житель! Я беженец! Ты послушай меня, Хведор!»

Нет, Хведор тогда не послушался: как это все бросить? А земля, хозяйство? И куда податься? Здесь его корни, свои, деревенские, — как он может уехать куда-то в неприютный, неведомый свет?

Он прожил в Недолище еще месяцев десять. Безрадостной была эта жизнь, бесклубица и пост надолго поселились в его обедневшей хате. Сам Хведор, сжав зубы, еще крепился, а Ганулька часто плакала, особенно по утрам, когда принималась готовить и надо было что-то засыпать в чугуны, покласть на сковородку. За молоком для Олечки ходили в деревню к Лёксе или к Гречихиным. Те сочувствовали, переживали его беду как свою и чем могли помогали. Помнится, как он наведался тогда к Цыпрукову Змитеру, который третий год был должен ему тридцать рублей. Задолжал еще с молотьбы, а не отдавал, и Хведор долго не решался ему напомнить — как-то неловко, будто он требовал не свое, а чужое. Зря, однако, не послушал Ганульку, которая, глядя, как он собирается вечером к Змитеру, сказала: «Не ходи! Пусть они сторгят, те тридцать рублей, если он такой человек бессовестный». Должно быть, действительно бессовестный, даже наверняка так, думал Хведор, но ведь у самого невыкрутка, как не пойдешь? Пошел и, конечно же, получил дулю. Не было денег у Змитера или решил не отдавать — кто его знает, только нехороший вышел у них разговор, и Хведор, воротясь домой, угрюмо молчал до утра. Оно, может, и ничего особенного, может, как-нибудь и обошлось бы без тех трех червонцев, если бы этот Змитер не состоял в активистах комбеда. Когда началось самое страшное — раскулачивание, — именно он и подсказал раскулачить Хведора Ровбу. Как лишенца и твердозаданца. Что ж, его послушались, Хведора сослали. Провели классовую борьбу в деревне, а тридцатка так и осталась за Змитером. Пусть пользуется на здоровье. Хведору не жалко денег, только еще горше от того стало на белом свете.

Где-то в небе светило нежаркое осеннее солнце, вершины елей поодаль тихо светились в его косых лучах. На еловых ветках сверху грелись вороны, порой перелетая куда-то, может, на соседние ели. Внизу же, под орешником, стлыла волглая тень, было зябко, и Хведор ворочался с боку на бок, чтобы не очень застужаться от земли. Он немного вздремнул — час или больше, и снова стал донимать голод. Тянуло на поле за картошкой, и он сел под кустом, думал. Может, там все уже убрали, люди с поля ушли, что-нибудь да найдется. Ка-

кой-нибудь десяток не выбранных из земли картофелин — наверное, это не будет кражей. А если и кражей, то не очень большой, колхозники ему простят. Все же они взяли у него больше — чего стоит одна усадьба. Да и молотилка тоже. А ему понадобилось от них всего-навсего полведерка картошки. Не так уж и много.

Поднялся, побрел меж кустов орешника, забрался в заваленный хворостом молодой осинник, едва выбрался из него. Немного задержался в зарослях высокого, в рост человека, малинника, на ветвях которого кое-где чернели сухие, исклеванные птицей ягоды, и он собирал их по одной, ел. Ягоды противно хрустели на зубах и были безвкусными, утратив всю летнюю сладость. К концу дня вышел на опушку где-то в стороне от картофельного поля и понял, что чересчур взял вправо, краем леса следовало идти обратно. Прошел, должно быть, с версту или больше, когда услышал поблизости чей-то негромкий ворчливый голос. Затаившись в кустах, украдкой поглядел вперед. Невдалеке, удерживая на веревке черную корову, медленно брел по опушке сгорбленный, в рыжем армяке старик. Корова тянулась за травой в кусты, и пастух временами беззлобно ворчал на нее. Хведор пристальнее всмотрелся из зарослей, стараясь угадать, не знакомый ли кто. Но нет, старик вроде был незнакомый, должно быть, из дальней деревни. Можно было обойти его лесом, но у Хведора вдруг появилась мысль: а если попросить хлеба? Если старик пасет корову с утра, то, возможно, прихватил в карман хлеба, может, и ему дал бы кусок. Очень хотелось хлеба.

Набравшись наконец решимости, он вылез из кустов на край озимого поля и пошел к пастуху. Тот уже мог слышать его шаги, но, занятый коровой, вроде не обращал на него внимания. Подойдя совсем близко, Хведор сдержанно поздоровался. На него глянули выцветшие глаза старика, лицо заросло, наверно, как и у Хведора, седой щетиной. Старик подслеповато морщился, разглядывая незнакомца и не отвечая, и Хведор поздоровался снова.

— Да чую, чую, — сказал наконец пастух, шамкнув беззубым ртом. — День добрый, ну.

— Корову пасете?

— Корову, а кого же? Не коня же. Коня уже не пасу. Отпас.

— А сами откуда будете? — спросил Хведор и умолк. Это был важный для него вопрос: может дед его узнать или нет?

— Да вон из Ушатов, — сказал пастух и впервые внимательно посмотрел на Хведора. Убогий вид его, однако, как показалось Хведору, не удивил пастуха — тот сам был одет не лучше. Хведор вздохнул с облегчением — в дальней деревне Ушаты его знали немногие.

— Может, закурить имеете? — нежиданно спросил Хведор и не узнал своего голоса, таким он стал жалким и немощным. Курить ему совсем не хотелось — он давно уже отвык от курева, но не хватило решимости сразу попросить хлеба.

— Ёстика, — сказал старик и пошарил в глубоком кармане своего армяка. — Во самосеечки трошки имею. Только запалить нема чем.

— Запалить, может, найдем, — сказал Хведор, однако пожалев, что завел этот разговор о куреве: следовало беречь спички.

Они молча свернули из обрывка желтой газеты по небольшой цигарке, и Хведор дрожащими пальцами осторожно чиркнул спичкой. Так же осторожно прикурил сам, потом уже смелее дал прикурить старику.

— В колхозе будете? — спросил Хведор, когда они затаились по разу. От этой затыжки у него закружилась голова, и он слегка пошатнулся. Старик опять с подозрением оглядел его.

— В калгасе, а как же... Теперь все в калгасе... А как же...

— А что — единоличников не осталось?

— Единоличников? — прищурил один глаз пастух. — А сам адкуль будешь? Сдалёк?

— Да я... нездешний, — соврал Хведор. — К родне иду.

Черная корова подалась за куст, сильно потянув веревку, увлекая за собой старика. Хведор пошел следом.

— А там, в вашей стороне, разве остались единоличники?

— Да нет, знаете...

— И у нас не осталось, — сокрушенно заметил старик. — Которые в калгас не хотели — вывезли. Которые посла и захотели — тожа раскулачили и выслали. Кулаки, подкулачники, — словно жалуясь, бормотал пастух, идя за коровой.

— Ну а как же в колхозе? Богато живется?

— Богато! С вяликодня¹ до Ильи траву ели. От Ильи почали помалу бульбочку копать. Да что на Илью, какая там бульбочка! Орехи...

— Вот как?

— Ну. А ты что, не знаешь? Или у вас там не было голода? — Старик уставился на него укоризненно-вопрошающим взглядом.

— Да как вам сказать? Был...

— Ну. Одного и спасенья, что коровка. Молочко! Да и сдать надо. Двести литров. И мясо и яйца. И шерсть и овечек. Зимой осмалили подсвинка. Так штрафу дали пятьдесят рублей.

— За подсвинка?

— Ну. За шкуру. Шкуру ж надо сдавать. А у вас разве другие порядки?

— У нас? Да как вам сказать? Строго, однако, может, не так, — почти растерялся Хведор, не зная, как ему ответить. Он в самом деле не знал, как было в других местах — так же, как здесь, или по-другому. Его уклончивый ответ старик понял по-своему.

— Наверно, нигде так не погано, как в нашем раёне. Негодное киравництво², негодные люди. Разве так можно: за какую недоимку — остатнюю корову. А малые? Как им без молока? Помрут. Сколько их помёрло за лето. И старых и малых. Во, шатаюсь по лесу с этой. — Он выразительно дернул веревку. — Чтоб не отобрали. Бо займу платить нема чем. А в хате трое малых. Бяда!..

— Беда, — растерянно повторил Хведор. Ему еще ни с кем не пришлось беседовать о здешних порядках, чтобы узнать, как живут его земляки, старик был первым. И Хведору захотелось расспросить его поподробнее, но было боязно — как бы старик не заподозрил чего. Все же он был тут чужой.

— Бяда, ну.

— Может, надо жаловаться? Бумагу кому написать? — осторожно посоветовал Хведор.

Старик криво ухмыльнулся всем своим заросшим лицом.

— Кому жаловаться? Начальникам? Так они же у нас как зверуги. Приедет который... Вунь этот Ровба: все матюгом да пагрозой. Сибирью пужает...

Хведор вдруг почувствовал, как закачалась под ним земля и косо поплыло куда-то поле.

— Ровба?

— Ну, Ровба. Теперь же он партийный сакратар. Малады, а будто какой тивун! От батьки отказался. Батьку его раскулачили в Недолицце, так отказался, говорили, фамилию собираются поменять, чтоб, значит, ни духу...

Казалось Хведору, он медленно падал на землю, а та все плыла, уходила из-под ног. Он уже плохо слышал, что еще говорил старик, который, видно, жаловался на жизнь и порядки в районе. Хведор его не слышал. Он так был ошеломлен внезапной вестью о сыне, такой душевной болью поразила его эта новость, что он перестал ощущать себя. Больше ни о чем не мог спрашивать, только отрешенно смотрел

¹ Первый день Пасхи.

² Руководство.

на широкий простор озими, за которым на пригорке виднелись стрехи недалеко деревни. И молча побрел вдоль опушки. Хлеба он так и не попросил... Он уже не мог ничего просить, плелся, как побитый пес, и думал: зачем он притащился сюда, зачем заговорил с этим стариком? Лучше бы он ничего не знал ни о здешней жизни, ни о сыне. Жил бы, как прежде, своими бедами, которые годами носил в себе. Зачем прибавлять новые? Как их все уместить в истрадавшей душе, как с ними жить?..

Хотя какая там жизнь...

В полном безразличии к лесу, полю, забыв об осторожности и ни разу не оглянувшись, он отошел от старика с коровой подальше, углубился в лиственный лес и без сил опустился в редкий высокий папоротник. То, что он услышал про сына Миколку, показалось несурьезней. Не укладывалось в голову, и он все старался что-то понять. Ладно, отказался от раскулаченного отца, зачем же так — к людям? И еще менять фамилию? Чем ему не подходит фамилия? Что же тогда останется от прожитого? С чем жить дальше? Что он скажет своим детям, если они появятся у него? Очень непросто было Хведору понять, как живет сын и как думает обо всем. Он не видел его семь лет. То, что он услышал о нем, было непонятно и невысказано.

В детстве Миколка был мягкий послушный мальчишка, жалел животных. Как-то всю зиму держал под кроватью в клетке серую курочку, которая на дровоколье сломала лапу. Преданно любил мать и очень переживал, когда она заболела рожей. Подростком, наверно, с такой же преданностью полюбил комсомол. Может, не столько сам комсомол, сколько ту горластную, суетную возню, которой с воодушевлением предавалась молодежь — в темных, занесенных снегом деревнях, где долгие месяцы было так одиноко и тоскливо. Все что-то выдумывали, заседали, обсуждали и принимали резолюции. В их комсомольской ячейке особенно активничали Миколка и его одноклассник Шурка, единственный сын беднячки вдовы Михалины. Однажды они приняли резолюцию — всем снять образа. Конечно, сочинить резолюцию было легче, чем ее выполнить, поэтому для начала решили снять хотя бы в родительских хатах. Это было проще, хотя и не всем сразу удалось, некоторые из родителей просто пригрозили выпороть комсомольцев-безбожников. Хведор же отнесся к намерению хлопцев спокойно — подумаешь, образа! Правда, висят в углу, никому не мешают, но и пользы от них тоже нет никакой. А вот Гануля заупрямилась, не хотела снимать ни за что, и Миколке пришлось ее уговаривать с Рождества до весны. Все же добился своего, к Благовещению снимал образа и рушники с них, а на их место повесил в угол большой портрет Карла Маркса; рушников, однако, на портрет вешать не стал. С тех пор висел себе в углу бородатый человек, ни пользы от него, ни вреда. Миколка же был доволен, ну и ладно.

И тут под весну комсомольский секретарь случайно дознался, что в хате его друга Шурки остался один образ, висит в покути. Миколка собрал комиссию из трех человек, и они пошли к Шурке обследовать. Оказалось, так оно и есть: образ архангела Гавриила спокойно висит себе, где и висел всегда. Михалина, Шуркина мать, плачет, не дает снимать, и Шурка ничего поделать с ней не может, такой оказался мягкотелый комсомолец. Миколка повел себя круто. Думали, он тут же скинет образ, но он образ трогать не стал, а созвал комсомольское собрание и, невзирая на давнюю дружбу с Шуркой, поставил вопрос о пребывании его в комсомоле. Хведор несколько удивился неожиданному поступку сына и как-то вечером мягко упрекнул его. Сказал, что, исключив Шурку, не слишком ли сурово они обошлись со своим деревенским парнем. На это Миколка ответил с небывалой прежде суровостью в голосе: «Комсомол таких двурушников стирает в порошок!» «Ну-ну!» — снисходительно буркнул Хведор и отправился по хозяйским делам. На те проделки Миколки с образами он смотрел

как на ребячье чудачество, успокаивал себя, что малый глупый, подрастет — поумнеет.

Выходит, однако, поумнел по-своему.

Немного в лесу успокоясь, Хведор стал рассуждать по-другому. А может, теперь так и надо? И дома и на поселении он достаточно насмотрелся на всяких людей и на всяких начальников, бывало, строгость их доходила до нелепой жестокости, и была одна цель — поиздеваться. Он уже понимал, что доброта, видно, там, где справедливость и правда. А где классовая борьба, непримиримость, где всякий, кто выше, что хочешь сделает с тем, кто ниже, — какая там доброта? Должно быть, вместе со временем и доброта канула в вечность, на смену ей пришло что-то другое — жестокое и беспощадное. Его умник Миколка, видно, давно понял это, и если теперь он стал таким нетерпимым, значит, стать таким надо было. Особенно если не по своей злой воле, а из государственного интереса. Значит, иначе нельзя. А что отрекся от отца... обидно, конечно, и больно — да что делать? Может, он отрекся потому, что отец для него как бы умер и никогда ни о чем не узнает. Оно и похоже на то — для сына он действительно умер, если за столько лет ни письма не прислал, ни весточки никакой не подал. И все же Хведору было обидно и больно.

В лесу стало смеркаться, и он поднялся из папоротника. Тело набрякло многодневной усталостью, затекшие ноги казались толстыми, словно бревна (может, опухоли). Превозмогая слабость, он опять медленно побрел сквозь чащу к опушке, затем вдоль озимого клина свернул к полю с картошкой.

Солнце тем временем уже сошло с небосклона — скрылось за лесом, но небо над полем еще было полно его закатного света, и в этом светлом вечернем небе привольно плыли куда-то пышные белые облака. Как и предвидел Хведор, картошку на поле уже убрали, ни женщин, ни лошадей нигде не было видно, только вдали горбился единственный укрытый соломой бурт. Ну да бурт ему без нужды. Он немного отошел от края загона, разгреб пальцами свежую борозду, покопался в рыхлой земле. Нет, тут ничего не осталось, видно, все подобрали. Прошел дальше, в двух-трех местах разгреб землю, нашел перерезанную плугом половину картофелины. Поднял голову, огляделся — кажется, поблизости никого не было. Он взял немного в сторону, где густо валялась в бороздах картофельная ботва, подумал, что, возможно, там кое-что осталось. Порылся в нескольких местах и нашел четыре картофелины. Конечно, можно было подойти к бурту, набрать из него в карманы, но ему не хотелось слишком далеко отрываться от леса. Опять же — воровать колхозное?

Воровать он не хотел, он мог только взять брошенное, ничье, испокон веков это не считалось грехом. Теперь тем более. Торопливо порывшись в земле, нашел еще три небольших картофелины и оглянулся в испуге. От опушки в его сторону по полю широко шагали двое. Он все понял мгновенно, выпустил из рук картофелины и быстро припустил наискось к недалекому спасительному лесу. Те двое сразу свернули наперерез — один пожилой, в сапогах и ватнике, другой помоложе, тонкий и длинноногий, в наваленной на лоб кепке. Хведор понял, что его дело — дрянь, кажется, он попался. И он изо всех сил пустился к опушке, все время забирая в сторону, чтобы опередить преследователей. Его постолы то и дело цеплялись за разбросанную по земле картофельную ботву, он едва держался на ослабевших ногах; четыре картофелины в кармане колотили по бедру. Шаг его, однако, от усталости становился короче, и он испугался, что не уйдет — догонят. Но неужели те двое и впрямь будут его ловить, как зайца в поле, неужто не остановятся? В какой-то момент ему удалось немного опередить их, он уже подбегал к березовому мыску на опушке, уже появилась спасительная надежда — а вдруг? Похоже, те припозднились опередить его, и тогда сзади послышался злой крик:

— Стой, кулацкая морда! Стой, говорю!!

Хведор споткнулся от неожиданности: того, что его издали узнают, он не предвидел. Но если так кричат, то, конечно, узнали. Когда крикнули в третий раз, Хведор догадался, что это Змитер Цыпрук. Ах боже мой, не хватало еще попасть в руки этому злыдню, подумал Хведор. Охватившая его обида, однако, придавала сил, он рванулся с последней надеждой и, не оглядываясь, вбежал в березовый молодняк на опушке. В лесу он тоже бежал, правда, все медленнее перебирая ногами, потом немного прошел шатким усталым шагом и снова обессиленно трусил, стараясь подальше уйти от злосчастного поля. Его преследователи, кажется, в лес не сунулись, остались на опушке. И он долго еще брел редким низкорослым ельником, хрипло дыша и думая, что сегодня ему не повезло окончательно. Сегодня для него ни одного просвета за весь погожий солнечный день. Мало ему было узнать о сыне, так еще и Змитер... Но гляди-ка, выследил, почти захватил с поличным. Или он здесь сторож, или, может, какой начальник, если в рабочее время разгуливает по полям? Видно, все-таки бригадир, догадался Хведор, это скорее всего. Но Змитер Цыпрук бригадир — это даже смешно. Самый нукудышный хозяин в деревне, у которого от бескормизы сдохла кобыла. За зиму съела соломенную стреху, и — не хватило. Тот самый Змитер, который за жизнь не научился сплести лапти, теперь работает здесь бригадиром, приумножает хозяйство. Правда, глотка у него всегда была крепкая, мог наорать на любого, это теперь, пожалуй, важнее всего. Как там, на поселении, так и тут, в колхозе, — наверное, одинаково..

Глава пятая. ОБЛАВА

Ночью поднялся ветер, лес застонал, глухо и тревожно загудели от напора ветра ели и сосны, нескончаемо лопотала мелкая листва берез, и Хведор обреченно ждал, когда польет дождь. В ту ночь он не пошел в деревню, он вообще больше не вылезал из леса, где давно уже обрел для себя убежище. Ненадежное, однако, убежище, но, видно, другого на этой земле для него не осталось. Всякий раз он выискивал для ночевки новое место, стараясь забраться подальше от людей, в самую глушь леса. Вечером, уходя от преследователей, уже в потемках упал на колючую землю в молодом ельнике и долго лежал без движения. Пробираться дальше, наверное, не имело смысла, дальше начиналось болото, а главное — уже не осталось сил. Немного отлежавшись, сел, разрезал на дольки и без аппетита сжевал свои четыре картофелины. Больше еды у него не было, и он просидел ночь в ельнике, думал.

«За что все это навалилось на меня? Разве я так грешен перед людьми или Богом? Разве я кого убил, ограбил или обесчестил кого?» Всегда он старался как лучше, упаси Бог, чтобы кого обидеть, повод дать для упреков. Уважительно относился к власти, от души был благодарен ей за дарованную землю, за ее щедрость к недавнему батраку. Да и как же иначе? Ведь он советскую власть считал своей кровной крестьянской властью. Бывало, на сходках некоторые жаловались: того нету, того мало, нету мануфактуры, гвоздей, не хватает керосина, не купить сахара. Он говорил нетерпеливым: подождите, не все сразу. Советская власть, она не обидит бедняка, потому что бедняк и рабочий и есть эта самая власть. Да разве он сам это выдумал? Об этом он читал в газетах, слышал на собраниях от представителей властей. И он верил. Он готов был поверить всякому, кто говорил о власти хорошее, потому что получил подтверждение ее самой большой правды, какая только может быть в жизни и имя которой — земля.

Кто же обманул его? И обманул так жестоко, безжалостно, на всю жизнь?

Впрочем, обман для него был не в новинку, к обману он тоже привык за жизнь. Случалось, обманывали соседи, родня, односельчане.

Нередко обманывало начальство — и тут и на поселении. Обманывали товарищи по несчастью. Некоторым за их наглый обман он даже был благодарен.

...С севера обычно бежали весной, когда таял снег и просыпалась тайга. Хотя и скупа была весенняя тайга на пропитание, харчей никаких не имела (кроме разве ягод), но весной выше поднималось солнце, кончались морозы, убывала вода. А главное, начиналось время зеленой травы, дороги без следов — иди куда хочешь. В такую пору мало кто из ссыльных, разбросанных по лагерям и поселкам, не заболел мечтой о заветном — возвращении в родные места, где прожил жизнь и откуда был вырван силой. Однако тысячи километров тайги, бездорожье и безлюдье дарили отвагу не каждому. Тем более что кроме отваги надобно было железное здоровье, звериная сила, какой-то запас съестного, а они к весне едва волочили ноги. И все-таки мечта звала, будоражила и опьяняла, а опьяневший человек, как известно, способен на разное. На разумное и на дурное — в зависимости от характера и обстоятельств.

Бежать из приречного леспромхоза было нетрудно — трудно было одолеть тайгу. Многих ловили поблизости — на реках и дорогах, других хватали за сотни километров — на городских вокзалах, пристанях, снимали с крыш и тормозных площадок вагонов, отыскивали с собаками в штабелях пиломатериалов на железной дороге. Пока на руках у Хведора была больная жена и маленькая дочка, он и робкой мысли не допускал обрести свободу ценой разлуки с ними. Но потом, когда остался один... Лишь изредка думал об этом, чтобы тут же забыть. Решимости у него, конечно, не доставало, о сокровенных мечтах он никому не рассказывал. Он вообще был там молчалив и замкнут, своих людей рядом не оказалось, а с чужими надо было держаться осторожно — мало ли что! Да и не нравились многие — жесткие, крикливые, бесчестные. Многие открыто пренебрегали им, забитым, малограмотным белорусом, он видел это и не обижался. Действительно, чем он для них был? Кому он мог быть полезен? И он привык к своей незначительности, неприметности, в друзья никому не навязывался, к нему тоже никто особенно не лез с дружбой. И Хведор даже удивился, когда однажды на пару слов его позвал один человек.

В сырое туманное утро их бригада заготавливала бревна в запани — предстоял большой сплав, участок старательно готовился к нему. Хведор катал бревна сперва по лежачкам на площадке, потом вкатывал наверх штабеля, когда к нему тихо подошел Угорь. Он был ссыльный, как и все они, но не из числа раскулаченных, а из какой-то другой категории. В ссылку он прибыл из Воркуты, там на шахтах отбывал срок по какому-то уголовному делу, выбился в начальники, да вскоре проштрафился. На участке держался с важностью, перед начальством не лебезил — знал себе цену. Порой даже вольничал: мог позволить лишнюю минуту на перекур, опоздать на развод, всегда имел свой табачок, и начальство не слишком к нему придиралось, вроде даже потворствовало ему. Наверно, знало за что.

Возле штабеля этот Угорь оглянулся, прислушался, поблизости никого не было, и тихо спросил: «Хочешь домой?» Хведор смешался, сразу не поняв, о чем это он, и Угорь кратко объяснил: «Есть возможность, будешь третьим, понял?» Мало что понимая, Хведор стоял молча, словно пришибленный. Конечно, домой он готов был лететь на крыльях, на брюхе ползти. Но как? Какая у них появилась возможность? Хотя, наверное, появилась, раз добрый человек предлагает. «Значит, лады? — спросил Угорь. — Завтра становись к крайнему штабелю».

На следующее утро Хведор так и сделал — стал на работу возле крайнего от леса штабеля. Сделать это было нетрудно: обычно рабочие избегали становиться на край площадки, куда катать бревна было и дальше и труднее, чем к средним штабелям. В этот раз Хведор

храбро стал перед бригадиром и оказался в четверке, наряженной куда требовалось. Там же был и Угорь. С показным усердием они принялись катать толстые бревна. Но как только бригадир скрылся с глаз, Угорь кивнул Хведору и бочком-бочком подался с площадки. Хведор с замирающим сердцем бросился следом.

Бежали вроде удачно, их никто не задержал возле поселка, может, и не заметили даже. В ближайшем распадке к ним присоединился третий — одноглазый верзила по фамилии Скакун. Как понял Хведор, это был старый дружок Угря, и они в первый же день отмахали по тайге верст сорок. Обычно в тех местах ездили по замерзшей реке зимой или берегом реки летом, но теперь берегом не выпадало — на берегах всюду кишела вохра и милиция. И они подались кружным путем, по тайге. Угорь с дружком припасли к побегу немного харчей: несколько килограммов муки, десятка три сушарей, которые по очереди несли в проштмпелеванной казенной наволочке. В пути и на отдыхе всем распорядился Угорь. Хведор был благодарен ему, отлично понимая, что Угорь мог выбрать другого, помоложе и посильнее. Похоже, от неожиданного доверия к себе он вырос в собственных глазах и старался во всем угождать Угрю — то подальше пронесет продукты, то подежурит у костерка, когда дружки позаснут рядом, всегда собирал для огня валежник, ходил за водой. Как-то возле ручья, в распадке, где они сушились после дождя, расчувствовавшийся Хведор поблагодарил Угря за его доброту, и тот лишь хитро сощурился: «Я же сразу усек, что сильно домой хочешь». «Спасибочка вам огромное, век буду помнить...» «Потом отблагодаришь, красненькими», — осклабился Угорь, но осклабился по-хорошему. Вообще с Хведором он держал себя как с ровней, может, чуть снисходительно, но, в общем, вполне по-товарищески.

Казалось, и в самом деле он был неплохой товарищ — по справедливости делил на троих скудные их припасы, имея спички, сам по утрам разводил костерок и определял маршрут, в пути всегда шел впереди. В тайгу, как мог понять Хведор, он попал не впервые и отлично ориентировался в ее пугающих дебрях. Куда им предстояло идти, Угорь не говорил, и Хведор ни о чем не спрашивал, целиком полагаясь на знания и опыт товарища. Действительно, разве бы он в одиночку отмахал за неделю две сотни верст без дорог, по незнакомым лесам и увалам? Это потом, наученный горьким опытом, он стал кое-что понимать в непростых секретах побегов, а в тот свой первый побег был дурак дураком, как солдат-первогодок.

Попались они случайно и глупо, тут не было вины ни Угря, ни кого-то еще. Вечером возле холодной таежной речушки набрели на пустую охотничью избушку, зашли, надеясь чем-нибудь поживиться, но ничего пригодного не нашли. Ночевать там не решились, отошли за километр и уже в потемках, не разведя костерка, усталые, полегли рядышком на мягком мху в ельнике. На рассвете их и подняли под дулами двух винтовок. Потом оказалось, что накануне возле избушки их приметил здешний охотник, сбегал по соседству за братом, и они вдвоем накрыли беглецов. Все произошло неожиданно, вдруг, будь у них чуть больше времени, может, и выкрутились бы из этой беды. А так не успели они опомниться, как пришла подвода и их связанными отвезли на лесоучасток, оттуда — на пристань, в местную комендатуру вохра. Братья-охотники, наверно, получили свое за свой неохотничий труд, а их положение стало хуже, чем до побега. Хведор сильно переживал неудачу, просто почернел лицом, все время молчал, даже отказался от хлеба, который вечером бросили им в каталажку. С Угря сошла его обычная невозмутимость, и однажды он зло буркнул: «А тебе чего киснуть? Радоваться надо!» «Как радоваться?» — не понял Хведор. «А так! Что кабаном не стал». «Каким кабаном?» — не мог понять Хведор. «Не знаешь каким? Вот и радуйся, что не узнаешь».

Хведор, однако, так ничего и не понял. Какой кабан и какая радость? Только потом, когда попал в пекло похуже — на торфопереработки под Сыктывкарком, — разговорился как-то с ушлыми зеками, спросил, что значит кабан, и у него потемнело в глазах. Оказывается, так называли простака, которого, подбив на побег, потом съедали в тайге, когда кончались припасы. Это и был кабан.

А он все это время был благодарен Угрю. Он просто его полюбил — за доверие и доброту. Так заботливо опекал Угорь своего кабана. Когда Хведор узнал правду, он думал, что возненавидит своего спутника, но, странное дело, ненависти не получалось. Было иное чувство — что-то вроде сожаления. Та сокрушающая неудача перевернула Хведора — он познал волю. Крохотный ее глоток не утолил жажды, но заронил надежду, и, куда бы потом ни забрасывало Хведора, в какие бы условия он ни попадал, он жадно присматривался к обстановке и людям, думал, прикидывал все с единственной целью — бежать.

Но вот он достиг того, к чему так стремился, преодолел невозможное — и теперь дома. А что дальше? Куда отсюда бежать? Или умереть голодной смертью в лесу?

А может, это ему наказание Божье? За образа, которые он молчаливо позволил Миколке вынести из хаты? Сперва Ганулька припрятала их за дымоходом на чердаке, но Миколка нашел, вытащил и разбил об угол амбара. Мать заплакала, а Хведор не знал, как к тому отнестись. Вроде и жаль было святых, с которыми прошла жизнь поколений, но опять же — если сын поступает так не по злобе, а по велению власти... В то время Хведор считал, что власть не может ошибаться, что в Москве или в Минске сидят умные, образованные люди, которым доподлинно известно, есть Бог или нет и как с ним поступить в интересах народа. Он же, имея за плечами всего две зимы церковноприходской школы, в вопросах религии мало что смыслил и думал, что окончивший семь классов сын разбирался в ней больше.

Однако Бог покарал его, а не сына. Сына он наградил вроде.

А если покарает и сына?..

Время в лесу, наверно, перевалило за полночь, когда пошел дождь. Слякотную морось ветер волнами гнал по лесу, порой густо осыпая ельник, укрыться от ее мokrоты здесь было негде. Надо было поискать старые ели, но в лесу царил непроницаемый мрак, и он никуда не пошел. В такую ночь добрые люди по лесу не ходят, уныло размышлял Хведор. Время от времени дождь затихал, переставал вроде, изрядно, однако, намочив траву, еловые ветви, голову и плечи Хведора. А затем начинался снова. Хведор не поднимался с насиженного места и не ложился на мокрую землю, сидел скорбившись, подрагивая от стужи. Было сыро, неуютно, но он немного отошел душой — все-таки ночью, в дождь можно было не опасаться. С нарастающим беспокойством он ждал рассвета, не зная, куда податься днем, где добывать съестное. Да и вообще... Чувствовала его душа, что этот день принесет еще большие хлопоты. Как бы не принес беды...

Под утро дождь перестал. Ветер все не стихал, порой даже усиливался, стряхивая влагу с мокрых веток, и в лесу казалось, что дождь продолжается. Над вершинами деревьев невесть куда неслись серые тучи, небо так и не приподнялось над ельником — безрадостное небо ненастного осеннего дня. В этот рассветный час где-то поблизости, всполошив утреннюю тишину леса, начали кричать вороны. Смутная тревога исходила от их неумолчного крика, и Хведор, прислушиваясь, с раздражением думал: какого черта они расходились? Хотелось встать, пугнуть их, но не было сил для того, после несчастной ночи клонило в сон, и он сидел, погруженный в унылую полудрему. Мало-помалу рассвело, вблизи стало хорошо различимо сплетение еловых ветвей, сухое, торчащее из комлей сучье, мокрая,

густо усыпанная хвоей земля. И вдруг поодаль в ельнике откуда-то появился заяц. Повертев туда-сюда ушастой головой, присел на задние лапы, передними старательно отер усатую мордочку. Хведора он не замечал вроде, и тот на минуту замер, чтобы не испугать серяка. Наверно, не узнав человека, заяц спокойно проскакал мимо и скрылся за можжевельником.

А вороны все надрывались вверху — преследовали кого или просто ссорились между собой? Должно быть, и у них нелады, думал Хведор, как и у людей. Хотя такая вражда, как у людей, вряд ли еще бывает на свете. Вороны подерутся, покричат и разлетятся, через минуту забыв о сваре. Человек же обид не забывает, а враждовать может всю жизнь. Лютое все же существо человек.

Может, так бы он и просидел весь день в ельнике, здесь было хотя неприятно и мокро, но, в общем, спокойно, если бы не голод. От голода болезненными спазмами сводило желудок, щемило под ложечкой, и он все ломал голову: где раздобыть поесть? Знал, в лесу ничего найти невозможно, разве что грибы. Грибов можно было насобирать, особенно на мшанике возле болота. Но сырыми грибы не съешь, а разводить костерок он уже не решался. И его мысли все чаще стали обращаться к деревне, к груше на краю леса. Ее подгнившие плоды, кажется, остались для него единственно доступной едой, ничего другого поблизости найти не удастся.

Он промок насквозь, пока выбрался из ельника, — каждая задевшая им ветка осыпала его пригоршней холодных капель. В лесу было холодно, знобко. Но что делать — надо было терпеть. Не привыкать ему было сносить мокрядь и стужу, если бы научиться так же сносить еще и голод. Но одолеть чувство голода, видно, не дано никому: ни животному, ни человеку. Голод — жестокий господин надо всеми.

Хведор медленно пробирался лесом, выбирая голые, без подлеска места, обходя стороной мокрые заросли. Почему-то с недоумением подумал: какой же сегодня день? Он давно уже потерял счет дням и не отличал будней от воскресенья. Хотя что ему воскресенье? Недавнее воодушевление от встречи с родными местами безвозвратно минуло, ощущениями его все сильнее завладевало давящее предчувствие беды. Он еще не давал себе отчета почему — то ли вчера его сразила недобрая весть о сыне, то ли встревожила встреча на картофельном поле. Или еще что? А может, этот вороний гвалт, который все разносился в утреннем мокром лесу? Все-таки что-то не поделило меж собой воронье, думал Хведор, вслушиваясь в неясные звуки леса.

Его и в этот раз не подвел обострившийся за время лесных скитаний слух. Еще не дойдя до опушки, где росла груша, Хведор уловил неясные звуки поодаль, кто-то там был, и он насторожился, замедлил шаг. Сквозь кустарник уже виднелись зеленые пятна озими, столбы на дороге, серый, поросший бурьяном обмежек. Как раз на этом обмежке недалеко от груши стояли два мужика: один, бережно сложив руки пригоршней, давал прикурить другому. Когда прикуривший поднял голову, Хведор узнал в нем Михалининого Шурку, исключенного из комсомола бывшего друга Миколки. Его напарник стоял к лесу спиной, и Хведор не мог разглядеть, кто это. Закурив, они оба повернулись в сторону, откуда доносился невнятный разговор, и Хведор из-за куста тоже посмотрел туда. Вдоль поля простирался длинный изгиб опушки, и на ней он увидел человека шесть мужиков, стоявших шагах в двадцати друг от друга. Переминаясь с ноги на ногу, все чего-то ждали. Конечно, это были его односельчане, двое пожилых и четверо помоложе. Он всех их знал. В ближнем Хведор узнал Михася Майстренка, усадьба которого была напротив Хведоровой запруды, и они раза два поругались из-за гусей, учинивших потраву на Михасевом огороде. В отдалении от Майстренка топтался на обмежке худой, постаревший, с белыми висками под черным

околышем картуза Лёкса Савчик — в длинном армяке, с пастушьим кнутом под мышкой. Боже, вот и увиделись, тоскливо подумал Хведор. Но почему они тут стоят, кого ждут? И его осенило: они собрались ловить беглеца. Разошлись редкой цепью, как на войне или на зимней охоте на волка. Только на него пойдут без флажков. Потому что он не волк — он человек. С ним можно и попроще.

На ослабевших ногах Хведор потрусил в глубь леса. Все в нем дрожало от обиды, безысходности, предчувствия близкой беды. И ничего не поделаешь, ничего не скажешь в свое оправдание. Он мог только бежать, спастись, как зверь — не как человек. Человек не должен убегать от людей, потому что бегство — всегда унижение. Но, видно, кроме последнего унижения, ему ничего не осталось. Он — не человек.

В смешанном мелколесье пологого склона он повернул направо, в сторону большака и поймы, откуда с такой радостью прибежал три дня назад. Наверное, пока была такая возможность, надо было уходить из этого леса, лес для него теперь не убежище. Лес уже принадлежит им, и в лесу они постараются его поймать. Но нет, все-таки он им не дастся. Пока есть силы, он опередит их. Он не позволит им загнать себя туда, откуда с таким усилием вырвался. Туда он не вернется.

Хведор трудно бежал, почти не выбирая дороги, напрямую продрался через ольховую чащу, весь вымок с головы до пят. Позади, однако, было тихо, вроде за ним еще не гнались, и он торопился успеть. Успеть выскочить из леса на пойму, там вдоль речки была чужая, заречного района территория, может, там о нем еще не проведали. Ему совсем уже мало оставалось пробежать лесом, а там с опушки открывается вид на широкую лощину и большак. Но он задыхался, совсем изнемог и едва дотащился до опушки. Прежде чем выйти из леса, бросил взгляд на ложбину, там никого не было, потом взглянул на хвойный пригорок и тут же осел на землю. Под соснами на большаке стояли машины — три грузовые полуторки, и от них в сторону леса врасыпную двигались люди — может, человек тридцать, если не больше. Впереди по отросшей отаве лощины решительно шагал высокий человек в распахнутом черном плаще, он что-то говорил остальным, широким жестом указывая на лес — возможно, подавал знак рассыпаться цепью.

Моментально все поняв, Хведор круто повернулся и побежал назад в лес. Все-таки он имел маленький шанс на спасение, те только еще переходили лощину. Пока они поднимутся по склону, войдут в лес... Нет, он оторвется от них, он не даст им настигнуть себя. Только куда отсюда бежать — вот в чем загвоздка. Слева Недолище и цепь из его земляков, позади эти, из района. Все одеты в темное, не деревенское, значит, из района. Наверно, руководство и актив. Они позади. Справа от него ельник, а дальше — топи Боговизны, там не пройдешь. Так неужели выход для него впереди? Где поле картофельное и деревня, там он вчера встретил деда с коровой... Неужели там нет никого? Это было бы удачей, если бы только успеть добежать туда. Хорошо, что его не увидели — прежде увидел их он. Это обнадеживало. Только бы не подвели ноги. Бежать было трудно, донимала одышка, во рту набиралось горькой слюны, сплевывая, он не мог избавиться от ее горечи. Его плечи и грудь под тяжелой мокрой одеждой обливал горячий пот, вспотело лицо, он то и дело отирал его рукавом. Оглядываясь, то бежал, то шел шатким неуверенным шагом, постепенно удаляясь от большака и от деревни тоже. Но выдержат ли нужное направление в лесу было непосто, похоже, он слишком взял в сторону, вплотную приблизившись к Боговизне. Поняв это, повернула чуть влево, чтобы вырваться из леса к картофельному полю. Главное для него было выскочить из обхватывавших его каещей облавы, пока они еще не сомкнулись. Появилась надежда, что он как-

нибудь опередит преследователей. От тех, что из района, он вроде бы оторвался, а деревенские, наверное, только еще входят в лес. А может, и не войдут — поджидают его на опушке. Только бы ему добыть до картофеля.

Но сил оставалось все меньше, спотыкаясь, он лихорадочно ковылял по мокрой траве подлеска. Все время оглядывался — нет ли погони. Погони еще не видать, но сзади, от большака, уже доносились голоса — должно быть, там разошлись в широкую цепь. Голоса и выкрики становились громче, посыпался лай. Но не вчерашней пастушечьей шавки, а, видно, пса покрупнее. Хведор побежал снова — тяжелой, обреченной трусцой, все время оглядываясь. Он весь был обращен к тому, что происходит сзади. Наверное, он упустил момент, когда надо было глянуть вперед, и за кустом можжевельника едва не столкнулся с зайцем. Широкими прыжками тот сигал навстречу, но, увидев человека, отпрянул в сторону и бросился назад — туда, откуда бежал. Тоже нет покоя, коротко подумал Хведор и остановился. Там, где исчез заяц, раздался злой громкий окрик:

— Стой! Стрелять буду!

— Куда ты — стрелять! Это заяц...

И там засмеялись молодым беззаботным смехом.

Хведор настороженно вытянул шею — впереди в желтой листве подоста мелькнули две зеленые фуражки, кто-то тихо прикрикнул издали, и они исчезли. Хведор смекнул, что и туда путь ему перекрыт: видно, от картофельного поля шли пограничники, их застава находилась в двух километрах за лесом. Но почему пограничники? Разве он шпион, диверсант или нарушитель границы? Или он сбежал из тюрьмы, где сидел за преступление? Он пришел в свой родной край, где родился и вырос. Где родились и прожили свой век его предки. Так почему пограничники?

Выходит, однако, он хуже шпиона. Потому что того ловят одни пограничники, а его обложили три цепи загонщиков: кроме пограничников еще районный актив и деревенские. Вот это волк! Вот это лесная дичь! Кто когда видел такую?!

На его счастье, кажется, никто еще из этой облавы его не заметил — опасность он замечал первым. Покамест ему везло, но долго ли продлится это везение? Наверно, все же заметят, он же не лесовик-невидимка. Правда, он хорошо знал этот край Казенного леса, но ведь и они лес знали не хуже, особенно его деревенские, думал Хведор. Теперь он бежал неизвестно куда, кажется, потеряв цель и все больше забирая в четвертую сторону — туда, откуда не выйти. В четвертой стороне был тупик, болотный край — Боговизна. Там трясина и топи, летом туда не сунешься. Туда и зверь не ходит, не то что человек. До самых морозов там потоп и погибель.

Так куда же ему податься?

Он уже не бежал — едва тащился краем темного ельника, путаясь постоломи в мягкой мокрой траве. И все прислушивался, стараясь понять, что происходит сзади, где повсюду звучали голоса, слышался мощный голос собаки. Должно быть, цепи сошлись, упустив его. А может, они повернут обратно — к большаку и деревне, со слабой надеждой подумал Хведор и притаился за елью. Хоть бы дали отдышаться, а то горький давящий ком застрял в распаленной груди...

Отдышаться, однако, не дали.

Они уже были где-то поблизости, увидеть их ему мешали деревья. Впрочем, деревья скрывали и его тоже. Но вот он услышал оживленные выкрики, чей-то приглушенный голос: «Сюда, сюда — след!» — и понял, что ему от них не уйти. Их несколько десятков, мужиков и красноармейцев, они обложили лес с трех сторон. А он — один. Он вконец обессилен и не знает, куда бежать, где спастись. Наверно, он бессмысленно пробежал последние свои метры. Впереди в ельнике что-то замельтешило в траве — это все тот же заяц. Спер-

ва убежал от красноармейцев, а теперь, видать, от него. Но зачем — от него? Он сам был как заяц, даже, может, еще и похуже. Потому что заяц, наверно, спасется...

«Люди, за что же вы так? — звучал в нем отчаянный вопль. — Что я вам сделал плохого? За молотилку? Так какое от нее зло? Она же вам пособляла. Или я много взял для себя? Я же все отдал вам — берите! Только за что же меня так? Одумайтесь, люди!..»

Никто, однако, и не думал одуматься — его гнали, как гонят волка на многолюдной охоте. А он все ждал, что кто-нибудь остановится, крикнет: «Постойте, братцы! Что же мы делаем?!»

Никто не остановился, не сказал, и его гнали дальше.

— Ровба, стой!

Ну вот наконец...

С первых шагов своего нелепого побега он днем и ночью ждал именно этого окрика, и все же он прозвучал внезапно и страшно. Хведор не сразу оглянулся: там, между елей, мелькали темные фигуры людей — свои или красноармейцы, он не разглядел даже. Главное он понял — его увидали. Но и бежать ему больше некуда, должно быть, его долгий маршрут неотвратно кончался. Невероятный бессмысленный маршрут — за тысячи верст на родную землю. Неласково же она встретила своего сына, родная его земля!.. Ну да Бог с ней, другого и быть не могло. Видно, такова судьба! Проклятая судьба, уготовила ему в такое время родиться крестьянином.

Кончился темный ельник, начиналась полоса мокрого болотного мшаника. Не останавливаясь, Хведор взбежал на него — толстый пласт мха угрожающе осел под ногами, и они по колени ушли в черную хлюпкую грязь. Лезть дальше, наверно, было безумием, но что теперь было не безумием? Вперед трепетали на ветру жухлые кисти камышовых зарослей, за ними высились пышно разросшиеся кусты лозняка и ольшаника, среди зеленых кочек тускло поблескивали черные окна бочажин. Отчаянным усилием выдирая из топи ставшие пудовыми постолы, Хведор пробирался все дальше. Скоро погрузился по пояс и, раздвигая телом плотный слой ряски, достиг крайних, поросших айром кочек. Некоторое время под ногами была какая-то опора — перевитое корневищами дно, но вот дно круто ушло в глубину, и он будто свалился с обрыва — шастнул с головой в мутную холодную бездну. Тут же, однако, вынырнул, потеряв шапку, и, чтобы не захлебнуться в вонючей жиже, ухватился рукой за осклизлый, тянувшийся с кочки корень. Тот не дал ему совсем погрузиться в воду, все-таки голова осталась на поверхности, и Хведор судорожно, жадно дышал.

За мшаником в лесу приглушенно звучали голоса, басисто лаяла собака — должно быть, загонщики сошлись в одном месте и остановились. Кажется, они потеряли его или, может, не захотели лезть за ним в холодную смрадную топь. До слуха отчетливо доносилось: «Здесь где-то бег...» — «Там он, в болоте». — «Гляди ты, куда сунулся!» — «Вылезет, никуда не денется, кулацкая морда!»

«Нет уж, не вылезу!» — в озлобленном отчаянии сказал себе Хведор, невольным движением тела колыхнув рваный слой ряски. Он все сидел по шею в воде, скрытый от берега камышом и кочкарником, а те, на берегу, видно, боясь трясины, даже не приближались к бочажине. Да и он, бывало, когда-то со страхом смотрел туда на обсаженное кочками, заросшее лозняком болото, ощущая почти суеверный страх при одном только приближении к нему. Теперь он сидел в нем спокойно и ждал. От холода деревенели конечности, внутри у него все сжалось в тугий болезненный узел. Он медлил. Но, видно, долго медлить ему не придется, все скоро кончится. Тяжелая суконная свитка на плечах настойчиво тянула его вниз, пудовые постолы влекли в бездонную глубину бочажины. Видно, все-таки ему не хватало решимости выпустить из рук осклизлый лозовый корень и тихо уйти

в другой мир. Словно бы он на что-то надеялся и часто, прерывисто дышал, как рыба, выброшенная на песок.

— Ровба, вылазь! — раздалось близко, за камышами.

— Вылазь по-хорошему!

— Гражданин Ровба, от имени советской власти предлагаю садиться...

Они там кричали, а он не очень и слушал их. Выбраться отсюда не было сил, да и желания тоже.

— Что-то не видать тут...

— Да там он! Вон след в тростнике...

«О люди, люди! За что же вы так! Люди...» — неизвестно к кому зывал в душе Хведор.

Однако они уже лезут. Хведор немного подвинулся к воде, снова качнув вокруг ряску, и повернул голову. Высоко поднимая ноги в прибрежной осоке, двое осторожно приближались к его бочажине. В руках у одного был длинный и тонкий шест — уж не собираются ли они ширять им в кустарнике, подумал Хведор. Отсюда он хорошо видел их, это были незнакомые парни, наверно, комсомольцы из района. Где-то за кустами неподалеку лениво подавала голос собака, но в трясину, кажется, ее не пускали.

— Дальше не сунешься!

— Давай, давай! Еще можно, — послышалось чуть в стороне, и от этих слов у Хведора сразу перехватило дыхание.

Он узнал этот голос — он узнал бы его и на том свете, потому что это был голос сына. Бедный Миколка, вдруг подумал Хведор, и ему лезть сюда! Однако, видать, не от сладкой жизни, наверно, заставили...

Те двое с шестом, кажется, потеряв беглеца, свернули немного в сторону, к самой чащобе лозняка, решив, что он там. Но он не был ни там, ни здесь — он здесь почти уже не присутствовал. Ему оставалось совсем немного — разве что взглянуть и проститься. Как только увидит сына, так и уйдет. На этом свете делать ему уже нечего.

Парни вовсю орудовали шестом в лозовых зарослях, а Миколка не появлялся. Бедный Миколка, что он переживает теперь, думал Хведор. Наверно, не по своей воле — заставили. Может, ему приказали? Какой-нибудь начальник повыше. Потому что, наверно, есть и над ним начальник. И послали его на поимку отца, от которого он отрекся. Если отрекся, то можно, видно, и ловить. Но если такое возможно, то как тогда жить? И для чего жить? Нет, жить на этом свете ему невозможно.

— Лещук, вон туда пырани!

Это — тоже Миколка, откуда-то издали твердым начальственным голосом, которого не знал прежде Хведор. Такой его голос он слышал впервые, и каждый его звук болезненным ударом бил в самое сердце. Счастливая Ганулька, она уже не увидит такого. И не услышит.

Тем временем зашуршало в соседнем лозовом кусте — конец тонкой палки насквозь пропорол густую листву. Значит, наступил черед и его кочки. Но, должно быть, они не успеют, он опередит их. Хведор зачем-то вздохнул всей грудью и выпустил из рук узловатый корень. Тяжелые ноги в неизносимых постолах сразу повлекли его в бездну бочажины, и он захлебнулся. Изнутри почему-то больно ударило в уши, в глазах все померкло.

Не дано было жить тихо, так хоть тихо умер.

Искали его долго, тыкали шестами в кусты и кочки, шарили в камышах у берега. Да так и не нашли.

ВАЛЕНТИН БЕРЕСТОВ

*

МИНУТНЫЙ ЗАСЛОН

У старых елок в вышине есть елочки-малышки:
У той — подросток, а у той — задорное дитя.
И ветки вздернуты у них, и шишки, словно вспышки,
И хвоя свежая на них колышется, блестя.
Когда меня приводят к ним дорожки и аллеи,
Когда от старых ржавых лап я отрываю взгляд,
То на вершины я гляжу, и сердцу веселее:
Ведь там беспечный хоровод и вечный детский сад!

У переезда

И запел соловей, да счастливый такой,
За железной дорогою как за рекой.
И стою я и слушаю на переезде
То с толпою машин, то со звездами вместе.
И опять красный свет, и шлагбаум, и звон
Ставят спешке смертельной минутный заслон,
И сквозь ночь сосен северных дух скипидарный
Мимо гнезд соловьиных проносит товарный.

Цветов лиловых или белых
В садах пустых и помертвелых
Не держит над собой сирень.
Зато как много листьев целых,
Не сорванных, не пожелтелых,
Живых сердечек, чистых, смелых,
Оставлено на черный день.

Реплика мемуариста

То время как сплошной провал
Изображать нам неохота:
Еще не каждый воровал,
Еще умел работать кто-то.
Но им все чаще доставалось
И ничего не доставалось.

ЮРИЙ ДОМБРОВСКИЙ

*

РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕЧИК...

Рассказ

В июньский очень душный вечер он валялся на диване и не то спал, не то просто находился в тревожном забытии, и сквозь бред ему казалось, что с ним опять говорят по телефону. Разговор был грубый, шантажный; ему угрожали: обещали поломать кости или еще того хуже — подстеречь где-нибудь в подъезде да и проломить башку молотком. Такое недавно действительно было, только убийца орудовал не молотком, а тяжелой бутылкой. Он саданул сзади по затылку. Человек, не приходя в сознание, провалялся неделю в больнице и умер. А ему еще не исполнилось и тридцати, и он только-только выпустил первую книгу стихов.

От этих мыслей он проснулся и услышал, что ему верно звонят.

Он подошел к телефону и поглядел в окно. Уже стемнело, стало быть, шел восьмой час. «Опять приеду ночью», — подумал он и снял трубку.

— Да, — сказал он.

Ему ответил молодой, звонкий, с легкой наглечей голосок:

— А кто говорит?

«Это уже другой, — понял он. — Да их там полная коробка собралась, что ли?» — и спросил:

— Ну а кого нужно-то?

— Нет, кто со мной говорит?

— Да кого нужно?

— Может, я не туда попал. Кто...

— Туда, туда, как раз туда. Мне сегодня уже четверо ваших звонили. Так что давай.

— Ах, это ты, сука позорная, писатель хренов. Так вот помни: предупреждаем последний раз — если ты, гад, не прекратишь своей гнусной...

— Подожди. Возьму стул. Слушай, вам что, такие шпаргалки, что ли, там раздают? Что вы все шпарите одно и то же? Не вижу у вас свободного творчества, полета мысли. Хотя бы слово от себя, а то все от дяди.

— От какого еще дяди?

— От дяди Зуя. Нет, серьезно, что, у вас своих голов нету? Только «сука позорная», только «башку проломим», только «гнусная деятельность». Впрочем, один ваш хрен говорит «деятельность». Дейтели! Передай ему привет!

— Ладно, нечего мне зубы заговаривать. Они у меня здоровые.

— Эх, и хорошо по таким лупить!

— Ах ты! — на секунду даже обомлела трубка. — Да я тебя живьем сгрызу.

— А ты далеко от меня?

— Где бы ни был, а достанем. Так что предупреждаем — и последний раз...

— Стой! Кто-то звонит. Не бросай только трубку.

Он подошел к двери, поглядел в глазок и увидел, что стоит та, которую ждал уже три дня и которая еще сегодня утром была ему нужна до зарезу. Она должна была сниматься в его фильме, и ее знала и любила вся страна. Ее портреты, молодые, прекрасные, улыбающиеся, висели в фойе почти каждого кинотеатра, ее карточками пестрели газетные киоски. Ее всегда узнавали, когда она появлялась с ним на улице. Он очень, очень ждал ее эти три проклятых дня, но сейчас она была ему просто ни к чему.

«Вот еще принесло на мою голову,— подумал он,— что это все на меня сразу стало валиться».

Он открыл дверь. Она не вошла, а влетела и сразу бросилась к нему. Даже не к нему, а на него. У нее было такое лицо и она так тяжело дышала и так запыхалась, что несколько секунд не могла выговорить ни слова.

— Ну что с тобой? — спросил он грубовато. — Ну окстись! Вид-то, вид-то! — И он слегка потряс ее за плечи. — Ну!

Она облизнула сухие губы.

— Ой, как рада вас видеть здоровым. Ваш телефон все время занят.

— Ну да, спал я и снял трубку. Звонит всякая шушера.

— Вот и брату звонили, требовали вас, грозили подстеречь в подъезде, я только что вернулась со съемок, и он мне это сказал. Я сразу же бросилась сюда. Видите, даже не переоделась.

На ней верно был рабочий костюм, брюки, блузка, большие солнечные очки.

— Ну тогда садись и передыхай. Я сейчас кончу разговор. Ты слушаешь, мужик? — спросил он трубку. — Молодец. Так вот, ты далеко от меня?

— Да зачем тебе это нужно? — В голосе теперь вдруг прозвучала настоящая растерянность. Сзади как будто слышались еще голоса. — Выследить, гад, хочешь?

— Нет, хочу сделать одно деловое предложение. Ты не раз был возле меня и все там знаешь. Ну как же? Раз убивать собираетесь, значит, все вы там знаете. Так вот, наискосок от меня пустырь. Там раньше стояла развалюха, а теперь ее снесли. И там алкаши до одиннадцати водку трескают, знаешь?

— Ну, да что ты такое заводишь, козел?

— Так вот предложение. Сейчас там никого нет. Алкаши сидят по домам. Через пятнадцать минут я туда выйду и буду тебя ждать. Приходи. Хоть с молотком, хоть с бутылкой, хоть один, хоть с кодой — я буду вас ждать. Договорились...

— Да ты что, сука... Да я ж тебя...

— Стой, не ругаться! Остолоп, все это осточертело! — Он слегка оттолкнул актрису, которая ринулась к нему и сжала его пальцы.

— Ради бога,— сказала она,— ведь это...

Он отмахнулся от нее.

— Так вот, приходи. Поговорим. Но имей в виду, приготовься. Если промахнешься — увезут на «скорой», это я тебе гарантирую. Я умею это делать. Ты же знаешь, где я был, что видел и какой жареный пегух меня клевал в задницу.

— Не пугай, сука, мы тебя и на пустыре подстережем. Пожди!

— Ну зачем же меня подстерегать. Я сам иду. Надоели вы мне, болваны, боталы, парчивилки, до смерти.

— Одного такого хорошего, из вашего брата, мазилу уже пристрелили. Из машины...

— Вот видишь, темнело, как там с вами обращаются. Тебе даже не рассказали, кого, за что и как убили. То был не мазила, не врач, а художник. И его застрелил случайно один мусор — инкассатор.

Перепугался до смерти и пальнул из машины. А убили в подъезде поэта.

— Ну вот...

— И не вы убили, а кто-то посерьезнее вас. А вы только из автоматных будок за две копейки брешете, как суки. Мудачье вы, и все. Когда хотят убить, так не звонят. Так вот, чтоб через пятнадцать минут ты был там как штык. Понял?

— Дружинников соберешь?

— Не пускай в штаны раньше времени. Один приду. Там издали все видно. Все. Вешаю трубку.

Актриса сидела на кушетке и глядела на него. Лицо у нее было даже не цвета мела, а кокаина — это у него такие мертвенные кристаллические блестки.

— Это что же такое? — спросила она тихо.

— Как что? Один очень деловой разговор.

— И вы пойдете?

— Обязательно...

Он подошел к столу, открыл ящик, порылся в бумагах и вынул финку. С год назад с ней на лестнице на него прыгнул кто-то черный. Это было на девятом этаже часов в одиннадцать вечера, и лампы были вывернуты. Он выломал черному руку, и финка вывалилась. На прощание он еще огрел его два раза по белесой сизо-красной физиономии и мирно сказал: «Уходи, дура». Что-то, а драться его там научили основательно. Финка была самодельная, красивая, с инкрустациями, и он очень ею дорожил. Он сжал ее в кулаке, взмахнул и полюбовался на свою боевую руку. Она, верно, выглядела здорово. Финка была блестящая и кроваво-коралловая.

— Вот этак, мадам, — сказал он.

Актриса стояла и глядела на него почти безумными глазами.

— Да никуда я вас не пушу. Это же самоубийство. При мне... Да нет, нет!.. — крикнула она.

Он поморщился и кинул финку на стол.

— Ну как в моем дурацком сценарии! Слушай сюда, глупая, — сказал он ласково. — Ни беса лысого они со мной не сделают. Клянись тебе честью! Честью своей и твоей клянись. Это же трепачи, шпана, пьянь, простые пакостники. Они у нас на Севере пайки ворovali, а мы их за это в сортирах топили. Не до смерти, а так, чтоб нахлебались. И поучить их я поучу сегодня.

— Там их придет десяток. Они вам и развернуться не дадут. Там же такие кусты.

— Ну я тоже не слепой. Увижу. А с этой публикой так: дашь одному по морде, свалишь другого, и разбегутся все. Но смотри, какой ужас на тебя нагнали. Ну как же их не учить после этого, болванов?

Он говорил легко, уверенно, убедительно, и она постепенно успокоилась. Он всегда мог заставить ее поверить во что угодно. Вот и сейчас она взглянула на него, спокойного, неторопливого, собранного — в личной жизни он не был такой, — и почти поверила, что страшного не случится. Просто поговорят по-мужски, и все. Он тоже понял, что она пришла в себя, засмеялся и похлопал ее по плечу.

— Ну-ну. Будь паинькой. Сиди и жди... Потом проводишь меня на вокзал. Поеду на дачу. А то три дня здесь торчу, пью со всякой шоблой, а работа-то лежит. Возьми сумочку, попудрись, вытри глаза, они у тебя сейчас краснее, чем у морского окуня, и ресницы потекли. В зеркало-то посмотри. Хороша Маша, а?

— А без этого никак нельзя? — спросила она, вынимая сумочку.

— Никак. Ну понимаешь, никак! Они нагелят. А поймут, что я струсил, и действительно шуганут чем-нибудь из-за угла или в подъезде, как того несчастного, подкараулят. А здесь — все открыто!

— Ой! — И она снова вскочила.

— Сиди! Сейчас вернусь. Можешь из кухни поглядеть, там все видно.

— Тогда и я с вами...

— Одолжила. Так что, мы им спектакль собираемся показывать? Юлиана Семенова в четырех сериях? Сиди, и все.

И он снова притиснул ее за плечи к дивану.

Однако после разговора по телефону не прошло и пяти минут. До пустыря же было только два шага — улицу перебежать. Так что же, торчать на виду?

Он снова сел к столу, подперся и задумался. Зазвонил телефон. Он нехотя снял трубку, послушал, оживился и сказал:

— Да, здравствуйте. Ну узнал, конечно.— Еще что-то послушал и ответил:— Буду там целый день. Пожалуйста. Нет, не рано. Я встаю в шесть. Так жду.— Положил трубку и усмехнулся:— Эта встреча на пустыре — что! Вот завтра редактор ко мне с утра нагрянет...

Она сразу поняла, о ком он говорит, и пособолезновала:

— Вы так его не любите?

Он поморщился.

— Да нет, не то чтобы я не люблю его, но просто...

Она поднялась с дивана, подошла к зеркалу, потом взяла стул и села у стола рядом с ним.

— ...Но просто не любите.— И вдруг пальцем по зеленой бумаге начала старательно выводить что-то продолговатое, закругленное, закрученное, со многими зализами и заходами то туда, то сюда, то вовнутрь, то вне.

— Что это? Змея?

— Почти. Лекало. Линейка для начертания кривых линий. Это он. А вы вот! — И она быстро — раз-раз-раз! — вывела овал, на овале две черточки внизу, две черточки сверху и над ними кругляшок и на кругляшке много-много мелких, торчащих вверх, и в бока, и вниз черточек — голова, пацалы, руки и ноги.

Он засмеялся.

— И меня так в детстве учили. Ножка, ручка, огуречик — вот и вышел человек...

— Да вот, вышел человечек,— улыбнулась она ему прямо в глаза.

— Хм! Значит, вот я какой — ручка, ножка, вихры,— не очень-то, знаешь, лестно.

— Не очень, конечно, но лекало много хуже.

— Хуже? Такое изящное?

— Я его ненавижу. Оно хитрое, вокруг всего изгибается, все обнимает, ко всему подползает. У него нет ничего прямого, а все в изгибах, в перегибах, изломах.

— И многих таких ты знаешь?

— Да у нас все такие. Я сама первая такая.

— Славно! А я, значит, вот какой!..— Он ткнул в то место, где был незримый рисунок.

— Да; ты вот такой.— Она первый раз сказала ему «ты».

Он подумал и встал.

— Ну, кажется, время. Пойду. Сиди смирно. Я быстренько.

Но запоздал он здорово. Она уже сидела успокоенная, потому что видела — никто к нему не подходил и на пустырь не заглядывал. Он только зря проторчал полчаса на ящике из-под марокканских апельсинов.

— Суки позорные, трепачи,— сказал он крепко.— Ну сунетесь ко мне еще! — И стукнул на стол граненый стакан — спасенье алкашей. У него их был полный шкаф — кто-то ему сказал, что они приносят в дом удачу.— Вот веноч тебе из одуванчиков сплел, пока

сидел. Смотри, как солнышко. Понюхай-ка. А пмелей, пмелей там, все гудит. Ты на машине? Руки не дрожат? Покажи. Отлично. До вокзала меня подбросишь?

— Да я сегодня могу и до места.

— Нет, до места как раз сегодня не надо. Праздники же. Сейчас всюду посты понатыканы. На поезде скорее.

— А может, останетесь? Завтра бы уж.

— Нельзя. Жена совсем потеряла. Кошки воют. Они меня любят. Поехали!

До последнего дачного поезда еще оставалось добрых полчаса, и народу было немного. Уже совсем стемнело. Горели фонари. Воздух после тяжелого знойного дня был неподвижный и какой-то застойный. Пыльные тополя млели в лиловом фонарном свете. Подошел человек и сел рядом.

— Не знаете, сколько сейчас времени? — спросил он у соседа.

— Да через пять минут подадут состав, — ответил сосед. — Да что, вы меня не узнаете, дорогой? — И сосед назвал его по имени-отчеству.

— Боже мой! — воскликнул он. — Какими же судьбами? Вы что, живете теперь на этой ветке?

— Да нет, не живу, а так, гощу у одного приятеля. Да вы его знаете. — И он назвал фамилию довольно известного очеркиста. — Я его устроил там на даче и вот иногда в праздники приезжаю к нему заночевать. А утром гуляем, купаемся, водку пьем. Хорошо.

— Еще бы! — ответил он с улыбкой, разглядывая своего соседа.

Это был бывший сотрудник какой-то районной газеты, а сейчас председатель областного общества книголюбов. Как-то года два назад он позвонил ему и пригласил выступить на одном вечере. Просто поговорить или прочитать отрывок. Вечер прошел очень успешно. Много аплодировали, срезали и поднесли букет великолепных гвоздик, провожали целой группой и очень просили приезжать еще. С этих пор и завязалось у него с книголюбом не то что приятельство, а хорошее знакомство. Книголюб внешне очень нравился — эдакий крепыш, с круглым лицом, карими, в крапинках глазами и смешным вздернутым носом. Ни дать ни взять — тракторист или бригадир. Книголюб приглашал его часто то туда, то сюда — то с чтением повестей, то с лекцией о каком-нибудь юбилее, а то и просто поговорить о писателях и писательском труде. Был он очень обходителен, прост и всегда хорошо платил, и это писатель ценил тоже. В деньгах писатель постоянно нуждался. Его мало печатали и никогда не переиздавали. А год назад он закончил свой большой роман, и тот пошел по рукам. Тут и посыпались все его неприятности, начиная с этих звонков и кончая редакционными отказами. Но все это он предвидел и не очень-то огорчался.

— А где вы сейчас ходите? — спросил он книголюба.

Тот назвал ему станцию — не так близкую, но и не больно отдаленную, примерно за полчаса от того места, где жил сейчас писатель.

— Ну, значит, успеем наговориться. Знаете, уже соскучился по вас.

Подошел поезд. Вагоны были почти пустые. Электричество горело вполнакала.

— Ну как с романом, ничего не предвидится?

— Куда там. У меня настоящий мертвый сезон, дорогой!

— Одиннадцать лет, говорят, писали?

— Даже с хвостиком.

— Да! — снова вздохнул книголюб и даже головой покачал. — А сейчас, говорят, неприятности у вас какие-то пошли? Грозит вам какая-то шпана...

— Вот именно шпана. Да нет, ничего серьезного. Так, обычная бодяга.

— Не бойтесь. В случае чего в обиду не дадим. Вот! — И он показал небольшой, но крепкий кулак.

— Да я и не боюсь, — улыбнулся писатель, — но все равно спасибо.

— Слушайте! — вдруг взял его за рукав книголюб. — А вы не сойдете со мной? У нас там еще пол-литра воспитательной стоит, а?

— Соблазнительно! — улыбнулся писатель. — Змий! Зеленый райский змий вы!

— Нет, правда? А завтра утречком и поехали бы к себе. Что ж в такую темень переться-то? Жена ваша небось уж седьмой сон видит. А тут я бы вас познакомил с одним вашим страстным читателем. Он там тоже живет. Молодой парень. Пишет исторический роман. Вот обрадовался бы он! Сойдем, а?

— Очень, очень соблазнительно. Говорите, пол-литра? А что за роман у этого парня?

— Да я, знаете, не читал. Но знаю, что исторический.

— А из нашей истории или зарубежной?

— Зарубежной.

— А страна какая?

— Дания.

— Ого! Он так хорошо знает датскую историю? Это же редкость. А как его фамилия?

— Фамилия! Черт! Вот тоже забыл. Я ведь его все больше по имени — Саша, Саша, ну и фамилию тоже знал, конечно. Черт знает что происходит с памятью.

«Действительно, черт знает что происходит в мире, — подумал писатель, — все что-то сходят с ума. Все потеряли память».

— Так, может, решитесь, сойдем! — снова сказал книголюб. — От станции десять минут ходьбы. Так бы хорошо посидели.

— Так понимаете, жена, боюсь, сбежит. На черта ей такой муж? Пьет, пропадает черт знает где, куда и с кем. А то я бы с таким удовольствием...

— Прекрасная она у вас женщина, — сказал книголюб прочувствованно, — только вот ко мне что-то не больно хорошо относится.

— Это откуда вы взяли? — очень удивился писатель и подумал, что жена-то и видела книголюба всего однажды и он ей, верно, таким образом, есть общие знакомые. Вот к этому общему знакомому и позвонила жена, но ничего конкретного так и не узнала. «Нет, та женщина очень хорошая, — сказал общий знакомый. — Только ведет себя не больно осмотрительно. Знакомства у нее нежелательные. Литературу всякую читает и передает. Язычок длинный. Может быть, за ней и еще что-нибудь более серьезное водится, так что, возможно, он за ней и наблюдает. Хотя тоже навряд ли, а то я бы знал».

— Так она почему-то подумала, что я того... — И он постучал пальцем по скамейке.

Писатель смолчал, потому что и это была правда. Они обсуждали — откуда он, дескать, такой хороший появился и именно в это тревожное время, но поделилась она своими сомнениями только с одним знакомым. Его имя назвали вместе книголюб и та женщина, которую он тогда привел с собою. Оказалось, что у них, таким образом, есть общие знакомые. Вот к этому общему знакомому и позвонила жена, но ничего конкретного так и не узнала. «Нет, та женщина очень хорошая, — сказал общий знакомый. — Только ведет себя не больно осмотрительно. Знакомства у нее нежелательные. Литературу всякую читает и передает. Язычок длинный. Может быть, за ней и еще что-нибудь более серьезное водится, так что, возможно, он за ней и наблюдает. Хотя тоже навряд ли, а то я бы знал».

Вот и весь разговор. Как же его узнал книголюб? Общий знакомый ни в коем случае проговориться не мог, и вдруг перед ним блеснуло! Ведь говорили-то по телефону. Значит...

Поезд стал замедлять ход. Замелькали предстанционные постройки и кирпичные теремки.

— Ну, я приехал! — сказал книголюб и встал. — Так что, сойдем?

— Нет, поеду к жене! — решительно отрезал писатель. — Что-то стало познабливать.

— Ну, тогда, значит, до свиданьица! — развел руками книголюб.

— Всего хорошего, — кивнул головой писатель и подумал: «Нет, я определенно болен, лезет же в башку всякая блажь. К психиатру надо бежать!»

Он машинально проследил глазами за книголюбом. Тот шел по перрону и вдруг остановился и помахал рукой кому-то, находившемуся вне поля зрения. И тут писатель увидел, что это совсем не та станция, которую книголюб ему назвал, до той было еще несколько прогонов. «Черт знает что!» И не успел он подумать, как быстрым шагом, почти убежал книголюб и грохнулся на прежнее место.

— Спутал! — сказал он. — Вот башка! Я, кстати, вспомнил фамилию того писателя. Вирмашев. А книга из времен Гамлета, семнадцатый век.

— То есть это Шекспир написал своего «Гамлета» в семнадцатом веке, а тот жил много раньше, в одиннадцатом веке! Так, по крайней мере, сообщает Саксон Грамматик. Других источников нет, так что, может, и никакого Гамлета вообще не было!

— И все-то вы знаете, — умилился книголюб и вынул блокнот.

— Так Вармашев? — спросил писатель и нарочно переменял одну букву. Книголюб кивнул головой. — Говорите, у него пол-литра?

— Да, может, и больше. Там самогонку гнали на свадьбу.

«Э, сойду, — быстро решил писатель, — только так и можно вылечиться, а то и впрямь сойдешь с ума. Да и чего мне бояться? Роман написан, а через неделю мне шестьдесят восемь! Хватит! А парень славный. Это я болван, черт знает что придумываю. Пугаю себя».

— Хорошо, — сказал он. — Сойдем.

— Ну вот и чудненько, — обрадовался книголюб, даже руки потер.

Писатель машинально сунул руку в карман. Но финки там не было. «Ну и черт с ней, — подумал он, — страхом от страха не лечатся, лечатся бесстрашием...»

...Они сошли через две остановки. Это был маленький лесистый полустанок, вернее, даже не полустанок, а платформа. Совсем стемнело. Стояла прохладная, чуть подсвеченная одиноким желтым фонарем полутьма. Где-то рядом был, наверно, пруд, потому что тянуло тиной и стоячей водой и повсю заливались лягушки. Большие, теплые, спокойные лужи стояли на асфальте и в колдобинах. Крошечные бурые лягушата прыгали вокруг. Писатель наклонился, ласково провел рукой по рослой траве.

— А здесь дождичек шел, — сказал он, вдыхая полной грудью смолистый воздух.

Книголюб нежно подхватил писателя под руку, и тот бедром почувствовал его карман. То есть то плоское, гладкое и массивное, что было у него в кармане. «Браунинг, небольшой, наверно, бельгийский», — понял писатель и спросил:

— А что это у вас там?

— Браунинг, — улыбнулся книголюб. — Смотрите! — Он мгновенно выхватил браунинг и навел его на писателя. — Ну, — сказал он и, приставив револьвер к своему виску, чем-то щелкнул. Выскочило высокое, голубое, прозрачное пламя.

Оба засмеялись.

— У одного алкаша за пятерку взял, — сказал книголюб и спрятал зажигалку. — Немецкая работа. Вороненая сталь. При случае можно кое-кого пугнуть. Ну вроде тех, кто вам звонит.

— А ну их! Скоро дойдем?

Они вошли в лес, и сразу еще сильнее запахло смолой и хвоей. Книголюб по-прежнему держал писателя под руку, слегка прижимая его к боку, и тот чувствовал его крепкие, неподвижные, словно вылитые по форме мускулы.

— Да уже почти дошли. А вы что, сильно устали?

— Устал,— вздохнул писатель.— Я очень устал, товарищ дорогой. Последнее время было такое трудное.

— Одиннадцать лет писали... Ну ничего, сейчас отдохнете от всех ваших трудов,— словно чему-то усмехнулся книголюб.

«Мертвая хватка,— вдруг остро подумалось писателю.— Поршни, а не мускулы. Те, что у локомотивов ходят. От такого не вырвешься. Лес и в лесу избушка на курьих ножках...»

Книголюб вдруг зажег карманный фонарик. Что ж он его не вынул раньше? Осветилась дверь. Это была, очевидно, избушка лесника. Стояла она на отшибе, и жить в ней мог только очень отважный или хорошо вооруженный человек. Книголюб дотронулся до двери, и она отскочила, как автоматическая. Они вошли, и дверь сзади поволчи щелкнула сталью.

«Все,— холодея, но даже с каким-то облегчением подумал писатель.— И никто не узнает, где могила моя. Просто сел в поезд и не сошел с него. Растворился в воздухе. Винить некого. Следов нет. Полная аннигиляция».

Отворилась вторая дверь. Два здоровых молодца сидели за столом, покрытым клеенкой, и на полу была тоже клеенка. Белая, скользкая, страшная. Горела лампа в стеклянном зеленом абажуре. «У отца в кабинете стояла такая»,— подумал он. Один парень был кругленький, с аккуратной подстриженной головой, румяный, как зимнее яблочко, с загаром. Другой походил на лошадь с белой гривой. Парни молча смотрели на него. Румяный улыбался. Белогривый молчал. Книголюб стоял сзади. Никто ничего не сказал. Просто нечего было уже и говорить.

— Значит, у пустыря на ящике? — спросил белогривый.— А мы вот тебя куда пригласили, на дачку, с ветерком.— И улыбнулся, показывая плоские, тоже лошадиные зубы. Он был совершенно неподвижен, но как-то страшно, смертно напряжен, и эта его напряженность словно создавала в комнате, обитой белой клеенкой, незримое, но тягостное силовое поле.

«Да, этот, верно, загрызет сразу»,— подумал писатель.

— Сейчас ему будет ящичек с крышечкой,— улыбнулся румяный.— Сыграет он в него. Хватит, повредил, поклеветал, попил нашей кровушки, падло.

Писатель хотел отскочить, но не мог, хотя ноги стояли совершенно прямо, не двигались, словно в силовом поле. В это время что-то железное и неумолимое сдавило ему шею и раздавило горло. Он даже крикнуть не успел, только подавился кровью. Очевидно, книголюб был выдающийся мастер своего дела. Ослепительный, горячий, багровый свет, целая пелена его еще какие-то доли секунды стояла перед ним, но не в глазах уже, а в мозгу, но тело его, за долгие годы привыкшее ко всему, даже к смерти, было еще живо и отвечало злом на зло. Книголюб переломился от страшного удара ногой в низ живота. Тиски распались. «Ну»,— сказала тело, мгновенно отскочив и прижимаясь к стене. Оно было ужасным — в крови, в какой-то липкой гадости, багровое, с глазами, вываливающимися из орбит. Все это произошло в считанные секунды. Румяный вскочил, схватился за карман, но сразу же сел опять. И тогда лошадиный с криком «врешь, гад!» бросился к прижавшемуся к стене, все еще страшному и готовому к смертной схватке человеку. Он запустил в него плоским пресс-папье, и оно угодило острым углом прямо в висок. Тело рухнуло на колени. Но когда лошадиный подлетел, чтобы

ударить еще, оно, тело, схватило его за ногу и подсекло. Они покатались по полу. Лошадиный сразу оказался внизу. И тогда румяный подошел и четким, хорошо рассчитанным движением ударил находящегося сверху ланцетом. Удар точно пришелся в ямочку на затылке. Руки разжались. Комок распался. Румяный ударил еще в то же место. Лошадиный встал. С него текло. Он весь зашелся в кашле. А румяный наклонился и профессионально — при повороте у него вдруг сверкнул багрянцем медицинский значок — пощупал пульс, потом заглянул в быстро потухающие глаза.

— Все,— определил он.

— Ну спасибо, молотки,— просипел книголюб, разгибаясь и переводя дыхание,— только отойдите, отойдите! Видите, тут все заляпано! Эх, черт! Вот что значит не подготовиться. Ведь свободно убить мог, гад! Сейчас машина подойдет. Она рядом с нами ехала. Я ей вышел просигналил.

Лошадиный стоял и смотрел. Ему здорово попало. Дышал он с каким-то свистом и всхлипом.

— Ух! — сказал книголюб с ненавистью и врезал носком ботинка по виску трупа.— Ух, гад! — Он ударил еще и еще, но голова только мягко перекаталась по клеенке.

Лошадиный стоял, рот у него был полуоткрыт, зубы блестели.

— Здоровый! — сказал он.— Вот уж никогда не думал, что он с вами поедет. «Приходи, мужик».— Не поймешь, что особенное прозвучало в его голосе и в этих словах. Но оно точно прозвучало. Поэтому книголюб поглядел на него.

— А ты сядь, сядь, а то весь дрожишь,— сказал он.— Куда он тебя ткнул-то? Эх, стрелять тут нельзя.

— Со мной по телефону говорил, ругался, мужиком назвал. Эта к нему прибежала, уговаривала, плакала, я все слышал,— нет, пошел. Букет ей еще нарвал, одуванчиков. Разве такого уговоришь?

— Да что ты, жалеешь его, что ли? — рассердился книголюб.— Мало он тебе съездил? Ну-ка выпей воды.

Белоголового трясло, лицо его сразу промокло, и не оттого, что плакал, а оттого, что его всего начало выворачивать.

— Давай валяй прямо на него! — насмешливо крикнул книголюб.— Вот нашелся мне тоже иждивенец. Если плакать по любому гаду...

Прогудела сирена.

— Иду, иду,— сказал книголюб и вышел.

— Вот кого бы я сделал,— сказал беловолосый,— сразу бы...

— А он-то при чем? — удивился румяный с медицинским значком.— Ему приказали, а он нам приказал. Вот и все.

Беловолосый сел за стол, открыл ящик, вынул бутылку, скусил металлическую пробку, налил полный стакан и выхлестнул сразу. Потом посидел, скрипнул зубами и вдруг ухнул ногой по тумбочке стола. Стол загудел и задрезжал — он был фанерный, тут все было ненастоящее: фанерное, клеенчатое, кроме запоров — вот те, верно, были стальные и автоматические.

— Прямо сгрыз бы,— сказал лошадиный.— Слышал я этот приказ. Когда я ему прорадировал, что этот выходит ко мне, он сказал: «Э нет, так не годится. Иди и в дежурке жди. Раз он не боится, надо не предупреждать и дело делать».

— Ну и что? И правильно,— сказал румяный.— Вот и сделали.

— А потом через сколько-то радирует мне: «Поезжай в лесную сторожку. Ты не требуешься. На дачу поехал».

— Он и на дачу трех послал с машиной. Ему бы так и так был конец,— сказал румяный,— так что не переживай.

— И эта кукла удержать его не могла. Еще подвезла, чувиха безголовая.

— Тише! Они идут. Кончай выступать.

* * *

— Так Вармашев,— спросил писатель и нарочно переменял одну букву,— и говорите, у него пол-литра?

— Даже больше, наверно. Там самогон гнали. Так, может, сойдем?

— Да нет,— улыбнулся писатель.— Уж, похоже, буду добираться до дома, до хаты.— Но вдруг, когда книголюб был уже в тамбуре, крикнул:— Секундочку! Встречное предложение. Поедем ко мне. Ну и что что спят? В холле посидим. У меня там заправка хорошая есть. Ради бога, только не отказывайтесь! А то я совсем стал с ума сходять. Вот сижу с вами и наяву брежу.

И тогда книголюб послушно возвратился, опустил на свое место.

— С вами куда угодно.

А он, старый человек, инженер душ человеческих, как некогда выразился некто, тоскливо, с глубоким неуважением к себе подумал: «Какие же мы все-таки трусливые твари! Позвони нам так еще парочку раз, и мы от всех будем бегать. Те гады хорошо знают, что делают. Вот я расхрабрился, пошел к ним, вернулся гордый, ничего, мол, не боюсь, а потом всю дорогу издыхал от страха». Ему было так нехорошо, что он даже не знал, что сказать и что сделать. Ведь перед ним сейчас сидел обыкновенный простецкий парень, который искренне любил его, а он даже любовь стал считать за фальшь и подсидку. Так стоил ли он тогда когда-нибудь настоящей любви? Он думал об этом, пока они ехали, а потом шли, и поэтому все время болтал что-то мелкое, несурзное, только чтоб заглушить в себе этот стыд. Да нет, ему даже уже не было стыдно, он просто весь болел и пылал, как открытая воспаленная рана. Боталы! Дешевки! Грошовое повидло, как говорили на Севере. Ничего не прямо, все в обход. Ничего на руку, все в себя! Изогнулись, как гадюки в болоте, перегрызлись, как собаки в клетках у гицеля. Ручка, ножка, огуречик... Да если бы было хоть так, а то ведь ничего подобного.

— Лекало,— сказал он вдруг громко и остановился,— чертово лекало.

— Ну за что вы его так? — огорчился книголюб.— Я сам был чертежником, там без лекала никак не обойдешься.

— Да, но я же не чертеж! — крикнул он в отчаянии.— Я же как-никак человек. Я же ручка, ножка, огуречик! А не какое-то лекало.

Кто-то из темноты засмеялся, а женский голос объяснил:

— А на этих электричках всегда только вот такие из Москвы возвращаются. Нажрутся там...

Прошли еще с полквартила, и тут книголюб сказал:

— Ну, кажется, дошли. Вон вывеска «Дом творчества». До свидания. А я, извините...— Он побежал обратно.— А то и не уеду. А мне обязательно нужно быть там. Сегодня же.

— Так вы не зайдете? — разочарованно вслед ему крикнул писатель.

— Извините. Не могу! В другой раз! Я вас только до дому провозжал. Вижу, что вы как-то не вполне в себе. У меня уже ни минуты не осталось. Пока!

— А пол-литра что же?

— Так я же непьющий,— засмеялся книголюб.— Что, забыли разве? Да?

Да, да, он все, все забыл.

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ

*

БОРЯ-БОЕЦ

Рассказ

Интересно, вспомнят нас добром наши потомки за то, чем мы сейчас занимаемся? От усталости тяжелые мысли напали на меня. Я стоял в почти пустой деревне на берегу Ладоги, и на меня дул резкий, словно враждебный ветер, треплющий пачку листовок в моей руке. Ну ладно. Раз уж я забрался в такую глушь, то надо хотя бы сделать то, ради чего я заехал сюда!

Я сделал несколько нелегких шагов навстречу прямо-таки озверевшему ветру и вышел на самый берег — правда, самой воды за бешено раскачивающейся белесой осокой не было видно, но Ладога достаточно заявляла о себе и будучи невидимой — ревом и свистом.

Ну... куда? Я огляделся по сторонам. На берегу не было ничего, кроме вертикально врытого в почву бревна, ставшего почти белым от постоянного ветра и солнца. Я еще некоторое время глядявался в невысокий этот столб, испуганно соображая, не является ли он остатком креста... но нет — никаких следов перекладки я не заметил. Просто — столб.

Я вынул из сумки тюбик клея, щедро изрыгнул его на листовку, потом прилепил ее к столбу... тщательно приткнул отставший было уголок... Вот так. Я смотрел некоторое время на свою работу, потом повернулся и пошел. Все! Одну листовку я прилепил на автобусной станции, вторую — на доске кинотеатра, третью — у почты, четвертую — у правления, пятую — здесь, на берегу. Достаточно — я исполнил свой долг!

Но все равно я несколько раз оборачивался назад, на бледную фотографию моего друга, страдальчески морщившегося от ветра на столбе, друга, согласившегося выставить свою кандидатуру на выборах против превосходящих сил реакции... Да — одиноко будет ему... на кого я оставил его тут?

Когда я обернулся в пятый или шестой раз, я увидел, что листовку читает взлохмаченный парень в глубоко вырезанной майке-тельняшке, в черных брюках, заправленных в сапоги.

Ну, значит, не зря я мучился, добирался сюда, с облегчением подумал я, все-таки кто-то читает!

— Эй!.. Профсоюз! — вдруг донесся до меня вместе с ветром шипяще-свистящий оклик.

«Профсоюз»?.. Это, что ли, меня? Но при чем — профсоюз? Я ускорил шаг.

Когда я глянул в следующий раз, парень, сильно раскачиваясь, шел за мной.

— Стой, профсоюз! — зловеще выкрикнул он.

Но почему — профсоюз? — думал я, не ускоряя, но и не замедляя шага. А! — понял наконец я: в тексте написано ведь, что друг мой является преподавателем Высшей школы профсоюзного движения — отсюда и «профсоюз»... Ясно — этот слегка кривоногий парень за что-то ненавидит профсоюз — да, в общем-то, и можно понять за что! Но при чем тут, спрашивается, мой друг и тем более при чем тут я, вовсе ни с какого боку к профсоюзу не причастный!

— Эй! Профсоюз!

Ну что он затвердил, как попка? Потеряв терпение, я остановился и резко повернулся к нему. Он остановился почти вплотную. Взгляд у него был яростный, но какой-то размытый.

— Ну — что надо?

— Эй! Профсоюз! — Он кричал и вблизи. — Ты куда рыбу дел?!

— Какую еще рыбу? — проговорил я.

Он кивнул головой в сторону Ладоги.

Я отмахнулся (я-то тут при чем?), повернулся и пошел.

...Конечно, думал я, симпатичного мало в здании Высшей профсоюзной школы, величественно поднимающейся на пустыре среди безликих серых пятиэтажек. Своими как бы греческими аркадами она, видимо, должна была внушать мысль о какой-то высшей мудрости, царящей здесь, и непрерывно, вот уже десять лет, пристраивалась, разрасталась. Среди жителей зачуханного нашего района она была знаменита лишь тем, что в ней была встроена единственная в нашем районе парикмахерская, а также тем, что оттуда иногда выносили лотки с дефицитом — видимо, когда там был перебор и могло стухнуть. Вообще, если вдуматься, в наше время сплошной демократизации сама идея эта выглядела дико — что значит Высшая профсоюзная школа? Уже ясно, по-моему, всем, что уж по крайней мере профсоюзные лидеры должны выдвигаться из глубоких масс, из самых непричесанных и непримиримых, а тут их не только причисляли — их явно прикармливали! Нередко, едучи на троллейбусе из центра, я рассматривал представителей, а также представительниц этой академии мудрости — в основном из ярких южных национальностей. Как правило, они ехали группой с какого-нибудь эстрадного концерта, одеты были богато, но несколько безвкусно (безвкусно — я имею в виду для наших скромных широт) и громогласно, ничуть не стесняясь певучих своих акцентов, может, слегка нескромно среди умолкнувших пассажиров делились своими мнениями о популярной певице или певце. На «чужих» они не смотрели, а если и замечали кого-либо, во взгляде их была спокойная, иногда добродушная уверенность: я-то последний год волокусь на такой вот гробовине, через год пересяду куда получше — а ты-то так будешь маяться всю жизнь! Главное, чему их учили, — уверенности!

И мой друг, уже три года преподающий им эстетику, говорил о них с изумлением, как о каких-то марсианах... Вывели такую породу людей или отобрали? Перед экзаменом, как рассказывал он, они были готовы на все, главное в их характерах было — победа любой ценой! Все, включая женщин, предлагали любые свои дары — но как только экзамен был сдан, они тут же переставали здороваться, проходили, как мимо призрака, ты для них просто не существовал!.. Ну ясно — не первых же встречных, а именно таких отбирают, чтобы править! Тип этот достаточно был известен в народе и достаточно ненавидим... И то, что к другу моему внезапно вдруг прилипло это клеймо, вряд ли будет способствовать его популярности.

— Эй! Профсоюз!

Но друг-то мой чем виноват?! Он-то, наоборот, преподает им эстетику и искусствоведение, поднимает, насколько это можно, их грубые души!

— Эй! Профсоюз!

Да — сердце у меня колотилось, — есть же типы! «Эй, профсоюз!» Очень ему надо разбираться в тонкостях: все гады, нахлебники — и весь разговор!

Кого-то он мне напоминал... Неохота вспоминать неприятное, но оно было неотступным, навязчивым — и я вспомнил!

В нашем замусоренном новостройками дворе... не дворе, а огромном пространстве между домами-кораблями и магазином... тоже есть своя иерархия — к вершинам ее прорваться трудно, да и зачем, думал все время я, это нужно: делать карьеру во дворе? Но даже проходя тут изредка, знал тем не менее местных знаменитостей. Среди них выделялся несомненно Боря-боец.

В разные эпохи, которые у нас внезапно сменяют одна другую,

и облик Боба резко менялся. Неверно говорят, что пьяницы следуют лишь в одну сторону — опускаются, и все... это далеко не так. В этом я убедился, время от времени встречая Бориса в какой-то абсолютно новой, неожиданной ипостаси, и ошарашенно понимал: это не просто Боб изменился — пошла другая эпоха. С тех пор как я живу в безобразном этом районе, таких эпох я заметил несколько. Может, в масштабе мира или страны эти повороты и не были заметны — но тут они меняли все в корне. Но поскольку ничего другого тут нет, поворот диктовался магазином, в основном винным, — ранее я даже и не догадывался, что он может так круто диктовать!

Первая эпоха — еще при прошлом лидере, все это время отлично помнят: когда вино всюду лилось рекой, когда пили, казалось, всюду и все — и в цехе, и в научной лаборатории, и в поездах, — вся страна говорила заплетающимся языком. Естественно, что Боб с товарищами не отставал от прочих, а шел впереди. Был ли он уже тогда обладателем почетного прозвища Боря-боец, выделялся ли из общей не вяжущей лыка массы? Может быть, только большим буйством, большей степенью опьянения: огромный, фиолетово-одутловатый, в измазанной одежде, оглушительно орущий, всегда с кем-то ссорящийся — таким он был тогда. Но был ли он фигурой? Не могу сказать. Трудно быть вождем в неподвижном времени, трудно возглавить толпу, которая никуда не движется...

Так бы Боря и сгорел, размазался в этом квадрате жизни, расположенном между домами и магазином (больше он, кажется, нигде не бывал, даже и работал где-то тут же, если это можно назвать работой), — но обстановка резко изменилась.

Внезапно иссяк алкогольный водопад, резко и без обсуждения высохли алкогольные реки, открылось сухое и неказистое дно, захлавленное каким-то мусором. Чувство смертельной жажды и обиды охватило всех — даже людей, покупающих вино раз в год. Но раньше они хоть имели эту возможность, хоть такую степень свободы: могли не хотеть выпить или могли хотеть и выпить, — теперь и этого выбора все были лишены. Но ясно, что активный протест это вызвало лишь у Бори и его компании. Именно тут-то они и выделились из общей массы как наиболее пострадавшие, сделали как бы общественно активны: их возмущенный пикет (разве что без плакатов на груди) всегда теперь стоял возле винного магазина, и к ним то и дело подходили люди, которые раньше с ними не общались, но теперь подходили заявить, что думают так же, как они. Над этой бурлящей, но пока бездействующей толпой Боря возвышался как скала. Не каждый мог пробиться к нему и поделиться своими кровными обидами лично с Бобом, таинственно и величественно ухмыляющимся, — обычно новообращенные удовлетворялись душевной беседой с его заместителями. В те сухие времена в той бурлящей и разрастающейся толпе количество отчаявшихся потенциальных пьяниц, я думаю, резко возросло — и именно тогда Боб как-то незаметно, но бесспорно стал лидером: все клубилось вокруг него, огромного и величественного. Вот видите, что с нами делают! — говорила его оскорбленно-насмешливая миная, и все жалось к нему, тем более он всегда был на месте — и в дождь и в холод стоял скорбным изваянием, гордым монументом. Именно тогда, в те суровые месяцы, Боря и выстоял свою славу — мало кому другому это было по плечу, другие все-таки отлучались.

Но король без действия — это не совсем все же король... Однако начались и действия. Полил ручеек, сначала робкий. Толпа, бесплодно митингующая, пришла в движение и, как это ни странно, в еще большее возмущение. Где прежние любимые вина? Где прежние хоть и кошмарные, но все же уже привычные цены? Теперь снимают последнюю рубашку да и дают, когда захотят и где захотят... Что делают?!

Бурление вокруг Бори нарастало — все с какой-то надеждой смотрели на него: он единственный не боялся говорить то, что думает, и заживевшим продавцам и наглым мильтонам, делающим вид, что они соблюдают порядок, хотя сами создали бардак!

В те времена именно Боря со своими ближайшими помощниками чаще всего находился на острие борьбы, на острие скандала — где-то там, в гуще, в эпицентре, куда непосвященному было не пробиться... «Давай, Боря, вмажь им! Хватит, сколько можно терпеть!» — сочувственно восклицали все, даже оказавшиеся, как и я, на периферии.

Однако время шло, времена года менялись, а оскорбительное и невыносимое существование оставалось прежним... Боря если не понимал, то чувствовал, что бездействие губительно, что именно от него измученные жаждой массы ждут наконец поступка — чтобы им как-то духовно разрядиться, почувствовать, что хоть Боря-боец сражается за них!

И в начале очередной осени, когда все съехались из отпусков, из деревень и увидели, что жизнь их не только не стала легче, а еще и тяжелей, святой этот момент настал. Пронесся вдруг слух (а слухи редко бывают пустыми), что именно наш квартал и именно наш магазин посетит седой и величавый «отец города». Цель его визита была ясна: убедиться, что принятые меры мудры и успешны, что с отвратительным пьянством в городе благодаря вовремя принятому постановлению полностью покончено, но зато теперь граждане имеют широкий выбор различных соков, напитков, кваса и пепси-колы, а также благодарно, но неторопливо приобретают товары значительно улучшившегося ассортимента. И в том, что магазинщики эту картину ему изобразят — на те десять минут, что он будет в магазине, — ни у кого не было и тени сомнения!

— Но Боб им покажет! Боря им устроит! — передавалось с радостной усмешкой из уст в уста.

И Боб с ужасом и азартом понял, что все взгляды с последней надеждой устремлены на него — что-то он должен был совершить, чтобы наконец-то и там врубился! Но что же он мог?! Представляю сомнения его, постепенно вытесняемые все более громким и отчаянным зовом долга.

— Ну, Боря устроит им! — все более радостно и таинственно повторялось во дворе. Было абсолютно всем непонятно, что же тут можно устроить, но с присущим толпе суеверием считалось, что идея определена, просто хранится до поры до времени в тайне, как секретное оружие.

День икс приближался — Боб выглядел все величественнее, толпа вокруг него была все подобострастнее, хотя на душе его, наверное, скребли кошки.

Однако ждущие бенефиса явно недооценили тех, которые управляют. Другое дело, что они невидимы, что их как бы нет, что почти никому из нас, грешных, не удастся их видеть воочию, но это, как недавно понял я, вовсе не значит, что их не существует. Нет — они существуют, более того, они размышляют, и ходы их, как правило, непредсказуемы и хитры. И уж тем более несложно им было переиграть Борю-бойца, фактически уже пропившего свой мозг.

В один из предполагаемых дней вдруг пронесся ошеломляющий, сокрушающий сознание слух — в универсаме, в двух остановках от нас, дадут все и в любых количествах, без всяких ограничений и оскорблений! Это был ураган, всех умчавший туда во главе с торжествующим Бобом: «Ага! Испугались!»

Как же прост и, если вдуматься, чист был этот богатырь, которого некоторые чопорные люди считали опустившимся, пропившим все принципы! Отнюдь! Как жадно и, главное, как легко поверил он в победу справедливости и добра! И вся толпа с какой наивной радостью: «Дожили-таки! Не зря надеялись!» — с какой наивной

радостью толпа расхватывала внезапно, и отнюдь неспроста, спустившуюся на них манну небесную!

Тем временем седой и величественный, скромно, но достойно одетый «отец» — в окружении совсем небольшой охраны — с удовольствием прохаживался по нашему магазину, чистому, немногочисленному; вполне достойные, приличные люди потребляли, конечно же, скромный, но вполне достойный и доступный ассортимент товаров — два сорта сыра, ветчина, сосиски... Где те толпы ободранных пятац, которые в прежние времена бушевали здесь? Умными, своевременно принятыми мерами удалось изжить! Гость, слушая сопровождающего его начальника торгова, благодушно кивал. Он увидел то, что хотели ему показать и что он сам хотел — и рассчитывал — увидеть.

Слух об этом простом — и поэтому особенно подлом — обмане ударил Боря в самое сердце. Главное — он находился в самом центре ликующей толпы, считаясь как бы вождем победителей, добившихся наконец справедливости! Что скажут они ему через час, каким презрением обдадут! Боб стал отчаянно проталкиваться к выходу — наивные, обманутые счастливицы перли навстречу ему, не давали выбраться. «Ты чего, Боря, ошалел от радости?» — со снисходительностью победителей улыбались они.

Когда Боря — страшный, рваный, на скрипучем костыле (за неделю до того еще угораздило сломать ногу!) — в сопровождении лишь самых верных своих ординарцев домчался к нашему магазину, нехитрая операция по превращению его в дурака уже заканчивалась; толпы озверевших домохозяек врывались в раскордоненный, но еще не разграбленный магазин; «отец» в сопровождении благодарных, довольных, удивительно гладких «покупателей» уже подходил к своему лимузину — а Боря, обманутый, как мальчик, стоял перед магазином, даже в своих собственных глазах стремительно превращаясь в ничтожество, в полный нуль!

Сейчас отъедет лимузин — и жизнь Бори, его значение прервутся навсегда!

Боря с отчаянием поглядывал то на лимузин, то на магазин. Мгновения таяли. Потом вдруг раздался громкий звон — «отец», несмотря на всю свою фантастическую выдержку, не выдержал и обернулся. Огромная стеклянная стена магазина осыпалась зазубренными кусками. Перед ней, обессиленно покачиваясь, стоял Борис, метнувший в стеклянную стену бутылку водки, которая почему-то сама не разбилась и косо лежала теперь на декоративной гальке, насыпанной каким-то экономным дизайнером между стен, одна из которых была разрушена.

Покачав головой, «отец» сказал что-то строгое побелевшему директору торгова, сел в свой лимузин и медленно отбыл.

Боб стоял неподвижно и не думая убежать. Шаг был слишком серьезным, чтобы портить его мелкой суетой. И все поняли это. Медленно — куда было спешить — к нему подошли серьезные люди (милиция, все понимая, толпилась в стороне), они коротко и как бы уважительно поговорили с Бобом, и тот, с достоинством согласившись с их аргументами, последовал в их машину.

Стояла тишина. Никто не крикнул, скажем, «прощай, Боб!» — все понимали, что мелкая чувствительность снизит значение момента.

Тишина царила довольно долго — думаю, недели полторы. Потом пошла шепоты, слухи. К сожалению, я не мог безотлучно присутствовать в эпицентре событий, но какие-то основные стадии помню.

Недели через две после события я шел в магазин исключительно за хлебом, ибо живительная влага иссякла — но это было уже несущественно, все отлично понимали, что главное уже не в этом. На ступеньках магазина я пригнулся, чтоб завязать все-таки шнурок, который я поленился завязать дома, и вдруг увидел перед своими

глазами грязные, синеватые ноги двух старух-алкоголичек, голос одной из них я сразу узнал, ибо он звучал тут всегда:

— Пойдем сейчас с тобой пива поьем, и я тебе такое скажу — ты ошеломундишься!

Заинтригованный как формой их беседы, так и содержанием, я свернул со своего маршрута и последовал за ними. Они быстро, игнорируя огромную очередь, взяли пива («Что же вы, женщины, что ли, не пропустите?») и, отойдя чуть в сторонку, сели на покрывшиеся ящики. И я, с независимым видом пристроившись неподалеку и наострив ухо, услышал действительно ошеломляющую легенду: Боря-боец не сдался, и там боролся, требовал правды, и наконец, что звучало совсем невероятно, встретился с первым, с главным, и — что самое ошеломляющее — понравился ему, добился справедливости, и теперь через день-другой справедливость должна победить!.. Ведь не сразу же доходит до низов царский указ — чиновники стараются спрятать: мурыжат народ!

Я как зачарованный последовал за этими пифиями, принявшими — видимо, для конспирации — столь жалкий и оборванный вид. В дальнем углу двора, возле ларька «Союзпечати», клубилась совсем другая толпа, очередь чистых, презирающих толпу грязных и предпочитающих в эти волнительные дни иное наслаждение: опьянение газетами.

Старухи с презрением шли мимо — на хрена им эти газеты, какая разница, что там пишут? — но вдруг на мгновение задержались и устремили взгляды туда. В чистой очереди в числе первых стояла пышная — пышная сама по себе и пышно одетая — дама, как ни странно, мать Боба, совершенно, в отличие от многих, не ценившая его и даже презиравшая, хоть и вынужденная жить с ним вместе... да, не признают у нас пророка в своем отечестве, да!

— Ну что, Порфирьевна, что там про Борьку слыхать? — с ехидцей проговорила одна из старух.

Мать оскорбленно откинула голову: эти спившиеся ведьмы специально пытаются ее опозорить в глазах интеллигентных людей, но она не из таких, она себя в обиду не даст, если понадобится, морды разобьет всем тем, кто бросает тень на ее интеллигентность!

— Бандит и есть бандит, — высокомерно ответила она. — Ему дадут, ему хорошо дадут!

Она с достоинством огляделась вокруг: да, я мать, но принципы мне важней!

— Так, так... — усмехнулись умудренные знанием старухи и последовали дальше.

Прошу прощения за то, что история эта развивается скачкообразно, но, к счастью для себя, я бывал в сферах, о которых сейчас рассказываю, не так уж регулярно, во всяком случае не непрерывно. Конечно, если бы я ходил туда ежедневно, я бы более досконально изучил эту жизнь, но, изучая ее ежедневно, я бы не имел уже сил о ней рассказать. В этом и состоит азартная — на грани гибели — писательская игра, не понятная никакой другой профессии. Дилемма эта неразрешима, и только тот, кто непостижимо умудряется совместить несовместимое, становится писателем. Обе опасности для него смертельны: погрязнешь с головой — ничего уже не напишешь, не погрязнешь — не напишешь тоже. Впавшие как в ту, так и в другую крайность бесплодны. Только гениальный баланс делает писателя. Впрочем, с каких-то пор все делается уже бессознательно — или у человека это получается, или нет. Бесплодны упавшие вниз, так же как и взлетевшие в пустынную высь. Нелегко не опуститься, но и не взлететь в комфортный вакуум, когда есть возможность, еще труднее. Короче: некоторая нескладность, пожалуй, необходима для литератора, так же как и сверхчеловеческая изворотливость, — иначе пропадешь.

Однако в тот день, когда рассказ этот сделал очередной скачок, столь тонкие мысли вряд ли приходили в мою чугунную голову. Я шел по сухому, корявому, пыльному асфальту, ощущая примерно такое же покрытие и у себя во рту. Да, с тоской озирался я, что-то жизнь не становится с годами прекрасней, а становится, пожалуй что, тяжелее и безобразней. Ну ладно — убрали алкоголь, но чем же утолять нестерпимую жажду: ни лимонада, ни пепси, ни кваса... Как-то это не волнует их! Во всех магазинах, что я терпеливо обошел, из жидкостей был лишь уксус, но утолять жажду уксусом не хотелось — Иисус Христос на кресте утолил свою жажду уксусом и на этом закончил свое существование в образе человеческом, но я-то не Христос!

В отчаянии брел я и вдруг услышал сзади нахально-игривый знакомый тенорок:

— Ну, этот Феденька получит у меня маленькую соску...

Голос был знаком, но не вызвал почему-то ни радости, ни желанья обернуться... голос был знакомый, но интонация какая-то новая, торжествующая! Что же, интересно, изменилось в воздухе? Я все-таки обернулся: догоняя меня, но двигаясь уверенно и неторопливо, шел... Боб во главе своей лихой команды. Да — слухи о чудесном его спасении не были ложными... Но что же случилось еще — ну выпустили, ну и что, мало ли кого выпускают! Но они шли явно торжествуя, явно победившие, уничтожившие преграды... Шагнув чуть в сторону с их дороги, я стоял с безразлично-скучающим видом и вдруг все увидел. Они шли, как обычно, не обращая внимания на встречных, торопливо сшагивающих с дороги в грязь на обочине, как и я... они шли, так же внятно матерясь, отнюдь не понижая голоса на рискованных выражениях, скорее повышая... Но — произошел переворот — уверенность в их поведении стала понятна: на рукавах их потрепанных одежда сияли красные повязки!

Все ясно!

Значит, мифы о происшедшем где-то на высоком уровне смыкании властей с непокорным Бобом оказались реальностью!.. Ну и правильно — с кем же смыкаться как не с тем, кто до этого жить не давал, а теперь — помогает! Большая победа!

Результаты этого блестящего соглашения все наблюдали приблизительно через час, когда согласно новым постановлениям начали давать алкоголь: Боб со своей командой регулировал толпу — двое стояли на ступеньках, двое у входа в магазин и строго следили за тем, чтобы никто из очереди не мог пройти, при этом вполне откровенно, с радостными громогласными прибаутками пропускали своих!

Один из них, юный стажер, сновал вдоль очереди, открыто подходя к некоторым, что-то предлагая, собирая деньги. Подошел и ко мне:

— Чего тебе?

— Что значит — «тебе»? — И явная наглость его и юный вид возмутили меня.

— Бутылку, две? — лениво продолжил он.

— А сверху сколько? — сугубо теоретически поинтересовался я.

— А столько же, сколько и снизу, — ничуть не конспирируясь, а, наоборот, красуясь, произнес он.

Все вокруг покорно молчали. Один только — крупный, седой, отставного полковничьего вида — громогласно возмущался, но все же стоял. А вот и сам Боб, сопровождаемый льстивым гулом, без малейшей задержки, как нож в масло, проследовал в магазин.

Я покинул очередь. Сердце стучало. Превращение, которое случилось с бывшим Борей-бойцом, бывшим бойцом за справедливость, было ужасно.

Но как же можно так управлять людьми, развивая в них самое обратительное? — думал я.

...Впрочем, быть бойцом, как показали дальнейшие события, Боря не перестал — в этом я с содроганием убедился несколько позже, — но вот за что он теперь бился — другой разговор.

Бурные события не могут быть долгими, всегда найдется какой-то способ соглашения — разумеется, не в пользу бедных, а исключительно в пользу наглых.

Спустившись в свой двор примерно через месяц, я застал новую фазу развития общества: возле магазина не было вовсе никакой толпы! Я подошел ближе. Магазин был закрыт. По какому праву? Ведь рабочее же время! Черт знает что, абсолютно что угодно делают с нами, даже и не думая оправдываться!!

...Но как же Боб и его команда — неужто и им отлуп, неужели их вновь обретенная сила никак не повлияла на ситуацию?

Я опустил на парапет.

— Сколько тебе? — раздался голос знакомого стажера.

— Чего — сколько? — недоуменно спросил я: ведь магазин же закрыт!

— Да он не по этому делу! — послышался знакомый тенорок.

Я обернулся. На скамейке бульвара, среди роз, рядом с пухлыми огромными сумками сидели «люди Боба» и сам Боб. Все они благодушно смеялись ошибке своего шустрого, но недостаточно опытного стажера, в порыве искреннего рвения подошедшего не к тому.

Я смотрел на их пухлые сумки... Так вот где теперь магазин! Ясно — и прежний магазин тоже имеет свою прибыль, только ему теперь вовсе необязательно работать! Все складненько и ладненько — две ведущие силы современности уверенно сомкнулись над нашими головами, беспорядки и толковища позади, все теперь цивилизовано, толково, бунтари сомкнулись с системой к общему удовлетворению сторон. И никто не в убытке, все с наваром — кроме, разумеется, бедных и слабых, но, как говорится, «кого гнетет чужое горе»?!

Когда я снова прошел мимо них с кефиром в руках, это вызвало новый прилив веселья у благодушствующих парней — Боб даже ласково взъерошил гриву ретивого, но пока что бестолкового ученика, предложившего вино тому, кто, кроме кефира, ничего в жизни не видал!

Теперь я уже более обстоятельно посмотрел на них. Да, неверно думать, что жизнь пьяниц неуклонно ухудшается, что они только опускаются — и все, что их дорога все больше расходится с дорогой государства. Бывает и наоборот! Я смотрел на них, вспоминал их затрапезные робы — теперь они были по последней моде: футболки с надписями, крутые штаны... пожалуй, и артисты балета одеваются нынче хуже, чем они... К тому же Боб держал на колене японский транзистор, изрыгающий ритмы... Да-а, не слабо! Но что же власти — не соображают, к чему ведет их «воспитательная политика»? Да нет, понял я, прекрасно соображают! Я увидел нашего участкового Казачонка в полной форме и при всех регалиях, подошедшего к орлам на скамейке, чтоб добродушно с ними побалагурить. Все он прекрасно понимает, зато на участке его теперь не будет нарушений — во всяком случае, таких, о которых бы он не знал. Все в высшей степени толково! А я — могу лишь надеяться, что не столкнусь с этой налаженной машиной никогда!

Но столкновения были неизбежны, хоть и казались случайными. Однажды, уже к октябрю, в моей жизни произошли два абсолютно не связанных между собой происшествия: я случайно побрил голову наголо и наша местная газета опубликовала мою статью. Вы спросите: как это можно — обрить свою собственную голову случайно? Объясняю. Бреясь перед зеркалом, я решил укоротить один висок — он вырос явно длиннее другого, да и не тот уже возраст, чтобы отпускать длинные виски, пора уж остепениться. Я чуток

соскреб этот висок — теперь другой был явно ниже этого. Я поднял тот... теперь этот ниже того... я разволновался, руки дрожали... и без того неприятностей хватало: мало кто в ту осень особенно радостно меня встречал — теперь тем более, с разными висками!.. Я снова пытался подравнивать. Кончилось это тем, что над правым ухом образовался огромный кусок голой кожи. Ну, все! Оставался единственный способ добиться равномерности — равномерно побрить всю голову наголо как бы в борьбе с предстоящим облысением. Я торопливо обрился, унял небольшие струйки крови и, чувствуя холодок — снаружи и почему-то внутри, вышел из ванной. Ужасу моей мамы не было предела. Куда я завербовался? — это был главный для нее вопрос, в то, что я побрился просто так, она не верила (да и сам начал сомневаться).

Глядя на разволновавшуюся мать, я решил хотя бы как-то уравновесить ее волнение вторым событием, случившимся в этот день, — показать ей напечатанную в газете мою статью, убедить ее, что я не такой уж пропащий человек, раз печатаюсь в газете, органе обкома!

Но газету эту мы не получали — надо было шастать по ларькам, покупать экземпляры (да и для других некоторых родственников не мешало бы купить). Крикнув маме: «Сейчас!» — я выскочил на улицу.

Когда я лихорадочно скупал у киоскерш сразу по несколько экземпляров, я замечал, что они взирают на меня с ужасом, но как-то не думал в тот момент, что это из-за моей бритой головы: второе происшествие заслонило первое, до последнего часа я сомневался — напечатают или нет? — и вот — напечатали! Второе происшествие, радостное, заслонило первое, нелепое, опровергая закон, что плюс на минус дает минус. Но оказалось, что закон этот верен, что два происшествия, вроде бы разрозненных, соединившись, дали минус, да еще какой! Но пока что я был счастлив и, засунув за пазуху пачку газет, сжав в руке одну, я, не разбирая дороги, брел по направлению к дому и читал:

«Потерянный город»

Где, спросите вы, расположен такой город? Да у меня под окном! Можно выйти и долго шататься по нему (слово «гулять» тут как-то не подходит), можно шалтаться хоть несколько лет — и не увидеть ничего, что бы хоть как-то порадовало глаз, чтобы можно было воскликнуть от души: «Вот здорово!» — или хотя бы: «Неплохо, неплохо!»

На протяжении десятков квадратных верст здесь нет ничего, что бы было связано с искусством или архитектурой (природа здесь также уничтожена). На протяжении десятков километров не имеется не только музея, но даже какой-нибудь выставки или галереи, в которой местный одичавший абориген, случайно забредший туда от дождя, мог бы с изумлением и непониманием спросить: «А это что?» — и услышать непонятный ответ: «Искусство».

Не только предметов искусства, но даже обычного кино, даже бани нет тут в пределах видимости. Единственный клуб на все пространство — винный магазин, и там и формируется жизнь. Может ли человек, родившийся художником, стать им среди этих ровных серых кубов? Уверен, что нет — его воспитает магазин!

Между тем во всех цивилизованных странах люди помнят свой город, столетиями неизменно ведется: вот здесь живут художники, здесь моряки... детям есть кому подражать. У нас они видят лишь спекулянтов, столпившихся у Гостиного. Кто покоряет молодежь уверенностью, независимостью? Лишь иностранцы, выходящие из отелей. Идеал: стать иностранцем! Даже таблички на дверях исчезли — не стало имен и профессий, осталась толпа. Не знаю я, кто живет на моей лестнице, да и не хочется узнавать.

Почему, как раньше, не шагают ребята куда-то любознательной группой? Некуда им шагать!»

Спотыкаясь, обливаясь от возбуждения потом, я шел, не глядя под ноги, спотыкаясь, — и споткнулся, и упал! Встав, потирая ушибленную ногу, автоматически складывая за пазуху помятую газету, я разглядел, что за препятствие (без каких-либо объяснений и извиений) воздвигнуто на проходе.

Ясно! Огромные цилиндры вара, обклеенные ободранной бумагой, запросто свалены, перекрывая тротуар. Чуть сбоку, на газоне, склеив и навсегда загубив несколько метров травы расплавленным — и снова застывшим — черным варом, стояла, как троянский конь, огромная ржавая чугунная печка с трубой. Так! Неподалеку была маленькая — тоже ржавая — лебедка, и от нее шел трос на крышу, за пределы видимости... Для чего эта полоса препятствий? Просто так? Задрал голову, я посмотрел на дом, увидел одну-единственную густо-черную вертикальную полосу. А, ясно — собирались замазывать варом щели между блоками, через них безумно тянет зимой... Но работа эта давно остановилась, техника заржавела — я вспомнил, что давно уже хожу, спотыкаясь, через черные эти цилиндры, в задумчивости не замечая их, не ставя задачу понять: зачем они? Препятствия в нашей жизни привычной, чем отсутствие их, мы уже не задумываемся — зачем, просто знаем: так надо и так будет всегда! И эта работа явно не движется — зачем кому-то за рублевку ползать по стене, когда, присоединясь к Бобу, он может стричь червонцы? Ясно...

Вдруг я увидел, что ко мне, сильно раскачиваясь, приближается абсолютно пьяный участковый Казачонок, одетый, правда, в штатское, с подрагивающей между пальцами незажженной папиросой. Во гуляет, орел! — изумился я. Впрочем, не в форме, в выходной — имеет, наверное, право?

Казачонок, словно бы напоказ раскачиваясь, приблизился вплотную ко мне.

— П-парень, д-дай-ка закурить, — сбивчиво проговорил он, но запаха я почему-то не почувствовал.

— Извините... не курю! — резко отстраняясь, проговорил я, но в то же мгновение стальные пальцы сжали мне локоть, и я увидел перед собой жестокие и абсолютно трезвые глаза участкового.

— Что такое? В чем дело? — проговорил я, пытаюсь вырваться, но безуспешно.

— Ничего, парень, ничего, — ласково-успокоительно заговорил Казачонок. — Пройдем, тут неподалеку, поговорим — и отпустим.

Что еще за бред? Я рванулся вперед, но Казачонок подставил мне ногу и свалил на асфальт, накрутив одновременно часть моей куртки на кулак. Глаза его яростно налились.

— Ну! — рывком поднимая меня, рывкнул он.

Вокруг собиралась уже любопытная толпа. Среднее выражение глаз было почтительно-восхищенное: вот молодец Казачонок, и в выходные дни работает не покладая рук, пластает каких-то амбалов! Я выпрямился и, стараясь держаться с достоинством, пошел. Главное, понял я, чтоб не увидел никто из знакомых: увидят, зафиксируют тебя в беде — так будет воспринимать и дальше.

— Руку-то отпустите! — проговорил я.

— Все нормально... отлично! — прерывисто дыша, проговорил Казачонок, но не отпустил.

Мы вошли в опорный пункт общественного порядка... Впервые я увидел наш двор через решетку... Большой успех!

— Садись вот сюда... не волнуйся. Все будет путем, — сказал мне Казачонок, бросив при этом многозначительный взгляд дежурному в штатском.

Тот мгновенно подвинул телефон, набрал цифры.

— Егорыч? Здорово, это Федька! — стараясь представить все дурашливым трепом, заговорил дежурный. — Нам бы маленькую машинку, да... Да, прокатиться хотим... — И, видимо, поняв, что треп не подействует на абонента, кинув на меня быстрый взгляд и прикрыв трубку рукой, переменял тон. — Да... да... крупный лещ... прикидывается шлангом! По розыску, да... Ну, хоп!

Я вдруг сообразил, что крупный лещ — это я! Быстро повернувшись, разглядел себя в стекле, увидел сияющую лысую голову... Понятно!

— Послушайте, — заговорил я, — полный же бред! Только что побрился... абсолютно случайно! Сами подумайте — будет беглый заново голову брить? На фига ему это! А я вот — только что! Смотрите... попробуйте! — Я провел ладошкой по гладкой коже.

— Ничего, спокойно... сейчас все будет в порядке! — успокаивающе (дождаться бы машины!) проговорил Казачонок.

— Но я же в вашем доме живу... Неужели вы не помните меня?

— Да нет... таких не встречал, — с усмешкой сказал Казачонок дежурному, и они, довольные, засмеялись: черт его знает — а вдруг повезет, вдруг действительно попадетсЯ «крупный лещ»!

— Да честно — я в вашем доме живу! — Я приподнялся.

В глазах Казачонка шевельнулось сомнение — вряд ли преступник будет ссылаться на этот дом.

— Телефон есть? — Казачонок подвинул аппарат.

Мама поднимает трубку... «Звонят из милиции»... С ее сердцем такие пассажи ни к чему.

— Нет телефона... — пробормотал я.

— Ну тогда сиди. — Казачонок снова с надеждой глянул на партнера.

— Да нет, честно — живу... вот видите — даже в газетах пишу... в сегодняшней вот моя статья! — Я вытащил мятую газету, протянул Казачонку.

Он недоверчиво взял.

— Которая тут твоя?

— Вот... «Потерянный город». — Я показал.

— Чем же это он потерянный?

Казачонок начал читать. Читал он долго, потом поднял на меня глаза... Вряд ли он после этого чтения проникся любовью ко мне: раньше за такую статью давали статью, а теперь распустили! — говорил его взгляд. Он стоял, глядя на меня (машина, к счастью моему, все не ехала и не ехала), потом сделал шаг в сторону, открыл дверь в соседнюю комнату. Там Боб со своими опричниками, сидя вокруг стола, играли в коробок.

— Боренька! — проговорил Казачонок.

Боб лениво вышел сюда, за ним, оправляя модные одежды, надеясь хоть на какое-то развлечение, вышли остальные.

— Знаешь у нас... вот такого? — Казачонок кивнул на меня.

— Уж тут я как-нибудь каждого зайца знаю, — снисходительно произнес Боря. — Такого не встречал!

Неужели он не помнит меня? Сколько раз я проходил мимо него! Но, видимо, он запоминает лишь тех, кто представляет для него интерес.

— Говорит — в нашем доме живет... в газетах вот пишет. — Казачонок показал.

— Нет... такого у нас не водится, — усмехнулся Боб.

Да, видимо, я совершил большую ошибку, что не стремился войти в это общество, не подсаживался с подобострастными разговорами к ним на скамейку... Ошибка! Но — поздно исправлять!

— Из какой, говоришь, квартиры? — сощурился, входя в роль сыщика, Боб.

— Да из триста шестой! Из последней парадной! — воскликнул я.

— Так, кто там у нас? Валька вроде в триста первой живет? — Боб повернулся к подручным.

— На рыбалку уехал, — ответили ему.

— Так... что же нам делать? — Боб, поигрывая каким-то ключом, по-хозяйски расселся на скамейке, но Казачонку это не слишком понравилось, у него, видно, были и другие важные дела.

— Так, слушай сюда! — легким нажимом тона давая все же понять, кто тут главный, произнес Казачонок. — Сходи с клиентом, куда он покажет... и если окажется — врет, веди обратно!

Борис, слегка оскорбленный, лениво встал, пихнул меня в плечо: пошел!

Он вывел меня на улицу. Еще двое подручных последовали за нами. Да, жалко, что мы с ним не сдружились, — сейчас бы шли, непринужденно беседуя. А так меня явно вели — прохожие оборачивались, смотрели вслед. Да, предел! — идти под конвоем Боба, который — что самое жуткое — чувствует свое право командовать мной! А если мы так войдем к маме! Я рванул... Боб сделал подсечку почти так же четко, как Казачонок, и так же попытался накрутить мою куртку на кулак, но то ли из-за моего отчаяния, то ли из-за ветхости ткани я вырвался, оставив клоч в его кулаке. Пока я поднимался, оскальзываясь на осколках вара, они окружили меня с трех сторон. Сюда, на грязь, в своей модной обуви они не шли, но как только я выходил с этого пятачка, они били. Лениво и, я бы сказал, беззлобно — просто разминались после долгого сидения, показывали права.

Небольшая толпа с интересом наблюдала.

— Чего это тут? — спросил тощий с сеткой у солидного с портфелем.

— Да вот... ребятки диссидента бьют, — лениво пояснил толстый.

— А ты почему знаешь, что диссидента? — вьедливо спросил тощий, оценив очередной удар.

— Да кого же еще? — пояснил тот. — Видишь — он обороняться совсем не может. Был преступник бы или хотя бы хулиган — он бы им надавал!

— А... ну да, — удовлетворенно проговорил тощий. — А Боря-боец красиво работает, что ни говори!

...Именно это я почему-то вспомнил, преследуемый по пыльной пустой улице пьяным рыбаком. Воспоминания распалили меня, нервы разыгрались.

— Эй! Профсоюз!

...Ну все! Я развернулся и пошел к нему. Мы сходились все ближе, вплотную остановились. Смотрели друг на друга. Вдруг, безжизненно повесив татуированные мощные руки вдоль тела, он стал бить чечетку о дощатый тротуар. Я посмотрел на него, повернулся и пошел. Шагов за спиной не было — только чечетка. Но вот и она затихла. Я шел и думал: как сложится, интересно, жизнь этого человека? Победит ли в нем разум — или ярость затопит все?

Я свернул, вышел на шоссе, подошел к остановке. В этот момент как раз с шоссе на ухабистую улицу съезжала, раскачиваясь, желтая огромная «хмелеуборочная» машина. Я поглядел ей вслед... не за ним ли едут? Наверное, кто-то уже вызвал? Или просто так?

Я простоял на остановке не больше, наверное, десяти минут — «хмелеуборочная», переваливаясь, уже выезжала обратно. Ну ясно — профилактический заезд, просто на всякий случай, с облегчением подумал я.

И тут же в закрытом кузове ударила гулкая чечетка.

— Эй! Профсоюз! — послышался крик.

...Как он увидел меня?

ВЛАДИМИР ЩИРОВСКИЙ
(1909—1941)

*

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

..*

А. П. Ш.

Квартира снов, где сумерки так тонки,
Где царствуют в душистой тишине
Шкафы, портреты, шляпные картонки...
О, вещи, надоевшие зане.

Да, жизнь звучала бурно, горько, звонко,
Но смерть близка, и ныне нужно мне
Вскормить собаку, воспитать ребенка
Иль быть убитым на чужой войне,

Дабы простой, печальной силой плоти
Я послужил чужому бытию,
Дабы земля в загадочном полете

Весну и волю малую мою,
Кружась в мирах безумно и устало,
В короткий миг любовно исчерпала.

1929.

..*

Есть в комнате простор почти вселенский.
Весь день во мне поет Владимир Ленский,
Блуждает запах туалетных мыл.
И вновь: «Ах, Ольга, я тебя любил!»
Прекрасно жить. На письменном столе
Лежат стародворянские пруды,
Мерцают лебеди. Навеселе
Звучат гармошек громкие лады,
И громы ладные старинных ливней
Звучат еще приятней и наивней,
Чем до восстанья в октябре.
Вот, проползая по земной коре,
Букашки дошлые опять запели
«Интернационал» — и по панели
Мяtetся трудовой и пыльный пыл.
«А знаешь, Ольга, я тебя любил!»

1926—1927.

..*

На твоей картине, природа,
На морском пейзаже твоём
Нарисован дымок парохода,
Желтый берег и белый дом.

В белом доме живет Анюта,
На борту парохода — матрос.
Устарелый кораблик — кому-то
Он счастливую встречу принес.

* * *

А. Р.

В переулочек, где старцы и плуты,
Где и судьбы уже не звучат,
Где настурции, сны и уюты
Недоносков, братишек, дивчат,

Навсегда ничего не изволя —
Ни настурций, ни снов,
 ни удоб,—
Я хожу к тебе, милая Оля,
В черном теле, во вретнице злоб.

Этот чахлый и вежливый
 атом —
Кифаред, о котором молва,—
Погляди: пред суровым закатом
Как трясется его голова.

Он забыл олимпийские ночи,
Подвязал себе тряпкой скулу.
Он не наш, он лишенец,
 он прочий,
Он в калошах на чистом полу,

Он — желающий личных пособий,
Посетитель врачей и страхкасс...
Отчего ж ты в секущем ознобе
Не отводишь от мерзкого глаз?

Скоро ночь. Как гласит анероид —
Завтра дождик. Могила. Конец.
Оля будет на службе. Построит
Мощный блюминг напористый
 спец.

Я касался прекрасного тела,
Я сивуху глушил — между тем
Марсиасова флейта кипела
Над весной, над сушайшей из
 схем,

Над верховной коллизией болей,
Над моим угловым фонарем,
Надо всем, где мы с милою Олей
Петушимся, рыдаем и врем.

1932.

* * *

Совсем не хочу умирать я,
Я не был еще влюблен,
Мне лишь снилось рыжее
 платье,
Не расцениваемое рублем.

Сдвинь жестянки нелегкой
 жизни,
Затуши эту глушь и темь
И живою водою брызги
На оплакиваемую тень.

В золотое входим жилье мы
В нашем платье родном
 и плохом.
Фирты, вызовы и котильоны
Покрывал расписной плафон.

Белоснежное покрывало
Покрывало вдовы грехи,
И зверье в лесах горевало,
И сынки хватали верхи.

Мрак людских, конюшен
 и псарен:
Кавалер орденов, генерал —

Склеротический гневный барин
Здесь седьмые шкуры дирал.

Вихри дам, голос денег тонкий,
Златоплечее офицерье,
И, его прямые потомки,
Получили мы бытие.

И в садах двадцать первого века,
Где не будут сорить, штрафовать,
Отдохнувшего человека
Опечалит моя тетрадь.

Снова варварское смятенье...
И, задев его за рукав,
Я пройду театральной тенью,
Плоской тенью с дудкой в руках.

Ах, дуда моя, веселуха,
Помоги мне спросить его:
Разве мы выбираем брюхо
Для зачатия своего?

1936—1937.

Донна Анна

Т. Я. Щ.

Повинуясь светлому разуму,
 Не расходуя смысл на слова,
 Мы с тобой заготовили на зиму
 Керосин, огурцы и дрова.
 Разум розовый, резвый и маленький
 Озаряет подушки твои,
 Подстаканники и подзеркальники,
 Собеседования и чай...
 И земля не отметит кручиною,
 Сочиненной когда-то в раю,
 Домовитость твою муравьиную,
 Золотую никчемность твою.
 Замирает кудрявый розариум,
 На стене опочил таракан...
 О непрочные сны! На базаре им
 Так легко замелькать по рукам!
 Посмотри и уверься воочию
 В запоздалости каждого сна:
 Вот доярки, поэт, рабочие —
 Ордена, ордена, ордена...

Мне же снится прелестной Гишпани
 Очумелый и сладкий гадеж,
 Где и ныне по данному ранее
 Обещанию ты меня ждешь...
 И мы входим в каморку невольничью,
 В эскурьял отстрадавших сердец,
 Где у входа безлунною полночью
 Твой гранитный грохочет отец.

1937.

.

Скучновато слушать, сидя дома,
 За мушиной суетой следя,
 Тарантас полуденного грома,
 Тарантеллу летнего дождя.

Грянула по радио столица,
 После дыни заболел живот,
 Перикола бедности боится,
 Но пока еще со мной живет.

Торжища гудят низкопоклонно,
 Мрак штанов, сияние рубах,
 Словно кривоустая мадонна —
 Нищенка с ребенком на руках,

Шум судеб, серьезность
 пустолаек
 И коровье шествие во хлев...

Меркнет день, и душу усыпляет
 Пот и пудра овцеоких дев.

Спят, полны слепого трудолюбья,
 В разных колыбелях малыши...
 Под необъяснимой звездной
 глубиной
 Стелется блаженный храп души.

Спит душа, похрапывая свято,—
 Ей такого не дарило сна
 Сказочное пойло Арарата,
 Вероломство дряхлого вина.

Спи, душа, забудь, во мрак влекома,
 Вслед Вергилию бредя,
 Тарантас заброшенного грома,
 Тарантеллу кроткого дождя.

1938.

Публикация А. ДОРРЕР.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В. Г. КОРОЛЕНКО

*

ЗЕМЛИ! ЗЕМЛИ!

МЫСЛИ, ВОСПОМИНАНИЯ, КАРТИНЫ

Дорожная встреча

Э то было в голодный 1891-2 год. Я работал тогда в Лукояновском уезде, Нижегородской губернии, где на деньги, пожертвованные читателями через газету «Русские Ведомости», мне удалось открыть в разных местах уезда 60 столовых для беднейших жителей, и мне приходилось от времени до времени объезжать эти столовые.

Был пасмурный день ранней весны. Я ехал дорогой на изморенных лошадях сельской почты по раскисшему уже тракту. Поля были под снегом, но дорога почернела, и копыта лошадей шлепали и вязли в грязи... Над белыми полями висели низкие облака, стоял туман, чернели грузными пятнами перелески, носились и каркали вороны. Время было самое трудное. Куда не успели вовремя доставить хлеб, теперь уже было поздно доставлять его. А близилась Пасха. Мы обогнали четырех мужиков Увязая по щиколотку и с трудом вытаскивая ноги то из грязи, то из снега, они шли обочинами дороги. Лукояновский уезд бедный, сапоги носят не все, и на встречных были липовые лапти... Я поздоровался, и мы на минуту все остановились у пустого ветряка.

Не ко мне ли? — подумал я.— Может быть, где-нибудь в моих столовых не хватило хлеба...

Оказалось, что не ко мне. Мужики шли к становому...

— Зачем?

Один из них стащил с головы облезлую шапочку и почесался с горестным видом.

— Эх,— сказал он.— Беда,— склека... Вишь ты, бумажки каки-то разосланы...

— Какие бумажки?

— А Бог знает. Неграмотные мы... А вот гляди ж ты

— Видите, ваше благородие,— вмешался сотский, с которым я был немного знаком.—

Приказано настрого от начальства,— как чуть... чтобы, значит, доставлять в стан.

И он прибавил, как человек, «могущий понимать» такие дела:

— Насчет, значит, смуты...

Я понял. Это были прокламации. Какие-то «мужицкие доброты» разъясняли голодающим мужикам, отчего они голодают... Революционная интеллигенция пыталась закинуть голос в глухую деревню...

Лукояновский уезд прославился в голодный год на всю Россию: кучка дворян и земских начальников совершенно не признавала голода и старалась даже отстранить от уезда правительственную помощь... И вот в этот наиболее голодающий и наиболее угнетенный уезд вдруг хлынуло множество писем из Москвы. Начальство, конечно, сейчас же обрати-

Сокращенный (журнальный) текст очерков «Земли! Земли!» воспроизводится нами по машинописной копии из архива семьи Короленко сверенной А. Я. Имшенецким и Н. В. Чирковой с рукописью в марте 1925 года. Нами опущены IV—VII главы. Первая публикация очерков «Земли! Земли!» в 1922 году в журнале «Голос минувшего» (№ 1—2) не была завершена: последние четыре главы света не увидели. По авторизованному В. Г. Короленко машинописному экземпляру хранящемуся в отделе рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина под шифром ф 135 (1, к 17 № 1021) П. И. Негретовым и М. И. Перлер в текст внесены дополнительные исправления и уточнения.

Публикация и комментарий П. И. НЕГРЕТОВА.

ло внимание на это внезапное оживление деревенской переписки и приняло по этому поводу свои меры. Представителям сельской администрации было приказано следить, чтобы получатели преступных писем, «не читая оных», — немедленно направлялись с ними к ближайшему уряднику. Урядник снаряжает старосту или сотского, и получателя письма, как бы под караулом, отправляют в стан для снятия допроса.

— Беда... Склека, — говорили мужики... — Озорничают какие-то, а мы, видишь, отдувайся...

Из четырех мужиков, которых я обогнал тогда в пасмурный день голодной весны, — двое были сотских и двое получателей писем из разных деревень. Идти им приходилось более тридцати верст по грязной и трудной дороге. Устали, оголодали...

Мы распрощались, и еще долго, оглядываясь, я видел эту темную кучку людей на широкой темной дороге. Они тяжело опирались на свои посошки, с трудом вытаскивая из грязи или снега ноги в промокших онучах. И, конечно, не благодарили своих неизвестных доброхотов.

Помню, что и мне было досадно. Сколько теперь по таким же дорогам тянется таких же пешеходов, голодных, усталых, прогибающихся неизвестных «озорников». Им, дескать, что: наставил черных значков на белой бумаге, наклеил семикопеечную марку, а из-за этого десятки и сотни людей тащатся в раздорожье, голодные, испуганные и несчастные.

Спустился вечер. В туманных сумерках замелькали огоньки голодных деревень. Встречные мужики давно исчезли из виду, а я ехал далее, с большой печалью в сердце. Вся наша русская жизнь казалась мне такой же мерзлой землей под снегом, с низко нависшими тучами, с вороньем, каркающим над снегами. В это время я уже начал печатать в «Русских Ведомостях» статьи о «голодном годе». Я хотел рассказать о том, как среди земельного простора целым деревням «некуда выгнать курчонка», как этим пользуются, чтобы закабалить народ арендами порой хуже, чем прежде крепостным правом, как целые деревни вымирают от дурной болезни, как малая девочка в Лукоянове от нищеты и голода просила у матери, чтобы та «зарыла ее в земельку»... Удастся ли мне описать все это правдиво, пропустит ли цензура, и главное — кто будет читать эту книгу? До народа она, конечно, не дойдет. Мужик не покупает наших книг. Для него — все мы, люди в городских сюртуках, представляем на одно лицо: чиновниками. В лучших случаях — мы чиновники, которых «добрый царь» послал на выручку голодающему народу и которые работают по его приказу. Когда стало выясняться, что мы не чиновники и что благотворительные деньги составились из добровольных сборов через газеты и общественные учреждения, то в темной мужицкой среде пошла басня об Антихристе. Первым Антихристом был объявлен Л. Н. Толстой, устроивший на собранные деньги много столовых. По этому поводу много злорадствовали в «Гражданине» и «Московских Ведомостях».

В той же книжке «В голодный год» мне приходилось описывать, как и меня лично встречали во многих местах робкими вздохами и упоминанием имени Христова, с ожиданием, что я от этого рассыплюсь прахом... И теперь, когда я вспоминаю об этом вечере с белыми снегами под туманом, об этой встрече с получателями «прокламаций», то мне кажется, точно в те годы вся русская земля была под глубокими не тающими и никогда не растающими снегами, под кровом беспробетной ночи общего невежества... Где-то стонут... Где-то кто-то кричит, стараясь разыскать дорогу... Откуда-то неясно откликаются... И голоса замирают в темноте... И опять все безмолвно, темно и глухо.

Поздним вечером я приехал в село. А долго спустя после меня пришли и мужики с «прокламацией» к становому, усталые, голодные и покорные.

История одной подпольной прокламации

Вскоре была обнаружена организация, разославшая по уезду эти прокламации «мужицких доброхотов». Был арестован в Москве Николай Михайлович Астырев и его знакомые, в том числе уроженец Нижегородской губернии, города Арзамаса Жевайкин. Я знал их обоих.

Николай Михайлович Астырев, уроженец Новгород <ской> губернии, студент института инженеров путей сообщения, открывавшего виды на выгодную карьеру, бросил институт и пошел на службу в волостные писаря, чтобы ознакомиться с народной жизнью. Он напечатал в «Вестнике Европы» ряд очерков, обративших общее внимание и вышедших затем отдельной книгой под заглавием «В волостных писарях». Книга сразу доставила автору литературное имя правдивостью и талантливостью. В ней чувствовалось то, что тогда одушевляло многих интеллигентных людей: честное искание путей для ознакомления с народом и прямого служения ему. Астырев после этого работал в статистике, куда шло

много людей, одушевленных такими же намерениями, сначала в Москве, а затем он заведовал статистическим бюро в Иркутске. Сибирь дала ему материал для новой книги: «На таежных прогалинах», где опять есть много наблюдательности и правды.

Я удивился, узнав, что прокламация «доброхотов» написана Астыревым. Но это было несомненно так. После десятилетнего затишья, которое последовало за террористическим убийством Александра II, к началу 90-х годов стало вновь оживать революционное настроение в центрах и провинции. Существовало мнение, что и народ готов сделать те же выводы о непригодности всей правительственной системы, какие давно сделала интеллигенция. Вспоминаю один эпизод. Ко мне в Лукоянов явился из Нижнего Новгорода молодой адвокат Н. Н. Фрелих (впоследствии сосланный в Сибирь). Он привез из Нижнего деньги, собранные в пользу голодающих среди адвокатов. И первые его слова, когда он вошел ко мне, были:

— Ну что, Владимир Галактионович,— скоро здесь начнется революция?

Я только засмеялся. Я видел придавленное настроение темного и голодного народа, и меня удивляло впоследствии, что и Астырев, бывший волостной писарь, так трезво и правдиво описывавший народный быт, не догадался, что его прокламация вызовет в темной среде одну только «склеку» и досаду. В это время возникла организация, назвавшаяся «Группой народной воли», к которой примкнул и Астырев. Он задумал связать движение городской интеллигенции и рабочих — с движением в народе и с этой целью предложил кружку написать ряд писем к крестьянам. Он успел написать только первое письмо, в котором простым и понятным языком объяснял крестьянам, что им нечего ждать от правительства, которое довело Россию до страшного голода, а следует искать связей с теми, кто думает о положении народа помимо правительства. Крестьянам надо входить в сношения с городскими рабочими и интеллигенцией. Астырев хотел вызвать доверие и интерес к этим «мужицким доброхотам» и к их движению.

Мы видели, какое своеобразное «движение» в полицейские станы вызвала эта прокламация в Лукояновском уезде. Голодные, изнуренные мужики тащили «грамотки» к приставам, не добром поминая своих «доброхотов». А в это время в городах происходили свои трагедии: организация быстро провалилась. Пошли аресты. Был арестован и Астырев. Он был болен сердечной болезнью. Уже при первом знакомстве меня поразило его бледное лицо с нервным румянцем. В тюрьме он заболел, и выпустили его только затем, чтобы он умер на воле. Вышел он до такой степени слабым, что не мог поднять руки, чтобы поздороваться с навещавшими его знакомыми. Только большие глаза горели мыслью, и до последних дней появлялись его статьи в «Русских Ведомостях».

3 июня 1894 года он умер в лечебнице для хронических больных профессора Кожевникова. В газетах появились теплые некрологи. А там, в глухих деревнях Лукояновского уезда, никто даже не знал, кто такой Астырев и за что он умер. У Астырева осталась жена и двое или трое детей без всяких средств к жизни.

У арестованного вместе с Астыревым Жевайкина жена тоже осталась без средств, и вдобавок двое детей умерли от дифтерита. Я видел эту бедную женщину. Молодая и красивая до того времени,— она на глазах хирела и старилась. Мужа на время отпустили, потом взяли опять и посадили в ту же тюрьму (называвшуюся «Кресты»). Осиротевшая жена уехала в Сибирь для работы по переселенческому делу. В начале июня 1894 года, около того времени, когда умер Астырев, в Нижний Новгород пришла телеграмма: «Известите родных. Мария Ивановна (Жевайкина) умерла». Об этом приходилось известить в Тюрьме горячо любившего ее мужа... Я его после этого не видел.

Это только одна из бесчисленных историй того времени, когда русская интеллигенция трудно, часто неумело и напрасно искала путей для проникновения в народ со своей мыслью... А деревня жила своей стихийной жизнью, и эти две струи, казалось, не могут слиться в одну. На одной стороне была мысль, оторванная от жизненного дела, питавшаяся иллюзиями... На другой — жизнь без мысли, полная лишений и страданий, накапливающая темную, беспросветную вражду... Даже случаи простейшего общения между городской интеллигенцией и деревней на благотворительной почве встречали с одной стороны давление и преследование, с другой порождали недоумение и догадки об Антихристе.

Деревня целиком была тогда во власти фантастической самодержавной легенды.

Легенда о царской милости

В журнале «Русское Богатство» в марте 1899 года была напечатана очень интересная статья, озаглавленная «Переселенец о Сибири». Статья эта была прислана из Каинского округа Томской губернии и писана крестьянином. Автор ее, Иван Ефимов Беляков, человек хорошо

грамотный и очень толковый. То, что он рассказывает своеобразным языком умного самоучки, тем любопытнее, что статья изображает взгляды не одной только темной крестьянской среды, но и более развитой части крестьянства того сравнительно недавнего времени.

Беляков — переселенец. «Наше село Пушкино,— писал он (в 1898 году),— было крепостное господ Столыпиных, а раньше Мордвинова. Местоположение его прекрасное, с ровными поемными лугами и протекающими вдоль и поперек речками. Одна из них, Сивин, впадает в Мокшу, а сама Мокша в Оку у Саровской пустыни. Есть и леса с вековыми дубами и другим чернолесьем. От города Инсары наше село стоит к северу на 25 верст, а от станции Инсары Моск.-Казанской жел. дороги всего лишь 4 версты. Одним словом,— говорит автор,— я бывал и видел много мест на запад, на юг и на север и нигде не находил такого прекрасного по природным условиям местоположения: леса казенные не далее 4-х верст, земля с хорошим черноземом; всякий хлеб, что ни посеешь, народится по ее плодородию и умеренному климату. Кто бы ни побывал в нашем селе из временно служащих, как то: попы, управляющие, волостные писаря и последние подлецы кабатчики,—все они через месяц принимают вид здорового телосложения».

Одним словом, свою родную сторону автор рисует настоящим земным раем. Почему же его жители переселились в Сибирь? Дело в том, что раем эта сторона была не для всех: иным пахарям жилось в ней много хуже, чем в других местах.

Причину этого автор рисует следующим образом:

«Когда наступил долгожданный день 19-ое февраля 1861-го года, то есть свобода русскому народу от крепостной зависимости, и правительство хотело наделить землицей по 3 дес < ятины > на каждую ревизскую душу и 50 десятин строевого леса, то земли наши старые дураки на коленях выпросили лишь по $\frac{3}{4}$ десятины, а от остальной просили Христом-Богом бурмистра и посредника их уволить. Бурмистр и посредник все силы употребляли, чтобы посадить пушкинцев на полном наделе, а пушкинцы думали, что если-де нас царь-батюшка отобрал у господ, то и землю, которая осталась за помещиками, тоже отберет и отдаст нам ее даром. Наш барин жил в то время в Москве и то и дело писал, чтобы старики взяли земельку... Наши господа были люди добрые, а бурмистр, наш односелец, клялся своими детьми, что-де вам, старым дуракам, желают добра, и, хоть крепостное право уже кончилось, многим задавал хорошую баню... Посредник до трех раз выходил к сходу с вопросом:— Отказываетесь ли от надела? — Отказываемся,— отвечали крестьяне.— Ваше благородие. Пожалейте, посадите на дарственный надел. — Посредник на это в ответ, закрывши актом лицо, неудержимо хохотал: — Чего эти глупцы просят!..»

«И что же вышло из этого далеко известного богатого села Пушкино после реформы? — спрашивает автор. Надела крестьяне так и не приняли. А затем — «насел управляющий Иван Журавлев крутого нрава, положил на землю цену в 28 рублей и до 45 рублей десятину», и пушкинцам пришлось напрасно с 1861 по 1886 год тягаться за ту же землю, от которой они отказывались, слезно умоляя на коленях посадить их на даровой надел.

Оказалось, что и помещик, и мировой посредник, и односелец-голова давали пушкинцам добрые советы. Вообще нужно заметить, что в то время в среде образованного общества у крестьян было много доброжелателей, а обе семьи, названные автором в качестве владельцев села Пушкино, были истари проникнуты традициями просвещения. Семья Мордвиновых дала известных в истории 18-го и начала 19-го века деятелей и писателей, один из Столыпиных был друг Лермонтова. Самое освобождение крестьян в 60-х годах без глубоких потрясений было плодом не одной только царской воли, но и сознательного стремления наиболее просвещенных слоев общества.

Но народ не знал и не признавал этого. Господское просвещение казалось ему враждебным и чуждым. Между царем и народом он представлял себе лишь сплошную массу чиновников и помещиков, стремящихся заодно обмануть царя и всячески обездолить народ. Все образованные люди — в сюртуках ли или в мундирах — представлялись русскому крестьянству на одно лицо хитрыми врагами. Только цари рисовались природными и естественными доброжелателями народа. Они только и думают о народном благе, от них только и следует ждать облегчения. И вот, когда до обездоливших себя пушкинцев дошли сведения о правилах для переселенцев, они сразу истолковали это так: господа успели-таки испортить и извратить царскую милость, и свобода оказалась не полная, а крепостная зависимость осталась и в новых формах. Это оттого, что царь не может справиться с господами европейской России... Но в Сибири у него много собственных земель, и помещиков там нет вовсе. Кто успеет добраться до Сибири, тот окажется там лишь в милостивой царской воле. Там царь уже строит новые села, для чего из других земель нагнали плотников,

«Царь все уже приготовил: только идите, дети, на землю мою от господ...— Я лучше, говорит, растворю один амбар с деньгами, а уж господам не дам опять крестьян. У меня в Сибири земли много. Солдатства не буду требовать до третьего поколения, а о податях и помину в Сибири нет».

В уме Белякова, который все это описывает, мелькали порою сомнения. Ему попадались книжки, в которых образованные люди писали о Сибири и о жизни переселенцев на новых местах. Читал он «чиновника Голубева, Марусинова, полковника Надарова о Южно-Уссурийском крае»,— но веры этим писаниям даже и он не давал. П. А. Голубев, как и Марусин (Швецов), были оба интеллигентные люди, не своей волей попавшие в Сибирь,— люди очень хорошие (я лично знал обоих). Но автору они казались просто господами, которые «не иначе, как посланы из господских детей, чтобы оконфузить Сибирь, чтобы народ не уезжал от помещиков».

Многим еще памятно огромное, чисто стихийное движение переселенцев в Сибирь в 80-х годах. Простодушных пахарей манила сказочная страна, где добрый царь ждет своих деток, чтобы окончательно осчастливить их. Царская легенда сияла впереди путеводной звездой, увлекая за собой десятки и сотни тысяч темных людей, веривших в эту легенду, как в откровение. Несмотря на массу статей по переселенческому вопросу, на ряд корреспонденций, рассказов, картин, которыми образованные люди пытались осветить положение переселенцев в Сибири, целые тучи крестьян летели, как бабочки на огонь, в чудесную страну, где маяком светился перед их духовными взглядами образ доброго царя, зовущего своих детей в земной рай. Увлеченные легендой люди шли и гибли сотнями. Беляков очень простодушно рассказывает о разочарованиях, которыми сразу же встречала переселенцев Сибирь. «Была у нас одна старуха 70-ти лет... На родине она жила хорошо, даже содержала годовых работников. Проснулась она как-то ночью и увидела месяц, который ей показался совсем другим месяцем, а не какой она видела на родине: будто он ниже ходит, чуть-чуть за землю не задевает, и тут же, не пройдя больше трех сажень, закатывается. И вот наутро она встала и говорит: «В Сибири и месяц другой, а не наш российский. Наш-то повыше ходит и закатывается в это время за барским двором. А этот как встал, так тут же опять ушел под землю. И как же мы тут будем жить? И долго не думая, заткнула сарафан к поясу и побрела обратно по дороге к Омску». Сын нагнал ее уже верст за десять и с помощью других насильно взвалил на телегу и повез дальше. Что ему было до месяца: впереди светился сияющий образ могущественного и добродетельного царя. Даже когда оказалось на месте, что никаких амбаров с золотом никто не отворял, даровых семян новоселы не получили и осталась добрая половина даже без хлеба,—то и тогда сияющий образ царя не померк: это его опять скрыла господская туча.

Славянофилы, как известно, разделяли и поддерживали эту народную мечту, и вообще у нее была своя философия не в одной России. Известно, как радужно смотрел на самодержавие английский историк-философ Карлейль. Мне самому пришлось встретить такой же взгляд у европейца. Я начинал свою литературную карьеру, когда меня посетил очень известный теперь чешский деятель — Крамарж¹. Он с большой горечью говорил о «конституционных» притеснениях чехов австрийцами и о том, что в самодержавной России борьба за свободу была бы легче. Я думал иначе и приводил факты: у нас всякая попытка борьбы за интересы народа подавляется крутыми мерами самовластия. У них борьба трудна, но возможна. У нас она совсем отсутствует, и в этом в значительной степени виновато романтическое представление народа об общественных отношениях и вера в то, что одни цари могут дать ему настоящую волю. Крамарж с этим не согласился.

— Вера,—говорил он,—двигает горами. Народ ваш верит в своих царей. Конечно, самодержавие, не dokonчив реформы, свернуло на путь реакции, но это лишь временное недоразумение. И солнце порою скрывается за тучами. Они могут рассеяться. Александр II освободил крестьян... Возможно опять что-нибудь великое в том же роде, и Россия сразу двинется на столетие вперед. Народ чувствует это в своей наивной вере в самодержавных царей.

Мудрено ли, что наш народ пахарь, невежественный, темный, удаленный от широкой общественной деятельности, «народ не политик», как говорили славянофилы, держался своего взгляда на протяжении почти полувека после освобождения. Мудрено ли, что он посылал тучи переселенцев на царские земли в Сибирь и целые рои «ходоков» в Петербург к царскому дворцу. Это движение ходоков было тоже огромно. Оно затихло только к началу нового столетия и нашло сочувственное отражение в литературе. Многие, вероятно, еще помнят маленький очерк Глеба Успенского (из серии «Наблюдения одного лентяя»). На улице появляется мужик и растерянно ищет чего-то. Когда его зазывают в комнату, то

оказывается, что он ходок от мира насчет земли. Но объяснить, в чем дело, не может. Тутманно и с усилием он говорит что-то о том, что человек прах и земля тоже прах. «И ежели я, к примеру, пойду в землю, каким же родом с меня можно брать выкупные». У этого ходока, как видно, нет никаких представлений о законах, на которых основаны гражданские правоотношения. Он имеет дело только с самыми общими, может быть, возвышенными соображениями, которые в свою очередь не имеют связи с реальной жизнью современного общества, проникнутой идеями римского права. Мне пришлось во время моих ссыльных и иных скитаний не раз встречаться с такими ходоками. Это были настоящие подвижники мирского дела. Они самоотверженно несли тяготу своего мира, но их рассказы о причинах ссылки и о тяжбах, за которые они пострадали, поражали детским непониманием самых простых вещей. Два брата Санниковы, например, которых я встретил в 70-х годах в ссылке в Вятской губернии, были вполне уверены, что их землю просто-напросто захватил в свою пользу сильный человек, министр, по фамилии Финляндцев, так как в спорном лесу были поставлены столбы с надписью М. Ф. (Министерство финансов).

Мир действительных отношений был крестьянам совершенно непонятен и поэтому враждебен. Против этого непонятого мира они и выдвигали фантастическую идею «великого государя». «Это понятие (писал я в 90-х годах), обвеянное мечтательным обаянием, неопределенно, сказочно, смутно и... анархично. «Великий государь» этой сказки — прежде всего враг наличного государства, враг бар и чиновничества, и находится с ними в постоянной борьбе... Это таинственная, безличная сила, которая может быть приведена в движение, и тогда непременно заступится за мужиков... Дойти до нее трудно, но есть какие-то особенные слова, которые ее приводят в действие. И те слова, как волшебное заклинание, не всегда знают мудрейшие и ученые. Отставной солдат, бредущий на родину из Петербурга, порой просто неведомый прохожий кинут иной раз такое «вещее слово», и пойдет оно перекатываться от деревни к деревне, от мира к миру, как лесное эхо... И по дорогам к столице потянутся мирские ходоки, уверенные, что от проходящего человека они получили самую настоящую формулу заклинания...»*. А по селам и деревням надеются, пропускают сроки в судах, и все ждут, что оттуда, с высот власти, вдруг грянет могучее желанное слово.

Пока народ питал свои надежды этой сказкой, в самодержавии, не сказочном, а действительном, происходил после короткого периода реформ важный поворот. Александр II когда-то назвал себя «первым из помещиков». И он подавал пример освобождения сверху. Но чувства его были все-таки гораздо ближе к помещикам, чем к крестьянам. Скоро он удалил от себя советников начала царствования и вместо них приблизил Валуевых, Толстых, Победоносцевых. Они убедили его, что для крестьян сделано слишком много, а дворянство, наоборот, несправедливо обижено реформой. Великое движение страны, неудержимо двинувшейся вперед, было остановлено на всех путях. Права и влияние «обиженного сословия» восстанавливались, на поддержание естественно падающего дворянского землевладения тратились огромные государственные средства, власть дворянства над «всесловным» земством искусственно поддерживалась мерами администрации, литература прижималась, всякое стремление к общественной деятельности среди разночинного общества, а порой даже среди наиболее просвещенных дворян, — подавлялось в корне. Так шли дела при Александре II и Александре III. Они остановили также развитие земельной реформы, не думая даже исправить такие явные ошибки, сделанные по темноте, как ошибка пушкинцев. И много по лицу всей русской земли появилось таких же обездоленных сел и деревень.

А народ по-прежнему верил в самодержавную сказку, считал образованное общество сплошь враждебным себе и готов был подавить всякое его движение против самодержавия.

При таких условиях я встретил на раздорожье лукояновских мужиков, покорно несших к становому астыревскую прокламацию о «мужицких доброхотах».

• • • • •

Прокламации в 1902 году

Это было ровно через десять лет после астыревских прокламаций и моей дорожной встречи, описанной в первой главе. В нашем тихом землеробном крае тоже появились прокламации. И опять это было весной.

По шляхам, начинавшим просыхать после довольно суровой бесснежной зимы, ранним утром проезжающие на базар мужики увидели разбросанные там и сям листочки. Чтобы их

* См. очерки «В пустынных местах», гл. «Лесные люди». (Прим. В. Г. Короленко.)

не уносило ветром, кто-то старательно придавливал их камешком или грудкой земли. Бумажки кидались в глаза. Мужики останавливали возы, медлительно сходили с них, подымали листочки, прочитывали, если попадались грамотные, или увозили с собой для прочтения.

Характерно. От Петра Павловича Старицкого, старого земца, председателя уездной земской управы, я слышал (со слов исправника), что ни одного экземпляра долгое время не было доставлено в полицию... Пришлось употребить особые меры, чтобы добыть таинственный листок. Как-то в уездную управу пришел довольно богатый казак, землевладелец Полтавского уезда из-под дер. Лисичьей, где, как говорили, появилось особенно много прокламаций. Он рассказал П. П. Старицкому, что исправник по приятельству просил его достать для него хоть одну прокламацию. Казак был человек популярный, «благотетель» деревни, дававший деньги в рост, снабжавший в долг семенами и землей в аренду. Одним словом, человек из того слоя, который в то время был так близок и силен в деревне. Желая услужить начальству, он призвал одного из своих клиентов, у которого, как он знал наверное,— был листок. Но тот ответил решительно, что у него «тои бумаги немае»...

— Ну, як у вас для мене нема бумажки, то и у мене для вас нема ни земли, ни зерна... ничогисенько...

Под таким ощутительным давлением — бумажка нашлась. В ней говорилось о земле.

Стали, разумеется, искать корней и нитей. В Лисичьей жил, между прочим, поднадзорный студент Алексенко. Казак не называл прямо, намекал все-таки, что молва считает его центром этой агитации, как, вероятно, в других местах считались центрами другие поднадзорные. У Алексенка произвели обыск. Но когда захотели произвести обыски и у его знакомых молодых крестьян, то мужики, говорят, заволновались, не дали понятых, не позволили сотским идти с полицией.

Через несколько дней ко мне явился и сам Алексенко.

Это оказался юноша небольшого роста, смиренного вида, с нервным лицом и большими печальными, и как будто испуганными, глазами. Слухи о его важной роли, очевидно, очень его обеспокоили. Зная, что я жил тогда в доме председателя управы Старицкого, он просил узнать у него, что именно говорил ему казак из-под Лисичьей. Я спросил его откровенно и «между нами» — было ли что-нибудь в этом роде с его стороны.

Он ответил (и я уверен,— с полной искренностью), что никаких прокламаций не разбрасывал и не передавал и все его отношения с деревенскими сверстниками, с которыми он рос в деревне, ограничивались дружеским знакомством и чтением легальных книг.

Тем не менее его вскоре арестовали, и его фигура по разным сторонним рассказам вскоре выросла до сказочных размеров могущественного агитатора, державшего в руках всю округу...

Мне наконец удалось достать один экземпляр прокламации. Это оказался простой перевод одной из прокламаций к рабочим, не особенно даже приспособленный к деревне. В ней говорилось, что царь окружен господами и что народу необходима свобода собраний и слова для обсуждения своих нужд. Составители, очевидно, не придавали листку значения прямого призыва, а только, как когда-то и Астырев, пытались возбудить в народе интерес к борьбе за политическую свободу.

Кстати, и годы были тяжелые. Были сильные неурожаи. В моей записной книжке отмечено между прочим: «Продовольствие изъято из ведения земства, а земские начальники ведут его прямо по-лукояновски... Передают о случаях поразительной небрежности... Народ не видит выхода вообще, а тут еще тяжелая и малообещающая весна»...

Трудно определить, какую именно роль играли в дальнейшем прокламации. Характерна во всяком случае необыкновенная восприимчивость к ним. Газеты того времени отмечали появление разных толков и слухов, под влиянием которых в некоторых местах составлялись даже постановления сходов, касавшиеся земли и необходимости наделения ею. С одним таким газетным известием из Воронежской губернии, в памяти моей связывается характерный эпизод.

Я проезжал через Харьков, и с вокзала вез меня престарелый извозчик как раз из Воронежской губернии. Это был совершенно седой старец, суровый деревенский консерватор, или, как впоследствии называли, «черносотенец». Дорогой он рассказывал мне о том, как в Харькове «безобразят студенты». Это было вскоре после одной из манифестаций: студенты и рабочие вышли на улицу, побили (по установленной традиции) окна в редакции газеты Юзефовича, казаки ходили в атаку с нагайками и т. д. Старик негодовал на студентов и рабочих и с большим злорадством передавал отзыв каких-то офицеров, обещавших скорую расправу с «этими сволочами». Мне стало любопытно, что он скажет о требованиях деревни, и я прочел ему краткую выдержку о постановлениях крестьян Воро-

нежской губернии. Действие этого известия оказалось прямо поразительным. Старец повернулся ко мне на своих козлах и, нимало не осуждая деревенской крамолы, спросил только с необыкновенным захватом:

— А скажи, пожалуйста,— может ли это ихное постановление действовать?..

И потом долго говорил про себя что-то, из чего я понял только, что деревенское верноподданничество грозит в земельном вопросе не меньшими осложнениями, чем деревенский радикализм. Они могут различно относиться к студенту, но к земле относятся одинаково.

«Грабижка»

30 апреля 1902 года я занес в свою записную книжку следующее:

«В то время, когда я пишу эти строки, мимо моей квартиры едут казаки, поют и свищут. Идут, точно в поход, и даже сзади везут походную кухню, которая дымит за отрядом... Полтава теперь является центром усмиряемого края, охваченного широким аграрным движением».

Бунтом этого назвать было нельзя. Бунта, в смысле какого бы то ни было открытого столкновения с войсками, даже с полицией, или противодействия властям нигде не было. В том углу, где у Ворсклы сходятся четыре уезда (Валковский и Богодуховский Харьковской губернии, Полтавский и Константиноградский — Полтавской), внезапно, как эпидемия или пожар, вспыхнуло своеобразное и чрезвычайно заразительное движение, перекидывавшееся от деревни к деревне, от экономии к экономии, точно огонь по стогам соломы. Пронесся слух, будто велено (кем велено,— в точности неизвестно) отбирать у господ землю и имущество и отдавать мужикам. Приходили в помещичьи экономии, объявляли об указе, отбирали ключи, брали зерно, кое-где уводили скот, расхищали имущество. Насилий было мало, общего плана совсем не было. Была лишь какая-то лихорадочная торопливость... Вскоре, впрочем, выяснилась некоторая общая идея: бывшие помещичьи крестьяне шли против бывших господ. Случалось, что мужики защищали экономии от разгрома, но не из преданности господам или чувства законности, а потому, что промить приходили «чужие», тогда как это были «наши паны». При этом исчезало различие между богатыми и бедными крестьянами. В общем, отмечали даже, что начинали по большей части деревенские богачи. И, как только это начиналось, по дорогам к экономии валил народ на убогих клячонках, запряженных в большие возы,— на волах, а то и просто пешком, с мешками за спиной. Брали торопливо, что кому доставалось. Богачи увозили нагруженные возы, бедняки уносили мешки и тотчас же бежали опять за новой добычей...

Потом, разумеется, началась расправа. Приходило начальство, объявляло, что никакого указа не было, напоминало о «неизменной царской воле» и, конечно, тотчас же принималось сечь. Мужики встречали начальство смиренно, по большей части на коленях. Коленопреклоненных брали по вдохновению или указаниям «сведущих людей», растягивали на земле и жестоко поролы нагайками. Секли стариков и молодых, богатых и бедных, мужчин и женщин. Таким образом, по старой самодержавной традиции, восстанавливалось уважение к закону...

В Полтавской губернии тогда губернатором был Бельгард, до тех пор ничем не выделявшийся и довольно безличный. Харьковской губернией правил кн. Оболенский, прежний екатеринославский губернатор, фигура довольно яркая. О нем много писали в связи с его войной с земством и отрицанием голода (к которому он относился чисто по-лукояновски). Оба губернатора — тусклый и яркий — действовали как будто одинаково: приходили, стогняли мужиков, растягивали на земле, секли... Только Бельгард, как человек «с добрым сердцем», при сечении, как говорили, проливал слезы. Оболенский никакой чувствительности не проявил и выступил в поход так бодро, что в Харькове шутили, будто у него на ходу «играла даже селезенка». Сразу же, только сошедши с поезда, кажется в Люботине, по дороге в какую-то экономию, он встретил мужика с нагруженным возом. Не входя в дальние разбирательства, он приказал сопровождавшим его казакам мужика растянуть и «всыпать». Баба кинулась к мужу. Тут же растянули и бабу...

Вскоре после этого в нашу местность приехал министр Плеве. Он отказался остановиться в губернаторском доме и прожил день или два в вагоне у Южного вокзала. В любой конституционной стране в таких обстоятельствах не удовлетворялись бы судом, а непременно произвели бы исследование, которое выяснило бы глубокие причины явления. У нас «исследование» министра Плеве на месте не имело других результатов, кроме того, что чувствительный Бельгард получил отставку до такой степени неожиданную, что узнал об

ней только из телеграммы своего заместителя, кн. Урусова. Оболенский, наоборот, получил поощрение... Очевидно, «внезапное обострение аграрного вопроса» привело высшую правительственную власть к одному только выводу: старое средство — порка признается целесообразным и достаточным. Но пороть следует без излишней чувствительности...

Движение стихло так же быстро, как и возникло, как легко вспыхивающая и так же легко потухающая солома...

Все очевидцы показывали согласно, что при появлении военной силы — все покорялось и награбленное возвращалось собственникам. Очевидно, порка не была средством усмирения, а являлась скорее прямым наказанием...

Среди бытовых эпизодов этого движения мне особенно запомнился следующий. Управляющий крупных имений Кочубея, разбросанных в нескольких губерниях, В. А. Муромцев, бывший петровец², человек умный, установивший с населением хорошие отношения и, главное, не потерявший головы и сохранивший полное спокойствие во время этих и последующих событий, рассказывал мне:

— Вы знаете, у нас кроме центральной экономии в Полтавской губернии есть еще другие, находящиеся в заведывании отдельных управляющих. Одна из таких экономий находится в Екатеринославской губернии. Движение, в сущности, не исчерпывалось местами, где произошли прямые погромы. Кое-где оно лишь назревало, но не разыгралось прямыми беспорядками. Так случилось, между прочим, и в той экономии, о которой я говорю. Заведовал ею управляющий-швейцарец, давно прижившийся у нас. Человек умный и справедливый. Мужики чувствовали, что он честно исполняет свои обязанности по отношению к владельцу, но не пользуется случаем прижать мужика, использовать его трудное положение, выжать лишнее. К нему относились поэтому хорошо.

Но вот и туда долетели слухи об «указе». Брожение сказалось сразу же предъявлением разных небывалых требований. Как яркий пример швейцарец привел следующий эпизод. Является к нему старый пастух и предъявляет претензию на... 18 пар сапогов. История этого требования такова: старик служит в экономии с незапамятных времен. В прежние годы он получал жалованье натурой: столько-то зерна, столько-то картофеля и... ежегодно «пара чобіт» от экономии... 18 лет назад, кажется, по инициативе этого же управляющего жалованье натурой было переведено на деньги на условиях, выгодных для рабочих. Но теперь вдруг старый пастух нашел, что неполучение сапог ему обидно и что ему следует требовать все 18 пар...

Старик был человек солидный, добросовестный, его ценили в экономии, и он, в сущности, не мечтал ни о чем больше. Управляющий призвал его и стал «балакать» с ним просто, по душе. Через короткое время старик махнул рукой. Оказалось, что он уступал общественному мнению: для чего-то нужно, чтобы мужики предъявляли как можно больше требований, и только тогда они «получат права».

Однажды обширный экономический двор оказался заполненным окрестными мужиками. Вызвали управляющего и объявили об указе: делить помещичью землю.— Я еще не получал его,— ответил тот.— Все равно, скоро получишь. Надо, чтобы к тому времени все было готово. Давай усчитаем всю панскую землю. Она теперь будет наша.

Умный швейцарец не противился. Мужики за это решили допустить к разделу и его. Вынесли столы, разложили на них планы, стали считать. Впереди стояли «богатыри», беднота жалась подальше. Все были потомки бывших крепостных и все проявляли огромный интерес к учету земли. Но как ни считали, припоминая каждый клин и каждое урочище,— оказалось, что по разделу земли на всех очень мало. «Громаду» охватывало раздумье и разочарование... Очевидно, от раздела одной помещичьей земли богаче не станешь. А в это время кто-то обратил внимание на одного из коноводов, деревенского богача, который стоял впереди и принимал в расчетах самое деятельное участие.

— Как же это,— сказал этот кто-то.— Вот тут людям не хватит и по полдесятины. А у вас же, дядьку, своей земли сотни полторы десятин.

Заявление подействовало, как разорвавшаяся бомба... поднялись пыльные споры. Богачи доказывали, что они такие же внуки «крепаков» и имеют поэтому право на долю в разделе. Беднота кричала о своей нужде. Закипела рознь, и вскоре экономический двор опустел... так в том месте не было ни «грабизки», ни усмирения. Деревня как будто остановилась в раздумье.

Этот рассказ часто вспоминался мне впоследствии, когда я думал о том, почему в 1905 году накопившее было народное движение стихло, и еще так долго деревня поставляла правительству покорных депутатов, поддерживавших думский консерватизм. Дерев-

ня тогда еще не расслоилась. В ней первую роль играл по-прежнему деревенский богач, выступавший всюду ее официальным представителем. Он же руководил и «грабижкой». Но деревня уже почуяла близкую рознь, назревавшую в ней, и — испугалась.

Суд и закон

Разумеется, «грабижка» было движение в высокой степени бессмысленное. Но ведь вопиющее бессмыслие было неразлучно с каждым шагом в этом больном вопросе русской жизни, как со стороны массы, так и со стороны правящих классов.

Участников «грабижки» пришлось предать суду, чтобы внушить массе идею о «карающем законе». Но при этом самый закон оказался в очень затруднительном и двусмысленном положении. Одна из аксиом уголовной юстиции состоит в том, что никто не может нести дважды наказание за одно и то же преступление. А гг. губернаторы, предавая жестокой порке коленопреклоненных крестьян, несомненно совершали действие, которое иначе, как наказание, назвать нельзя. Таким образом, суд, для «водворения идеи права», должен был прежде всего перешагнуть через явное бесправие.

К сожалению, русский суд того времени не привык останавливаться перед такими «небольшими затруднениями». Неудобство состояло лишь в том, что защита тотчас же принялась выяснять настоящий характер административных действий. Энергичные председатели стали останавливать защитников и лишать их слова. Тогда защитники отказывались от защиты, заносили в протокол мотивы протеста и демонстративно оставляли зал заседаний, который таким образом становился ареной бурных и скандальных для правосудия эпизодов.

При таких прецедентах открывалась судебная сессия и в Полтаве. Мне лично пришлось при этом играть некоторую косвенную роль. Дело в том, что отголоски некоторой моей литературной известности проникли к тому времени в местную крестьянскую среду, хотя и в довольно своеобразном виде. Меня почему-то считали теперь адвокатом, и ко мне стали приходить кучки крестьян, прося защиты. С другой стороны, кружок адвокатов, как местных, так и столичных, организуя защиту на широких началах и зная, с каким интересом я отношусь к местным делам, счел удобным назначить мою квартиру местом для обсуждения вопросов, связанных с защитой. Было важно, чтобы крестьяне не попали к «ходатаям», уже раскидывавшим свои сети, и то обстоятельство, что мужики направлялись массами ко мне, делало удобным мое посредничество.

Одним из первых на этом адвокатском совещании был поставлен вопрос — какой линии поведения держаться защите. Было известно, что общая инструкция председателям уже последовала и на выяснение вопроса о характере «административных воздействий» было наложено запрещение. Продолжать ли при этом условия защиту каждого подсудимого по существу или ограничиться общим протестом и демонстративным уходом защиты? Мнения разделились. В общем столичная адвокатура в большинстве стояла за протест. Местные адвокаты смотрели иначе... Возникли прения. При этом обратились и к моему мнению. Для меня не было ни малейшего сомнения, что огромное большинство подсудимых крестьян желает защиты по существу, и я сказал, что, на мой взгляд, желание самих подсудимых играет здесь решающую роль. Эта точка зрения была принята. После этого кое-кто из столичных адвокатов охладели к делу, а мне было предоставлено направлять мужиков, ищущих защиты, к представителям кружка защитников, который уже распределял клиентов между участниками.

В эти дни моя передняя, кухня и кабинет густо наполнялись мужиками. Интересуясь характером движения, я опрашивал их, записывал наиболее характерные эпизоды и давал записочки к Е. И. Сяльскому и другим местным адвокатам. Таким образом, в Полтаве бурных сцен в суде не было. Защитники ограничивались протокольным протестом против стеснения судебного следствия, но защиту продолжали. Может быть, это отразилось отчасти на смягчении судебного настроения, и приговоры получались сравнительно мягкие. Многие подсудимые были довольно неожиданно оправданы...

«Из-за чего вы хлопочете?»

После суда некоторые из крестьян, благодарные за оправдание, стали приходить ко мне с предложением вознаграждения. Сначала предлагали деньги. Когда я отказывался, то говорили:

— Може, хочь мишок пшеници або картопельки...

Когда я и от этого отказался,— это вызвало недоумение.

— Что ж у вас,— есть своя земля в селе? Нема? Ну, може, дом у городи? И того нема... Так чем же вы кормитесь? Из-за чего хлопчете?

— Я писатель... Пишу книги...

— Та чи ж можно этим кормиться? — спрашивали они с недоумением и недоверием. Наученный горьким опытом деревенский житель плохо верит в бескорыстные услуги. Настойчивые расспросы их заставили и меня задуматься. Из-за чего я хлопочу в самом деле и действительно ли хлопочу бескорыстно? Почему меня, интеллигентного городского человека, так занимает эта нелепая «грабжика» и участь ее виновников, что я трачу на них столько времени и настроения?

Я давно уже чувствовала некоторое нерасположение к обычной фразеологии о «добротстве» интеллигенции и теперь попробовал поставить вопрос без сентиментализма, в ясной для моих собеседников форме.

Я взял с полки книжку «Русского Богатства», показал на обложке свою фамилию, надпись «Цена 8 рублей» и объяснил, что такое журнал и что значит подписка. Потом показал свою книгу «В голодный год» и на ней цену «1 рубль»... Таким образом, я объяснил, «чем я кормлюсь».

— Вот и о вашем деле в журналах и газетах уже написано. Люди верят, что мы пишем правду о том, что делается на свете, и покупают наши книжки. А мы, писатели, этим живем, и, как видите, живем не хуже вашего.

Это сразу выяснило дело и вполне определило наши отношения. Несколько человек после этого стали посещать меня для беседы. Когда же они прочитали мой «Голодный год», наши отношения приняли дружеский характер. Они поняли, чем я кормлюсь, и поняли также, что литература вообще идет в пользу, а не во вред их интересам. Им стало до известной степени понятно также, из-за чего я хлопочу, почему нам, интеллигентным людям, нужна законность и свобода и почему мы возмущаемся произволом и насилием. Им нужна — земля, нам нужна свобода... Мы стараемся доказать, что свобода нужна и им.

Помню особенно троих из тогдашних моих посетителей. Один был солидный мужик средних лет, сравнительно зажиточный, хотя и малоземельный. Два другие — деревенские пролетарии. Когда стена недоверия, отделявшая нас вначале, разрушилась, они рассказали мне много интересного... Прежде всего сообщили, что послал их ко мне «панич».

— Какой панич?

— Та помещик...

— Которого вы грабили?

— Агде ж... Панич, нічого сказать, добрий... «Біжить, каже, швидче до городу, та спитайте такого-то чоловіка». Та він, баче, той панич, і студент...

Установилась взаимная откровенность. В первые дни знакомства на мой вопрос, читали ли они прокламации, мужики отвечали неизменно: «Та мы ж неграмотни»... Но теперь они цитировали чуть не страницы из книжечки «Дід Евмен» (кажется, так. Это был перевод старой брошюры 70-х годов «Хитрая механика»). На мое замечание, — что «вот вы же мне говорили, что неграмотны», — мужики хитро усмехнулись: «Були таки, що прочитали нам». Они соглашались, что «грабжика» была дело нелепое и нехорошее, но самый солидный из них сказал в заключение:

— Хай воно і так... Та бачте: як дитина не плаче, то мати не баче...

Кто эта мать, которая должна услышать? Для многих это был по-прежнему царь, и его внимание деревня надеялась привлечь своей вспышкой... Но за царем теперь чуялось для некоторых еще что-то... Рождалась идея о какой-то еще силе, смутно понимаемой, неопределенной, но уже зарисовавшейся на горизонте... Деревня стучалась в таинственную дверь в надежде, что ее услышит кто-то, грядущий в жизнь... Это был грозный симптом, но самодержавие его не замечало. Меня тогда же поразило упорство, с каким эти крестьяне настаивали на необходимости поравнять богатых и бедных. Они соглашались, что это чрезвычайно трудно. Это им показала самая «грабжика».

— И с «грабжикой» богатый везет панское добро возами, а бедный тащится пешочком с мешочком... Но все-таки,— упрямо заканчивали они,— пусть хоть Христос сойдет с неба, а поравнять нужно.

Они охотно выслушивали мои возражения. Мы как будто понимали друг друга. В мое расположение к ним они теперь верили, понимали, в чем состоит наш интеллигентский интерес к свободе и почему мы хотели бы видеть в них союзников для ее достижения. Я пытался выяснить, как в общем мы понимаем земельную реформу. Дело это трудное, требу-

ет напряжения всех государственных сил на почве свободы. В «грабжке» мы им не союзники, и если я и адвокаты содействуем теперь их защите, то лишь потому, что возмущаемся незаконным насилием над ними и стеснением свободы в обсуждении и постановке земельного вопроса.

Некоторое время они еще посещали меня, приходя для разговоров. Затем я уехал в Петербург, потом переменял квартиру, и мы потеряли друг друга из виду...

Разговор с Толстым. Максимализм и государственность

В том же 1902 году мне пришлось побывать в Крыму, и я не упустил случая посетить Толстого, который лежал тогда больной в Гаспре. Чехов и Елпатьевский, оба писатели и оба врачи, часто посещали Толстого и рассказывали много любопытного об его настроении.

Чувствую, что мне будет не легко сделать последующее вполне понятным для моих читателей из народа. Толстой в одной черте своего характера отразил с замечательной отчетливостью основную разницу в душевном строе интеллигентных людей и народа, особенно крестьянства. Сам — великий художник, создавший гениальные произведения мирового значения, переведенные на все языки, — он лично, как человек, легко заражался чужими настроениями, которые могли овладеть его воображением.

Это вообще наша черта, черта интеллигентных людей. Жизнь намеревается сделать из нас по окончании образования — помещиков, или чиновников, или инженеров, вообще людей, служащих известному строю. Но самый этот строй стоит в слишком разительном противоречии с тем, что порождает в душах честная и просвещенная мысль. От этого у нас сын помещика нередко отрицает право частной собственности на землю, а сын чиновника презирает и ненавидит чиновничество. Отсюда же постоянный разлад между мыслью и жизнью. Мысль — это начало действия, и она влечет молодежь в одну сторону, а жизнь и практические требования выгоды — в другую. В большинстве случаев жизнь берет свое, и, пройдя бурный период молодых увлечений, — большинство образованных молодых людей вступают на торную дорогу и понемногу свыкаются с ней. Но в душе, как лучшие воспоминания, навсегда остается след молодых, наивных, полных неопытности, но светлых и бескорыстных неклассовых «ошибок юности».

Толстой в высокой степени умел отражать в своих произведениях эту черту интеллигентной души, ищущей правды среди осознанной неправды жизни. Пьер Безухов в «Войне и мире», Левин в «Анне Карениной», много других лиц в разных рассказах — это все люди мятущиеся, чувствующие душевный разлад, ищущие правды и, как сам Толстой, тоскующие о душевном строе, цельном и без разлада между мыслью и делом. Такой душевный строй мы называем «непосредственностью». У Толстого всю жизнь была тоска — о непосредственности.

Такого разлада не знает простой народ. Он жил века в угнетении, долго «все терпел во имя Христа», трудился и надеялся, совсем не задумываясь над причинами общественного неустройства, все приписывая судьбе. Толстой всегда завидовал этому душевному состоянию простых людей. Еще в молодости он преклонялся перед иными крестьянами до такой степени, что одно время старался подражать работнику Юфану даже в движениях. Потом, уже став великим писателем, угадывал и заражался настроениями простых душ. В «Войне и мире» он изобразил солдатика Каратаева, который совсем не умеет выразить своих мыслей, но который казался ему воплощением глубокой мудрости. Толстой успел внушить это свое преклонение перед народной непосредственностью читателям и критикам, и одно время «каратаевщина» служила выражением глубокой народной мудрости. То же нужно сказать об Акиме Простоте в «Плодах просвещения»³, который не может вылучить своей мысли из корявой оболочки: «тае, тае», но устами которого тоже говорит высшая мудрость народа.

Эта способность заражаться народными настроениями определяла крупнейшие повороты во взглядах самого Толстого. В «Войне и мире», изучая историю Отечественной войны, он проникся настроением борьбы за отечество до такой степени, что почти оправдывал убийство партизанами пленных. Потом его стала привлекать смиренная народная вера, и от нее он перешел к первобытному христианству. Отсюда его теория о непротвиении. Нельзя противиться злу насилием, хотя бы даже дикари зулусы начали убивать и резать нас, насилловать женщин, избивать детей. Лучше погибать, чем защищаться силой. Теперь, когда в России происходили события, выдвигавшие предчувствие непосредственных массовых настроений, — мне было чрезвычайно интересно подметить и новые уклоны в этой великой душе, тоскующей о правде жизни. В нем несомненно зарождалось опять новое. Чехов и Ел-

патъевский рассказывали мне, между прочим, что Толстой проявляет огромный интерес к эпизодам террора. А тогда отчаянное сопротивление кучки интеллигенции, лишенной массовой поддержки, могущественному еще правительству принимало характер захватывающей и страстной борьбы. Недавно убили министра внутренних дел Сипягина. Произошло покушение на Лауница. Террористы с удивительным самоотвержением шли на убийство и на верную смерть. Русская интеллигенция, по большей части люди, которым уже самое образование давало привилегированное положение, как ослепленный филистимлянами Самсон, сотрясали здание, которое должно было обрушиться и на их головы. В этой борьбе проявилось много настроения, и оно в свою очередь начинало заражать Толстого. Чехов и Елпатьевский рассказывали мне, что когда ему передали о последнем покушении на Лауница *, то он сделал нетерпеливое движение и сказал с досадой:

— И, наверное, опять промахнулся?

Я привез много свежих известий. Я был в Петербурге во время убийства Сипягина и рассказал, между прочим, отзыв одного встреченного мною сектанта, простого человека: «Оно, конечно, — убивать грех... Но и осуждать этого человека мы не можем».

— Почему же это? — спросил я.

— Да ты, верно, читал в газете, что он подал министру бумагу в запечатанном пакете?

— Ну, так что же?

— А мы не можем знать, что в ней написано... Министру, брат, легко так обидеть человека, что и не замочишь этой обиды. Нет уж, видно, не нам судить: Бог их рассудит.

Толстой лежал в постели с закрытыми глазами. Тут его глаза раскрылись, и он сказал:

— Да, это правда... Я вот тоже понимаю, что как будто и есть за что осудить террористов... Ну, вы мои взгляды знаете... И все-таки...

Он опять закрыл глаза и несколько времени лежал, задумавшись. Потом глаза опять раскрылись, взгляд сверкнул острым огоньком из-под нависших бровей, и он сказал:

— И все-таки не могу не сказать: это целесообразно.

Я был к этому отчасти подготовлен. В письме, которое Толстой послал Николаю II⁴, уже заметна была перемена настроения: советы, которые он дает Николаю II, проникнуты уже не отвлеченным христианским анархизмом, а известной государственностью и необходимостью уступок движению. Но все-таки я удивился этому полуодобрению террористических убийств, казалось бы чуждых Толстому. Когда же я перешел к рассказам о «грабжке», то Толстой сказал уже с видимым полным одобрением:

— И молодцы!..

Я спросил:

— С какой точки зрения вы считаете это правильным, Лев Николаевич?

— Мужик берется прямо за то, что для него всего важнее. А вы разве думаете иначе?

Я думал иначе и попытался изложить свою точку зрения. Я никогда не был ни террористом, ни непротивленцем. На все явления общественной жизни я привык смотреть не только с точки зрения целей, к которым стремятся те или другие общественные партии, но и с точки зрения тех средств, которые они считают пригодными для их достижения. Очень часто самые благие конечные намерения приводят общество к противоположным результатам, тогда как правильные средства дают порой больше, чем от них первоначально ожидалось. Это — точка зрения, прямо противоположная максимализму, который считается только с конечными целями. А Толстой рассуждал именно как максималист. Справедливо и нравственно, чтобы земля принадлежала трудящимся. Народ выразил этот взгляд, а какими средствами, для Толстого (непротивленца, отрицающего даже физическую защиту!) — все равно. У него была вера старых народников: у народа готова идея нормального общественного уклада. Марксисты держались такого же взгляда, только для них носителями этого лучшего будущего являлся городской пролетариат.

Лично я давно отрешился от этого двустороннего классового идолопоклонства, — может быть, потому, что жизнь кидала меня таким прихотливым образом, что мне пришлось видеть и, главное, — почувствовать все слои русского народа, начиная от полудикарей якутов или жителей таких лесных углов европейского севера, где не знают даже телег, и кончая городскими рабочими. И я знал, что этой таинственной готовой мудрости нельзя найти ни в одном классе. Крестьянин умеет пахать землю, но в земельном вопросе в широком

* В рукописи фамилия Лауница подчеркнута карандашом и на полях поставлен знак вопроса. (Прим. А. Ишненецкого.)

смысле разбирается не лучше, а хуже, чем многие из тех, которые не умеют провести борозду плугом. Я уже упоминал, как в Свияжском уезде Казанской губернии два огромных крестьянских общества шли друг на друга войной из-за земли. Дело дошло до вмешательства войск, вожаки враждующих обществ были приговорены к смертной казни. Значит, у этих крестьян не нашлось общего начала, которое помогло бы им прийти к миролюбивому решению вопроса о земле даже друг с другом... Во время «грабижки» в качестве такого общего начала являлось крепостное прошлое. Более нуждающиеся крестьяне устранились от раздела лишь потому, что они не были крепостными данного помещика. Можно ли с такими узкими и темными взглядами на земельный вопрос разрешить удовлетворительно эту самую запутанную и сложную задачу нашей жизни? Не ясно ли, что только государство с общегосударственной возвышенной точки зрения, при напряжении всенародного ума и всенародной мысли, может решить задачу широко и справедливо. Конечно, для этого нужно государство преобразованное. Из-за этого преобразования теперь идет борьба и льется кровь... Из-за ограничения самодержавного произвола мы все миемся, страдаем и ищем выхода.

Все это я постарался по возможности кратко изложить теперь перед большим великим писателем, в душе которого все злобы и противоречия нашей жизни сплелись в самый большой узел. Он слушал внимательно. Когда я кончил, он еще некоторое время лежал с закрытыми глазами. Потом глаза опять раскрылись, он вдумчиво посмотрел на меня и сказал: — Вы, пожалуй, правы.

На этом мы в тот раз и расстались. Впоследствии, когда революционная волна 1905 года упала, Толстой опять вернулся к христианскому анархизму и непротивлению.

Постановления крестьянских сходов перед первой Думой

Подошла японская война. Она была с самого начала чрезвычайно непопулярна в народе. Крестьянство признало бы такую войну, которая доставила бы новые земли для переселения. «А эту землю, если царь и завоюет,— говорили крестьяне,— то она нам не годится... Гора да камень. Наши хлеба там не растут, а что там растет, то для нас непригодно. Переселяться туда незачем». Вдобавок эта ненужная война кончилась позорными неудачами.

После этого в России все усиливалось стихийное движение. Деятельность всех партий прорвала рамки обычных стеснений. Либеральные земцы собирались открыто на съезды, за которые прежде арестовывали и ссылали. В 1905 году они послали к царю депутацию, которая прямо высказалась за необходимость конституционного порядка... Во многих местах России крестьянство глухо волновалось, а в Саратовской губернии движение приняло формы той самой «грабижки», которая три года назад происходила в Харьковской и Полтавской губерниях... Нападали на помещичьи усадьбы, грабили, жгли, кое-где убивали. Правительство, видимо, терялось. Несчастный царь, который назвал в начале царствования «бессмысленными мечтаниями» самые скромные просьбы земцев,— теперь принял милостиво депутацию с смелыми заявлениями кн. Трубецкого⁵ о необходимости конституции... Над этим глубоко несчастным человеком уже тяготела судьба: его и тогда называли «последним Романовым». Он постоянно колебался, прислушивался к советам то справа, то слева, не знал, что делать. Самым способным из его помощников был Витте, человек совершенно беспринципный, еще недавно советовавший царю сократить земские учреждения, как несогласные с исконным строем русского государства. Но и Витте в это время был в опале по каким-то мелким придворным интригам. Другие министры были совершенные ничтожества.

В августе 1905 года были изданы на имя министра вн <утренних> дел Булыгина два манифеста. В одном царь звал все общество и народ на борьбу с крамолой. Указ был написан точно рукой покойного Победоносцева и весь был проникнут духом мрачной реакции. Но одновременно, чуть ли не в тот же день (6 августа), последовал другой указ, в котором царь приказывал созвать представителей от всех сословий для совещания.

Это была жалкая полумера: представители призывались только с совещательным голосом. Они могли советовать, царь и министры могли не слушать советов. Это была явная уловка погибающего строя, имевшего целью выиграть время и собраться с силами, чтобы подавить движение. Все слои русского общества отнеслись совершенно отрицательно к этому манифесту, и движение продолжало расти.

Тогда последовал манифест 17 октября, которым самодержавие сдавало свои позиции: народ призывался не только для совещания, но и для законодательства.

Как отнестись к этой новой уступке? Отвернуться и от нее или готовиться к выборам? Мнения разделились. Часть крайних левых партий решили «бойкотировать Думу». Я

лично с этим не мог согласиться. Я чувствовал, что наш народ, особенно крестьянство, еще далеко не разбирается в основах выборного закона, не сможет поставить сознательных политических требований и пойдет на выборы уже из простой привычки повиноваться. Кроме того, я думал, как это думало большинство общественных деятелей, что народу нужна еще политическая школа, и в этом смысле Дума будет очень полезна. Вопрос лишь в том, чтобы в нее вошло как можно больше сознательных элементов.

Мы с моими полтавскими друзьями употребляли все усилия, чтобы по возможности разъяснить народу значение манифеста, как ограничение произвола не только чиновничьего, но даже и царского. Народная масса даже в городах была глубоко темна в политическом отношении. При публичных выступлениях нам, в том числе и мне лично, кричали из толпы: «А зачем вы скрывали манифест?»... Дело в том, что многие губернаторы были до такой степени ошеломлены объявлением конституции, что не решились сразу опубликовать указ. Так было и в Полтаве. Опубликование манифеста запоздало дня на три, и толпа приписывала это всем интеллигентным людям безразлично. Для нее все образованное общество казалось просто царскими чиновниками, старающимися скрыть милостивую царскую волю. Ходили также чудовищные слухи, что все это чей-то обман, что это «жиды хотят выбрать своего царя», что губернатором у нас тоже будет еврей и т. д.

Деревня разбиралась еще хуже. От нее и от городских предместий надвигалось, как туча, настроение дикого и бессмысленного погрома. Еврейские погромы уже вспыхнули кое-где в губернии, особенно в Кременчуге... К городским громадам всюду присоединялись окрестные деревни. Крестьяне приезжали на возах, грабили и увозили награбленное в деревню...

Таким образом, темному народу приходилось еще разъяснять, что свобода грабежа — это не та свобода, которая нужна России. Наш полтавский кружок старался разъяснить сущность происшедшего переворота. Мы выступали на митингах, выпускали от газеты воззвания, я написал ряд «Писем к жителю окраины», где старался в понятной форме разъяснить новые права, их недостатки и достоинства, а также законные способы добиваться расширения этих прав. Эти письма были переизданы в некоторых губерниях и распространялись также среди крестьян. Мы объезжали и соседние села, и мне доводилось говорить на сходах все в том же смысле. Всюду наши разъяснения встречались с полным удовлетворением. Крестьяне легко усваивали при объяснении общие основы конституционного права и то, как законодательная Дума может разрешить земельный вопрос. При помощи железнодорожных рабочих, сильно затронутых социал-демократической пропагандой, удалось потушить погромное настроение и в Полтаве, и в прилегающих деревнях. Народ спокойно подошел к выборам.

Между прочим, «Полтавщина», расходящаяся в довольно значительном количестве, стремилась ознакомить население с программами разных партий. Кроме программы партии народной свободы (к. д.), в ней были напечатаны также программы социал-демократов (с. д.) и социалистов-революционеров (с. р.). Однажды в редакцию явилась группа крестьян с просьбой напечатать постановление одного сельского схода, в котором излагались взгляды крестьян на земельный вопрос.

Тут говорилось о необходимости распределить между малоземельными крестьянами земли удельные, казенные, монастырские и помещичьи...

«Полтавщина» была, кажется, еще первая легальная газета, в которой полностью были напечатаны такие постановления крестьян. Земельный вопрос уже обсуждался на партийных съездах, кадеты уже разрабатывали программу в этом смысле. Не было, конечно, никаких причины не дать места этому голосу крестьянства, которое скоро должно послать депутатов в Думу.

Появление в газете первого такого постановления произвело на многих впечатление какой-то бомбы. Движение, уже назревшее в массе, выходило наружу. Постановление горячо обсуждалось на других сходах, и вскоре в редакцию стали поступать приговоры других крестьянских обществ. Ко мне на квартиру стали приходиться селяне, как в 1902 году. Один раз пришли двое уполномоченных одного крестьянского общества с просьбой: они были не вполне довольны редакцией напечатанного постановления, но не знали, как выразить то, что им было нужно. В моей столовой собралось в этот день 15 или 20 крестьян из разных мест, и все сообща стали обсуждать постановление пункт за пунктом. Я считал, что именно это и требуется. Пусть то, что уже пустило глубокие корни в умах крестьян, найдет свое гласное выражение. Пусть обсуждается на местах и крестьянами, и другими компетентными людьми. Это может принести только пользу. Вот

уже первый напечатанный наказ вызывает критику в другом сельском обществе. Мысль начинает работать.

Помню, между прочим, как горячо обсуждался вопрос о воспрещении наемного труда, подсказанный, вероятно, кем-нибудь из эсеров. Земля будет отдана только тем, кто сам на ней трудится. Поэтому наемный труд должен быть воспрещен.

Один из присутствующих крестьян стал горячо возражать. Он вот уже третий год служит в городе в кучерах именно затем, чтобы поддержать падающее хозяйство. Он только и мечтает опять вернуться в деревню, где у него пока хозяйничает жена с наемным рабочим. Если этого нельзя, то как же ему быть? Нужно просить особого разрешения? А если нанять приходится ненадолго? Если хозяин внезапно заболел или отлучился? Если брат помогает брату или товарищ товарищу? Если своя работа сделана, а время остается и хочется приработать? Просить каждый раз разрешения? Если у меня на земле работает чужой, то буду у него спрашивать бумагу?

— А то же не дай, Господи! — выразительно заключил один из собеседников.

Когда впоследствии мне приходилось передавать эти разговоры моим знакомым, столичным эсерам, то они удивлялись: о чем тут разговаривать? Конечно, наемный труд нужно воспретить! У всех будет в изобилии своя земля. Значит, некому наниматься. А так как земля будет наделена всем по трудовой норме, то некому и нанимать. Дело так ясно. Все желающие трудиться получают немедленное право на землю. Рабочий, которого нужда погнала из деревни в отхожие промыслы, давно отбившийся от земли крестьянин, интеллигент, мечтающий о праведной жизни трудами рук своих, — все идет в обновленную деревню и все устраиваются на свободной земле. Для осуществления этого земного рая нужно, конечно, многое создать и многое уничтожить. Нужно, кроме земли, чтобы у всех желающих было уменье, инвентарь, орудия... Нужен кредит, нужны известные формы взаимной помощи... Но создать это долго и трудно. Воспретить настоящую несправедливость гораздо легче, чем создать будущую справедливость. Поэтому-то многое так скоро разрушается и так долго на месте разрушенного зияет мертвая пустота.

Собравшиеся у меня в тот день крестьяне почувствовали эту разницу между создать и разрушить, и мы долго бились над редакцией разных пунктов. Редактировать пришлось мне, и я помню, с каким чрезвычайным вниманием мои собеседники обдумывали значение каждого слова.

Помню также, как обсуждался вопрос о выкупе или безвозмездном отчуждении. Первое побуждение крестьян в этом вопросе — «конечно, без выкупа». Выкуп — это значит новые выкупные платежи и их взыскание... Вопрос, — за что? За то, что паны когда-то владели людьми, продавали их на базаре, как скотину, проигрывали их в карты!.. Какой там выкуп?

Но тут же являлись и сомнения. Вся ли земля находится теперь в руках бывших рабовладельцев или их потомков? Сколько ее куплено и перекуплено людьми «на свои деньги»? Как быть с такою землею? О том, чтобы уничтожить самое значение денежного капитала, — тогда еще не было и речи. Все мыслили себя в том же денежно-хозяйственном строе и полагали, что в нем и останутся. По-прежнему будут покупать и продавать. По-прежнему будут стараться о собственном хозяйстве для себя и семьи, по-прежнему, может быть, — богатеть. Так почему же деньги, которые человек затратил на землю, должны пропасть, а деньги, затраченные на дом в городе, — сохраняют силу?..

Теперь, когда я пишу эти строки, большевизм ответил на этот вопрос. Он уравнил одинаково деньги во всех областях. Это последовательно: логически необходимым следующим шагом за безвозмездной экспроприацией земли должна быть экспроприация промышленного капитала и коммунизм. Большевистский порядок не останавливается перед уничтожением капитала. А так как и тут — уничтожить легче, чем создать, то мы и видим, что повсюду в России производство остановилось и на его месте зияет мертвая пустота вместо предполагаемого коммунистического рая.

Никто еще тогда не думал о полном устранении капиталистического строя во всех областях жизни.

Тогда этого еще не было в ближайших проектах даже крайних партий. Вспоминается мне по этому поводу следующий характерный эпизод. В 1905 году съехались в Петербурге журналисты со всей России, чтобы обсудить сообща положение печати, а также наметить главные линии, которых следует держаться передовой журналистике. Говорили, между прочим, и о земельном вопросе. Что землю надо экспроприровать в крупных размерах для на-

деления крестьянства, — это было общее мнение. Но — с выкупом или без выкупа? Один молодой одесский журналист горячо стоял за отчуждение без всякого выкупа. Он много говорил и о Екатерине, раздававшей земли своим любовникам, и о тех временах, когда людей проигрывали в карты и т. д. Во время довольно горячих прений кто-то сказал о том, что безвозмездная экспроприация не даст много народу. Огромное большинство земель, особенно дворянских, заложено в банках. Как же быть с земельной задолженностью? Тут горячий защитник безвозмездного отчуждения вскочил, точно его подняло пружиной:

— Держатели земельных бумаг должны быть обеспечены!

В зале раздался смех. Этот молодой человек служил в одном из одесских банков, и ему ясно представилась невозможность одним росчерком пера уничтожить задолженность земли, которая по большей части распределена в иностранных банках... Для всех было ясно, что нет оснований уничтожить значение капитала в одной только области, оставляя его во всех других.

Задумывались над этим и крестьяне, с которыми мы толковали тогда в моей гостиной. Но... в них были слишком сильны воспоминания крепостного права. Оно давно миновало, но и несправедливые и пережившие свое время дворянские привилегии не давали заглухнуть позорной памяти рабства. Сельскохозяйственная перепись 1916 года показала ⁶, что в 44 губерниях европейской России из каждых 100 десятин посева 89 десятин было посевов крестьянских и только 7 помещичьих*, а из каждых 100 лошадей, работавших в сельском хозяйстве, 93 было крестьянских и только 7 помещичьих. Таким образом, экспроприация с выкупом или безвозмездная одних помещичьих земель имеет очень маловажное значение. Это крестьянство начинало понимать, как мы видели, еще во время «грабизки», но тогда еще серьезно не заходила речь об общем «равнении». Поэтому вопрос о покупке земли еще останавливал многих.

— Ну, что ж, — решил один из крестьян во время нашей беседы, — кто купил землю за деньги, тот уже давно окупил свою затрату.

Другой вдумчиво покачал головой. Многие купили землю совсем недавно. А потом — если забирать имущество, которое вернуло первоначальные затраты, — то много ли придется оставить даже мелких владений?..

Я считал тогда, и считаю теперь, что то, что происходило в то время в небольшой приемной моей квартиры и в редакции «Полтавщины», было в маленьком виде то самое дело, которое должно было делаться по всей России. Первая Дума среди остальных вопросов поставит один из важнейших — вопрос о земле. Было известно, что кадеты уже разработали свою земельную программу. Скоро она станет предметом всенародного обсуждения, страстных споров и поправок. Пусть же вопрос станет предметом общего и гласного обсуждения на местах, пусть шаг за шагом непосредственный максимализм массы и надуманный максимализм интеллигенции начнут в этих спорах переплавляться в жизненно исполнимые государственные формы...

Но у нас не было еще привычек в пользовании свободой. Появление в газете крестьянских постановлений произвело такое впечатление, точно это был призыв к немедленным захватам и поджогам. Мне говорили, что даже такой почтенный старый земец, как покойный Квитка, был этим напуган до такой степени, что во время проезда через Полтаву одного из ревизирующих флигель-адъютантов (помнится, Пантелеева) высказал в совещании категорическое мнение, что спокойствие в нашей местности не может быть восстановлено до тех пор, пока «Полтавщина» не будет закрыта...

К этому присоединились другие события... Высшие власти не понимали, какие обязанности налагает на них новый порядок. Царь не хотел даже отказаться от самого титула, и его на ектениях провозглашали «самодержавнейшим», а местные власти хватили направо и налево людей, разъясняявших населению «новые права». Из-за этого в большом местечке Сорочинцах произошло волнение, население, возбужденное агитацией проезжего оратора, арестовало полицейских, а затем произошло столкновение, во время которого был случайно убит местный пристав с одной стороны и несколько десятков крестьян с другой. Тогда на местечко налетел член губ<ернского> совета Филонев⁷ во главе отряда казаков, и хотя население само было удручено последствиями вспышки и встретило отряд с полной покорностью, — он произвел возмутительную расправу: поставил многотысячную толпу на колени в снег, продержал ее таким образом более 4-х часов в декабрьский мороз, причем по его приказу производились избиения на крыльце волостного правления отдельных лиц и над

* Описка В. Г. Короленко. Надо: 11. (Прим. П. Я. Негретова.)

коленипреклоненной толпой свистели нагайки... Я огласил все это в газетах, требуя суда над незаконной расправой. Моя статья была перепечатана многими изданиями, но... мне пришлось уехать из города, а «Полтавщина» была закрыта... *

Земельный вопрос поставлен в 1-ой Думе. М. Я. Герценштейн

Я уже говорил выше о тех разногласиях, которые вызвал манифест 17 октября среди левых партий. Идти ли в Думу или бойкотировать ее, продолжая раздувать революционное пламя.

В конце концов проповедь бойкота не имела успеха и повела только к тому, что из всех прогрессивных партий первенствующее место в 1-ой Думе заняла «партия народной свободы», или конституционно-демократическая партия (кратко называвшаяся кадетами).

Она составила из той части свободолобивой и благожелательной к народу интеллигенции, которая слагалась давно из тех слоев просвещенного общества, которое было недовольно остановкой реформ со второй половины царствования Александра II. Целыми десятилетиями слагались ее идеи, получавшие выражение в передовой журналистике, в ученых трудах, на университетских кафедрах и в ученых обществах.

Была одна существенная черта, отделявшая общее настроение этой партии от других, более крайних левых партий. Искренне стремясь к политической свободе и признавая необходимость значительных экономических реформ в разных областях жизни, — кадеты дальше стояли от народных масс и по своему социальному положению, и по своему настроению. Их оппозиция старому строю была, в общем, спокойнее. Они меньше чувствовали, меньше представляли себе то настроение глухого отчаяния, которое накапливалось в крестьянской и рабочей массе даже в то время, когда крестьянство было еще вполне «верноподданым». Более крайние партии ощущали это живее. Они хотя и по-иному, но тоже тяжело страдали от гнета и преследований царского режима, и в них кипела та же ненависть к «правящим слоям», какая накопилась в народных массах. Это чувство их объединяло. Объединял и самый максимализм их стремлений. Социалисты-революционеры мечтали о немедленном переходе к новому земельному строю. Им казалось возможным достигнуть всего сразу. Многим социал-демократам тоже казался слишком легким переход к социалистическому строю в промышленности. Поэтому социалисты-революционеры находили более легкую почву для своей пропаганды среди крестьян, социал-демократы — среди рабочих. Кадеты не имели прямой опоры в массах.

Впрочем, было одно время, когда казалось, что кадетская партия может стать руководительницей широкого, почти общенародного движения. Это было тогда, когда в Думе обсуждались проекты земельной реформы.

Ее взгляды на земельный вопрос опирались на обстоятельные знания и на работы знатоков земельного вопроса в России. Они сводились к следующим главным положениям. Наше крестьянство давно страдает от малоземелья. Необходимо увеличить площадь его землепользования и приступить к этому немедленно законодательным путем. На этот предмет должны быть обращены земли государственные, удельные, кабинетские, монастырские и крупные частновладельческие, «отчуждаемые в нужных для этого размерах». Отчуждение производится с вознаграждением владельцев «за счет государства и по справедливой, а не рыночной цене», которая искусственно поднята крестьянским малоземельем. Все эти земли поступают в особый государственный фонд для надления малоземельных или безземельных крестьян и передаются нуждающемуся земледельческому населению на началах, сообразованных с особенностями землевладения и землепользования, привычного в различных местностях России **.

Эти общие основания были затем разработаны подробнее и частью изменены на трех партийных съездах. Многие члены кадетской партии склонялись даже к полной национализации земли ***, но основной чертой большинства кадетской партии являлось стремление

* В рукописи на последней странице этой главы имеется следующая запись на полях: «Несколько крестьянских постановлений осталось в моем портфеле ненапечатанными в память о том времени и о напрасной попытке поставить вопрос, переполненный столярными страстями, на почву гласного и серьезного обсуждения» (Прим. А. Ишинец-кого.)

** Н. Н. Черненко, «Аграрная программа партии народной свободы и ее последующая разработка» Бесплатное приложение к «Вестнику нар. свободы» за 1907 г. (Прим. В. Г. Короленко.)

*** См. Г. Ф. Шершеневич, «Аграрный вопрос», (Прим. В. Г. Короленко.)

исходить от существующего, «избегая по возможности провозглашения общих начал и отдаленных целей». Все соглашались, что государство должно стать верховным распорядителем земельной собственности и распоряжаться ею в интересах трудящегося населения. Но кадеты избегали крутой ломки бытовых привычек, приспособляя реформу и к общинным порядкам там, где существует община, и к подворному владению, где оно более привычно для населения.

Более левые партии имели в виду скорее отдаленное будущее и идеальные решения. Кадетский законопроект явился первой законодательно разработанной попыткой решения земельного вопроса, и крестьянское представительство первой Думы в большинстве оказалось на его стороне.

Понятно, какой огромный интерес и какие взрывы страстей вспыхивали в думской зале всякий раз, когда на очередь ставился этот вопрос. Представители правительства решительно выступали против, а так называемые зубры, т. е. представители консервативного дворянства, доходили до прямого неистовства. Этому особенно способствовало то обстоятельство, что в центре разработки и защиты кадетского проекта стоял проф. Михаил Яковлевич Герценштейн.

Я хорошо знал этого интересного человека. Ученый-финансист по специальности, он давно готовился к кафедре, и Московский университет предложил ему приват-доцентуру тотчас по окончании им курса. Но правительство упорно не допускало его к кафедре. Он был еврей по происхождению, и притом «неблагонадежный в политическом отношении»; по этим двум причинам кафедра была для него закрыта вплоть до 1905 года. Он писал по своей специальности, а для заработка поступил в один из частных банков. Это дало ему возможность приглядеться к самой черной практике того самого дела, которое он до тех пор изучал теоретически. Он превосходно ознакомился с закулисной стороной земельной и банковской политики, которую вело тогдашнее Министерство финансов, вынужденное считаться с взглядами монархов и с безграничными претензиями крупного дворянства.

Это последнее обстоятельство придавало его речам в Думе совершенно исключительный вес и значение. Его противники сразу почувствовали в нем человека, отлично понимавшего все детали финансово-земельной политики самодержавия, все вождедения «первенствующего сословия» и казенное попустительство этим вождедениям за счет всего народа. Поэтому каждый раз как он появлялся на думской кафедре, — думскую залу охватывало вихрем особое оживление. Упрека в теоретичности этому теоретику сделать было невозможно. С иронической улыбкой на необыкновенно тонком и умном лице — он умел показать, что «практика» известна ему не хуже, а может быть, даже лучше, чем его противникам. И эта ироническая манера вызывала среди «зубров» взрывы настоящего бешенства. Крестьянские депутаты, наоборот, сразу признали в нем своего руководителя и союзника. Каждый раз, когда под гром аплодисментов правых сходил с кафедры кто-нибудь из министров или какой-нибудь правый депутат, возражавшие против «принудительного отчуждения», — крестьяне принимались кричать:

— Герценштейн! Герценштейн!..

Это значило, что очередь речей должна быть нарушена, и кто-нибудь из ораторов левой стороны уступал слово Герценштейну. На кафедре появлялось типичное худощавое лицо с торчавшими врозь ушами и с одухотворенными тонкими чертами. На губах Герценштейна играла неизменная ироническая улыбка, и выразительные светлые глаза твердо и насмешливо смотрели сквозь золотые очки.

Кругом кафедры начинался точно морской прибор. «Зубры» потрясали кулаками и ругались, порой даже не только не парламентарски, но и непечатно. На левой стороне, особенно среди крестьян, раздавался радостный смех и крики одобрения...

Помню одно из таких заседаний, имевшее для Герценштейна роковое значение. На очереди опять стоял земельный вопрос. Опять крестьяне кричали: «Герценштейн, Герценштейн!» — и опять на взволнованную толпу депутатов с кафедры взглянули сквозь золотые очки умные глаза ученого-практика. Он доказывал неизбежность и разумность коренной земельной реформы в интересах большинства народа, в интересах процветания государства, в интересах, наконец, того самого «успокоения», о котором так много говорится и с правых, и с министерских скамей...

— Неужели господам дворянам, — прибавил он все с той же тонкой улыбкой, — более нравится то стихийное, что уже с такой силой прорывается повсюду?.. Неужели планомерной и необходимой государственной реформе вы предпочитаете те иллюминации, которые теперь вам устраивают в виде поджогов ваших скирд и усадеб? Не лучше ли разрешить наконец в государственном смысле этот больной и нескончаемый вопрос?..

Это была только горькая правда. Я в тот год летом жил в своей деревенской усадьбе и отлично помню, как каждый вечер с горки, на которой стоит моя дачка, кругом по всему горизонту виднелись огненные столбы... Одни ближе и ярче, другие дальше и чуть заметные, — столбы эти вспыхивали, поднимались к ночному небу, стояли некоторое время на горизонте, потом начинали таять, тихо угасали, а в разных местах, далеко или близко, в таком же многозначительном безмолвии поднимались другие. Одни разгорались быстрее и быстрее угасали. Это значило, что горят скирды или стога... Другие вспыхивали не сразу и держались дольше. Это, значит, загорались строения... Каждая ночь неизменно несла с собой эту зловещую «иллюминацию». И было поэтому совершенно естественно со стороны Герценштейна противопоставить государственную земельную реформу, хотя она и разрушала фикцию о «первенствующем сословии», этим ночным факелам, так мрачно освещавшим истинное положение земельного вопроса...

Да, это была правда. Но, во-первых, она была слишком горька, а во-вторых, это говорил Герценштейн, человек с типично еврейским лицом и насмешливой манерой. Трудно представить себе ту бурю гнева, которая разразилась при этих словах на правых скамьях. Слышался буквально какой-то рев. Над головами подымались сжатые кулаки, прорывались ругательства, к оратору кидались с угрозами, между тем как на левой стороне ему аплодировали крестьяне, представители рабочих, интеллигенция и представители прогрессивного земского дворянства. А Герценштейн продолжал смотреть на эту бурю с высоты кафедры с улыбкой ученого, наблюдающего любопытное явление из области, подлежащей его изучению...

Но он не оценил достаточно силу этого бессилия. Я знал и любил этого человека, и мне, при виде этого кипения лично задетых им чувств и интересов, становилось жутко. Ретроградные газеты пустили сейчас же клевету, будто Герценштейн советовал крестьянам «почаще устраивать помещикам иллюминации», и эта клевета долго связывалась с именем Герценштейна.

Первая Дума была распущена. Она серьезно хотела настоящего ограничения самодержавия, во-1-х, и, во-2-х, она стремилась к действительному решению земельного вопроса... А самодержавию показалось, что оно сможет ограничиться одной видимостью, без сущности конституционного правления и без земельной реформы. Кадеты решили после роспуска прибегнуть к английской форме общенародного протеста и в Выборге они выпустили воззвание об отказе от уплаты податей и исполнения повинностей. Народ не шлохнулся.

Герценштейн тоже был в Выборге и подписал Выборгское воззвание. Не успел он еще уехать из Финляндии, как на берегу моря, во время мирной прогулки с семьей, его поразила пуля наемного убийцы. Пройдя через его грудь, — пуля застряла затем в плече его маленькой дочери.

Правительство покрыло это убийство явным беззаконием, и главные его вдохновители остались безнаказанными.

Через два года после трагической смерти Герценштейна мне пришлось ехать по дороге к Троице-Сергиевой лавре. Дорога эта особенная. Особенности вагоны, особенная публика. Чудится, будто даже воздух в этих вагонах пропах ладаном. На одной из близких к монастырю станций я вышел, чтобы ехать к сестре, жившей тогда на даче под Троицей. Дача эта — небольшой домик в лесу — принадлежала покойному Герценштейну. Когда я назвал это место, мой возница, местный крестьянин тоже с каким-то подмонастырским отпечатком, тотчас же заговорил о Герценштейне. Оказалось, что это имя здесь очень популярно и упоминается с благодарностью. Герценштейн обычно жил в Москве и часто приезжал сюда. Помимо хороших личных отношений, — местное население знало его работу в Думе.

— Знали, подлецы, кого убивали, — говорил этот крестьянин. — Даром, что родом был еврей, а о православном народе вот как старался.

Такие отзывы можно было слышать и в других местах. Тогда кадетская программа земельной реформы могла еще рассчитывать на сочувствие широких кругов крестьянства. Трудно представить себе, что было бы, если бы в то время указания народных представителей были приняты и в промежутках между первой Думой и великой европейской войной — реформа в течение десятка лет уже проводилась в жизнь и давняя мечта о земле начала осуществляться... Но — «правительства гибнут от лжи», — сказал когда-то английский историк Карлейль. А русская конституция с самого начала была ложным обещанием самодержавия.

Впечатление крестьянских выборов

Итак, первая Дума совершенно обманула наивные ожидания самодержавия, рассчитывавшего отделаться только обещаниями. При этом оно особенно рассчитывало на крестьян и на царившую когда-то среди них царскую легенду... Но и представители крестьян пошли за кадетами, рукоплескали обличительным речам левых депутатов и во время прений по земельному вопросу кричали: «Герценштейн, Герценштейн!» Поэтому после роспуска 1-ой Думы выборный закон был изменен, а крестьянское представительство сильно сокращено.

В первых выборах я участия не принимал, так как был в это время под судом по литературному делу. Ко времени выборов во 2-ую Думу дело это закончилось амнистией, и я получил выборные права. Мне пришлось осуществлять их в городе Полтаве и в Миргородском уезде, где у меня есть усадьба.

С большим интересом я отправился сначала в большое село Шишак, где должны были состояться сельские выборы. Впечатление было неопределенное и смутное. Прежде всего руководство выборами не только формально, но и по существу находилось в руках земского начальника и администрации. Привычка к слепому повиновению была еще слишком сильна в сельском населении. Средняя крестьянская масса уже охотно слушала оппозиционные речи, но влиятельных оппозиционных групп в деревне почти не было и действовали они не открыто. Мои местные знакомые сначала были уверены в успехе: черная сотня и крупное дворянство будут побиты. Но уже в зале волостного правления эти надежды рассеялись. Когда один из моих знакомых обратился к одному выборщику, на сознательность которого рассчитывал, — «неужели вы подадите голос за такого-то?» — тот ответил простодушно:

— Нельзя иначе! За него очень стоит начальство...

Присматриваясь к выборной публике, я заметил на скамье в углу седого старика очень почтенного вида. На лице его было выражение какой-то торжественной грусти. Я подсел к нему и стал расспрашивать, что он думает о происходящем. Он не был из богачей, а только рядовой крестьянин, но о происходящем думал только печальные думы. Прежде было так: люди знали, что надо верить в Бога и повиноваться царю... А теперь...

Он скорбно махнул рукой. К нам присоединилось еще два-три таких старика, и полились такие же речи. Я чувствовал, что настроение этих стариков непосредственно, искренне и твердо. Новое казалось еще неустоявшимся и смутным.

Во время самых выборов, когда стали вызывать к ящикам, была выкрикнута еврейская фамилия... Я почувствовал, что кто-то толкнул меня в бок. Рядом со мной стоял молодой крестьянин, высокий, худой, крепкий, но, видимо, сложившийся под тяжестью тяжелого труда с самого детства. Это был казак-хуторянин, представитель самой богатой, но и самой консервативной части населения. На его рябом лице маленькие живые глазки сверкали раздражением, любопытством и почти испугом.

— Жид... Ей-Богу, жид! Да разве и ему можно?

Я объяснил, что никто из полноправных обывателей не лишен избирательных прав. Он слушал с недоверием и изумлением. Потом он отошел от меня и стал толкаться среди народа, тыча пальцем в еврея и в меня. И я видел, что его чувства находят отклик среди других. Я невольно думал, — что могут дать эти выборы, где еще столько непонимания, темноты и слепого повиновения.

И действительно результаты их были неопределенны. Прошли несколько «сознательных», но наряду с ними прошло еще больше ставленников земского начальника. И, наверное, за тех и за других часто голосовали одни и те же люди.

Выборщики стали съезжаться в Полтаву. Предназначения для прогрессивных партий были плохие, и нам казалось сначала, что выборы будут сплошь черносотенными. Через некоторое время выяснилось, однако, что надежда у нас есть. Между прочим, из Лохвицы приехала тесно сплоченная группа передовых земцев и довольно сознательных крестьян, настроенных прогрессивно. Ядро у нас составили кадеты, но к нам же примыкали и социал-демократы. Социал-демократы были настроены против кадет, лохвичане — против социал-демократов, но только блок мог спасти прогрессивную партию. Поневолле пришлось идти на компромисс. От крестьян был, между прочим, выборщиком харьковский студент Поддубный, исключенный из университета и более года занимавшийся в своей деревне сельским хозяйством. Это давало ему тогда выборные права. Он принадлежал к социал-демократической партии, и лохвичане наконец согласились отдать ему голоса, не как социал-демократу, а как крестьянину. А за то социал-демократы согласились голосовать за наш список.

Еще более трудностей предстояло нам с выборщиками-крестьянами. В их психологии была особенная черта. Перспектива быть выбранному самому, связанный с этим почет и особенно депутатское жалованье в три тысячи оказывали на них неотразимое обаяние. На сбережения от жалованья можно ведь сразу поставить хозяйство. И вот почти каждый из них явился на выборы с тайной надеждой лично попасть в депутаты. С мечтой о депутатстве каждый расставался трудно и со вздохами, и нам стоило больших усилий добиться сокращения списка. Нам много содействовали в этом социалист-крестьянин и один очень хороший священник. В конце концов соглашение достигнуто, список сокращен, и тогда оказалось, что если мы выдержим это соглашение, то — большинство за нами обеспечено.

Тогда администрация пошла на крайнее средство. В самый день выборов комиссия собралась чуть не в 6 часов утра, и — еще несколько наших выборщиков были устранены, в том числе студент и священник. Последнего призвал к себе тогдашний архиерей и потребовал, чтобы он немедленно уезжал в приход. Священник со слезами рассказал нам об этом. Но у него была большая семья, он боялся лишиться прихода и... повиновался.

Это были ходы явно незаконные. Устраняемые не имели времени для обжалования, но удар был рассчитан метко. Наш блок, заключенный с таким трудом, сразу рассыпался: крестьяне не выдержали. Наивные личные вождения выступили вперед, покрыв общее дело. Почтенные селяне-выборщики разбились на кучки и стали шептаться: «Ты выбирай меня, я стану выбирать тебя»... При вызовах к урнам почти никто из них не отказывался. Получали смешное число голосов, порой вызывавшее злорадный смех противников, но все-таки угрюмо, безнадежно, со стыдом шли на баллотировку и проваливались. Соблазн был слишком велик, сознание общих интересов слишком ничтожно.

Другая сторона, наоборот, сплотилась образцово. Администрация употребила все свое влияние на массы, и это влияние было еще очень значительно. Когда выборщики отправлялись в город, то кое-где священники приводили их к присяге, что они будут непременно баллотировать за принятый список. В городе старались поместить их на особых квартирах, куда ежедневно доставлялась им местная черносотенная газета, не останавливавшаяся ни перед какой клеветой, чтобы очернить кандидатов прогрессивного блока. Кое-кто из этих выборщиков, приехав в город, уже спохватился, что попал он в ненадлежащую для крестьянина компанию...

— Я уж вижу и сам,— отвечал один такой выборщик моему знакомому на его убеждения.— Присяга, ничего не поделаешь.

В первый же день мы провалились. Заметное число голосов получил только я и Г. Е. Старицкий⁸. Поражение нашего блока было очевидное и самое жалкое. И его причиной была измена наших крестьянских выборщиков.

Деревня посылает черносотенных депутатов

Под конец этого первого выборного дня я сидел один в отдаленном конце дворянского собрания, где происходили выборы. Мысли мои были печальны. На наших собраниях мы тщательно разъясняли крестьянам, что только поддерживая прогрессивные партии, они могут рассчитывать на земельную реформу. Но масса была так еще темна и так узко своекорыстна, что даже очевидный общий интерес не мог сплотить ее.

В это время рядом со мной сел один из выборщиков другой стороны. Это был человек деревенский, коренастая фигура, одетая в городской костюм, широчайшую черную пару. Очевидно, только для парада. Мне показалось, что он с каким-то своеобразным участием посмотрел на меня и заговорил о погоде и о необходимости скорее кончить выборы. Это был, очевидно, хлебороб из того зажиточного деревенского слоя, который еще так недавно имел влияние в деревне. К нему вскоре подсел другой, такого же типа, только еще попроще: на нем был уже прямо деревенский костюм. Я подумал, что именно люди этого типа, может быть, стояли во главе противупомещичьего движения. Теперь они придали силу блоку правых дворян и черной сотни (у нас октябристы и крайние консерваторы выступали вместе).

— Вот это господин Короленко... тот самый, что пишет, — сказал тот, что подсел ко мне первый.

— Знаю, — сказал второй, кланяясь и подавая мне руку.

— Что же именно вы знаете? — сказал я, улыбаясь и думая, что они знают меня по местной репутации. — Не то ли, что это я учу крестьян поджигать помещичьи скирды и резать ноги экономической скотине?

— Нет... Этого мы не знаем.

— Это каждый день пишут для вас в «Вестнике».

— Ну, это брехня... Мало ли, что пишут. Мы читали другое, — сказал первый.

Они были знакомы с моими статьями в «Полтавщине», с брошюрой «Сорочинская трагедия» и с «Письмами к жителю городской окраины». К моему удивлению, к этой моей литературной деятельности они относились с сочувствием.

— Почему же вы теперь голосуете с черной сотней? — спросил я.

По лицу первого моего собеседника прошла как будто тень. Я узнал впоследствии, что его дети учатся в гимназиях и в высших учебных заведениях и теперь, быть может, от этой своей молодежи он слышит тот же вопрос.

— Надоело уже, — сказал он угрюмо.

— То-то вот и оно, — подхватил второй, — что надочучило. Грабежи пошли, разбойство... Дед у деда суму рад вырвать. Если это такие новые права, — то Бог с ними!

— Да, — сказал другой. — Прокинешься ночью и слушаешь: может, какой добрый сосед уже клуно подпаливает... Потом, г-н Короленко, — возьмите то: кричат поравнять землю! А вы знаете, как иному земля доставалась? Мы не помещичьи дети, не богатое наследство получали от батьков... Каждый клочок земли отцы и деды горбом доставали. И дети тоже с ранних лет недоспят, недоедят... Все в работе. Одна заря в поле гонит, с другой возвращаются... А теперь кричат: поравнять! Отдай трудовую землю какому-нибудь лентяю, который, что у него и было, пропил.

Я знал, что это правда. Эти хлебоборы-собственники, особенно из казаков, — настоящие подвижники земельной собственности. Многие из них живут хуже рядовых крестьян, откладывая каждую копейку на покупку земли. Ко мне одно время возил деревенские припасы один довольно жалкий на вид старик. Он был одет, как нищий, но я потом узнал, что это деревенский богач. Вся семья питается ужасно, детям не дают ни масла, ни яиц, все идет на продажу... Детей даже не отдают в школу. И все для того, чтобы прикупить лишний клочок земли.

Между тем крылатое слово, кинутое в 1902 году на кочубеевской усадьбе, теперь росло и ширилось. Лозунг «поравнять» уже гулял в деревне. Я как-то приводил в «Русском Богатстве» свой разговор с крестьянином. Он спрашивал моего совета: можно ли «по новым правам» покупать землю: у него с братом 9 десятин на двух. Они хотят прикупить еще три. Значит, придется по 6 десятин на душу. А может, по равнению это выйдет много, так могут отнять... Не пропали бы даром деньги.

Понятно, с каким испугом и враждой должны были эти люди относиться к стихийному движению, которое уже тогда сказывалось в деревне. Я видел, что мои собеседники люди разумные и сравнительно даже просвещенные, и я спросил, слышали ли они о проектах первоумской земельной реформы.

— Читали кое-что, — сдержанно ответили они.

— Ну, а что вы думаете? Если все останется по-старому, если у ваших безземельных соседей по-прежнему будут плакать голодные дети, — будете ли вы спать спокойно в своих коморах? Впрочем, — закончил я, вставая, — дело ваше... Но если вы хотите знать мое мнение, то я вам скажу... Россия загорается. Первая Дума хотела сделать многое, чтобы потушить пожар и указать людям выход. А вы теперь в этот пожар подкинули еще охапку черносотенного хворосту.

Я попрощался и отошел в сторону, где происходил счет шаров. Наши противники продолжали торжествовать. Консервативные дворяне и священники, известные черносотенной пропагандой, ходили с гордо поднятыми головами, за них было много крестьянских голосов. А наши кандидаты все так же позорно проваливались, и проваливали их тоже крестьяне.

Мои собеседники остались на том же месте, подозвав к себе еще некоторых других, уже положивших шары. В этой кучке шел какой-то оживленный разговор. Через некоторое время ко мне подошел один мой знакомый и сказал:

— Сейчас ко мне подошли вот эти два выборщика и сказали: мы видели, что вы знакомы с Короленком. Скажите ему, если он будет перебаллотировываться завтра, — то у него будет 4 лишних голоса.

Я баллотировался, и действительно к 78 голосам, которые я получил в первый день, прибавилось как раз 4. Это было абсолютное большинство. Но в эту ночь наши противники приняли самые экстремные меры, привезли на тройках еще несколько своих выборщиков, и я попал только в кандидаты.

Вторая Дума оказалась уже совершенно покорной, и земельная реформа была похоронена.

Вскоре после выборов мне пришлось быть в камере одного из полтавских нотариусов. Невдалеке от меня сидел, тоже дожидаясь очереди, старенький помещик с благодушным лицом и круглыми птичьими глазами. К нему подошел другой помоложе, и у них начался разговор о выборах.

— Все вышло очень хорошо,—говорил старик.—Прошли почти все наши... Теперь бояться нечего. Вторая Дума наша.

— Да-да,—подтвердил младший, кидая взгляд в мою сторону. — Теперь разным Герценштейнам не дадут ходу.

Впоследствии я часто вспоминал этот разговор. Я не знаю фамилии ни этого благодушного старика, ни его совсем уже неблагодушного собеседника. Где-то они теперь и находят ли по-прежнему, что Россия в тот момент более всего нуждалась в устранении Герценштейнов и их проектов государственного решения земельного вопроса...

Что было бы теперь, если бы в течение 14 лет, со времени японской войны, уже проводилась планомерная земельная реформа? Но состав последующих Дум был далек от этих забот, а крестьянство, благодаря разным «разумным мерам», посылало в Думы в большинстве черносотенных депутатов.

Несколько мыслей о революции

Прошло еще несколько лет. Разразилась великая европейская война, в которую Россия была втянута роковым образом. Потом произошла российская революция.

Вскоре после начала войны я вернулся из-за границы, больной и усталый от большой работы. Я не мог принимать в событиях деятельного участия, но по-прежнему интересовался ими. И вопрос о земле казался мне по-прежнему одним из главнейших.

Отчего в самом деле пала романовская монархия, и главное—отчего она пала так легко, без признаков серьезного сопротивления? Те самые полки, которые в 1905 году во имя самодержавия залили кровью Москву,—теперь в Петербурге произвели военную демонстрацию против самодержавия и — трехсотлетней монархии не стало. Вся Россия от нее отступилась сразу.

Дело в том, что солдат — тот же крестьянин. Просвещенные классы уже давно не верили в самодержавие. Рабочий класс — тоже изверился с кровавого 9 января 1905 года. Но самодержавие продолжало держаться на темноте земледельческого народа и на легенде о непрестанной царской милости. Образ царей в представлении крестьянина не имел ничего общего с действительностью. Это был мифический образ могучего, почти сверхчеловеческого существа, непрестанно думающего о благе народа и готового наделить его «собственной землей». Начиная со второй половины царствования Александра II цари только и делали, что разрушали эту легенду. «Ничего вам не будет,—слушайте своих помещиков и предводителей дворянства»,—говорили цари идеализирующему их народу... Народ долго не верил, считая, что эти голоса «с высоты престола»—подделка начальства и господ, а настоящий царь продолжает думать все ту же думу. Но наконец пришлось поверить. Легенда пала. Пришла трудная минута, и вместе с легендой пало самодержавие. Нельзя сказать, что свалило его крестьянство. Его низвергло только отсутствие привычной поддержки преданного прежде крестьянства...

В светлое летнее утро 1917 года я ехал в одноконной тележке по деревенскому проселку между своей усадьбой и большим селом К.⁹. Старик возница сельской почты развлекал меня разговорами, рассказывая по-своему историю происхождения крепостного права. По его словам, это вышло очень просто: во время войны России с другими державами — турком, немцем, французом — оставалось много солдатских сирот. Помещики брали их себе якобы на воспитание. Когда эти сироты вырастали, то помещики обращали их в своих рабов. Они размножились, и вот откуда явились крепостные. А то — прежде все были свободные. Я попробовал сообщить ему менее простые взгляды на историю этого института, но он упорно утвердился на своем. Объяснение было нелепо, но имело два преимущества перед моим. Оно было проще, во-первых, а во-вторых, проникнуто враждой к помещикам. А вражда разливалась всюду.

Первый радостный период революции прошел, и теперь всюду уже кипел раздор. Им были проникнуты и отношения друг к другу разных слоев деревенского населения.

Я ехал по вызову жителей большого села, чтобы высказать свое мнение о происходящем. Я уже упоминал выше о «Сорочинской трагедии». Я много писал об этой карательной экспедиции чиновника Филонова, меня за мои статьи держали почти год под следствием, брошюра моя ходила по рукам, и это доставило мне некоторую местную известность.

Поэтому мои соседи хотели теперь знать мое мнение о происходящих событиях, и я не считал себя вправе уклониться от ответа.

Теперь я ехал и думал, что скажу этим людям.

Им нужна земля, и они (большинство) ждут, конечно, что я, человек, доказавший свое благорасположение к простому народу, еще раз повторю то, что они уже много раз слышали за это время,— земля вся теперь принадлежит им; стоит только захватить ее, чтобы всех «поравнять»... Но читатель этой книги уже знает, что я не верил ни в возможность такого равенства захватом, ни в «грабижку», на которую грозила уже сойти аграрная реформа революции...

Одни своекорыстные страсти не должны руководить крупными переворотами. Задолго до того, как вспыхнет революция,— всегда являются в обществе ее предвестники. Являются они прежде всего в тех самых просвещенных классах, которые могли бы еще долго пользоваться существующей неправдой. Но среди них развивается все больше оппозиционная литература, в умах их мыслителей зарождаются новые идеи, в совести чутких людей растет беспокойство. Это значит, что общественная совесть перестает мириться с существующей неправдой.

Так было перед Великой французской революцией. Так было и у нас. Задолго до того, как народ потерял веру в царскую легенду, уже являлись Астыревы и многие другие, которые отдавали жизнь за ничего об этом не знавший народ.

Что же это значит? Это значит, что перед большой общественной бурей, называемой революцией,— взмечтаются первые ее порывы в людских умах и совестях. И эти первые порывы возникают не из чувства корысти, не из алчности, а из сознания правды, с которой уже далеко разошелся данный строй.

Но этого сознания правды недостаточно. После того как она уже осознана отдельными умами или даже широкими группами,— старый строй может долго держаться силой темноты несознательных классов и силой штыков. Те же солдаты, которые теперь свалили трон,— долго помогали ловить и высылать в Сибирь людей вроде народников и марксистов, которые по-своему жертвовали за интересы крестьян и рабочих спокойной жизнью и карьерой. Кроме нравственной проповеди, для борьбы с неправдой нужна еще сила, даваемая массами. А широкие слои преимущественно движатся интересами, т. е. сознанием выгоды и себялюбия. Только тогда, когда большинство народа приходит к сознанию, что их страдания могут прекратиться с падением данного строя,— наступает революция и строй действительно падает.

Что же важнее,— себялюбивые интересы или сознание вечной правды, стремление к выгоде или стремление человеческой души к добру и справедливости?

Для плотворного переворота необходимо присутствие обоих этих начал, как для восходящего теста необходимо много муки и небольшое зернышко дрожжей. Муки много, дрожжей щепотка, но без них тесто взойти не может.

С одними чувствами себялюбия и корысти, побуждающими неимущего захватить то, что имеет более счастливый сосед,— выходит только «грабижка», а не революция. Среди вихрей, порождаемых разнуздавшимися страстями, необходимо руководство начал высшего сознания и высшей нравственности. Как путеводная звезда в бурном океане или библейский огненный столп, указывавший евреям путь в пустыне,— начала высшей нравственности должны светить и на бездорожьях революции. Для всех верующих — это лучшие заветы человечности, которым учит их вера, для убежденных — это широкие нравственные основы, которые дает убеждение. Без этого революция сворачивает на бездорожья и часто возвращается к прошлому с его старыми злоупотреблениями, заменив одних притеснителей другими. А большинство страдает по-прежнему...

Многие считают, что революция отменяет все существующие законы нравственности и правды, забывая, что, наоборот, революция имеет целью только развить их дальше.

Где же искать справедливости во время переворота, когда человеческие страсти бушуют на свободе? Эта мера — в общем сознании. Все или огромное большинство народа уже сознали несправедливость произвола и необходимость участия народа в управлении своими судьбами. Самодержавие не хотело понять этого и оттого пало так легко. Многие народы уже устроили у себя народовластие, и нам нетрудно завести его по этому опыту наших соседей.

Но, конечно, зло нашей жизни не ограничивалось одним произволом самодержавного строя. Великое зло также в неравенстве труда и распределения. Одни много работают и

мало имеют. Другие много имеют и работают мало или и совсем не работают. Социализм старается упразднить эту несправедливость. Но как устроить, чтобы всюду сразу стало иначе, — никто еще не знает. Поэтому даже в странах с более развитой промышленностью социалисты составляют меньшинство, несмотря на то, что уже около столетия лучшие умы Европы придумывают новые формы организации труда и обмена. Коммунистические опыты Фурье, Сен-Симона, Кабе — не привели ни к чему, и европейский социализм отказался создавать вперед готовые новые формы, полагаясь на течение самой жизни, в которой на почве самодеятельности и свободы эти формы должны возникать и вырабатываться из существующих организаций.

Что же говорить о России! Социалистические идеи захватили еще только незначительное меньшинство рабочего класса, который сам составляет незначительное меньшинство всего народа. Ясно, что социалистического переворота Россия тем более еще совершить не может. Всякая попытка меньшинства навязать силой свои понятия огромному большинству народа — была бы смертным грехом против самого духа революции, который по самому существу своему необходимо предполагает свободу, а не насилие меньшинства над большинством. Государство может поэтому регулировать для общей пользы трудящегося народа те или другие виды собственности, но упразднить ее сразу каким-нибудь декретом ни в городе, ни в деревне нельзя.

Государство должно быть последовательно. Упразднить собственность в одной только области жизни, оставив ее во всех других, — это было бы похоже на попытку выкопать яму на поверхности труда. Сколько ни копайте — вода зальет яму. Так и вся жизнь, основанная пока на началах собственности, — зальет и сровняет с собою иные порядки в одной какой-нибудь области. Впоследствии большевизм, понимая это и желая остаться последовательным, попытался сразу упразднить собственность одинаково в городе и деревне, в земледелии и промышленности. И мы видим, что из этого вышло: промышленная жизнь великой страны вместо того, чтобы идти успешнее, останавливается и замирает...

Да, государство не может идти на партийные опыты, не рискуя завязнуть в бесконечных колебаниях и замешательствах. В прекрасной работе М. В. Рклицкого (полтавского статистика и писателя) говорится, что в Полтавской губернии 82 тысячи хозяйств мелких собственников, крестьян и казаков, которые подлежали бы уравнительному разделу, и 166 тысяч хозяйств безземельных или малоземельных, ждущих дополнительного надела для «равнения». Если, не ограничиваясь государственными и другими категориями земель, которыми государство могло бы располагать для безвозмездного отчуждения, причислить и эти 82 тысячи хозяйств к числу подлежащих безвозмездному отчуждению, то получится отношение одного к двум. То есть две трети всего крестьянства будут стоять как враги против третьей его части. А если прибавить, что эта третья часть состоит из людей наиболее деятельных и энергичных, часто личным трудом и путем тяжких лишений наживавших эту землю, то легко понять, какую бурю может вызвать такая попытка безвозмездного отнятия.

Понятие об этом не чуждо и самому крестьянству.

На крестьянском съезде в Москве¹⁰ один из крестьян сказал прямо, что за землю придется непременно заплатить, если не деньгами, то кровью. Лучше и дешевле будет заплатить деньгами, чем кровью.

Съезд крестьян тогда не согласился с этим мнением. Почему? Потому ли, что в умах этих людей уже стоял ясно более справедливый социалистический строй, в котором всюду будет упразднена собственность, или только потому, что революция подняла не сознание справедливости, равной для всех, а только классовую ненависть и стремление к захватам?

Едва ли можно колебаться в ответе. Слепые страсти в то время уже кипели всюду, и долго искавшее правильного исхода стремление к земельной реформе уже вырождалось в стихийный захват. Иначе нельзя назвать того, что тогда происходило. Захваты совершались без представления об общенародной собственности и общенародном благе. Они происходили так же, как в 1902 году, под действием личных и самое большее классовых корыстных побуждений, — и можно было ждать, что они когда-нибудь кончатся так же, как в 1902 году... Обстоятельства легко могут перемениться, и захваты, не освященные высшим сознанием общего права, не скрепленные санкцией обновленного государства, — вызовут только месть другой стороны. И в этой борьбе своекорыстных классовых интересов утонет самая идея справедливой революции.

С такими мыслями и при таких обстоятельствах я ехал летним утром 1917 года из своей усадьбы в село К., где селяне захотели услышать мое мнение...

На сельском сходе

Я не оратор, а писатель, то есть исследователь и наблюдатель жизни. Когда наступила моя очередь сказать свое слово, то эта тысячная толпа, уставившаяся на меня с пытливым ожиданием, вызывала во мне двойственное чувство: желание убедить ее и — любопытство. Мне хотелось не только говорить самому, но и узнать многое от нее и о ней.

Поэтому, говоря сначала о причинах крушения самодержавия, я пытливо всматривался в лица, стараясь определить по их выражению, как относится эта толпа, так еще недавно находившаяся во власти царской легенды, к осуждению недавнего кумира. Тогда многие говорили, что и теперь прежние монархические чувства живы еще в крестьянстве.

Но нет. Слушали просто с сочувственным вниманием. Даже типические лица стариков, вроде тех, с которыми я беседовал во время сельских выборов, были теперь угрюмо спокойны. Очевидно, и они осуждали если не весь монархический строй, то несчастного слабого человека, который успел так уронить и унижить этот строй. А самодержавная легенда только и держалась на мысли о сверхчеловеческом могуществе всякого монарха.

С этим можно было считать поконченным. Я перешел к вопросу о земле, предупредив, что теперь мне придется говорить многое, что, быть может, покажется неприятным. И я изложил насколько мог понятнее все то, с чем читатели этой книги уже знакомы по предыдущему изложению. Я решил при этом, что буду по возможности краток, предоставляя дальнейшее общей беседе с толпой. Я обрисовал трудное положение нашего отечества. Враг тогда еще рвался в наши пределы. А после его отражения предстоит трудная работа по устройению новой жизни. Одна из важнейших задач — устройство земельных отношений. Кто думает, что это дело легкое, что тут все дело в том, чтобы просто отнять земли у одних и отдать их другим, — тот сильно ошибается. Мало дать нуждающемуся землю. Нужно еще обеспечить возможность работать на ней, снабдить инвентарем. Государству, уже разоренному войной, нужно создавать целую систему кредита. Вообще придется прибегнуть к большому напряжению сил и средств всего народа. А это поведет к необходимости платить, если не прежним владельцам, то государству. Нельзя также отнимать землю безвозмездно, потому что это будет нарушение принятой еще для всех справедливости.

Уже в начале этой части моей речи я видел, что настроение толпы меняется. Почувствовалось глухое волнение. В задних рядах слышался шум, а по временам выносились отдельные восклицания. Это было как раз то, что меня интересовало всего более, и мне захотелось, закончив поскорее свою речь, вступить в прямой обмен мыслей именно с этой волнующейся частью толпы.

Но, когда я замолчал, начались «официальные» возражения со стороны профессиональных ораторов, взявших на себя постоянное руководство мнениями этой толпы и «углубления» в ней революционного настроения... Их было двое. Один — какой-то приезжий в Сорочинцы мелкий артист, другой — солдат. Речь первого была очень бессвязна, мало относилась к делу, но шла гладко и изобиловала теми дешевыми эффектами, которыми в то время, да и теперь, так легко брать эту толпу. Тут опять была неизменная Екатерина, дарившая людей своим любовникам, были помещики, менявшие людей на гончих собак, были грабители чиновники. Из его негодующей речи выходило как будто так, что я защищаю именно Екатерину и прежних крепостников-помещиков или грабителей-чиновников. Речь эту он, очевидно, с успехом повторял в разных местах и при разных случаях, и теперь она тоже имела успех. То и дело у слушателей вырывались шумные и одобрительные восклицания. Но при этом оратор сделал ошибку. Одним из эффектных мест его речи было напоминание о Филонове и его карательной экспедиции. Место это многим напомнило этот эпизод, в котором я был населению ближе, чем этот пришлый оратор...

Другой оратор, солдат, говорил без таких дешевых эффектов, просто и очень страстно. Когда он встал на стол, с которого мы обращались к толпе, то я заметил, что он дрожит весь мелкой дрожью. Он энергично заявил, что то, что я говорил о земле, им не надобно. И было видно, что толпа разделяет это мнение. Большинству ее мои мысли казались нежелательными и ненужными. А она уже привыкла, что к ней обращаются только с ластивыми и приятными большинству словами. Лесть любят не одни монархи, но и «самодержавный народ», а от лжи погибают не одни правительства, но и революции.

Официальная часть митинга закончилась. В этот день праздновалась память Шевченка. Оратор-артист тотчас же наладил хор, спели несколько номеров и затем пошли с портретом Шевченка обходить село. Часть толпы двинулась за ними, но многие остались. Я тоже остался, стал в центре у того же стола и обратился к тем из толпы, кто всего явственнее выражал недовольство моей речью.

Таких было не мало. Еще и теперь я слышал возбужденные восклицания. Говорили, что я «подослан помещиками», а какая-то женщина, по-видимому, болезненная и истеричная, протискалась ко мне и произнесла довольно грубую и диничную фразу. Я давно заметил, что это у крестьянских женщин, не потерянных и не пьяных, служит признаком крайнего озлобления... Но ее тотчас же увели, а по поводу «подсыла помещиками» послышались возражения.

Наметив в толпе кучку, которая казалась особенно возбужденной, я прямо обратился к ней и сказал, что я явился не только затем, чтобы говорить, но также и затем, чтобы слушать, и попросил этих людей подойти и высказать откровенно то, что они хотят выразить.

Сначала проявилось некоторое замешательство. Крестьяне не привыкли к таким вызовам, вернее — они привыкли на основании опыта к их обычным последствиям. Сначала от меня шарахнулись назад, но потом увидели, что роли теперь переменялись и мне, человеку в городском костюме, высказывать мои мысли, пожалуй, опаснее, чем им возражать. Поэтому они подошли, и наш стол окружила тесная толпа.

Центральное место среди возражавших заняли пять женщин. Это были солдаты. Мужья их принадлежали к беднейшему слою крестьянства, именно к тому, на ком всего тяжелее отражалось малоземелье, кто больше всего страдал от него и теперь больше всего надеялся. Их мужья на фронте, а жены бьются с детишками на жалкий паек, не зная, живы ли мужья или их нет уже на свете. Когда они говорили, перебивая друг друга, о своем положении, то лица их раскраснелись, а глаза наполнились слезами. Они так надеялись, что теперь за долгие страдания получат близкую уже награду. Революция должна наконец оказать им ту милость, которой так долго и так напрасно они ждали от самодержавия. И все ораторы неизменно обещали им эту милость. А теперь я говорю им о трудностях и усилиях и о необходимости выкупа. Допустим, — думали они, — что выкуп возьмет на себя государство, но и оно отдаст землю не даром. Не все ли равно, кому платить, помещику или государству, и как эта плата будет называться... «Прежде платили и теперь платят, — страстно говорила одна из них с заплаканными глазами, — какая же это свобода слова!»

Я оставался на этой площади более трех часов, окруженный спорами и страстью. Я искал понятных форм, чтобы выяснить всю серьезность и трудность задачи. Я старался объяснить им сложность и взаимную зависимость жизни города и деревни, земледельческой и обрабатывающей промышленности, а также роль государства... Вероятно, человек, лучше меня владеющий предметом, мог бы добиться лучших результатов... Но — передо мной была крестьянская масса, непривычная к самостоятельности и сложным процессам мысли. Она так долго жила чужой мыслью. За царями им жилось трудно, но был кто-то, кто, предполагалось, думает за них об их благе. Надежды на царей не оправдались... Теперь пришла какая-то новая чудодейственная сила, которая уже наверное все устроит, и опять без них.

Один из возражателей обезоружил меня сразу, сказав с необыкновенной уверенностью и простодушием:

— А по-нашему, так все очень просто: нам раздать всю землю, а городским рабочим... прибавить жалованья. И все будут довольны.

Мне казалось, что над этим простым рассуждением все еще носится образ «милостивого царя», который может все сделать, лишь бы захотел... Теперь его место заняла царица-революция...

Я безнадежно оглянулся. На многих лицах виднелось сочувствие этому простому решению...

Солнце уже закатывалось, когда тот же сельский возница, который рассказывал мне о происхождении крепостного права, подошел ко мне, чтобы сообщить, что пора ехать обратно. Я стал прощаться. Один солдат, пришедший во временный отпуск с фронта и слушавший все, как мне казалось, с внимательным и вдумчивым видом, сказал:

— Если бы вы, господин, сказали такое у нас, на фронте, то, пожалуй, живой бы не вышли.

— Не знаю, — ответил я, — довелось ли бы мне говорить у вас на фронте, где, очевидно, не умеют слушать. Но если бы уже пришлось говорить, то ничего другого сказать бы не мог... Ну, а сами вы что думаете?..

— Нам это... что вы говорили, — не надобно, — ответил он.

С этим последним впечатлением я уехал со схода.

Маятник классовой мести

Возвращаясь с описанного выше сельского собрания, я обогнал группу селян. Они возвращались оттуда же и о чем-то живо разговаривали. Я отпустил своего возницу, а сам пошел с ними. Они как раз говорили о том же предмете, и мы разговорились опять. Мне уже случалось излагать мои мысли в разговорах с соседями, даже бедняками. Они со мной соглашались и находили, что это надо бы повторить перед «громადой». То же было и теперь, когда мы небольшой кучкой шли проселком в густевшие сумерки и спокойно обсуждали вопрос. Они не только соглашались, но и приводили новые аргументы. А между тем — толпа в К. казалась такой единодушной в отрицании моих мыслей.

Я, конечно, сознавал, что мне не удалось еще разъяснить многое, но в общем я был доволен этими несколькими часами, проведенными среди селян. Они слушают так много «ораторов», возвращающих им их собственные вождения в форме, прилаженной к их вкусу. Мне казалось, что если теперь им хоть отчасти придется сверить свои взгляды с другими, им не столь приятными, то это будет то единственно полезное, чего только и можно добиться спором.

Кажется, я не ошибался. Через несколько дней ко мне пришла группа солдаток, и они заявили, что им теперь на селе не дают проходу за то, что они будто бы говорили со мною «дерзко».

— Неужели мы вас оскорбили? — спрашивали они.

Я охотно выдал им записку, в которой удостоверял, что они говорили со мной по моей просьбе, с которой я обратился к толпе, я им благодарен, что они не отказались высказаться. Ничего дерзкого я при этом от них не слышал.

И это была правда. Деревня просто не привыкла еще, даже в разгар революции, к равноправному спору с человеком в городском костюме, и самый спор кажется им дерзостью...

В разговоре со мной, в моей комнате, они опять изображали свое положение с горем и слезами. Расстались мы, казалось, друзьями, и у меня осталось впечатление, что если и на этот раз даже революция не сумеет ничего сделать для этой части сельского населения, то, значит, нашей жизни еще долго искать правды и успокоения.

Об сроде в К. оживленно заговорили по деревням. Через несколько дней ко мне приехали защиточные крестьяне из другого села с просьбой повторить у них то, что я говорил в К. Меня они не застали. Но через некоторое время приехал опять человек с той же просьбой. Он был из так называемых у нас полупанков, человек интересный и очень неглупый. И сам он, и вся его семья жили жизнью настоящих крестьян, работая не менее, а может быть, и более рядового селянина Земли у них, помнится, было около 100 десятин на большую семью. Он повторил приглашение и сообщил, что у них основывается общество «хлеборобов-собственников», и дал мне прочитать отпечатанную уже программу. В ней говорилось, между прочим, что собственность «священна и неприкосновенна»; были, помнится, еще и другие параграфы, указывавшие на то, что эта демократическая часть селян склоняется скорей к программе крупных землевладельцев. Я ответил, что мои убеждения близки к социализму, что в моих глазах собственность священна и неприкосновенна в той же степени, как и остальные человеческие учреждения, то есть до тех пор, пока все общество в лице демократического государства не сочтет нужным ее упразднить. Уже и теперь выяснилась необходимость произвести крупную земельную реформу, в основе которой лежит значительное отчуждение земель, с целью надела безземельных и малоземельных, но я считаю, что это должно сопровождаться выкупом, за счет государства, и совершенно отрицаю стихийные захваты. За этими оговорками я выразил согласие высказать у них эти свои мысли, как сделал это в К.

После этого за мной больше не присылали.

Общество хлеборобов-собственников продолжало формироваться. Был утвержден устав. Это вызвало в остальной части населения много толков. Если бы параллельно с этим малоземельные тоже пожелали образовать свое общество, то это и было бы совершенно в духе разумной революции; это могло бы при большом понимании свободы принести пользу и сильно подвинуть разъяснение вопроса.

Но у нас дело пошло иначе. На первое же собрание нового общества мелких собственников, назначенное в Миргороде, явилась толпа безземельных, которые разогнали собрание силой. Беднякам хлеборобам пришлось спасаться и в окна, и в двери, и долго собрание не повторялось, из опасения худших насилий.

Мне пришлось говорить по этому вопросу с одним из моих соседей. Еще недавно он соглашался со мною, что свобода слова нужна для всех и что нельзя запретить хлебобобовым-собственникам гласно обсуждать свои интересы. Но теперь, увлеченный общим потоком, он ответил, сверкая глазами:

— А все-таки хорошо... Потому что они не хотят отдавать землю!

Такое же общество было основано в соседнем Хорольском уезде. Основателем его явился видный земец и землевладелец Коваленко. Деятельность общества закипела, но через несколько дней я встретил одного своего знакомого собственника, и он мне сказал:

— Слыхали вы новость?.. Коваленка убили выстрелом в окно. Вот такая это свобода!..— прибавил он мрачно, и я видел, что вместе с испугом и угнетением в глазах его сверкает мрачный огонек затаившейся мести.

И это была не первая кровь, пролитая в связи с земельным делом. Такие убийства стали постоянно явлением чуть не заурядным. В большом селе Полтавского уезда был как то убит человек, по общим отзывам, очень хороший и делавший соседям немало добра. На недоумевающий вопрос одного из моих знакомых,—почему он убит,—один из <собеседников> ответил с глубокомысленным видом:

— Для революции все равно, хороший он или не хороший. Одним собственником меньше, и его земля достанется народу.

К счастью, эти взгляды прививались далеко не всюду, но кое-где все-таки нелепая и бесчеловечная программа прямого истребления классовых противников сказывалась уже до большевизма. Начавшись с побуждений естественной «классовой корысти», революция допустила им заглушить и свободу, и <извечные> призывы совести, так что часто нельзя стало отличить, где действует революционная программа, а где простой неприкрытый разбой. В своей усадьбе была, между прочим, убита А. Е. Ефименко¹¹, давняя и бескорыстная труженица литературы. Оставаться в деревне стало опасно не только помещикам, вызывавшим в прежние времена недовольство населения, но и людям, известным своей давней работой на пользу того же населения... Порой там, где у близких соседей не поднималась рука,—приходили другие, менее близкие, и — кровавое дело свершалось. Так была убита в своей скромной усадьбе целая семья Остроградских, мать и две дочери, много лет и учившие, и лечившие своих соседей... Когда помещичьи усадьбы кругом пустели, они оставались, надеясь на то, что их защитит давняя работа и дружеские отношения к местному населению... Но и они погибли... Если это и был разбой, то в этом мрачном эпизоде сказалось бессилие сельянства против разбоев. Люди, известные своим уголовным прошлым,—теперь смело выступали на первый план, становились на ответственные должности, говорили от имени революции, и масса не смела пикнуть против них, как прежде не смела пикнуть против стеновых, творивших порой явные беззакония от имени царя...

Земельная реформа решительно пошла не в сторону общегосударственного дела, а в сторону стихийного захвата. У первого революционного правительства не хватило силы направить ее в государственное русло. Оно пыталось это сделать, но сумело только санкционировать эту реформу снизу назначением земельных комитетов. А пришедший за ним большевизм только поощрял стихийный поток классовых захватов. Поэтому реформа решительно превратилась в стихийную «грабижку». Экономии громили без представления о том, что уничтожается «народное добро»... Рассказывают о случаях, когда роскошные зеркала падали в крестьянские хлевы, а кареты и ландо можно было видеть запряженными волами...

Конечно,—карикатурные явления, как трюмо в хлевах или кареты в воловьей упряжке, являются сравнительно редкими иллюстрациями, которыми жизнь отмечала нелепость разрешения земельного вопроса снизу, захватом, без участия разумно разработанного государственного плана. Народ наш в общем все-таки не разбойник и не грабитель. Я знаю людей, работавших в сельских земельных комитетах, и знаю, что это часто были люди хорошие и разумные. Во многих местах имущества не расхищались, а только реквизировались и охранялись от расхищения, хотя делалось это людьми мало сведущими и темными. Было, наверное, в этой свалке и много людей, в душах которых не угасло представление о Боге, сердца которых скорбели о происходящем. Но у нас старой нашей историей убита смелость мнения, способного идти против какого-нибудь резкого течения... И прежде у нас были целые деревни, где заведомые воры держали целое население в страхе поджога или убийства и много лет верховодили беспрепятственно над целыми обществами. От этого у нас есть немало хороших людей, но толпа наша часто поддается побуждениям не своих лучших членов, а худших...

И вот маятник качнулся в другую сторону. Я пишу не ученый трактат, а только то, что видел, что чувствовал и думал по поводу виденного. Не могу сказать поэтому, как и в

чем в других местностях России выразилась борьба разных слоев деревни между собой. У нас на Украине это приняло такие формы.

Совершился переворот,— пришла «гетьманщина». Ничем не замечательного потому что гетмана Скоропадского призвали к власти люди, опиравшиеся на съехавшихся к тому времени в Киев хлеборобов-собственников. Конечно, было в гетманском правительстве немало людей доброжелательных и хороших. Они стремились устроить безобидный порядок, говорили в центре приличные речи, излагали более или менее приличные программы, в том числе и земельную. Но это правительство было бессильно. С одной стороны, распоряжались всем немецкие офицеры, с другой — под внешностью переворота клокотали и кипели чувства классовой мести. Из собственнической молодежи, которой одной разрешалось иметь оружие, образовались отряды, которые производили карательные экспедиции. И эта охочая молодежь при поддержке немцев чинила жестокие налеты на села и деревни с побоями, с поркой и пролитием крови, но без всякого намека на правосудие.

Положение создалось такое: сельские комитеты были санкционированы временным правительством и, значит, действовали «на законном основании». Теперь их часто третировали, как разбойников, не разбирая их действий по существу. Ко мне являлись крестьяне с рассказами о том, что творится в их деревне. Я пытался записывать их рассказы, излагая их в просьбах к властям. Но комиссары мало разбирались в этом. Приняв одну из таких просьб, уездный комиссар, даже не взглянув на нее, сказал: «Идите, идите домой. Там уже на вас наложена контрибуция!..» Сверху шли приказы в одном смысле,— местные власти делали свое в смысле не государственной работы, а только безоглядной классовой мести.

И опять нельзя сказать, чтобы в этом повинны были все или хоть большинство из хлеборобов, хотя и считалось, что «гетьманское» правительство—их ставленник. Мне случалось читать письма хлеборобов, полные негодования и возмущения против того, что делается при поддержке немцев. Но эти голоса опять звучали слабо и не могли остановить классовой мести, стихийной, слепой и жестокой. На одно насилие служило ответом другое такое же насилие, и во многих умах являлось предчувствие, что будет, когда маятник опять качнется в другую сторону.

И маятник качнулся. На Украину пришел большевизм и утвердился надолго. Большевизм упразднил самое понятие общей свободы и правосудия. Он прямо объявил диктатуру одного класса, вернее даже не класса, а беднейшей его части с ее вождельниками в качестве программы. Все, еще недавно пользовавшиеся в деревне общепризнанным правом владения, были за это поставлены как бы вне закона. Достаточно было числиться помещиком или хлеборобом-собственником, а особенно быть занесенным в списки как члену общества, чтобы ежеминутно рисковать лишиться свободы, имущества, жизни... Большевизм — это последняя страница революции, отрешившейся от государственности, признающей верховенство классового интереса над высшими началами справедливости, человечности и права. С большевизмом наша революция сходит на мрачные бездорожья, с которых нет выхода...

Заключение

Я кончаю эту книгу греха и печали на холмистых берегах Псла, с которых в 1905 году смотрел на огненные столбы, зловеще вспыхивающие на горизонте... С этих пор наше отечество пережило многое, но много ли оно подвинулось вперед в разрешении важнейших вопросов своей жизни, в том числе самого важного из них — вопроса земельного?

Первое, что теперь кидается в глаза в деревне,— есть несомненный факт большего ее благосостояния сравнительно с городом. У нее хлеб, которого в городе нет, а это, конечно, главное. Разумеется, она нуждается во многом, что перестал ей доставлять город, почти прекративший свою производительность, но все же деревня в общем не только более сыта, но лучше обута и одета. Это является результатом отчасти порядочного урожая 1919 года, который деревня весь приберегла у себя, отчасти и сложных общественных условий последнего времени, тяжелее отражающихся на горожанах. Порой тут можно в иных случаях увидеть и следы «грабизки», которую, конечно, не так легко ликвидировать у ловких людей, умевших примазаться ко всяким политическим условиям и извлекать выгоды из всякого режима среди безгласной деревенской массы... Но было бы слишком легкомысленно и поверхностно видеть в этом единственные или хотя бы главные результаты промчавшейся, но далеко еще не улегшейся бури.

Я опять вижу с крестьянами, говорю с ними о пережитом и встречаю всюду разочарование, желание покоя и неуверенность в будущем. И эта неуверенность охватывает как раз

не худшие грабительские элементы деревни, а, наоборот, лучшие, которые имели бы право на поддержку и ободрение...

Увидел я опять и моих возражательниц на сходе в К. Казалось, они-то должны были пережить свой период полного торжества. Ведь они принадлежали к той части «владыки» народа, верховенство и диктатуру которой кульминационный пункт российской революции — большевизм — объявил своим знаменем.

Я увидел их истомленными и жалкими. Мужья некоторых из них, уцелевшие на немецком фронте,— теперь опять воюют. Только теперь этот фронт уже не на внешней нашей границе. Огненными и кровавыми чертами он прошел по живому телу России. И жены опять плачут, не зная, живы ли отцы их детей... По выбору односельчан они были членами земельных комитетов и сельских исполкомов. Мне говорят, что они только добросовестно исполняли роль посредников между большевистскими властями и населением. Но «маятник мести», особенно в первое время, не входит в дальние разбирательства, и они,— все-таки официальные лица при большевизме,— должны были уйти с большевиками в неведомое будущее, полное борьбы и крови.

Когда эти мои знакомые узнали, что я приехал в их места и рад бы повидаться с ними, одна из них, робко подняв глаза, спросила:

— А не будет он нас бить?

Народ привык, что с каждой переменой приходит кто-нибудь, считающий себя вправе кого-нибудь бить. Другие ее успокоили, и, когда мы увиделись, они мне говорили, как часто в их селе вспоминали старика, который говорил, что за землю придется платить или деньгами или кровью. Много пролилось и крови и слез, а за аренду десятины в их местах запрашивают 1200 рублей. И многие смотрят со страхом в непонятное и темное будущее. Проезжая по дорогам в середине октября, я видел огромные пространства, еще даже не вспаханные под озими. Частью этому мешала засушливая осень, но частью и неопределенность земельных отношений. Неизвестно, что стоят и стоят ли что-нибудь деньги... Неизвестно, сколько времени все это продлится...

В одном из приказов, напечатанном в газетах от имени ген <ерала> Деникина, говорится: «По дошедшим сведениям вслед за <добровольческими> войсками при наступлении в очищенные от большевиков места являются владельцы, насильственно восстанавливающие, нередко при прямой поддержке войск, нарушенные в разное время свои имущественные права, прибегая при этом к действиям, имеющим характер мести». Генерал напоминает, что при том смятении и путанице, которые внесены в нашу жизнь междуусобием, — армия не в состоянии разобраться с должной гарантией справедливости в спорных правовых взаимоотношениях.

Это, кажется, еще первая попытка остановить роковые качания маятника мести. В одной из последних речей того же ген <ерала> Деникина говорится, что главные затруднения в своей задаче — восстановления государства — он видит не на военных фронтах, искрестивших вдоль и поперек наше отечество, а в той партийной борьбе, которая идет в тылу, вероятно, даже в правящих сферах новой власти. Есть, очевидно, и теперь очень много людей, видящих главную задачу в том, чтобы маятник мести качнулся еще раз в нужную им сторону.

Не трудно угадать, что спор идет опять главным образом около земельного вопроса. «Как! — рассуждают представители партии, которая считает себя торжествующей. — Справедливо ли, чтобы крестьянин получил все-таки землю, которой добивался «грабителями», поджогами, насилиями над помещиками? Нет — пусть другая сторона получит свой реванш и полное восстановление нарушенных прав!..»

Гибельное рассуждение, и не только гибельное, но и несправедливое. Признать его правильность, — значит вернуться к старому, зачеркнув целиком всю революцию от начала ее, которое недаром приветствовала вся Россия.

Надо признать, что вина в наших нынешних бедствиях не может быть взвалена на один какой-нибудь класс. Когда самодержавие Александра II уничтожило крепостное право, — что оно, в сущности, сделало? Оно только устранило вековую неправду, слишком долго позорившую Россию. К сожалению, вместо того, чтобы искренно и всецело признать эту прямую и человеческую истину, и тогда явилось много людей, которые стали говорить об «обиженном сословии», недостаточно удовлетворенном за свое «нарушенное право».

Эта точка зрения восторжествовала даже в царствование царя-освободителя, и она-то вызвала у нас мертвящий застой последних царствований и возрождение старой не-

правды в новых формах. Создалась фикция «благородного сословия, опоры трона», которому самодержавие платило дорогой ценой за обиду, нанесенную глубоко человеческой реформой. То, что падало естественной силой вещей, — поддерживалось искусственно из общенародных средств и, что еще важнее, — ценой глубокого застоя в жизни всей страны. Свобода обсуждения аграрного вопроса была стеснена, и наряду с этим арендные цены на землю искусственно подымались, что отмечали лучшие экономисты еще в 70-х годах (напомню о классическом труде проф. Скалона¹²). Но правящие круги оставались глухи к этим голосам, и правительство порой даже стесняло свободу переселений, чтобы не вздорожал труд безземельных земледельческих работников.

Кто скажет, что в этом не было тяжкого греха, что это не было глубоко несправедливой классовой диктатурой?

Настоящая книга имеет целью показать, как этот тяжкий грех нашего прошлого, длившийся целые десятилетия, вызвал в конце концов нашу революцию со всеми ее крайностями. Диктатура несколько десятилетий застоя порождала глухие, неслышные тогда среди безгласной России стоны нищенствующих Дубровок и Пралевок, Понетаевок и бесчисленного множества сел и деревень по всему лицу нашего отечества... Эти глухие стоны, эти невидимые слезы ядом накопились на сердце народа и сгустились в тучу, которая разразилась над нашим отечеством. Старая неправда продолжалась десятилетия, революция — несколько лет, — оттого-то ее грехи виднее и резче.

Поэтому чем скорее мы перестанем говорить о классовой мести или о классовых наградах, — тем это будет разумнее и тем более это будет соответствовать справедливости. Дело не в наградах или мести, а в том, что разумное государство должно беспристрастно разыскать в прошлом глубокую неправду и спокойно и беспристрастно устранить ее на будущее...

Такая неправда прошлого была в застое, в безгласности и в задержке важнейших глубоких реформ.

И главной из этих реформ остается земельная реформа.

Октябрь 1919 г.

КОММЕНТАРИИ

¹ Крамарж Карел (1860—1937) — государственный и политический деятель Чехословакии

² ...бывший петровец... — то есть окончивший курс Петровской земледельческой и лесной академии, где в 1874—1876 годах учился и В. Г. Короленко.

³ ...в «Плодах просвещения»... — ошибка Короленко, надо читать: во «Власти тьмы».

⁴ Письмо Л. Н. Толстого Николаю II от 16 января 1902 года впервые напечатано в журнале «Былое», 1917, № 1.

⁵ Трубецкой С. Н. (1862—1905) — религиозный философ, в 1905 году ректор Московского университета. 2 июня 1905 года в составе депутации земских деятелей был принят Николаем II.

⁶ Сельскохозяйственная перепись 1916 года показала... — почти дословная цитата из работы А. В. Чайнова «Что такое аграрный вопрос?» (М. 1917, стр. 34).

⁷ Филонов Ф. В. — статский советник Полтавского губернского правления, начальник карательной экспедиции в декабре 1905 года. Убит эсером Д. Кирилловым 18 января 1906 года. Эти события описаны Короленко в статье «Сорочинская трагедия».

⁸ Старицкий Г. Е. — полтавский адвокат.

⁹ Село К — Ковалевка.

¹⁰ Крестьянский съезд происходил в Москве с 31 июля по 6 августа 1917 года.

¹¹ Вероятно, Ефименко Александра Яковлевна (1848—1918) — русский и украинский историк, этнограф.

¹² Скалон В. Ю. (1846—1907) — земский деятель, публицист. Профессором не был.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО

*

И СТАКАНА ЧИСТОЙ ВОДЫ НЕ ПРИБАВИЛОСЬ...

В сентябре 1988 года, в дни работы экспедиции «Арал-88», организованной журналами «Новый мир» и «Памир»¹, ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление по Аралу. Называется оно так: «О мерах по коренному улучшению экологической и санитарной обстановки в районе Аральского моря, повышению эффективности использования и усилению охраны водных и земельных ресурсов в его бассейне».

К тому времени перестройке исполнилось уже три с половиной года. Постановление же, как теперь становится очевидным, готовилось и принималось словно бы в прежние, доперестроечные времена узким кругом административных работников и специалистов Правительственной комиссии работала долго, больше года. Но опять-таки работа ее осуществлялась по давно наезженной, старой колее: от собрания — к совещанию. В чем — в чем, а в разговорах недостатка не было. Но предложения, мнения ушли в песок. Видимо, потому, что работала комиссия почти тайно. О чем заявил затем в беседе корреспонденту «Правды» ее председатель Ю. А. Израэль: «Мы сознательно избегали широкой информации о нашей работе».

Последняя моя поездка в Приаралье в сентябре 1989 года была связана с проведением 2-й сессии Аральского движения и изучением обстановки на месте.

Какие же перемены произошли за год действия постановления ЦК и Совмина? Проблему эту мы изучали на месте и обсуждали ее с теми, кто призван постановления выполнять, и с теми, для кого реализация его — спасительная отсрочка от надвигающейся гибели.

В низах постановление партии и правительства по Аралу было воспринято как приход лета на север — празднично. Каракалпакский и Кызыл-Ординский обкомы партии дали ему высокую, если не сказать завышенную, оценку. Внеочередная десятая сессия Верховного Совета Узбекской ССР (одинадцатого созыва) отметила: «Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР является документом огромного политического, экономического и социального значения, свидетельством заботы Коммунистической партии и Советского государства об оздоровлении экологической и санитарной обстановки, улучшении социально-бытовых условий жизни населения». И далее по старому шаблону: «За последние годы проделана определенная работа по дальнейшему укреплению экономики региона, начато осуществление ряда водохозяйственных и мелиоративных мероприятий в районе Аральского моря, бассейнах рек Амударья и Сырдарья...» «За истекший период двенадцатой пятилетки на эти цели ежегодно в расчете на одного жителя было освоено в 1,4—1,6 раза больше капитальных вложений, чем в среднем по Узбекской ССР...» «Вместе с тем Верховный Совет Узбекской ССР отмечает, что советскими и хозяйственными органами республики допущены серьезные просчеты в использовании водных и земельных ресурсов бассейна Аральского моря...» И т. д. и т. п.

¹ О том, что Приаралье страдает тяжелым экологическим недугом, а Аральское море из пресного превратилось в соленое, мертвое, катастрофически быстро усыхающее, мы рассказывали на страницах журнала по завершении аральской экспедиции. (См.: «Новый мир», 1989, № 5)

Сегодняшнюю экологическую, экономическую и социальную ситуацию в Приаралье нетрудно определить по любым двум-трем городам, поселкам или районам этого региона. Прошел год после принятия постановления. Изменилось ли что-нибудь к лучшему, например, в Аральске? Быть может, прибавилось овощей в магазинах, больше стало молока для детей? Ничего похожего. Как и прежде, остро не хватает медикаментов для больных. По-прежнему местные жители рвутся в вагоны-рестораны проходящих поездов, и причем не за деликатесами. Их обрадовала бы и бутылка обыкновенного лимонада, пачка печенья, горсть карамели. Но проводники грубо stalkивают их со ступеней вагона. В черте города по-прежнему смердят двадцать девять гнилых, зловонных озер. У местных властей просто нет средств, чтобы покончить с ними. А республика и Союз отвернулись от людского горя. Не прибавилось здесь и питьевой воды: одно ведро на душу в сутки. Тревожно и сверхбедственно живет Казалинск. Мучительно ищет выхода из глубокого продовольственного и экологического кризиса Муйнак.

В Муйнаке много всевозможных лозунгов и плакатов. На рыбоконсервном комбинате, работающем на привозной океанической рыбе, уровень «плакатизации», как и в самом городе, необычайно высок. Гигантских размеров красочное панно в одном из цехов рассказывает о безмерно счастливой жизни людей этого края. Крупные буквы гласят: «XXVII съезд КПСС. Слава великому советскому народу — строителю коммунизма!». А в самом городе по стенам домов аршинными буквами выведено: «Спасибо тебе, Родина, за наше счастливое и радостное детство». И это в то время, когда из 1000 новорожденных детей — почти 100 умирают, не дожив до года. Да и после года смерть ходит за ними по пятам. В Каракалпакии из 100 человек — 73 больные. (К слову, именно в Приаралье впервые у нас в стране официально зарегистрирована «экологическая смерть».) На кладбище в Муйнаке мы обнаружили десятки маленьких детских могил. Люди пьют зараженную воду, иной просто нет. Бутылка минеральной воды в Муйнаке стоит бешеных денег, если, конечно, ее завезут. Водку завозят, а воду — когда как...

К списку городов с нарушенной экологией прибавился и недавно рассекреченный Ленинск — город строителей космодрома Байконур и тех, кто ныне осуществляет его эксплуатацию. Об экологическом неблагополучии в городе я впервые узнал из телеграммы в редакцию, подписанной зампредом горисполкома Станиславичем и председателем городского совета ветеранов войны и труда Сетекиным:

«Река Сырдарья стала опасной для людей как источник инфекции, нельзя купаться, ловить рыбу, употреблять воду, сток реки небывало низкий за последние 30 лет, решения правительства по Аралу не выполняются, необходимо общественное внимание, поддержка нас в беде, возможно общественной комиссии по проблеме Арала вернуться к нашим вопросам еще раз».

Что ж, выходит, нигде и ничего не изменилось. И стакана чистой воды за год не прибавилось. Маховик быстротекущей жизни раскручен административно-командной системой с такой силой, что остановить или хотя бы замедлить его ход пока никому не под силу.

Еще год назад во время двухмесячной работы экспедиции я верил, что Арал будет спасен. Основанием моему оптимизму служили как ни странно, невообразимые, вопиющие масштабы бесхозяйственности. Закрывать глаза на существующий хозяйственный развал, примириться с ним, казалось, просто невозможно. Вот и думалось: одолеем бесхозяйственность, наведем порядок в экономике и спасем Аральское море. Просто? Как бы не так. Бесхозяйственность при условии существования нашей теперешней социально-политической и экономической системы искоренению решительно не поддается. Напротив, она разрастается, множится. Как показала сама жизнь, там, где абсолютно все государственное и. стало быть, ничье, — там ответственности и заинтересованности не сыщешь. Как заметил сатирик «вы нам якобы платите зарплату, а мы вам якобы работаем...». Бесхозяйственность и уравниловка при государственной собственности привели нас к убийственному — и не только для экономики, но и для окружающей нас же природы — равнодушию и цинизму, из-за которых уже гибнут Волга и Днепр, тундра и тайга, степи Калмыкии, задыхаются от удушья Кемерово и Магнитогорск, Березники и Запорожье. Не сегодня-завтра о помощи попросит Прикаспий который может захлебнуться в сероводороде. Но сейчас разговор конкретно об Арале и Приаралье, об обширном районе в дельтах некогда мощных рек Средней Азии Амударья и Сырдарья, где среда обитания стала непригодной для жизни. Руководство расположенных в Приаралье Каракалпакии и Кызыл-Ордин-

ской области предпринимали и предпринимают все и всяческие усилия для исправления положения, но их усилий явно недостаточно. Жизнь людей в не так давно процветавшем крае становится невыносимой.

Так кто же должен спасать их? Республики Средней Азии, весь Союз ССР или главным образом центр? Этот вопрос постоянно возникает прежде всего среди тех, кто терпит сегодня экологическое бедствие. Простой, однозначный ответ дать на него не так-то просто. И все же...

Главная ответственность в деле спасения Арала ложится, видимо, на центральное правительство, поскольку именно оно на протяжении многих лет поощряло гибельную для всего живого деятельность центральных ведомств и тем содействовало разрастанию экологического кризиса. Да и кто как не правительство должен отвечать за эффективность принятого им самим постановления!

А что же на деле? Уже пятый год на всех уровнях говорится о сокращении производства хлопка и передаче земли под сады, виноградники, животноводство, а сдвигов нет. В Каракалпакии в текущем году из-под хлопка намечено освободить только 27 тысяч гектаров (из-под риса — 16 тысяч). Хлопковость в Средней Азии по-прежнему достигает невиданных в мире показателей — 70—75 процентов, хотя наукой доказано, что хлопковость выше 50 процентов ведет к потере гумуса, истощению почв, бесплодию и в конце концов к деградации земли.

В постановлении записано, что Аральское море с 1990 года станет получать 8,7, к 1995 году — 11, к 2000-му — 15—17 и к 2005-му — 21—25 кубкилометров воды. Аралу это что мертвому припарки, ведь с его поверхности испаряется в год 33—36 кубкилометров. Несложные арифметические подсчеты подтвердят, что к 2005 году в Арале останется 180—200 кубкилометров воды. Море к этому времени и при такой программе его «спасения» распадется на несколько водоемов с горько-солено-ядовитой водой, погибнет окончательно. Погибнет Арал, и исчезнет в Средней Азии естественная, природная «печка», нейтрализующая действие холодных северных ветров.

Кстати, то незначительное количество воды для Арала, определенное постановлением, дойдет до него при том идеальном условии, если с 1990 по 2000 год будет реконструировано 3,3 миллиона гектаров старой площади орошения и приведена в порядок не одна сотня тысяч гектаров нового орошения. В среднем это 300—330 тысяч гектаров в год. Вряд ли это возможно. Новое освоение земель менее трудоемко и материалоемко — и то в лучшие времена в Средней Азии осваивалось всего до 200 тысяч гектаров в год. Притом клин этот еще ничего не давал и нигде не учитывался, он только вводился в оборот, а земли, подлежащие реконструкции, что-то все-таки дают. Пусть 15 центнеров хлопка с гектара, и то это 300 тысяч тонн в год. В прошлом году к реконструкции практически не приступали. Существующая сверхцентрализованная система хозяйствования, при которой даже распределение досок и гвоздей, лопат и молотков осуществляется через центр, тормозила и будет тормозить любые преобразования.

В постановлении записано: для того чтобы изыскать излишки воды для умирающего моря, необходимо уменьшить к 1990 году освоение новых земель на 160—170 тысяч гектаров. Этот год уже наступил. А показатель, в сущности, не изменился. Если на эти работы уменьшаются ассигнования из госбюджета, значит, средства на них изыскиваются в колхозных и совхозных кассах. В Хорезмской области, например, продолжают осваивать новые массивы под хлопок в непроходимых песках. Туда специально завозится растительный грунт, а затем направляется вода... Край Сибири, как говорит один мой знакомый. Дальше уж некуда!

В результате мер, намеченных в постановлении, уже в прошлом году должны были появиться лишние кубометры воды для Арала. Не появились! Лишней воды как не было в последние десятилетия, так и нет. Чуда не случилось. И случиться, по всей видимости, не могло. Ибо само постановление принято под давлением Минводхоза и в угоду ему, практически под его диктовку. Речь-то в нем в конце концов идет всего лишь об исправлении допущенных Минводхозом «ошибок». И не более того. Музыку ведь заказывает тот, у кого деньги. Минводхоз-Минводстрой диктует, как жить людям в Приарале (да и не только им одним) потому, что, получая от государства ежегодные миллиардные субсидии, чувствует себя всесильным. Правительственная же комиссия просто-напросто пошла на поводу у могущественного ведомства и радикальных шагов не предприняла.

Почему, к примеру, не передать в собственность крестьянам Средней Азии, ну, скажем, половину или треть земли? На протяжении столетий существовало здесь орошаемое земледелие, а катастрофические масштабы засоления и заболачивания земель стали возможны лишь при колхозно-совхозном строе. Сегодня в Узбекистане в руках у дехкан находится 2,6 процента земли от орошаемого клина, а дают эти земли четвертую часть всего продовольствия республики. И подобное экономическое чудо длится годами. Чего же медлить? Чего ради уговаривать то доярков, то бригадиров, то завфермой, чтобы они вещали с экрана телевизора о том, как хороша колхозная система, о том, что колхозный строй еще покажет себя?..

В Средней Азии люди часто с восхищением рассказывают о мирабах. Это были настоящие хозяева — сильные и умные, порой хитрые и коварные, но дело знавшие. Наделы земли мираба обычно располагались в конце водораспределителя. Плохим считался тот мираб, поля которого либо засыхали, либо заболачивались. (В истории прошлого земледелия подобное — редкость.) Может быть, они потому и жили в достатке, эти мирабы? В 30-е годы их приравнивали к кулакам и выслали в Сибирь. Вспоминают старики и теперь колесо с черпаками (чигирь), опущенное в ороситель. Уж мираб-то знал, сколько раз оно должно обернуться, чтобы на поле вылилось нужное количество воды и не больше. А нынче — ни мираба, ни учета воды. «И все вокруг колхозное, и все вокруг мое».

Но вернемся к постановлению. Оно предписывает: «С 1991 года приостановить освоение новых земель крупными массивами». Что ж, значит, осваивать станут малыми — но с прежним размахом.

Очень робко, но все же предлагается в постановлении сократить посевы хлопчатника. Ведь Арал — это море, выпитое в первую очередь именно хлопком. Но даже это предложение не учитывается. В 1988 году при подведении итогов оказалось, что под хлопчатник было отведено на 23 тысячи гектаров больше, чем планировалось. Речь, естественно, не о хлопке вообще (он стране нужен), а о том, сколько его можно здесь выращивать. И о том, разумно ли ежегодно на технические нужды расходовать 2 миллиона тонн. У нас этот уровень никак не снижается, что приводит к потере 12 кубокилометров воды в год. Разве подобное положение дел не должно было быть учтено и рассмотрено правительственной комиссией по спасению Арала? Должно, но не рассмотрено. Не стали предметом обсуждения, не заслужили внимания комиссии и меры по предотвращению фильтрации воды в каналах и оросителях (протяженность их в Средней Азии достигла 180 тысяч километров, но лишь около 15 тысяч из них имеют антифильтрационные покрытия). Незамеченными остаются работы ученого В. В. Мхиторяна и группы специалистов, разработавших методику, создавших образцы опытных машин, с помощью которых на пути фильтрации ставится глинистый или полимерный экран. За один час изолируется 300 квадратных метров. В течение десяти — пятнадцати лет работы машин «Экран» можно было бы сберечь не менее 20—25 кубокилометров воды. При этом каналы и оросители остались бы в рабочем состоянии, их не пришлось бы останавливать — такова технология экранизации. Ряд стран уже обратились за лицензией на эту машину. Но автор пока возражает, не соглашается на ее продажу. Ведь потом, как он считает, эти машины нам придется покупать за рубежом на валюту. Парадокс?! У нас даже до сих пор нет ни в Средней Азии, ни в другой аридной зоне опытно-экспериментального поля для испытания этой техники, хотя машина на свет появилась более восьми лет назад. Нет денег, некому финансировать ни эксперимент, ни серийное производство. Зато на прокладку и рытье каналов и оросителей с земляным и песчаным ложем средств хватает.

Многое, слишком многое из того, что радикально могло бы повлиять на улучшение экологической ситуации в Приарале, обошла вниманием правительственная комиссия, готовившая проект постановления. В поле ее зрения не попала и острейшая проблема Ташаузского обводного канала. Проблема — международная, взрывоопасная, возникающая в результате конъюнктурных игр высоких партийных деятелей.

Пограничное водораспределение не раз обостряло национальные взаимоотношения в Средней Азии. Накалелись страсти в свое время и вокруг каналов от Амударьи до Ташауза. Туркмения давно домогалась строительства своего отдельного канала в обход, а точнее вокруг Хорезмской области по барханным пескам. Возражал против этого не только тогдашний первый секретарь ЦК КП Узбекистана Ш Рашидов, но и специалисты, доказывавшие, что почти половина воды будет оставаться в песках. Тут

подоспело освоение Каршинской степи, земель, находящихся выше Амударьи, да еще с наличием галечниковых почв. И тогда против проекта уже стал выступать бывший первый секретарь ЦК КП Туркмении М. Гапуров. Коллекторно-дренажная, загрязненная ядохимикатами вода грозила беспрепятственно проложить себе дорогу в Амударью. К тому же по расчетам значительными должны были оказаться потери воды. (Так в конечном итоге и случилось.) М. Гапуров возражал против одного минводхозовского проекта, Ш. Рашидов — против другого, тоже протаскиваемого Минводхозом. А потом вдруг оба взяли да и согласились. Каждый посчитал свое возражение несущественным... С чего бы вдруг, интересно знать?

Освоены каршинские массивы, где множество убыточных хозяйств, заканчивается строительство Ташаузского канала, у которого 140 километров холостого хода. Уже сейчас многие километры его вновь засыпаны песком. Ладно, песок отгребут. Но вот специалисты говорят, что, когда канал наполнится водой, он создаст подпор текущим в сторону Каракумов подпочвенным водам, которые, поднявшись, могут разрушить фундаменты уникальных древних памятников Хивы. А случится такое, кто сможет гарантировать, что люди не возьмут в руки кетмени и не пойдут засыпать Ташаузский канал?..

Арал погибает. За прошлый год уровень моря упал еще почти на метр. Этот факт лишний раз подтверждает то обстоятельство, что правительственная комиссия, увы, не нашла серьезной концепции по спасению Арала и Приаралья. Именно концепция, а не частные ведомственных решений.

Еще только рассматривается ТЭД (техничко-экономический доклад). Затем последует рассмотрение ТЭО (техничко-экономического обоснования). Потом проектирование. Кстати, в ТЭДе есть предложения, связанные с созданием двух Аралов у подножия городов Аральска и Муйнака. Можно, наверное, предположить: и в Аральске и в Муйнаке Минводхоз-Минводстрой создаст со стороны моря ограждающие дамбы и наполнит эти искусственные емкости водой. Вернее не водой, а ядовитым компотом, состоящим наполовину из коллекторно-дренажных сбросов.

Если что и удалось правительственной комиссии, так это включить в постановление требование строительства новых водоводов. Ведь во всем Приаралье более-менее нормальную водопроводную воду пьет лишь один человек из десяти. Только намеченное все равно не выполняется. Из двенадцати союзных министерств, кои должны по постановлению выделить из своих бюджетов деньги на строительство водоводов, ни одно не раскошелилось пока ни на копейку.

В Нукусе местные власти, воодушевленные постановлением, без промедления создали Аралводстрой. И люди нашлись, и техника, и аппарат, конечно, немалый. Но что представляет собой строительная организация без фондов? (Тем более что местная база стройиндустрии слаба.) Нет цемента, металла, щебня, леса, гравия, песка. Правительственное решение есть, а выполнить его, выходит, невозможно. (Конечно, объемы работ, в основном земляных, под финансирование кое-как набираются — не сидеть же совсем без дела. Но среди этих работ мало таких, что намечены постановлением.) Какова же в таком случае цена подобному решению?!

До выхода последнего постановления по Аралу правительство в марте 1986 года приняло постановление «О мерах по ускорению экономического и социального развития Каракапакской АССР». Похожий документ появился и по Кызыл-Орде. Полтора годами позже последовало еще одно постановление — о невыполнении предыдущих двух. «За 1986—1987 годы в г. Нукусе введено 4,5 км канализационных и 2,6 км тепловых сетей, или 14 и 18 процентов соответственно к пятилетнему заданию. Госагропром УзССР сорвал выполнение плана по объектам здравоохранения и культурно-бытового назначения Госстроем УзССР за счет государственных капитальных вложений введено за три года пятилетки 31,4 тыс. кв. м жилой площади при плане 128,8, или 24 процента». Вот так — намеченное выполняется на 14—18 процентов, в лучшем случае на 24 процента.

Постановления ЦК и Совмина СССР давно перестали срабатывать, перестали быть обязательными для исполнения документами и потому, что они не имеют под собой должного материального обеспечения, ибо их слишком много принимается, и потому, что наша бюрократия давно научилась без особого труда и ущерба для себя обходить эти постановления...

К сожалению, мало что изменится в регионе, даже если случится невероятное и все намеченное правительственной комиссией окажется реализованным. Разве что агония Приаралья несколько растянется во времени. Ведь документ этот — лишь первый шаг. Но будет ли следующий?

По подсчетам ученых, исправление положения в Приаралье и на Арале потребовало бы не менее 30—35 миллиардов рублей. Нашему государству такие расходы сейчас явно не по карману.

У центра и центральных ведомств, приложивших немало усилий к тому, чтобы на Арале случилась экологическая катастрофа, нет ни средств, ни серьезного желания на ликвидацию ее последствий.

Тогда почему наше правительство не попросит помощи у мирового сообщества? Или это должны сделать другие наши институты, общественные организации?

Полугодом ранее на Арал прорвались наконец американские писатели и журналисты из «Нэшнл джиографик мэгэзин», телевидение Би-би-си, журналист из Стокгольма. Но в те самые дни высокие инстанции, пекущиеся о нашей безопасности, не пустили на Арал двух журналистов из французского журнала «Актуэль», преградили после этого путь представителям Голландии. Американцы Вильям Эллис, Филипп Миклин, Дэвид Тернли англичане Джейн Корбин, Джанфранко Норелли и швед Петер Нильсон донесут до широкой международной общественности свою и нашу тревогу и боль за Арал.

Но даже если откликнется мир на эту беду, нам-то важны прежде всего собственные действия. Спасение Арала и восстановление Приаралья должны стать своеобразным тестом нынешнему правительству, тестом на его решительность и последовательность в деле оздоровления всей экологической обстановки в стране.

Из истории русской общественной мысли

Н. А. БЕРДЯЕВ
(1874—1948)

*

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Статьи, письма

Николай Александрович Бердяев — один из властителей гум XX века. Чему обязан своей известностью этот философ? Он не аналитик, не исследователь. (Да и много ли популярности можно снискать, занимаясь штудиями?) Он, конечно, автор оригинальных концепций: о богоподобных возможностях человека-творца, о «ничто» как основе мира, не входящей в божественную компетенцию, и т. п. Но, думается, не в этом дело. А в том, что Бердяев — мыслитель, не устававший возвещать о драгоценной человеческой личности и пророчествовать о ее судьбе.

Сосредоточенность на уделе человеческом характерна вообще для всякого экзистенциального философа, встающего в оппозицию к генеральной линии философии — грандиозному системосозиданию и изопренной методологии. Эта философия, поглощенная своими «профессиональными» интересами — самообоснования и всеохватывающего рационализирования, — не отвечает на запросы современного индивида. Бердяев так описывает расхождение теоретической мысли с интересами, а точнее — с проблемами человека: «Сложный, утонченный человек нашей культуры... требует, чтобы универсальный исторический процесс поставил в центре его интимную индивидуальную трагедию, и проклинает добро, прогресс, знание. если они не хотят посчитаться с его загубленной жизнью, погибшими надеждами, трагическим ужасом его судьбы». Как в философской автобиографии «Самопознание» заявляет Бердяев от лица каждого человека: «Смысл должен быть соизмерим с моей судьбой. Объективированный смысл лишен для меня всякого смысла». Однако Бердяев не только экзистенциальный, но и религиозный философ, и потому забота его состоит в том, чтобы не ограничиваться откликом на человеческий запрос, но и судить этот запрос, не только защищать человека, но и высказывать с него соответственно его высшему на земле сану И вообще, внимание Бердяева приковывает не индивид, а личность, ее исторические коллизии и мутации.

И вот эти непосредственные и в то же время пророческие отклики мыслителя на явные и подспудные сдвиги человеческого духа — то, что можно обозначить словами, составившими заглавие одного из его сочинений¹, — представляется нам сегодня самым захватывающим и значительным. Именно здесь, в критических отзывах на ход культурной истории и перемены в образе человека, а не в программных философских сочинениях дает о себе знать самая существенная сторона таланта Бердяева, обладающего «огненным пафосом» моралиста и пневматолога, различителя духов

Дело в том, что само положение христианского экзистенциалиста чревато глубоким противоречием. Экзистенциализм, родившийся в результате разочарования в историческом прогрессе и утраты веры в смысловые основы бытия, — это утверждение человека за счет отталкивания от мира, это новый вариант старой гностической ереси, учения о дурной, косной материи, о несправимой реальности. Но христианство с этим согласиться не может. Поэтому внутри мирозерцания Бердяева идет напряженная борьба между христианским «мир во зле лежит» и его надо спасать — и романтически-гностическим «мир есть зло» и его надо упразднить; между призывами хранить «верность попираемому прошлому» и достоинству человеческого лика, оказывать «благородное

Составление, вступительная статья, публикация архивных материалов и комментариев Р. А. ГАЛЪЦЕВОЙ.

¹ Бердяев Н. А. Судьба человека в современном мире. Париж. 1932.

сопротивление „духу времени“ — и, с другой стороны, жадной безудержного расщепления человека в творческом акте и революционной расправы с воплощенными формами мирового бытия.

Ответственный, озабоченный состоянием мира, взгляд Бердяева формулировался, как уже было замечено, в ответ на вызов времени. Большинство его историософских и антропологических пророчеств, рождавшихся как будто от соударений с духовными реальностями и, как молнии, озаряющих будущее, до сих пор остаются в силе, о чем ясно говорит и предлагаемая ниже подборка текстов Бердяева. Сама интонация его неотступна; ударный ритм бердяевской речи преследует, настаивает и требует отзвука. Писатель Б. Зайцев, вспоминая о Бердяеве, философски им очень ценю, отметил следующие заметки о его стиле: «Странным образом деспотизм сквозил в самой фразе писания его. Фразы — заявления, почти предписания. Все повелительно и однообразно». Однако вряд ли можно согласиться с тем, что Бердяев по складу был деспот, хотя был неуступчив в своем. Ощущение легкости в общении с ним, о чем рассказывают знавшие его лица, как, впрочем, и вечное скопление вокруг него разных людей, подтверждают обратное. В своих неопубликованных мемуарах логик П. С. Попов как раз восхитается в нашем философе тем, что «к людям он был неизменно расположен с благоволением, благожелательством», что уважение к чужому «я» «было глубоким убеждением Бердяева и определяло его отношение к людям» И то, что в его стиле Зайцев назвал деспотизмом — навязчивость мысли и неукоснительность тона, — происходит оттого, что он сам как сейсмограф человеческого неблагополучия испытывает удары извне и его дух почти импульсивно реагирует на каждый толчок реальности.

Среди беспокоивших мыслителя проблем есть и такие, для которых в цивилизованных странах наметился выход (для некоторых, впрочем, только к концу века). Быть может, самое благополучное положение теперь там, где мыслитель находил материал для вечного обличения в эксплуатации и социальном неравенстве, то есть в странах капитала, резко изменившихся на Западе свои черты и явивших миру «государство всеобщего благосостояния». Мы, возможно, увидим просвет и в конце другого мрачного туннеля исторического прогресса, беспокоившего русского мыслителя. Тревожась о нарушениях органического жизненного мира, Бердяев описывал тяжкие следствия вхождения в него массивной техники. Цивилизация и здесь обещает выход: индустриальная стадия сменяется разукрупненной компьютерной эрой с ее заманчивыми возможностями приспособиться к органической жизни.

Однако все тревоги Бердяева, относящиеся не к социотехнической, а к собственной сфере духа, в нынешнее время могут только нарастать. Даже там, где человек уже имеет способы сносно и даже с комфортом устроить свою судьбу со стороны, так сказать, ее материально-технической базы, внутреннее его неблагополучие продвинулось со времен бердяевских констатаций, предостережений и призывов гораздо дальше, по тому самому пути, о котором мыслитель писал: «Человек пережил новый опыт. небывалый, потерял почву, провалился. »

Бердяев бросается в схватку с историческим злом. «Моя мысль,— как подмечает он в записных книжках,— никогда не была сведением счетов с собой, борьбой со своим бессознательным, она была борьбой с врагом». В юности он эту борьбу мыслил чисто политически, на путях социализма увлекаясь вместе со своим поколением марксистскими революционными идеями. После Октября (в 1918) написал антиреволюционную «Философию неравенства (Письма к негрусам по социальной философии)», где утверждал духовную губительность «пролетарско-революционного мирозерцания» и достоинства традиционного иерархического устройства общества (от нее Бердяев вскоре стал отказываться, быть может, опрометчиво). Но всю жизнь потом философ колебался между этими двумя позициями — радикальной защитой социального равенства и органическим традиционализмом,— что давало повод считать его то «красным», то решительным антикоммунистом

Но в целом ему свойственна наполитическая позиция — позиция, сочетающая пафос личной свободы с утверждением общечеловеческой правды и сверхприродной истины. Он прежде всего не допускает, чтобы действующее в истории зло представляли согласно узколобой логике «масоноискателей» в виде некоей вселенской заговорщической организации которая, как из центра Сатаны, направляет ход мировых дел. Независимо от того или иного отношения к современному масонству Бердяев сопротивляется прежде всего поверхностному взгляду на историю. Это, по Бердяеву, трагический процесс, грандиозный и непредвиденный (начавшийся, как он не раз утверждал, с грехопадением и имеющий смысл в искушении греха), процесс, в который вовлечены личные воли и стихийные массы, взаимодействующие с силами добра и зла. Эти силы, в виде идейных влечений, в зависимости от свободного личного выбора наполняют и организуют человеческое поведение, рождая цепь исторических событий.

Бердяев выступил одним из первых в XX веке критиком «массового общества», он подал сигнал о выходе на историческую сцену новых человеческих количеств. Но как ни страшился мыслитель профанации и вульгаризации культуры и падежа духа, он дал нам образец конструктивной и благородной постановки проблемы. Он не впадает вместе с испанским социологом тоже открывателем эпохи масс, Ортегой и-Гасетом в высокомерный изоляционизм по отношению к культурным низам, к толпам восставших «неквалифицированных индивидов», хотя и не старается им погравить. Он стремится сохранить аристократизм культуры и распространить ее вширь, то есть как раз исполнить завет христианства, которое, по его же формуле, «и аристократично, и демократично». При этом груз задачи и вину за культурный разрыв (которую Бердяев видит в

равнодушии интеллектуальной элиты к народу) он берет на себя, возлагает на свой класс, призывая собратьев-интеллигентов не забывать о своем общественном призвании. Бердяев бьет тревогу по поводу того, что в верхнем творческом слое как раз утрачивается «идея служения высшей цели», идея «свободы, смысла, ценности, качества». И эта тревога Бердяева тоже оказалась пророческой. Когда дело заходит об экспериментаторских новациях авангарда, Бердяев, вопреки своему заветному апофеозу беспредельного творчества, дает грозный и пронциательный анамнез состоянию «нового искусства», диагностирует разрушительный характер новой «творческой» воли. «То, что происходит с миром во всех сферах, есть апокалипсис целой огромной космической эпохи... в этом вихре могут погибнуть и величайшие ценности, может не устоять человек, может быть разорван в клочья. Возможно не только возникновение нового искусства, но и гибель всякого искусства, всякой ценности, всякого творчества» («Кризис искусства», 1918)

В своей концепции Ренессанса, которая могла бы подействовать отрезвляюще на обвинителей всей этой великой эпохи в обезбоживании и распаде европейской культуры, Бердяев опять находит мудрую линию. Он усматривает беду не в том, что Ренессанс вызволил на простор индивидуальную человеческую душу (этот этап раннего Возрождения мыслитель считает идеальным моментом в истории, моментом равновесия между человеческой свободой и божественной истиной), а в том, что созревающая личность стала с этой Истиной разрывать. К сожалению, есть одна техническая трудность понимания Бердяева в «Смысле истории». Он использует одно и то же слово «гуманизм» и когда говорит о высокой оценке человеческого достоинства, и когда хочет определить позицию полностью эмансипировавшегося индивида, для чего было бы уместнее употребить понятие «антропоцентризм» или «индивидуализм».

Философ требователен к себе и к «своим» не только как представитель творческой элиты; как носитель христианской совести, он требователен к собратьям по вере. В духе Владимира Соловьева он сетует на малое участие христиан в решении проблем социальной справедливости и призывает их не отдавать историческое поле брани антихристовым силам. Он прав, но чрезвычайно суров. Ведь в успехах, достигнутых на попрание социальной защиты человека, очевидно и действие христианской заваксы, внесенной в европейское общество и подталкивающей его в таком направлении, на котором ему не грозят непоправимые и истребительные решения.

ИЗ КНИГИ «СМЫСЛ ИСТОРИИ»

Конец Ренессанса и кризис гуманизма. Разложение человеческого образа

И прежде всего я хотел бы остановиться на очень характерном и типическом кризисе Ренессанса в социализме. Социализм имеет огромное значение, он занимает большое место в жизни второй половины XIX и начале XX века. Это есть явление не только в жизни экономической, но и в судьбе европейской культуры, обнаружение внутренних в ней процессов. Социализм я буду рассматривать как целостное явление, как явление духа, а не в каком-либо специфически экономическом смысле. И вот, все основы такого целостного социализма глубоко противоположны основам Ренессанса. Сущность Ренессанса в том, что в нем обнаружился свободный избыток творчества человека. Социализм же есть явление, которое раскрывается не на почве избытка, а на почве недостатка и скудости. Там происходит не развязывание, а связывание творческих сил человека, подчинение их принудительному центру. В социализме отпущенный на свободу человек вновь приковывается к принудительно организованной и принудительно урегулированной жизни. Социализм есть явление по существу своему противоположное лозунгам индивидуализма. Но та почва, на которой возник социализм и индивидуализм, имеет много общего.

Я думаю, что в основе социализма лежит глубочайшее разъединение людей, человеческого общества, человеческой общности, та одиночество человеческая, которая является выражением индивидуализма. Социализм есть обратная сторона глубочайшей человеческой разобщенности. Ужас от своей покинутости, покинутости и предоставленности своей судьбе без всякой помощи, без всякого соединения с другими людьми, и побуждает к принудительному устройению общественной жизни и человеческой судьбы. Это указывает на то, что социализм рождается на той же почве, на которой рождается индивидуализм, что он есть также результат атомизации человеческого общества и всего процесса истории. Если пафос Ренессанса был подъем человеческой индивидуальности, то пафос социализма — образование нового, механического коллектива, подчиняющего себе все, направляющего всю жизнь по своим путям, для своих целей. Возникновение такого коллектива на почве атоми-

зированного общества означает конец Ренессанса и начало новой эпохи в жизни человеческого общества.

Нет больше свободной творческой жизни человеческой индивидуальности. Эллинистические начала человеческой культуры в социализме отодвигаются на второй план. Если в основании нашей культуры лежит соединение начал юдаистических и начал эллинистических, то здесь одерживают верх начала юдаистические. Тот процесс, который начинается с появления в европейской культуре новой силы — социализма, его торжества и распространения, обозначает начало закрепощения, противоположного тому процессу, с которого началась новая история. Процесс закрепощения — аналогичный тому, который начался в эпоху императора Диоклетиана¹, в эпоху раннего средневековья. Начало, которое несет с собой социализм, очень аналогично этому периоду возникновения раннего средневековья. Те процессы, которые происходили в уже кончающемся античном мире в эпоху императора Диоклетиана, мы обнаруживаем и в социалистических началах, наиболее прогрессивных, наиболее революционных. В социализме обнаруживается какое-то реакционное начало — начало внутренней реакции против всей новой истории, реакции против всего ренессансного освободительного периода и против французской революции. Это важно установить, чтобы понять процесс, с которым мы имеем дело. Тяга к социализму является характерной не только для нас, но и для всей Европы, где, быть может, в другой форме, но будут происходить процессы социализации, которые должны быть рассматриваемы как реакция против освободительных процессов новой истории, тех процессов, которые освободили человеческую индивидуальность. Здесь происходит самоотрицание человеческой индивидуальности, начинается бегство от самого себя и искание нового соединения, искание какой-то новой собранности, новой лжецерковности, потому что эпоха Ренессанса началась с того, что человек был оторван и предоставлен себе. Здесь же начинается подчинение всех сфер жизни общественной и культурной новому принудительному центру. Те основы, на которых покоилось общество XIX века, должны были обнаружить противоречия. Эти основы обнаружили свою несостоятельность и вызвали реакцию. Гуманизм и индивидуализм не могли решить судьбы человеческого общества, они должны были разложиться. Должен был появиться, вместо ренессансного образа свободного человека, антиренессансный образ нового организма, или, вернее, механизма, все себе подчиняющего и все поглощающего.

Подобно тому как обнаруживается конец Ренессанса в социализме, он обнаруживается и в анархизме, который есть предельное течение в судьбах европейского общества. И он, по существу своему, по духу своему, антиренессансен. Анархизм по внешности производит впечатление учения, обладающего пафосом свободы, требующего свободы, выставляющего начало самоутверждения человеческой личности. Но он возник не от свободного избытка и имеет не творческую избыточную природу. Возник он из зависти и мести. Пафос возмездия, пафос злобной ненависти к прошлому, к прошлой культуре, ко всему историческому для анархизма очень существен. Но такого рода злобная мстительность, такого рода пафос страданий и недостатка есть пафос антиренессансный, он не знает радости ренессансного избыточного творчества. Поэтому и анархизм не имеет творческой природы. Ее нельзя искать в истощающем, злобном и мстительном отрицании. Это истощающее отрицание не оставляет места для положительного творчества. Радости свободного творчества, свободного избытка анархизм не знает и знать не может. В этом он, подобно социализму, не имеет ренессансной природы. В анархизме происходит чрезвычайно интересный процесс самоотрицания свободы. В нем утверждается свобода, как бы пожирающая себя, как бы внутренне себя испепеляющая. Это не та свобода, которая дает радость расцвета творческой индивидуальности, — свобода идеалистического гуманизма. Это какая-то предельная, угрюмая и мучительная свобода, в которой человеческая индивидуальность увядает и гибнет, в которой происходит надрыв и свобода обращается в насилие. Большая часть анархических учений, в конце концов, утверждает формы коллективизма или коммунизма. Таковы программы Бакунина и Кропоткина. Для меня несомненно, что в анархизме, этом предельном течении европейского общества, также обнаруживается истощение и конец Ренессанса: анархизм не имеет гуманистического характера. Вся мораль, вся оценка жизненных отношений человека к человеку в анархизме не гуманистичны в смысле гуманизма Гердера, Гёте или В. Гумбольдта. В анархизме, так же как и в социализме, обнаруживается внутреннее реакционное начало, внутренняя реакция против того ренессансного гуманистического периода, которым характеризу-

ется новая история. Анархизм, в конце концов, есть форма реакционного восстания против культуры, неприятие культуры с ее неравенствами, с ее страданиями и вместе с тем с ее величайшими подъемами и расцветом, неприятие ее во имя процесса уравновешивающего, сглаживающего и сметающего все возвышающееся. Это реакционное течение внутри анархизма, как и внутри социализма, есть форма кризиса гуманизма и конца Ренессанса.

Но особенно ясно обнаруживаются симптомы конца Ренессанса в новейших течениях в искусстве. Этот конец Ренессанса начал обнаруживаться уже довольно давно. Уже в импрессионизме обозначился конец Ренессанса. Все аналитически-расчленяющие процессы в искусстве носят этот антиренессансный характер. Но настоящий конец Ренессанса, окончательный разрыв с ренессансными традициями мы встречаем в футуризме во всех его формах. Все разнообразие этих течений одинаково характеризуется разрывом с античностью и означает конец Ренессанса в человеческом творчестве. Для всех этих течений характерно глубокое потрясение и расчленение форм человека, гибель целостного человеческого образа, разрыв с природой. Искание совершенной природы, совершенных человеческих форм было пафосом Ренессанса, в этом была его связь с античностью. В футуризме погибает человек как величайшая тема искусства. В футуристическом искусстве нет уже человека, человек разорван в клочья. Все начинает входить во все. Все реальности в мире сдвигаются с своего индивидуального места. В человека начинают входить предметы, лампы, диваны, улицы, нарушая целостность его существа, его образа, его неповторимого лика. Человек проваливается в окружающий его предметный мир. Начинают нарушаться строгие формы, между тем как строгость формы и есть античное основание художественного творчества, которое вдохновляло творчество человека новой истории. Этот глубокий разрыв с античностью и с Ренессансом можно проследить на таких художниках, как Пикассо в его наиболее интересном кубистическом периоде. У Пикассо мы видим процесс разложения, распыления, кубистического распластывания целостных форм человека, разложение его на составные части для того, чтобы идти вглубь и искать первичные элементарные формы, из которых он складывается. В ренессансном же искусстве было целостное восприятие форм человека. В этом целостном поиске формы подражали природе, в которой формы эти сотворены Божьим творчеством, подражали античному искусству. Искусство Пикассо разрывает с образцами природы и с образцами античности. Оно уже не ищет совершенного целостного человека, оно потеряло способность к целостному восприятию, оно срывает покров за покровом, чтобы обнаружить внутреннее строение природного существа, идя все дальше и дальше вглубь и открывая образы настоящих чудовищ, которых Пикассо и создает с такой силой и выразительностью. Можно сказать, что все футуристические течения, гораздо менее значительные, чем живопись Пикассо, идут все дальше и дальше в процессе разложения. Когда в картины вставляют куски бумаги или газетных объявлений или когда в картине вы видите составные части мусорной ямы, тогда окончательно ясно, что разложение заходит слишком далеко, что происходит процесс дегуманизации. Человеческая форма, как и всякая природная форма, окончательно погибает и исчезает. Такая утрата совершенных человеческих форм характерна и для творчества Андрея Белого. Творчество Андрея Белого родственно во многом футуризму, хотя оно неизмеримо более значительно, чем творчество большей части футуристов. Оно обозначает глубочайший разрыв с античными традициями в искусстве. В творчестве А. Белого, в его замечательном романе «Петербург» человек проваливается в космическую безмерность, опрокидываются и смешаются формы человека, отличающие его от предметного мира. Начинается процесс какой-то дегуманизации, смещения человека с нечеловеческим, с элементарными духами жизни космической. Совершенство формы в антично-ренессансном смысле в этом искусстве исчезает начинается новый ритм космического распыления. Таковы несомненно антигуманистические начала в творчестве А. Белого. В нем все дальше и дальше идет процесс распластания и распыления человека на вершинах искусства нового времени. В самых последних плодах своего творческого пути человек нового времени приходит к отрицанию своего образа. Человек как индивидуализированное существо перестал быть темой искусства, он погружается и проваливается в социальные и космические коллективности.

Такой же конец Ренессанса и такие же антигуманистические начала можно вскрыть и в других течениях культуры. Так, теософические течения² носят характер антиренессансный и антигуманистический. Это может быть не так ясно с первого взгляда.

да, но это нетрудно вскрыть, если вдуматься в теософические и оккультические течения. В них человеческая индивидуальность подчиняется космическим иерархиям духов. Человек перестает играть ту центральную и обособленную роль, которую он играл в ренессансный, гуманистический период истории, он вступает в иные космические планы, начинает чувствовать себя управляемым демонами и ангелами. Это ощущение подчиненности человека космическим иерархиям создает такую настроенность, такое понимание жизни, при которых ренессансная свободная, «кипячая игра творческих сил» делается невозможной, внутренне не оправдываемой и недопустимой. И в таком теософическом и оккультическом течении, как учение Рудольфа Штейнера, нет центрального и исключительного места для человека. В конце концов, и в этом течении человек есть лишь орудие космической эволюции, человек есть продукт действия разных космических сил, точка пересечения разных планетарных эволюций, в которой складываются осколки разных миров,— человек переходит в эволюцию мира. Неоправданно наименование антропософии для учения Штейнера. Неренессансный характер и неренессансная настроенность в такого рода течении совершенно ясны. Если сравнить современного теософа Штейнера с ренессансным теософом Парацельсом³, то будет совершенно ясной противоположность ренессансного и антиренессансного духа. у Парацельса была творчески-избыточная радость в постижении тайн природы, вырывание из недр ее сокровенной тайны, у Штейнера нет радости творческой избыточности, наоборот, он указывает на тяжкий путь человеческой муштровки, которая в конце концов приводит к тому, что человек раскрывает свою зависимость от космических иерархий. Здесь есть чувство большой подневольности человека, чувство большой тяжести жизненного процесса, безмерная его трудность и то же разочарование в новой истории, которое характерно для всех явлений общественности и культуры нашего времени. В религиозных и мистических движениях конца XIX и начала XX века, которые для этой эпохи очень характерны и идут на смену течениям позитивным и материалистическим, также обнаруживается характер антиренессансный и антигуманистический. Там есть необходимость подчинения, невозможности дальше жить на путях свободной творческой игры, ничему не подчиненной, ничем не регулируемой. Происходит обращение к духовным основам, родственным средневековью, в противоположность тем началам, которые господствовали во всем новом, ренессансном периоде человеческой истории. Если для ренессансного периода была характерна большая умственная свобода, с которой и начался Ренессанс, то в конце этого периода умственная свобода теряется. Человек в этой безграничной умственной свободе как бы истощил свои умственные силы и начинает поработать самого себя, отрицать результаты той умственной работы, которая была произведена им на протяжении всей новой истории.

Начинает обнаруживаться величайший кризис творчества и глубочайший кризис культуры, который в течение последних десятилетий обнаруживает все более и более умножающиеся симптомы. Этот кризис творчества характеризуется дерзновенной жадной творчеством, быть может до сих пор небывалой, и вместе с тем творческим бессилием, творческой немощью и завистью к более целостным эпохам в истории человеческой культуры. Обнаруживаются внутренние противоречия, которые явились результатом ренессансного периода, в силу которых все результаты творчества оказываются неудовлетворительными, не соответствующими творческому заданию. В то время как творческое задание обозначает взлет ввысь для создания новой жизни и нового бытия, творческое осуществление обозначает ниспадение вниз для созидания дифференцированных продуктов культуры. В то время как творческий подъем хочет создать новое бытие, в результате получается стихотворение, картина, научная или философская книга, творится новая форма законодательства, новая форма человеческих нравов. Все продукты человеческого творчества несут на себе печать земной тяжести. Они не есть высшее бытие, высшая жизнь. Они получают формы, не соответствующие творческому подъему, и поэтому результаты творчества глубоко не удовлетворяют творца. В этом — основное противоречие творчества⁴. И в нашу эпоху оно обострилось как никогда. Я даже думаю, что самая сильная и самая глубокая сторона нашей эпохи в том, что она до конца осознала этот кризис творчества. Люди ренессансной эпохи творили радостно, не ощущая всей горечи того, что творчеством создается не то, что задается. Когда великие мастера Ренессанса творили свои картины, они ощущали радость творчества, не отравленную горечью раздвоенного сознания, и это давало им возможность быть великими мастерами. Великие же течения нашего

времени носят отпечаток глубокой внутренней неудовлетворенности, мучительного искания выхода из тисков, в которых человеческое творчество сдавлено. Такие величайшие творческие индивидуальности, как Ницше, Достоевский, Ибсен, сознавали трагедию творчества, они мучились этим внутренним кризисом творчества, этой невозможностью создать то, что задано в творческом подъеме. Это все — симптомы конца Ренессанса, обнаружение внутреннего противоречия, которое делает невозможной дальнейшую ренессансную свободную игру человеческих сил, творящих науки и искусства, творящих формы государства, нравов, законодательства и всего, что в этом периоде творилось. Здесь обнаруживается такое внутреннее раздвоение, такое расщепление, которое в прежнее время, в период ренессансного творчества, никогда не было обнаружено. В глубине человеческой культуры поднимаются какие-то внутренние стихии варварства, которые мешают дальнейшему творчеству классической культуры, классических форм искусства и науки, классической формы государства, классической формы нравов и быта. Наступает конец срединного царства культуры, происходят взрывы изнутри, вулканические извержения, которые обнаруживают неудовлетворенность культурой и конец Ренессанса в самых разнообразных формах. Наступают сумерки Европы, которая так блистательно расцветала в течение ряда столетий, которая считала себя монополистом высочайшей культуры и навязывала свою культуру, иногда с таким насилием, всему остальному миру. Гуманистической Европе наступает конец, начинается возврат к средневековью Мы вступаем в ночь нового средневековья. Предстоит новое смешение рас и культурных типов. Это и есть один из результатов познания философии истории, который мы должны усвоить для того, чтобы знать, какая судьба ожидает все народы Европы и Россию и что означает этот конец гуманистической Европы, это вступление в ночную эпоху истории.

Для конца новой истории характерно, во всех ее областях, во всех ее результатах, переживание глубочайшего разочарования, разочарования во всех основных стремлениях, мечтах и иллюзиях новой истории. В каждой линии новой истории мы можем найти это разочарование: не осуществилось ничто из этих стремлений, ни в области познания — в науке и философии, ни в области художественного творчества, ни в области жизни государственной, ни в области жизни экономической, ни в области реальной власти над природой. Те гордые мечты человека, которые окрыляли его в этот ренессансный период, сокрушены. Человек стал бескрылым. Человеку пришлось особым каким-то образом смириться. Гордые мечты человека о безграничном познании природы привели к познанию границ познания, к бессилию науки постигнуть тайну бытия. Наука мельчает и разбедается рефлексией. Философия окончательно поражена недугом рефлексии, вечным сомнением в познавательных силах человека. Новейшие гносеологические направления⁵ до самого познания бытия так и не доходят, они останавливаются у порога настоящего философского познания мира. Философия проходит через раздвоение и не верит в достижение цельного познания философским путем. Начинается кризис философии, внутреннее бессилие, искание религиозных основ для философии подобно тому, как это происходило в конце древнего мира, когда философия начала окрашиваться в мистический цвет. То же самое происходит и в области искусства. Большое и великое искусство прежнего времени как будто безвозвратно уходит; начинается процесс аналитического раздробления, измельчания, появляется футуристическое искусство, которое перестает уже быть формой человеческого творчества, в котором творческий акт начинает разлагаться. То же глубокое раздвоение обнаруживается и в общественных течениях. Ни пустая свобода, ни принудительное братство не могут дать радости людям. Это начинает все более и более сознаваться чуткими людьми. Рухнули идеалы французской революции. Все более начинают сознавать внутреннюю бессодержательность и тщету демократии. Предстоит глубочайшее разочарование в социализме и анархизме. На всех этих путях невозможно разрешить судьбу человеческого общества. Словом, во всех линиях новой истории есть горькое чувство разочарования, мучительное несоответствие того творческого подъема, с которым человек вошел в новую историю, полный сил и дерзновения, и того творческого бессилия, с которым он выходит из новой истории. Он кончил новую историю глубоко разочарованным, надломленным, раздвоенным и творчески истощенным. Это творческое истощение, соединенное с жаждой творчества, есть очень характерный результат того обессилиения человека, которое является карой за самоутверждение человека в новой истории, за гуманистическое самоутверждение, когда человек, не пожелавший подчинить себя ничему сверхчеловеческому, теряет образ свой, растрчивает свои силы.

И это опять та черта, в которой современный человек конца новой истории походит на человека в период окончания древнего мира. Тогда тоже чувствовался надрыв и какая-то тоска по высшему творчеству, по иной, высшей жизни, и вместе с тем невозможность ее осуществить. Все это указывает на то, что в человеческой истории есть периодическое возвращение тех же моментов, не в том смысле, чтобы они могли по существу повторяться, потому что ничто исторически-индивидуальное не повторяется, но в том, что есть формальное сходство, которое помогает постигнуть нашу эпоху, сопоставив ее с эпохой античного мира и началом новой христианской эры.

Эту растрату сил человека новой истории я уже пытался объяснить, когда говорил о переходе от средневековья к эпохе Ренессанса. В то время как средневековый период истории, с аскетикой, монашеством и рыцарством, сумел предохранить силы человека от растраты и разложения для того, чтобы они могли творчески расцвести в начале Ренессанса, весь гуманистический период истории отрицал аскетическую дисциплину и подчинение высшим, сверхчеловеческим началам. Этот период характеризуется растратой человеческих сил. Растрата человеческих сил не может не сопровождаться истощением, которое в конце концов должно привести к потере центра в человеческой личности, личности, которая перестала себя дисциплинировать. Такая человеческая личность должна постепенно перестать сознавать себя, свою самость, свою особость. И мы замечаем это решительно во всех течениях современной культуры: в социализме, в монархизме и империализме. Это заметно в современных течениях в искусстве и в современных оккультических течениях. Решительно во всем чувствуется потрясение человеческого образа, разложение той человеческой личности, которая выковывалась в христианстве и выковывание которой было задачей европейской культуры. Она начинает слабеть и внутренне терять свой образ, теряя свое самосознание, она лишается внутреннего духовного упора. И вот начинается искание духовного центра, связь с которым могла бы восстановить надорванные силы личности. Человеческая индивидуальность чувствует, что на тех свободных путях, по которым она шла в ренессансный период, ей грозит все большее и большее истощение и утрата свободы, она ищет начал, над ней возвышающихся, ею руководящих. Личность человеческая ищет для себя святыни, она жаждет свободно подчинить себя, чтобы вновь обрести себя. Повторяется та парадоксальная истина, что человек себя приобретает и себя утверждает, если он подчиняет себя высшему сверхчеловеческому началу и находит сверхчеловеческую святыню как содержание своей жизни, и наоборот, человек себя теряет, если он себя освобождает от высшего сверхчеловеческого содержания и ничего в себе не находит, кроме своего замкнутого человеческого мирака. Утверждение человеческой индивидуальности предполагает универсализм. Это доказывается всеми результатами новой культуры, новой истории, во всем — и в науке, и в философии, и в искусстве, и в морали, и в государстве, и в хозяйственной жизни, и в технике, доказывается и опытно обнаруживается. Доказано и показано, что гуманистическое безбожие ведет к самоотрицанию гуманизма, к перерождению гуманизма в антигуманизм, к переходу свободы в принуждение. Так кончается новая история и начинается какая-то другая история, которую я, по аналогии, назвал новым средневековьем⁶; в ней человек вновь должен связать себя, чтобы собрать себя, вновь должен подчинить себя высшему, чтобы не окончательно погубить себя. Для того, чтобы человеческая личность вновь обрела себя, чтобы та христианская работа над человеческим образом, которая составляет существенный момент в судьбе человека во всемирной истории, продолжалась и дальше, для этого необходим возврат, по-новому, к некоторым элементам средневекового аскетизма. То, что средние века переживали трансцендентно, должно быть пережито имманентно. Работа свободного самограничения человека, свободной дисциплины, волевого подчинения себя сверхчеловеческой святыне может предотвратить окончательное истощение творческих сил человека, она приведет к накоплению новых творческих сил и сделает возможным новый, христианский Ренессанс, который для избранной части человечества наступит лишь на почве укрепления человеческой личности. Средневековье было основано, и в этом была его духовная сущность и высший пафос, на внутренней отрешенности от мира. Эта отрешенность от мира создала великую средневековую культуру. Средневековая идея царства Божьего есть идея отрешенности от мира, приводящая к владычеству над миром. Это — тот основной парадокс средневековья, который был вскрыт такими историками средневековой культуры, как Эйкен⁷, — мироотрицание церкви привело к идее миродержавства церкви. Что это не могло утаться, об этом я уже говорил. Сво-

бода духа не была по-настоящему раскрыта в средневековом сознании. Драма новой истории была внутренне неизбежна. Но опыт нового человека, поставившего себе задачей владычество над миром, сделал его рабом мира. В этом рабстве он утерял свой человеческий образ, и потому теперь человек должен пройти через новую отрешенность для победы над миром в себе и вокруг себя, для того, чтобы стать владыкой, а не рабом. Это и есть то духовное положение, в которое попадает человек в конце новой истории, у порога новой эры.

Я мыслю эту новую эру как раскрывающую два пути перед человеком. На вершине истории происходит окончательное раздвоение. Человек волен пойти путем самоподчинения себя высшим божественным началам жизни и на этой почве укрепить свою человеческую личность и волен подчинить и поработить себя другим, не божественным и не человеческим, а злым сверхчеловеческим началам. Это есть тема о том, почему всемирная история есть внутреннее раскрытие Апокалипсиса. Личность человеческая, на вершине новой истории, не может вынести рабства у общества и у природы, и вместе с тем она чувствует все большее и большее рабство и у природы и у общества. Происходит порабощение человеческой личности природой и общественной средой. Машиной, развитием материальных производительных сил пытался человек овладеть природными стихиями, но вместо этого он становится рабом созданной им машины и созданной им материальной социальной среды. Это уже обнаружено в капитализме и будет обнаружено и в социализме. Таков трагический результат всей новой истории, трагическая ее неудача. Но эта неудача новой истории не означает бессмыслицы новой истории, не вызывает окончательно пессимистического понимания судьбы истории. Она имеет внутренний смысл, если понимать всемирную историю как трагедию, а именно так ее и нужно понимать. Если считать, что разрешение ее не может быть имманентным, внутри самой истории, а лишь вне ее пределов, если так отнестись к истории, тогда все неудачи истории получают глубокий внутренний смысл и мы начинаем постигать, что смысл истории заключается не в том, чтобы осуществлялись задачи, поставленные в тот или иной ее период. Осуществление заданий истории за ее пределами как раз и обнаруживает глубочайший внутренний смысл истории, потому что, если бы в какое-нибудь мгновение истории были осуществлены задачи истории и пришел человек к окончательному удовлетворению, то такая удача истории, в сущности, обнаружила бы бессмысленность истории, как это ни кажется парадоксальным, потому что настоящий смысл истории заключается не в том, чтобы она была разрешена в какое-либо мгновение, в какой-либо период времени, а в том, чтобы раскрылись все духовные силы истории, все ее противоречия, чтобы было внутреннее движение трагедии истории и лишь в конце явлена была всеразрешающая истина. Только тогда конечное ее разрешение бросит обратный свет на все предшествующие периоды истории, в то время как разрешение задачи в одно из мгновений не значило бы разрешения задачи истории для всех ее периодов, на всем ее протяжении. Сейчас мне важно указать, что мое понимание глубокой неудачи истории вовсе не означает того, что я утверждаю бессмыслицу истории, потому что для меня сама эта неудача, в каком-то смысле, есть священная неудача. Сама эта неудача указывает на то, что высшее призвание человека и человечества — сверх-исторично, что возможно лишь сверхисторическое разрешение всех основных противоречий истории.

Нужно указать еще и на то, что Россия занимает совершенно исключительное положение в этом процессе окончания Ренессанса. В России мы переживаем конец Ренессанса и кризис гуманизма острее, чем где бы то ни было на Западе, не пережив самого Ренессанса. В этом — своеобразии и оригинальности русской исторической судьбы. Нам не было дано пережить радость Ренессанса, у нас, русских, никогда не было настоящего пафоса гуманизма, мы не познали радости свободной игры творческих избыточных сил. Вся великая русская литература, величайшее наше создание, которым мы можем гордиться перед Западом, — не ренессансная по духу своему. В русской литературе и русской культуре был лишь один момент, одна вспышка, когда блеснула возможность Ренессанса, — это явление пушкинского творчества, это — культурная эпоха Александра I. Тогда и у нас что-то ренессансное приоткрылось. Но это был лишь короткий период, не определивший судьбы русского духа. Русская литература XIX века, в начале которой стоял чарующий гений Пушкина, была не пушкинская; она обнаружила невозможность пушкинского творчества и пушкинского духа. Мы творили от горя и страдания; в основе нашей великой литературы лежала вели-

кая скорбь, жажда искупления грехов мира и спасения. Никогда не было у нас радости избыточного творчества. Вспомните Гоголя и весь характер его творчества. Это скорбная и мучительная творческая судьба. Такова же судьба двух величайших русских гениев — Толстого и Достоевского. Все их творчество не гуманистическое и не ренессансное. Весь характер русской мысли, русской философии, русского морального склада и русской государственной судьбы несет в себе что-то мучительное, противоположное радостному духу Ренессанса и гуманизма. Сейчас мы переживаем во всех сферах нашей общественной жизни и культуры кризис гуманизма. В этом — чрезвычайная парадоксальность нашей судьбы и какое-то своеобразие нашей природы. Нам дано раскрыть, может быть острее, чем народам Европы, противоречие и неудовлетворительность срединного гуманизма. Достоевский наиболее характерен и наиболее важен для осознания внутреннего краха гуманизма. Гуманизм в Достоевском переживает величайший крах. Именно Достоевский сделал здесь великие открытия. Достоевский, который так болел о человеке, о судьбе человека, который сделал человека единственной темой своего творчества, именно он и вскрывает внутреннюю несостоятельность гуманизма, трагедию гуманизма. Вся диалектика Достоевского направлена против существа гуманизма. Его собственный трагический гуманизм глубоко противоположен тому историческому гуманизму, на котором была основана ренессансная история, который исповедовали великие гуманисты Европы. Эти особенности русского Востока обозначают своеобразную его миссию в познании конца Ренессанса и конца гуманизма. Именно России дано здесь что-то обнаружить и открыть, и именно в России высказывается какая-то особенно острая мысль о конечных исторических судьбах. Не случайно на вершинах русской религиозной философии мысль всегда была обращена к Апокалипсису. Начиная с Чаадаева и славянофилов и далее у Владимира Соловьева, у К. Леонтьева и Достоевского русская мысль была занята темами философии истории, и эта русская философия истории была — апокалиптической. И русская революция, по метафизическому существу своему, есть крах гуманизма и этим подводит к апокалиптической теме. Так приближаемся мы к последним проблемам метафизики истории, к проблемам прогресса и конца истории.

Печатается по книге: Бердяев Н. А. Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы. Изд. 2-е. Paris. YMCA-PRESS. 1969, стр. 202—221.

¹ Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (243—316) — римский император (284—305), предпринявший массовые гонения на христиан

² Под теософией в употребляемом здесь Бердяевым смысле понимается такое богопознание, которое в отличие от теологии, основанной на Откровении и догматах, опирается на субъективные мистические переживания, оформляемые в некую законченную, связную систему; теософией именовалась также доктрина русской писательницы Е. П. Блаватской (1831—1891), эклектически сочетающей элементы разнообразных религиозно-философских систем, оккультизма и гностицизма. Об оценке теософских установок см. ниже прим. 1 к письму Бердяева Вяч. И. Иванову.

³ Парацельс (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм, 1493—1541) — врач и алхимик; учил о таинственном соответствии в строении человеческого микрокосма и природного макрокосма, познаваемого магическим путем.

⁴ Разведение и даже противоположение творческого порыва и конечного творческого продукта — одна из главных тем концептуального сочинения Бердяева «Смысл творчества» (1916).

⁵ Имеется в виду течение неокантианской мысли, так называемая Марбургская школа, заменившая осмысление объективного мира конструированием познавательных схем.

⁶ Этот переходный этап освещается Бердяевым в главе VI «Христианство и история» и главе VII «Ренессанс и гуманизм» книги «Смысл истории».

⁷ Эйкен Генрих — немецкий историк-медиевист, автор книги «История и система средневекового мировоззрения» (1907), с рефератом которой можно познакомиться из статьи С. Н. Булгакова «Средневековый идеал и новейшая культура» (в его книге «Два града». М. 1911, т. 1, стр. 151—177).

ДУХОВНОЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО МИРА *

Все в современном мире находится под знаком кризиса, не только социального и экономического, но также и культурного, но и духовного кризиса, все стало проблематическим. Это острее всего сознается в Германии, и об этом много пишут. Как относятся христиане к агонии мира, как должны относиться? Есть ли это только кризис мира внехристианского и антихристианского, изменившего христианской вере,

* Доклад, прочитанный в мае 1931 года на съезде лидеров Мировой Христианской Федерации. (Прим. Бердяева)

или это также кризис христианства? И христиане разделяют судьбу мира. Они не могут делать вида, что в христианстве, в христианском человечестве все обстоит благополучно и что ничто, в мире происходящее, его не затрагивает. На христианский мир, на христианское движение падает тяжелая ответственность. Над миром совершается суд, и он есть также суд над историческим христианством. Болезни современного мира связаны не только с отпадением от христианства, с охлаждением веры, но и с застарелыми болезнями христианства в его человеческой стороне. Христианство универсально по своему значению, и все находится в его орбите, ничто не может быть для него вполне внешним. И христиане должны понять духовное состояние современного мира из самого христианства, определить, что значит кризис мира как событие внутри христианства, внутри христианской универсальности. Мир пришел в жидкое состояние, в нем нет больше твердых тел, он переживает революционную эпоху и внешне и внутренне, эпоху духовной анархии. Человек живет в страхе (Angst)¹ более чем когда-либо, под вечной угрозой, висит над бездной (Grenzsituation² Тиллиха). Современный европейский человек потерял веру, которой он пытался в прошлом веке заменить христианскую веру. Он не верит больше в прогресс, в гуманизм, в спасительность науки, в спасительность демократии, он сознает неправду капиталистического строя и изверился в утопии совершенного социального строя. Современная Франция изъедена культурным скепсисом, в современной Германии кризис опрокидывает все ценности. И вся Европа потрясена невероятными событиями, происходящими в советской России, охваченной новой верой, новой религией, враждебной религии христианской. Характерно для современной Европы возникновение новых форм пессимистической философии, по сравнению с которой пессимизм Шопенгауэра представляется утешительным и невинным. Такова философия Гейдеггера³, для которой бытие падшее по своей сущности, но ни от кого не отпавшее, мир безнадежно греховен, но Бога нет, сущность мирового бытия есть забота. Властителем дум современной средней Европы является меланхолический, мрачный, трагический Кирхегардт. Его учение об Angst сделалось очень популярным, оно выражает сейчас состояние мира, положение человека. Наиболее интересным и значительным течением теологической и религиозной мысли является бартианство⁴, которое охвачено исключительным и острым чувством греховности человека и мира и христианство понимает исключительно эсхатологически. Течение это есть религиозная реакция против либерально-гуманистического, романтического протестантизма прошлого века. Такая же реакция против либерализма, романтизма, модернизма обнаруживается в католичестве, которое пытается сейчас спасти от модернистических опасностей и укрепить возвратом к Фоме Аквинату. Томизм есть не только официальная философия католической церкви, он стал также культурным течением и захватывает католическую молодежь. Но и бартианство и томизм унижают человека. Тяготение к авторитаризму и к восстановлению традиций есть обратная сторона анархии и хаоса мира. В западном христианстве ослабла вера в человека, в его творческую силу, в его дело в мире. В социально-политических движениях преобладают принципы насилия и авторитета. Умаление свободы человека — в коммунизме, в фашизме, в национал-социализме торжествует новую победу материализм экономический и расовый. Человек как будто бы устал от духовной свободы и готов отказаться от нее во имя силы, которая устроит его жизнь, внутренне и внешне. Человек устал от самого себя, от человека, изверился в человеке и хочет опереться на сверхчеловеческое, хотя бы это сверхчеловеческое было социальным коллективом. Многие старые кумиры низвергнуты нашим временем, но много новых кумиров создается. Человек так устроен, что он может жить или верой в Бога, или верой в идеалы и кумиры. В сущности, человек не может быть последовательным и окончательным атеистом. Отпадая от веры в Бога, он впадает в идолатрию. Идолотворение и идолопоклонение мы видим во всех областях — в науке, в искусстве, в государственной, национальной, социальной жизни. Так, например, коммунизм есть крайняя форма социальной идолатрии.

У современного европейца ослабела всякая вера. Он более свободен от оптимистических иллюзий, чем человек XIX века, и поставлен перед оголенными, неприкрашенными, суровыми реальностями. Но в одном отношении современный человек оптимистичен и полон веры, у него есть кумир, которому все приносится в жертву. Тут мы подходим к очень важному моменту в духовном состоянии современного мира. Современный человек верит в могущество техники, машины, иногда кажется, что это единственное, во что еще верит. Для его оптимизма в этом отношении есть, казалось

бы, очень серьезные основания. Головокружительные успехи техники в нашу эпоху есть настоящее чудо греховного природного мира. Человек потрясен и подавлен могуществом техники, перевернувшей всю его жизнь. Человек сам ее создал, она продукт его гения, его разума, его изобретательности, она детище человеческого духа. Человеку удалось расковать скрытые силы природы и использовать их для своих целей, внести телеологический принцип в действие сил механико-физико-химических. Но овладеть результатами своего дела человеку не удалось. Техника оказалась сильнее самого человека, она подчинила его себе. Техника есть единственная сфера оптимистической веры современного человека, самое большое его увлечение. Но она же приносит человеку много горечи и разочарований, она порабощает человека, ослабляет его духовность, угрожает ему гибелью. Кризис нашего времени в значительной степени порожден техникой, с которой человек не в силах справиться. И это кризис прежде всего духовный. Для нашей темы важно подчеркнуть, что христиане оказались совершенно неподготовленными для оценки техники и машины, для понимания ее места в жизни. Христианское сознание не знает, как отнестись к огромному мировому событию, связанному с введением в человеческую жизнь машины и техники. Природный мир, в котором в прошлом привык жить человек, уже не представляется вечным порядком. Человек живет в новом мире, совсем не в том, в котором совершилось христианское откровение, в котором жили апостолы, учителя церкви, святые, с которыми связана символика христианства. Христианство представлялось очень связанным с землей, с патриархальным строем жизни. Но техника оторвала человека от земли, она окончательно разрушила патриархальный строй. Христиане могут жить и действовать в этом мире, в котором все непрерывно меняется, в котором нет уже ничего устойчивого, благодаря привычному христианскому дуализму. Христианин привык жить в двух ритмах, в ритме религиозном и ритме мирском. В ритме мирском он участвует в технизации жизни, религиозно не освященной, в ритме же религиозном, в немногие дни и часы своей жизни, он уходит от мира к Богу. Но остается неясным, что религиозно означает этот вновь образующийся мир. Долгое время технику считали наиболее нейтральной сферой, религиозно безразличной, наиболее удаленной от вопросов духовных и потому невинной. Но это время прошло, хотя и не все это заметили. Техника перестала быть нейтральной. Вопрос о технике стал для нас духовным вопросом, вопросом о судьбе человека, о его отношении к Богу. Техника имеет безмерно более глубокое значение, чем обычно о ней думают. Она имеет космогоническое значение, она создает совершенно новую действительность. Ошибочно думать, что действительность, порождаемая техникой, есть старая действительность мира физического, действительность, изучаемая механикой, физикой, химией. Это действительность, которой не было в истории мира до открытий и изобретений, совершенных человеком. Человеку удалось создать новый мир. Машина не есть механика. В машине присутствует разум человека, в ней действует телеологический принцип. Техника создает атмосферу, насыщенную энергиями, которые были ранее скрыты в глубине природы. И человек не уверен, что он в состоянии будет дышать в этой новой атмосфере. В прошлом привык он дышать иным воздухом. Еще не выяснено, что принесет для человеческого организма та электрическая атмосфера, в которую он себя вверг. Техника дает в руки человека страшную, небывалую силу, силу, которой может быть истреблено человечество. Прежние орудия, находившиеся в руках человека, были игрушечными. И их можно было еще считать нейтральными. Но когда дана такая страшная сила в руки человека, тогда судьба человечества зависит от духовного состояния человека. Уже одна истребительная техника войны, грозящая почти космической катастрофой, ставит духовную проблему техники во всей остроте. Техника есть не только власть человека над природой, но и власть человека над человеком, власть над жизнью людей. Техника может быть обращена на служение Богу, но может быть обращена и на служение дьяволу. Но именно поэтому она не нейтральна. Именно в наше материалистическое время все приобретает духовное значение, все становится под знак духа. Техника, порожденная духом, материализирует жизнь, но она же может способствовать и освобождению духа, освобождению от сраженности с материально-органической жизнью. Она может способствовать и одухотворению.

Техника означает переход всего человеческого существования от организма к организации. Человек не живет более в органическом строе. Человек привык жить в органической связи с землей, растениями и животными. Великие культуры прошлого были еще окружены природой, любили сады, цветы и животных, они не порывали

еще с ритмом природы. Чувство земли порождало теллурическую⁵ мистику (об этом есть замечательные мысли у Бахофена⁶). Человек из земли вышел и в землю возвращается. С этим связана глубокая религиозная символика. Огромную роль играли культы растительные. Органическая жизнь человека и человеческих обществ представлялась жизнью, подобной растительной. Органической была жизнь семьи, корпорации, государства, церкви. Общество уподоблялось организму. Романтики начала XIX в. особенное значение придавали организму и органическому. От них идет идеализация всего органического и вражда к механическому. Организм рождается, а не творится человеком, он есть порождение природной, космической жизни, в нем целое не складывается из частей, а предшествует частям и определяет их жизнь. Техника отрывает человека от земли, переносит в мировые пространства, дает человеку чувство планетарности земли. Техника радикально меняет отношение человека к пространству и времени. Она враждебна всякой органической воплощенности. В технический период цивилизации человек перестает жить среди животных и растений, он ввергается в новую холодно-металлическую среду, в которой нет уже животной теплоты, нет горячей крови. Власть техники несет с собой ослабление душевности в человеческой жизни, душевного тепла, уюта, лирики, печали, всегда связанной с душой, а не с духом. Техника убивает все органическое в жизни и ставит под знак организации все человеческое существование. Неизбежность перехода от организма к организации есть один из источников современного кризиса мира. Не так легко оторваться от органического. Машина с холодной жесткостью отрывает дух от сращенности с органической плотью, с растительно-животной жизнью. И это прежде всего сказывается в ослаблении чисто душевного элемента в человеческой жизни, в разложении целостных человеческих чувств. Мы вступаем в суровую эпоху духа и техники. Душа, связанная с органической жизнью, оказалась очень хрупкой, она сжимается от жестоких ударов, которые ей наносит машина, она истекает кровью, и иногда кажется, что она умирает. Мы воспринимаем это как роковой процесс технизации, механизации, материализации жизни. Но дух может противиться этому процессу, может овладеть им, может вступить в новую эпоху победителем. Это есть основная проблема. Организация, к которой переходит мир, организация огромных человеческих масс, организация техники жизни, организация хозяйства, организация научной деятельности и т. д. очень тяжела для душевной жизни человека, для интимной жизни личности, она порождает внутренний религиозный кризис. Элементы организации существовали с самой зарей человеческой цивилизации, как всегда существовали элементы техники, но никогда принцип технической организации не был господствующим и всеобъемлющим, всегда многое оставалось в состоянии органическом, растительном. Организация, связанная с техникой, есть рационализация жизни. Но человеческая жизнь не может быть окончательно и без остатка рационализирована, всегда остается иррациональный элемент, всегда остается тайна. Универсальный принцип рационализации получает возмездие. Рационализация, не подчиняющаяся высшему духовному началу, порождает иррациональные последствия. Так, в жизни экономической мы видим, что рационализация порождает такое иррациональное явление, как безработица. В советской России рационализация жизни принимает формы, напоминающие коллективное безумие. Универсальная рационализация, техническая организация, отвергающая таинственные основы жизни, порождает утрату старого смысла жизни, тоску, склонность к самоубийству. Человек увлечен созданной им техникой, но сам он не может превратиться в машину. Человек — организатор жизни, но сам он в глубине своей не может быть предметом организации, в нем самом всегда остается элемент органический, иррациональный, таинственный. Рационализация, технизация, машинизация всей человеческой жизни и самой человеческой души не может не вызвать против себя реакции. Эта реакция существовала в XIX в. Романтики всегда протестовали против власти техники, разлагающей органическую целостность, призывали к природе, к стихийной основе в человеке. Резким протестантом против техники был Рёскин⁷, он не хотел даже примириться с железной дорогой и ездил в экипаже параллельно железнодорожному пути. Романтическая реакция против техники понятна и даже необходима, но она бессильна, она не решает проблемы, или решает слишком легко. Возврат к прежнему, к органическому быту, к патриархальным отношениям, к старым формам сельского хозяйства и ремеслам, к жизни с природой, с землей, растениями и животными невозможен. Да и возврат этот нежелателен, он связан был с эксплуатацией людей и животных. В этом трагизм положения. И остается только духу твор-

чески определить свое отношение к технике и к новой эпохе, овладеть техникой во имя своих целей. Христианство должно творчески определить отношение к новой действительности. Оно не может быть слишком оптимистичным. Но не может и уйти от суровой действительности. Это предполагает напряжение духовности, усиление внутренней духовной жизни. Душевный сентиментализм в христианстве становится уже невозможным. Душевная эмоциональность не выносит суровой действительности. Бесстрашие возможно лишь для закаленного, сурового духа. Дух может быть организатором, он может владеть техникой для своих духовных целей, но он будет сопротивляться превращению его в орудие организаторского технического процесса. В этом трагедия духа.

Другая сторона процесса, порождающего современный кризис культуры, есть вступление в культуру огромных человеческих масс, демократизация, происходящая в очень широких масштабах. В культуре есть начало аристократическое и начало демократическое. Без начала аристократического, без подбора качеств высота и совершенство никогда не были бы достигнуты. Но вместе с тем культура распространяется вширь, к ней приобщаются все новые социальные слои. Это процесс неизбежный и справедливый. В культуре нашего времени утеряна всякая органическая целостность, всякая иерархичность, в которой высшая ступень чувствует свою неразрывную связь с низшей ступенью. В культурной элите нашей эпохи исчезло сознание служения сверхличной цели, великому целому. Идея служения вообще ослабела с эпохи Ренессанса, ей противоположны господствующие либеральные и индивидуалистические идеи. Понимание жизни как служения сверхличной цели есть религиозное понимание жизни. Это понимание не свойственно современным деятелям культуры. Поразительно, что идея служения сверхличной цели в извращенной форме вновь возникла в русском коммунизме, но сама сверхличная цель оказалась безбожной. Культурный слой современной Европы не имеет широкого и глубокого социального базиса, он оторван от масс, которые претендуют на все больший и больший удельный вес в социальной жизни, в делании истории. Культурный слой, гуманистический по своему мирозерцанию, бессилён дать массам идеи и ценности, которые могли бы их вдохновить. Гуманистическая культура хрупка и она не может противостоять большим массовым процессам, которые ее опрокидывают. Гуманистическая культура принуждена сжиматься и уединяться. Массы легко усваивают себе вульгарный материализм и внешнюю техническую цивилизацию, но не усваивают себе высшей духовной культуры, они легко переходят от религиозного мирозерцания к атеизму. И этому способствуют тягостные ассоциации, связывающие христианство с господствующими классами и с защитой несправедливого социального строя. Массами владеют идеи-мифы, верования религиозные или верования социально-революционные, но не владеют идеи культурно-гуманистические. Конфликт аристократического и демократического начала, количества и качества, высоты и широты неразрешим на почве безрелигиозной гуманистической культуры. В этом конфликте аристократический культурный слой нередко чувствует себя умирающим, обреченным. Процесс технизации, механизации и процесс массовой демократизации ведет к перерождению культуры в техническую цивилизацию, вдохновленную материалистическим духом. Обездушивание людей, превращение людей в машины, а человеческого труда в товар есть порождение индустриального капиталистического строя, перед которым христианство растерялось. Неправда капиталистического строя находит себе справедливую кару в коммунизме. Процесс коллективизации, в котором исчезает человеческая личность, происходит уже в капитализме. Материалистический коммунизм хочет только закончить это дело. Это ставит во всей остроте перед христианским сознанием социальную проблему, проблему более справедливого, более человеческого социального строя, проблему одухотворения и христианизации социального движения и рабочих масс. Проблема культуры есть сейчас социальная проблема и вне ее неразрешима. Столкновение аристократического и демократического начала культуры разрешимо лишь на почве христианства, ибо христианство и аристократично и демократично, оно утверждает благородство детей Божьих и зовет вверх, к совершенству, к высшему качеству, и вместе с тем оно обращено ко всем, ко всякой человеческой душе. Оно требует понимания жизни как служения, как служения сверхличной цели, сверхличному целому. Судьба культуры зависит от духовного состояния рабочих масс, от того, будут ли они вдохновлены христианской верой или атеистическим материализмом, как и от того, будет ли техника подчинена духу и духовным целям или станет окончательно господином жизни. Самое

пагубное, когда христиане становятся в позу реакции против движения рабочих масс и против завоеваний техники вместо того, чтобы одухотворять и облагораживать происходящие в мире процессы, подчинять их высшей цели.

С ростом могущества техники и с массовой демократизацией культуры связана основная проблема кризиса, особенно беспокоящая для христианского сознания,— проблема личности и общества. Личность, стремящаяся к эмансипации, все более и более оказывается подавленной обществом, обобществленной, коллективизированной. Это есть результат «эмансипирующей» технизации и демократизации жизни. Уже индустриально-капиталистический строй, основанный себя на индивидуализме и атомизме, привел к подавлению личности, к безличности и анонимности, к коллективному, массовому стилю жизни. Материалистический коммунизм, восставший против капитализма, окончательно уничтожает личность, растворяет ее в социальном коллективе, отрицает личное сознание, личную совесть, личное суждение. Личность в человеке, которая есть в нем образ и подобие Божье, разлагается, распадается на элементы, теряет свою целостность. Это можно наблюдать в современной литературе и искусстве, например в романах Пруста. Процессы, происходящие в современной культуре, грозят личности гибелью. Трагический конфликт личности и общества неразрешим на почве внерелигиозной. Мир, утративший веру, дехристианизированный, или уединяет личность, отрывает от общества, погружает ее в себя без возможности выхода к сверхличным целям, к общению с Другими, или окончательно подчиняет и поработачивает личность обществу. Только христианство в принципе разрешает мучительную проблему отношения личности и общества. Христианство дорожит прежде всего личностью, индивидуальной человеческой душой и ее вечной судьбой, оно не допускает отношения к личности как к средству для целей общества, оно признает безусловную ценность всякой личности. Духовная жизнь личности непосредственно связывает ее с Богом, и она есть предел власти общества над личностью. Но христианство призывает личность к общению, к служению сверхличной цели, к соединению всякого я и ты в мы, к коммуниону, если хотите, даже к коммунизму, но совершенно противоположному коммунизму материалистическому и атеистическому. Только христианство может защитить личность от грозящей ей гибели, и только на почве христианства возможно внутреннее соединение личности с другими в общении, в общности, в которой личность не уничтожается, а осуществляет полноту своей жизни. Христианство разрешает конфликт личности и общества, создающий страшный кризис, в третьем начале, сверхличном и сверхобщественном, в Богочеловечестве, в Теле Христовом. Религиозная проблема личности и общества предполагает разрешение социальной проблемы нашей эпохи в духе христианского персоналистического социализма, который возьмет всю правду социализма и отвергнет всю его ложь, его ложный дух, ложное мировоззрение, отрицающее не только Бога, но и человека. Только тогда может быть спасена личность и качественная культура, высшая культура духа. Мы не имеем оснований для большого оптимизма. Все слишком далеко зашло. Вражда и ненависть слишком велики. Грех, зло и неправда одерживают слишком большие победы. Но постановка творческих задач духа, но исполнение долга не должны зависеть от рефлексии, вызванной оценкой сил зла, сопротивляющихся осуществлению правды. Мы верим, что мы не одни, что в мире действуют не только природные человеческие силы, добрые и злые, но и сверхприродные, сверхчеловеческие, благодатные силы, помогающие тем, которые делают дело Христово в мире, действует Бог. Когда мы говорим «христианство», мы говорим не только о человеке и его вере, но и о Боге, о Христе.

Технический и экономический процесс современной цивилизации превращает личность в свое орудие, требует от нее непрерывной активности, использования каждого мгновения жизни для действия. Современная цивилизация отрицает созерцание и грозит совершенно вытеснить его из жизни, сделать его невозможным. Это будет значить, что человек перестанет молиться, что у него не будет больше никакого отношения к Богу, что он не будет больше видеть красоты и бескорыстно познавать истину. Личность определяется не только в отношении к времени, но и в отношении к вечности. Актуализм современной цивилизации есть отрицание вечности, есть поработачивание человека временем. Ни одно мгновение жизни не является самоценным, не имеет отношения к вечности и к Богу, всякое мгновение есть средство для последующего, должно как можно скорее пройти и замениться другим. Такого рода исключительный актуализм меняет отношение к времени — происходит ускорение времени, бешеная гонка. Личность не может удержаться в этом потоке времени, в этой актуа

лизации каждого мгновения, она не может одуматься, не может понять смысл своей жизни, ибо смысл всегда раскрывается лишь в отношении к вечности, поток времени сам по себе бессмыслен. Бесспорно, человек призван к активности, к труду, к творчеству, он не может быть лишь созерцателем. Мир не есть лишь зрелище для человека. Человек должен преобразовать и организовать мир, продолжать миротворение. Но человек остается личностью, образом и подобием Божиим, не превращается в средство безличного жизненного и общественного процесса лишь в том случае, если он есть точка пересечения двух миров, вечного и временного, если он не только действует во времени, но и созерцает вечность, если он внутренне определяет себя в отношении к Богу. Это есть основной вопрос современной актуальной цивилизации, вопрос о судьбе личности, судьбе человека. Человек не может быть только объектом, он есть субъект, он имеет свое существование в себе. Человек, превращенный в орудие безличного актуального процесса во времени, не есть уже человек. Так можно мыслить социальный коллектив, но не личность. В личности всегда есть что-то независимое от потока времени и от общественного процесса. Удушение созерцания есть удушение огромной части культуры, с которой связана ее вершина и цветение,— мистики, метафизики, эстетики. Чисто рабочая актуальная цивилизация превратит науку и искусство в обслуживание производственного технического процесса. Мы это видим в замысле советской коммунистической культуры. Это есть глубокий кризис культуры. Будущее человека, будущее культуры зависит от того, захочет ли человек хоть на мгновение освободиться, одуматься, осмыслить свою жизнь, обратить свой взор к небу. Правда, идея труда и трудового общества есть великая и вполне христианская идея. Аристократическая созерцательность привилегированного культурного слоя, освобожденного от участия в трудовом процессе, часто бывала ложной созерцательностью, и в такой форме она вряд ли имеет место в будущем. Но и всякий трудящийся человек, всякий человек имеет мгновения созерцания, углубления в себя, молитвы и славословия Бога, видения красоты, бескорыстного познания мира. Созерцание и действие могут и должны быть сопряжены в целостной личности, и только их соединение утверждает и укрепляет личность. Личность, целиком расходуя себя в активности, в процессе времени, истощается, в ней прекращается приток духовной энергии. При этом активность понимается обыкновенно не по-евангельски, не как служение ближним, а как служение кумирам. Литургический круг религиозной жизни есть своеобразное сочетание созерцания и действия, в котором личность может найти для себя источник крепости и энергии. Мы присутствуем при роковом процессе перерождения личности, всегда образа высшего бытия, во вновь образующиеся во времени коллективы, требующие бесконечно возрастающей активности. Человек есть существо творческое, или образ Творца. Но активность, которую требует от человека современная цивилизация, есть, в сущности, отрицание его творческой природы, ибо она есть отрицание самого человека. Творчество человека предполагает сочетание созерцания и действия. Самое различие созерцания и действия относительно. Дух существенно активен, и в созерцании есть динамический элемент. Мы приходим к последней проблеме, связанной с духовным состоянием современного мира, к проблеме человека как проблеме религиозной. Ибо в мире происходит кризис человека, не только кризис в человеке, но и кризис самого человека. Дальнейшее существование человека делается проблематическим.

Кризис человека нужно понять внутренне христиански. Только изнутри христианства можно понять происходящее. В современной цивилизации пошатнулась христианская идея человека, которая оставалась еще в гуманизме. В основе христианства лежит богочеловеческий, теоандрический⁸ миф (слово миф я употребляю не в смысле, противоположном реальности, наоборот, миф более соответствует реальности, чем понятие) — миф о Боге и миф о человеке, об образе и подобии Божьем в человеке, о вочеловечении Сына Божьего. Достоинство человека было с этим связано. Полнота христианского богочеловеческого откровения с трудом усваивалась греховной природой человека. И христианское учение о человеке не было достаточно раскрыто, не было раскрыто в жизни. Поэтому неизбежно было явление гуманизма на христианской почве. Но дальше произошел роковой по своим последствиям процесс. Началось и умственное и жизненное разрушение целостного богочеловеческого христианского мифа. Сначала была отвергнута одна половина — миф о Боге. Но оставалась еще другая половина — миф о человеке, христианская идея о человеке. Мы это видим, например, у Л. Фейербаха. Он отверг Бога, но у него осталось еще богоподобие человека, он не

посягнул еще на человека, как не посягнули те гуманисты, у которых остается вечная природа человека. Но разрушение христианского теоантропического мифа пошло дальше. Началось разрушение другой половины — мифа о человеке. Произошло отступничество не только от идеи Бога, но и от идеи человека. На человека посягнул Маркс, на человека посягнул Ницше. Для Маркса высшей ценностью является уже не человек, а социальный коллектив. Человек вытесняется классом, и создается новый миф о мессианстве пролетариата. Маркс есть один из исходов гуманизма. Для Ницше высшей ценностью является не человек, а сверхчеловек, высшая раса, человек должен быть превзойден. Ницше есть другой исход гуманизма. Таким образом происходит отречение от ценности человека, последней ценности, уцелевшей от христианства. Мы это видим в таких социальных явлениях, как расизм, фашизм, коммунизм, как идолотрия националистическая и идолотрия интернационалистическая. Мы вступаем в эпоху цивилизации, которая отказывается от ценности человека. От верховной ценности Бога отказались уже раньше. В этом сущность современного кризиса.

Процессы технизации, процессы поглощения личности обществом, процессы коллективизации с этим связаны. Все возникавшие в истории христианства ереси, все отпадения от полноты и целостности истины всегда ставили важные и значительные темы, которые не были разрешены и должны быть разрешены изнутри христианства. Но ереси, порожденные современной цивилизацией, совсем иные, чем ереси первых веков христианства, это не теологические ереси, это ереси самой жизни. Эти ереси свидетельствуют о том, что есть неотложные вопросы, на которые необходимо ответить изнутри христианства. Проблемы техники, проблемы справедливой организации социальной жизни, проблемы коллективизации в их отношении к вечной ценности человеческой личности не разрешены из христианства и по-христиански, в свете христианской богочеловеческой истины. Не освящена творческая активность человека в мире. Кризис, происходящий в мире, есть напоминание христианству о неразрешенных задачах, и потому он есть не только суд над безбожным миром, но и суд над христианством. Основная проблема наших дней не есть проблема о Боге, как думают многие, как часто думают христиане, призывающие к религиозному возрождению, — основная проблема наших дней есть прежде всего проблема человека. Проблема о Боге есть вечная проблема, проблема всех времен, она всегда первая и исходная, но проблема нашего времени есть проблема о человеке, о спасении человеческой личности от разложения, о призвании и назначении человека, о разрешении основных вопросов общества и культуры в свете христианской идеи о человеке. Люди отвергли Бога, но этим они подвергли сомнению не достоинство Бога, а достоинство человека. Человек не может удержаться без Бога. Для человека Бог и есть та высшая идея-реальность, которая конструирует человека. Обратной стороной этого является, что человек есть высшая идея Бога. Только христианство разрешает проблему отношений человека и Бога, только во Христе спасается образ человека, только в христианском духе создаются общество и культура, не истребляющие человека. Но истина должна быть осуществлена в жизни.

Печатается по: «Путь» (Париж), 1932. № 35, стр. 56—68.

¹ Angst (нем.) — «страх», одно из основных понятий экзистенциальной философии, впервые введенное датским философом С. Кьеркегором для выражения особой сопровождающей человека безотчетной тоски перед лицом «ничто», собственной конечности

² Grenzsituation (нем.) — «пограничная ситуация», тоже термин из экзистенциалистского словаря; введен К. Ясперсом и означает моменты глубочайших потрясений, решающих для самоопределения личности.

³ Бердяев касается здесь основных пунктов философской позиции немецкого мыслителя М. Хайдеггера, как она складывалась до середины 30-х годов. Вообще Бердяев довольно часто упоминал о Хайдеггере — больше по отталкиванию от его атеистического экзистенциализма. «Не могу примириться. — писал он в «Самопознании» в конце жизни. — с конечностью человеческого существования, которую Гейдеггер считает последней истиной».

⁴ Бартианство — экзистенциалистски окрашенное течение в теологической мысли, начало которому положил швейцарский протестантский богослов К. Барт своей работой «Послание ап. Павла к римлянам» (1922). В ней утверждается пропасть между «верой», интимным событием встречи с Богом, и, с другой стороны, «религией», извращающей несказанный опыт веры в процессе внешнего опредмечивания в догматах и ритуалах.

⁵ Мистический культ плодородия, Матери-земли, происходит от древнеитальянского слова Tellus, означающего это божество.

* Бахофен И. Я. (1815—1887) — швейцарский исследователь первобытной цивилизации; автор труда о матриархате как всемирно-исторической стадии «Материнское право» (Bachofen I. J. Das Mutterrecht... Stuttgart, 1861).

⁷ Рёскин Джон (1819—1900) — английский социолог и писатель романтической школы, глубокий критик индустриализации и теневых сторон прогресса вообще

⁸ Теоандрический, богочеловеческий (от греческого «теос» — бог, и «андрос» — человек).

ЖОЗЕФ ДЕ МЕСТР И МАСОНСТВО

(La franc-maçonnerie. Mémoire au Duc de Brunswick par Joseph de Maistre. Publié avec une introduction par Emile Dermenghem; Dermenghem E. Joseph de Maistre mystique, 1923; Georges Goyau. La pensée religieuse de Joseph de Maistre, 1921.)

Интерес к масонству в русской эмигрантской среде носит характер исключительно эмоциональный, а не познавательный. Этот интерес рожден на почве патологической мнительности и подозрительности и находится на уровне сознания книги Нилуса и протоколов сионских мудрецов¹, то есть на крайне низком культурном уровне. Вопрос о масонстве ставится и обсуждается в атмосфере культурного и нравственного одичания, порожденного паническим ужасом перед революцией. Вопрос этот отнесен целиком к сыскной части, к органам контрразведки. Розыск агентов «жидо-масонства», мирового масонского заговора, имеет ту же природу, что и розыск большевиками агентов мирового контрреволюционного заговора буржуазии. Толком никто ничего о масонстве не знает. Обличители масонства питаются подметными листками, крайне недоброкачественными и рассчитанными на разжигание страстей, написанными в стиле погромной антисемитической литературы. Концепция масонства как мирового заговора против христианства, как церкви сатаны создана католиками правого лагеря. Католики верят, что Церковь Христова есть внешняя мировая организация. Отсюда они делают дедукцию, что и церковь сатаны должна быть такой же внешней мировой организацией, столь же иерархической и подчиненной единому центру. В сущности, католические специалисты по масонству считают масонами всех противников католичества, они делят мир на две части — католическая церковь и масонство и в масонство зачисляют почти всех замечательных людей нового времени. В таком духе написана известная католическая книга о масонстве N. Deschamps'a «Les sociétés secrètes et la société, ou Philosophie de l'histoire contemporaine»². Нет, кажется, ни одного деятеля (не католика) в области мысли и в области общественной жизни, которого бы отец Дешамп не причислил к масонам. Концепция масонства как мирового сатанического заговора против христианской Церкви и христианских устоев жизни в русской черносотенной литературе в стиле Нилуса целиком скопирована с католической литературы, но с сильным понижением умственного и культурного уровня. Настоящего познания масонства нет ни там, ни здесь. Крайнее легковерие, неспособность к критике поражает в этой литературе Русские маниаки масонского заговора, мнящие себя православными, забывают, что православному сознанию совсем не свойственно понимание Церкви Христовой как внешней мировой организации, и потому совсем не обязательно для этого сознания мыслить церковь сатаны как внешнюю мировую организацию, как централизованный мировой заговор. Православие предоставляет сатане, силам зла возможность действовать разнообразными, не непременно организованными и централизованными путями. В основе концепции масонства, избобличающей его зловещую мировую роль, лежит философия истории, до крайности переоценивающая значение сознательно организованных и централизованных сил в мировой истории. В действительности в мировой истории огромную роль играют силы стихийно-иррациональные. У людей есть потребность искать сознательного, организованно действующего виновника своих несчастий и злоключений. Когда-то так же повсюду видели иезуитский заговор, как теперь видят масонский заговор.

Большим ударом для господствующей в правых католических кругах концепции масонства является опубликование найденного в бумагах Ж. де Местра трактата о масонстве. Для тех, которые специально занимались Ж. де Местром, ничего неожиданного книга «La franc-maçonnerie»** не представляет. Я много занимался Ж. де Местром, и мне было известно, что Ж. де Местр был близок к масонству, был в молодости учеником Сен-Мартена² и что его следует трактовать как своеобразного иллюмината и христианского теософа. Но во вновь опубликованной книге де Местр раз-

* Дешан Н. Секретные общества и общество, или Философия современной истории

** «Франкмасоны» (фр.), книга, которую и рассматривает здесь Бердяев.

вивает герцогу Брауншвейгскому, великому мастеру шотландского франкмасонства, целый план обращения масонства на служение христианской церкви. Он устанавливает для масонства деятельность трех ступеней: 1) филантропическая деятельность помощи ближним, 2) содействие объединению христианского мира с подчинением его Католической Церкви, 3) высший христианский гнозис, то, что де Местр называет «révélation de la Révélation»*. Ж. де Местр признает, что есть масонство зловерное, революционно разрушительное и направленное против Церкви и христианства. Таково, например, революционное иллюминатство немца Вейсгаупта. Но также может быть масонская организация направлена на служение добру, на торжество христианства в мире. Сен-Мартена, который был христианином, но не ортодоксальным католиком, Ж. де Местр горячо защищает. Между тем как о. Дешамп считает Сен-Мартена атеистом, разрушителем христианства и страшным революционером. Вопрос о религиозных взглядах Ж. де Местра, об его отношении к мистике, а также к масонству, иллюминатству и мартинизму обстоятельно исследован в прекрасных книгах Ж. Гойо и Е. Дерменгема. Ж. де Местра, гениального мыслителя, соединявшего в своей необычайной индивидуальности сложное многообразие, знают понаслышке. Все повторяют шаблонный взгляд на него как на крайнего реакционера, апологета инквизиции и палача, фанатического католика и роялиста, ультрамонтана, провозгласившего до Ватиканского собора догмат папской непогрешимости. Но в действительности образ Ж. де Местра совсем иной, несоразмерно более сложный, не вмещающийся ни в какие шаблонные направления и школы. Ж. де Местр, как и большая часть замечательных людей, был одинок, он сам по себе. Когда была опубликована переписка Ж. де Местра, то все были поражены, какой это был чудесный человек, нежный, любящий, мягкий, необыкновенно благородный, так много страдавший в жизни. Ж. де Местр совсем не дореволюционный человек, он пореволюционный человек, он не банальный реакционер, он обращен к грядущему. Он понимал не только сатанический характер революции, но и ее своеобразное величие, видел в ней действие Божьего Промысла. Он относился резко отрицательно к эмигрантам французской революции и не хотел насильственной, кровавой контрреволюции. Он ждал наступления новой мировой эпохи в христианстве, нового откровения Св. Духа. Он любил Платона и Оригена, что очень оригинально для представителя латинского католичества. Он был своеобразным христианским гностиком, веровавшим в возможность более глубокого и эзотерического понимания откровения в духе сокровенной духовной мудрости. Он признавал тройственный духовно-душевно-телесный состав человека, чего не признает господствующая доктрина католичества. Он горячо стоял за символическое толкование Священного Писания. Взгляды его отличались большой широтой, а не узостью. И всегда в нем чувствуется человек утонченной культуры. В нем нет никакого мракобесия, столь свойственного русским правого лагеря. Вопреки принятому о нем мнению Ж. де Местру свойственна была своеобразная гуманность. Это показано в книгах Дерменгема и Гойо. Масонство для де Местра было наукой о человеке. Он стоит на грани двух веков и оказывает огромное влияние на мышление XIX века. Известно, какое он значение имел для Сен-Симона и Огюста Конта, не говоря уже о католических течениях. Условием для вхождения в масонство Ж. де Местр предлагал поставить веру в божественность Иисуса Христа. Масонство в конце XVIII и начале XIX века было мистически окрашено, в те времена оно не приобрело еще того характера, какое оно имеет сейчас, то есть характера политических клубов, через которые делают карьеру. Ж. де Местр интересен для русских еще потому, что он провел свое изгнание в течение семнадцати лет в Петербурге в качестве посла при дворе Александра I, написал книгу о России³ и в письмах своих много говорит о России. Он предсказал русскую революцию и предвидел ее ужасный характер. Православия Ж. де Местр не увидал и не понял. Он вращался в русском светском обществе начала XIX века, которое само не видело и не понимало православия. Кстати сказать, и ныне Дерменгем в своей книге неверно изображает религиозную жизнь в России, основывая свое суждение на книгах П. Милюкова⁴, который враждебен не только православию, но и вообще религии. Де Местра представляли себе политиком по преимуществу и даже взгляды его на папскую непогрешимость обычно считали прежде всего политической доктриной, обосновывающей суверенитет власти. Новые книги о де Местре разбивают этот взгляд и устанавливают, что для него на первом плане всегда стоял интерес религиозный. Де Местр был мистиком, и только признав это, можно понять его судьбу. Как и все

* Откровение Откровения (фр.).

мистики, он был не понят и искажен. Про Ж. де Местра сказал де Бональд, что не находит себе места в настоящем тот, что чувствами своими принадлежит прошедшему, а мыслями своими принадлежит будущему. Когда Ж. де Местр вернулся во Францию, он оказался там чужим, к нему отнеслись почти враждебно. А это было время Реставрации, когда должны были бы признать его заслуги. Ватикан тоже не был особенно расположен к светскому мыслителю, написавшему книгу «О папе», и в конце концов осудил фидеизм и традиционализм, с которыми было связано мирозерцание де Местра. Ж. де Местр не был схоластиком и интеллектуалистом в томистском смысле, он был иррационалистом и вместе с тем своеобразным гностиком. Его христианская теософия была тем соединением и смешением мистики, теологии и философии, которого не допускает победивший в католичестве классический томизм. Ж. де Местр был прежде всего историософом, а историософия никогда не вменяется в рамки официальной теологии и философии. Он создает мистическую философию истории. Он один из очень немногих в западном католическом мире, настроенных апокалиптически и эсхатологически. Ж. де Местр, подобно Фр. Баадеру⁵, ближе нам, русским, чем другие мыслители Запада. Его ожидания новой эпохи Духа Св. очень близки ожиданиям русской религиозной мысли.

Как оценить книгу Ж. де Местра о масонстве? Она сбивает распространенные сейчас представления об истории масонства и требует более сложного отношения к этой проблеме. Величайший католический мыслитель Франции, глава контрреволюционной теократической школы, был масоном, причастен к мартинизму* и развивает план обращения масонских организаций на служение христианству и католической церкви. Правда, активное его участие в масонских ложах связано с его молодостью, но он до конца жизни защищал учителя своей молодости Сен-Мартена, столь третируемого в шаблонных католических книгах о масонстве. Приходится признать, что в истории масонство бывало разным и служило разным целям. Значение книги де Местра в том, что она помогает разбить мрачную легенду о масонстве, которая способна довести слабых и склонных к одержимости людей до сумасшедшего дома. Согласно этой легенде, масонство есть мировой заговор, сатанинская мировая организация, которая все себе подчиняет и обращает все в орудие своих темных целей, скрытых от большей части самих масонов. Легенды этой нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Тайная организация не поддается извне изучению до глубины. Никакой легенды о тайной организации нельзя опровергнуть точно и документально. Всегда маниями этой легенды могут сказать, что само опровержение есть лишь новая хитрость для осуществления темных и таинственных целей этой организации. Перед нами разверзается дурная бесконечность подозрений и обвинений. Для легенды о масонстве есть много оснований и поводов, но она, как и всякая легенда, есть мифотворчество коллектива, пораженного известного рода аффектами и эмоциями. Легенда не может быть простым констатированием факта и она не поддается эмпирическому обоснованию, она всегда творится и в ней есть домысел. Легенда всегда убедительна для тех, которые эмоционально в ней заинтересованы. И в легенде всегда есть своя доля истины, реальности. Масонство все-таки существует и играет роль. Происхождение масонства теряется в глубине веков и окружено оккультными преданиями, его связывают с орденом тамплиеров. В наше время во Франции масонство играет довольно большую политическую роль, оно есть путь к власти и оно ведет борьбу против католической церкви. Но когда выпускают книгу с документами, доказывающими, что правительство Эррио точно исполняло предначертания масонских лож, я спрашиваю, что это прибавляет к нашим суждениям о правительстве Эррио или о другом каком-либо правительстве. Важна оценка всякого явления по существу, по плодам его. Если какое-либо правительство ведет резко антихристианскую и антицерковную политику, то я даю ему отрицательную оценку с точки зрения моей веры, независимо от того, действует ли оно от масонских организаций или от себя самого. Современный мир полон отрицательными антихристианскими и антицерковными движениями — таково господствующее состояние сознания, и ничего не прибавляется к оценке этих движений оттого, что я признаю их масонскими. В наше время нет надобности скрывать и маскировать безбожия и вражды к христианству, скорее наоборот. В нашу эпоху сплываются и организуются антихристианские силы самыми разнообразными и открытыми путями, и масонство совсем не обязано тут играть руководящей роли. И без него де-

* Следует отметить, что мартинизм происходит не от Сен-Мартена, а от Мартинеса де Пасквалиса⁶. (Прим. Бердяева.)

лают свое безбожное дело. Самая большая и самая зловеющая антихристианская сила — коммунизм — менее всего носит характер масонский. Чтение масонских и антимасонских книг, общение с людьми и длительные размышления на эту тему привели меня к той гипотезе, что масонство не столько есть тайная мировая организация, которая пользуется, как своим орудием, всеми силами, всеми организациями, всеми партиями для осуществления своей неведомой конечной цели (легенда), сколько есть форма тайного общества, которой пользуются все силы, все организации, все партии для осуществления своих целей, как злых, так иногда и добрых. Только этим можно объяснить, что в разное время и в разных местах масонство окрашивается в разный цвет. Было масонство мистическое и масонство резко атеистическое, масонство правое и масонство левое, в нем участвовали цари и революционеры. В конце XVIII и в начале XIX века в масонстве преобладали направления мистические и оккультно-теософические. Наш Новиков был христианином и мистиком. В конце XIX и в начале XX века в масонстве преобладают направления атеистические и воинствующе антихристианские. Но и сейчас масонство очень разнообразно. Так, в странах латинских и католических, во Франции и Италии, масонство прежде всего имеет характер антицерковный и антихристианский. Таков, по-видимому, Grand Orient⁷ во Франции. В Америке и Англии масонство имеет характер по преимуществу протестантско-христианский, есть даже епископы среди масонов. Тайные общества существуют с древних времен, они были и в древнем Египте, Индии, Греции, и ими пользовались для разных целей. Сейчас в масонской идеологии преобладает антихристианский гуманизм, но не всегда так было, да и теперь не везде так. Пример Ж. де Местра доказывает, что принципом масонской организации, тайного общества, можно пользоваться для целей самых противоположных. Масонство есть то, чем все пользуются, а не то, что всем пользуется. И сейчас по преимуществу пользуются им для целей не христианских и антицерковных. Политически европейское масонство есть сейчас направление буржуазного радикализма. Менее всего масоны коммунисты. Масонство есть чисто буржуазная идеология, и духовно буржуазная и социально буржуазная, вокруг него группируются левые и свободомыслящие буржуазные элементы, представители буржуазного, прогрессистского гуманизма. И мне представляется вредным окружать масонство ореолом. Господствующая идеология масонства, в сущности, очень плоская, это есть самая банальная вера в прогресс и в гуманность, непонимание глубокого трагизма мировой истории. Масоны не атеисты исповедуют плоский деизм. Мистические и оккультные элементы в масонстве ослабели и остаются пережитком прошлого, они являются достоянием отдельных людей, а не групп. Возрождающийся в наше время оккультизм, по-видимому, не имеет тесной связи с масонством. Масонство окрашивается в цвет эпохи и цвет тех групп и слоев, которые в него входят.

Когда на вопрос, задаваемый специалистам по масонству, в чем же сейчас положительная цель масонства, отвечают, что оно стремится к созданию соединенных штатов Европы, и говорят это с выражением ужаса на лице, то мне это представляется очень смешным. Сама по себе цель создания соединенных штатов Европы не есть еще злодейская цель, к ней могут и добрые христиане стремиться, но с иным духом. К созданию соединенных штатов Европы стремятся открыто многие политические направления, и оценивать это нужно по существу. Я не могу считать, что объединение народов Европы и мир между этими народами есть цель злодейская и сатаническая, потому что и масоны работают над осуществлением подобной цели. Это — пустое и извращенное рассуждение. Я бы хотел, чтобы объединение народов Европы и мир между ними совершился во имя Христа, и я верю, что только во имя Христа можно достигнуть реального объединения и мира. Но когда христиане не осуществляют правды в жизни, когда они не творят дело единения и мира, тогда это берет на себя антихрист и духовно искажает его. И виновны в том всегда бывают прежде всего христиане. Христиане должны по-христиански решать социальный вопрос. Иначе он будет решен в духе антихриста. Нужно прежде всего на себя взять вину и ответственность, а не искать повсюду масонского заговора, что есть дело не христианское и духовно вредное, столь же не христианское и духовно вредное, как и искание повсюду еврейского заговора. Французские католики-националисты не хотят примирения между Францией и Германией, потому что над этим примирением работают масоны. Но это примирение есть прежде всего обязанность христиан, призывы же к вражде и крови в духе Action Française⁸ есть дело антихристианское и

безбожное, губящее Европу. К масонской легенде нужно отнестись морально-прагматически. Она вредна для духовного здоровья людей, она действует разрушительно на душу, ввергая ее в атмосферу сумасшедшей мнительности, подозрительности и злобности, она делает душу не более вооруженной, а менее вооруженной, так как патологический аффект страха, подозрения делает человека слабым, превращает человека в дрожащую тварь. Мой долг прежде всего мужественно и бесстрашно творить добро, а не быть растерзанным ужасом перед злом Чтение Ж. де Местра должно действовать облагораживающе. Де Местр всегда и во всем пленяет своим духовным аристократизмом, которого так не хватает людям нашей эпохи. В частности, книга де Местра о масонстве и книги Дерменгема и Гойо о де Местре должны способствовать пробуждению благородно-аристократического духа познания в отношении к сложной проблеме масонства, столь вульгаризованной патологическими аффектами эпохи.

Печатается по: «Путь» (Париж), 1926, № 4, стр. 183—187.

Жозеф Мари де Местр (1753—1821) — французский католический мыслитель, монархист, противник революции. Как преданный католик, де Местр мог принимать масонство лишь на правах общественного института, долженствующего подчиняться монарху и папе. В публикуемой работе Бердяев рецензирует «Памятную записку о франкмасонстве», составленную де Местром для Карла Вильгельма герцога Брауншвейгского (1735—1806) — предводителя армий антифранцузской коалиции в 1792 году, а также введение к «Памятной записке», написанное французским автором Эмилем Дерменгемом, и труд французского исследователя Жоржа Гуайо «Религиозная мысль Жозефа де Местра»

¹ Имеется в виду книга С. Нилуса «Великое в малом» (СПб. 1905), в составе которой были опубликованы так называемые «Протоколы сионских мудрецов».

² Сен-Мартен, Луи Клод де (1743—1803) — французский философ, мистик, теософ; испытал влияние Мартинеса де Паскуалиса (см ниже) а также Бёме и Сведенборга; послужил одним из истоков философии Реставрации (де Местр, Луи де Бональд, Шатобриан и другие).

³ Речь идет о книге Ж. де Местра «Петербургские вечера» (J. de Maistre. Les soirées de St. Petersburg, v. 1—2, Bruх. 1858).

⁴ Миллюков Павел Николаевич (1859—1943) — историк и политический деятель, министр иностранных дел во Временном правительстве; автор многих книг по истории общественной мысли и культуры.

⁵ Баадер Франц Ксаверий (1765—1841) — немецкий теософ, последователь Сен-Мартена.

⁶ Паскуалис Мартинес де (1715—1799) — мистик, основатель секты «теургистов», учитель Сен-Мартена.

⁷ «Grand Orient» («Великий Восток») — название знаменитой франкмасонской ложи с центром в Париже

⁸ «Action française» (букв «Французское действие») — монархическая и националистическая организация, возникшая во Франции в 1899 году под руководством Шарля Морраса и организационно оформившаяся в 1905 году; просуществовала до 1944 года. Имела одноименный печатный орган.

Кризис интеллекта и миссия интеллигенции

Положение в мире интеллекта и его представителей, интеллигенции, делается все более и более тяжелым и угрожающим. Независимость мысли, свобода духовного творчества отрицаются могущественными движениями нашей эпохи. Современные поколения и их вожди не признают руководящего значения интеллекта и мысли. В этом век наш радикально отличается от века XIX и XVIII. Представители мысли, творцы духовной культуры должны выполнять заказы жизненного процесса, служить социальным интересам и воле к могуществу. Ставится вопрос о судьбе не интеллекта только, но и духа. Я не хочу сейчас вкладывать специально религиозный смысл в слово дух. Дух есть свобода, творческая активность, смысл, интеллект, ценность, качество и независимость, прежде всего независимость от внешнего мира, природного и социального. Духовное начало в человеке означает определяемость изнутри в отличие от того состава человеческой природы, который определяется извне. Как существо духовное, человек есть существо активное, творческое, свободное. Духовная жизнь принципиально отличается от жизни общественной, она не детерминирована социальной средой, она имеет другие источники она изнутри черпает свои духовные силы. Это соответствует евангельскому различию царства Божьего от царства Кесаря. Дух вкоренен в царстве Божьем, в этом его свобода, общество же, претендующее повелевать духом и требующее от него поклонения, есть царство кесаря. Это есть вечный дуализм, ко-

* Слово интеллигенция я здесь употребляю скорее в западном смысле intellectuels, чем в специфически русском смысле. (Прим. Бердяева.)

торый вполне преодолен может быть лишь конечным преобразованием мира. Этот дуализм и защищает свободу духа, свободу мысли, свободу творчества. Он противостоит всякому конформизму. Диктатура над духом невозможна, она означает угашение и истребление духа. Сейчас происходит восстание против духа, против качества духа, свободы духа со стороны воли к жизни, воли к могуществу, воли к организации, и это восстание сопровождается идеализацией инстинктов и интересов, которые поставлены выше ценности.

Во все времена существовал в мире конфликт между качеством и количеством, между созерцанием и действием. Но конфликт этот достиг небывалой остроты в нашу эпоху. Чем это объясняется? Мы вступаем в эпоху активного вторжения и господства масс в историю. Такие эпохи уже бывали. Такова была эпоха цезаризма. Аристократизм греко-римской культуры был опрокинут. Господство масс обыкновенно создает диктатуры, выдвигает своих вождей, дает преобладание солдатчине, которая и ставила римских и византийских императоров. При этом обычно создается связанный социальный строй. Так было в эпоху Диоклетиана. Вся сложность нашей эпохи и вся трудность оценок в ней со стороны интеллигенции в том, что экономические требования масс совершенно справедливы и оправданы. Справедливы и оправданы также требования масс, чтобы цивилизация принадлежала и им. В отношении к этим задачам недопустимо равнодушие со стороны мыслителя, писателя, артиста. Социальная справедливость есть духовное начало. Но в первые стадии процесса вторжения масс неотразимо понижается принцип качества, опрокидывается аристократизм культуры, происходит посягательство на свободу творчества. Интеллект аристократичен, требует качества возвышения к совершенству. Свобода аристократична в противоположность распространенному мнению. Массы мало дорожат свободой. Вторжение масс со своими требованиями происходит в момент ослабления и падения древних религиозных верований, умаления духовности в мире. Массам, не приобщенным к благам и ценностям культуры, трудна культура в благородном смысле слова и сравнительно легка техника. Было замечено, что варвар и человек культурный одинаково могут пользоваться телефоном и военными орудиями истребления. Технические результаты науки нужны для организации жизни, для реализации воли к могуществу. Массы плохо понимают тот интеллектуальный иерархизм, в силу которого самое низшее в технических результатах знания зависит от самого высшего в бескорыстном знании. Побеждает принцип количества. До мировой войны мир был относительно устойчив, общества напоминали твердые тела. Против этого старого мира, в котором было много несправедливости и неправды, восставали, стремились к революции, но все же на нем базировались и им питались. Сейчас мир пришел в жидкое состояние, в обществах нет больше твердых тел, всякое органическое единство нарушено, и жизнь в этом мире становится все более и более трудной и необеспеченной. Массы молодежи требуют, во что бы то ни стало, быстрой организации обществ, единства хотя бы принудительного, чтобы не погибнуть в окончательной анархии. Современные диктатуры, деспотические тоталитарные режимы лишь обратная сторона анархического состояния мира. Так всегда бывает. Единство мирозерцания, которого требуют тоталитарные диктаториальные режимы, рождается не изнутри, не из единства глубоких верований, оно предписывается сверху и извне, декретируется государственной властью. При этом свобода мысли, свобода творчества совершенно отрицается. Интеллектуальное созерцание, бескорыстное знание и творчество представляется помехой для организации жизни, для достижения единства. Восстание силы жизни, нарастание воли к силе совсем не есть в нашу эпоху выражение творческого избытка жизни, оно есть порождение несчастья, порождение слабости. Вкус современной молодежи к насилию есть выражение духовной слабости. Акт насилия есть жест слабости. Сравнение нашей эпохи с средневековым очень неблагоприятно для нее. Тогда было реальное единство, созданное глубокими верованиями, теперь его нет, его создают диктаторы ad hoc. Поэтому свободы мысли в средние века было больше, чем в современных тоталитарных режимах. Вспомним, сколько было в средние века философских, богословских, мистических школ. Тогда существовал аристократизм интеллекта.

В эпоху глубоких социальных переустройств, когда старые общества рушатся, а новые еще не созданы, духовные ценности отступают на второй план и их творцы утесняются. Человек есть ущербное существо, которое с трудом вмещает полноту и живет реакциями. Революция психологически есть также реакция, она сопровождается сужением сознания, вытеснением многих творческих стремлений и ценностей. То, что

в иерархии ценностей стоит выше всего, может казаться ненужным и даже вредным. Могут потребовать подчинения ценностей высшего порядка ценностям низшего порядка.

От духа могут потребовать, чтобы он был слугой материальных интересов и потребностей. Движения социально революционные могут оказаться духовно реакционными. Монизм в понимании исторического процесса не выдерживает критики. Никакие процессы не могут обойтись без услуг интеллекта. Но интеллект может быть обращен в простое средство для организующегося витального процесса. Дух рассматривается как эпифеномен. На этой почве происходит острый конфликт подлинного призвания служителей духа с требованиями, им предъявленными. Но вопрос о том, кто виноват, сложнее, чем обыкновенно думают. Есть вина, лежащая на культурной элите. Русская культурная элита виновата в катастрофе русской духовной культуры. Есть ужасный эгоизм культурной элиты, ее изоляция, ее презрение к жизненным нуждам человеческих масс. Индивидуализм *intellectuels*, который нарастал с эпохи Ренессанса, совсем не всегда означал защиту духовной независимости и свободы творчества. Он означал также нравственный и социальный индифферентизм, отсутствие сознания своей миссии. Идея служения высшей цели преобразования жизни померкла в сознании творцов духовной культуры. Ошибочно противопоставлять свободу служению. Великие писатели и артисты имели это сознание служения. Подлинные *intellectuels* — представители духа, то есть свободы, смысла, ценности, качества, а не государства, не социального класса и социальных интересов. Представитель духа, творец духовной культуры имеет профетическую миссию. Профетизм существует не только в религиозной жизни. Древнееврейские пророки — прототипы профетизма, но он существует и в философии, в литературе, в искусстве, в социальной жизни. Этот профетический элемент был у Данте, Микель Анджело, Бетховена, Карлейля, Ницше, Ибсена, Киркегарда, Л. Толстого, Достоевского. Человек профетического типа слышит не голос, идущий извне, не голос общества и народа а исключительно внутренний голос, голос Божий. Но он обращен к судьбе народа, общества, человечества. Пророк одинок, он находится в конфликте с коллективом, религиозным или социальным, он побивается камнями, он считается «врагом народа», но он социален, он говорит слово правды народу, обществу, он прозревает судьбы человечества. Быть может, более всего мы нуждаемся в пробуждении профетического духа. Это дух свободы и независимости, несогласия ни на какой конформизм и вместе с тем сознание служения сверхличной цели. Представитель духа не согласен определяться обществом и государством, он определяется изнутри.

Нужно решительно различать социальное призвание от социального заказа, выражения, употребляемого в советской России. *Intellectual*, мыслитель, писатель, артист имеет социальное призвание, он не может оставаться равнодушным к тому, что происходит в социальном мире. Все социальное глубоко связано, положительно или отрицательно, с духовным и отображает совершающееся в духовной действительности. Но *intellectuels* ни в коем случае не должны исполнять социального заказа, это было бы отречением от свободы духа. Социальное призвание идет изнутри, оно свободно, социальный же заказ идет извне, он означает принуждение. Правда, в искусствах пластических артисты всегда получали заказы от князей мира сего сделать тот или иной портрет, статую, украсить дворец. Но искусство их оставалось свободно, так как мало зависело от сюжета. Сейчас положение более трудно и для представителей пластических искусств, посягательства на них идут дальше. Но положение писателей всегда было иное. Писатели, по крайней мере более значительные писатели, имеют несчастье дорожить теми или иными идеями и верованиями. И это делает конфликты неизбежными. *Intellectuels* принуждены бороться за свою свободу. Тоталитарное государство двояко действует на творцов духовной культуры. Оно или подкупает *intellectuels*, сулит им все блага, требует от них послушного исполнения социальных заказов, или преследует их и делает их мучениками. Ставится вечный вопрос о конформизме. Одни идут на конформизм приспособляясь, соглашаются на отказ от свободы мысли и творчества, другие от конформизма отказываются и попадают в очень тяжелое положение. Трудность вопроса в том, что независимость интеллекта, свобода духа не могут и не должны быть защищаемы через сохранение социальной несправедливости. В режиме либеральном *intellectuels* более свободны, они не подвергались прямому насилию (косвенному насилию через деньги они подвергаются), они могли лавировать, но режим этот был социально несправедливым, он связан с капитализмом, с господством классов богатых, обладающих всеми материальными орудиями. Несправедливость эта связана

не с самими принципами свободы, а с недостатком свободы, с тем, что свобода была лживой, существовала не для всех, а лишь для немногих. Связать интеллектуальную и духовную свободу с защитой социальной несправедливости было бы роковой ошибкой. Это как раз и вызывает подозрительное отношение к интеллигенции со стороны социальных движений нашей эпохи, особенно со стороны марксистов. Если эти подозрения и обвинения часто бывают чудовищно несправедливы, иногда сознательно лживы, то повод для них все-таки существует, его дает эгоизм, изоляция, социальное равнодушие части культурной элиты, и даже значительной части. Между тем как борьба за свободу и антиконформизм intellectuels, творцов духовной культуры, должны быть связаны не с социальным равнодушием и потаканием социальной несправедливости, а со свободно выполняемым социальным призванием. Люди духа и интеллекта должны сознавать свою независимость и свободу, свою определяемость изнутри, но и свою социальную миссию, свою призванность служить делу справедливости путем своей мысли и творчества. Будущее человечества зависит от того, будут ли соединены в мире движение духовное и движение социальное, будет ли связано создание более справедливых и более человеческих обществ с защитой духовных ценностей, с духовной свободой, с достоинством человека как духовного существа. Самый интеллект не может быть защищен, если он взят отвлеченно и противопоставлен целостной жизни как разум исключительно теоретический, он может быть защищен исключительно как органическая часть целостной жизни, или часть творящего духа.

Печатается по: «Новый град» (Париж), 1938, № 13, стр. 6—11.

Письмо Вяч. И. Иванову

⟨между 1910—1911⟩
17 марта

Дорогой и милый Вячеслав Иванович! Очень живо вспоминаю я башню¹ и милых ее обитателей, и наши с Вами разговоры до 4 ч ⟨асов⟩ ночи, огромное между нами сближение, а минутами страстное расхождение. Все это время силюсь я осмыслить наше общение и хочу довести до ясности степень нашей близости. Не должно ведь быть кажущейся общности веры, не должно быть двухмысленности в религиозном сближении. Я ведь люблю Вас, Вячеслав Иванович, и потому воля моя устремилась к Вам. Я хочу религиозной близости с Вами, и этим уже очень многое дано. И чем сильнее устремление моей воли к Вам, тем сильнее хочу я знать, знать не внешне и формально, а внутренне и материально, какая Ваша последняя святыня, не экзотерическая и не разложимая уже никаким оккультным объяснением. Я знаю и чувствую, что в Вас есть глубокая, подлинная мистическая жизнь, очень ценная, для религиозного творчества плодотворная. И все же остается вопрос коренной, вопрос единственный: оккультное ли истолкование христианства или христианское истолкование оккультизма, Христос ли подчинен оккультизму или оккультизм подчинен Христу? Абсолютно ли отношение к Христу или оно подчинено чему-то иному, чуждому моему непосредственному, мистическому чувству Христа, т⟨о⟩ е⟨сть⟩ подчинено оккультности, возвышающейся над Христом и Христа унижающей? На этот вопрос почти невозможно ответить словесно, ответ может быть дан лишь в религиозном и мистическом опыте. Я знаю, что может быть христианский оккультизм, знаю также, что лично Ваша мистика христианская. И все-таки один отречется от Христа во имя оккультности, другой отречется от оккультности во имя Христа. Отношение к Христу может быть лишь исключительным и нетерпимым, это любовь абсолютная и ревнивая. Все эти вопросы я ставлю не потому, что я такой «православный» и такой «правый» и боюсь дерзновения. Я человек большой свободы духа, и сама моя «православность» и «правость» есть дерзновение. Не боюсь я никакого нового творчества, ни дерзости новых путей. Всего больше я жду от рождения какой-то новой любви. Но к Христу должно быть отношение консервативное. И должно быть консервативное отношение к умершим через Христа. Существует в мире таинственное общество умерших, живых и рождающихся, связанное консервативно, и единственный глава этого общества, источник жизни и любви — Христос, конкретный, реальный и единственный. Должно быть дерзновение во Христе, небывалое дерзновение и вне Христа неведомое. Но для этого мы должны пройти какой-то путь аскезы, путь отречения от многого. Я не готов еще для самого главного и боюсь, что слишком многие еще не готовы. Дерзость против Христа и вся уже изжита, «против» и «вне», нужно быть скромнее. А известного рода «правость» сейчас может оказаться очень «левой» и радикаль-

ной. Для меня, непокорного кшатрия², нов и желанен опыт богопокорности. Я не благочестивый человек и не боюсь соблазна благочестия. О Вас же я себя спрашиваю, что для Вас главное и первое, мистика или религия, религией ли просветляется мистика или мистикой религия? Это старые наши споры, но теперь они вступили в новый фазис. Для меня мистика, с одной стороны, есть стихия, таинственная среда, с другой, метод и особый путь, но ник<огда> мистика не есть цель и источник света. Мистика сама по себе не ориентирует человека в бытии, она не есть спасение. Религия есть свет и спасение. И я все боюсь, что Вас слишком соблазняет автономная, самодовлеющая мистика, слишком господствует у Вас мистика над религией. Я знаю, что в истории мистика играла творческую религиозную роль и спасала религиозную жизнь от омертвления и высыхания, от косности и реакционности. И никак без живой, творческой мистики мы не перейдем к новой, возрожденной религиозной жизни. Но такая мистика должна имманентно заключать в себе религиозный свет, в мистической стихии должен уже пребывать Логос, мистический опыт должен быть в магическом кругу таинственного общества Христова. Я знаю, что Вы самый согласный, потому что мы доходили почти до полного согласия, но тут вся суть в опытном переживании. И я не совсем еще знаю, вполне ли мы тождественно переживаем отношение между мистикой и религией, между оккультизмом и христианством, вполне ли схож наш молитвенный опыт, т<о> е<сть> интимнейшее, неизреченное отношение к Богу. А я ищу сходства и тождества наших религиозных переживаний. Быть может, я еще буду бороться с Вами, буду многому противиться в Вас, но ведь настоящее общение и должно быть таким. Взаимное противление может быть творческим. И наш спор Востока и Запада поможет их соединению, а не разъединению. А что меня страшит, так это то, что так мало людей религиозно и мистически живых и творческих. Религия Н. Р. Трубецкого³ так же мало меня утешает, как и мистика А. Белого. Передайте от меня сердечный привет Марье Михайловне⁴ и горячую благодарность за все ее заботы обо мне. Мне было очень хорошо на башне и о всех ее обитателях вспоминаю с любовью и чувством родства. Нежный привет Вере⁵ от меня и Лидии Юдифовны⁶. Когда же придет в Москву мой любимый друг Евгения Казимировна?⁷ Передайте, что очень ее жду и очень чувствую ее отсутствие. Привет и ей, и Вам от Л. Ю. Очень целую Вас и люблю. Христос с Вами, Вячеслав Иванович. Ваш Николай Бердяев.

Печатается по автографу (ОР ГБЛ, ф. 109, к. 13, ед. хр. 17).

Отношения между Н. А. Бердяевым и Вяч. Ивановым сложны и богаты, какими могут быть отношения между двумя современниками и сотрудниками, постоянно встречающимися, читающими и рецензирующими друг друга. Об их близости свидетельствует, в частности, посланное Н. А. Бердяевым и его женой рождественское поздравление Иванову:

«25 дек. 1910

Сергиева Лавра

[на открытке с изображением

Поклонения волхвов]

Петербург Таврическая ул. 25, Вячеславу Ивановичу Иванову

Вспоминаем Вас, дорогой Вяч. Иванович, в тихие дни, которые проводим в Сергиевой Лавре. Примите наш братский привет во Христе. Лидия и Николай Бердяевы.

Вашей семье передайте наши поздравления».

Данное письмо — документ не только теплых отношений двух величин «русского ренессанса», но и той яростной борьбы, которую вел Бердяев против волны оккультных увлечений в России 1910-х годов (несколько напоминающей сегодняшнюю), против доктрины модного тогда антропософа Рудольфа Штейнера (1861—1925), нашедшей себе приют в издательстве «Мусагет», у А. Белого и Вяч. Иванова. «Теософия, — писал в 1916 году Бердяев, — ищет центра вне человека и его глубины, она все объективизирует и материализует. Человеческий дух становится в рабскую зависимость от космической эволюции тысячелетий, от огромных промежутков времени. Теософически натуралистический эволюционизм ведет к отрицанию непосредственной связи человеческого духа с Абсолютным» (из его статьи «Теософия и антропософия в России»).

¹ Башня — квартира Иванова, где проводились ивановские среды, собиравшие литературно-философскую интеллигенцию.

² Кшатрия — каста военных и правителей в древней Индии.

³ Лисс неустановленное.

⁴ Марья Михайловна — помощница и друг дома Ивановых.

⁵ Вера — падчерица Иванова, ставшая женой своего отчима после смерти матери (Лидия Зиновьевой-Аннибал) в 1907 году.

⁶ Лидия Юдифовна — жена Бердяева.

⁷ Герцык Евгения Казимировна (1878—1944) — переводчица и писательница, приятельница Бердяева, оставшая о нем мемуары (см.: Е. Герцык. Воспоминания. Париж. 1973; то же — «Наше наследие», 1989, № 2, стр. 69—75).

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

С. ЗАЛЫГИН

*

ГОД СОЛЖЕНИЦЫНА

Год 1990-й в историю нашей литературы войдет еще и как год Солженицына; множество журналов будут публиковать его произведения, множество издательств напечатают его книги.

Такой сосредоточенности на одном авторе, может быть, никакая литература не знала и не узнает никогда — небывалый случай.

Хотя я и уверен, что этот случай уже сейчас, а со временем еще больше вызовет недоумение, объяснять, как и почему он произошел, — нет необходимости. Иначе не могло быть — вот и все.

Но нельзя ведь редакции делать большое общественное дело безмолвно.

Нельзя не предварить публикацию произведений Солженицына хотя бы несколькими соображениями.

Год 1917-й, кажется мне теперь, был порогом того мира, в котором России принадлежала бы особая роль: вот-вот она должна была стать страной-победительницей, у нее достаточно была развита промышленность, а сельское хозяйство уже обретало те формы, которые мы стремимся внедрить нынче, в 1990 году, как самые передовые и спасительные. У нее была выдающаяся наука, а искусство переживало свой серебряный век, серебряный в собственной оценке, в плане же мировом — может быть, и век золотой. У нее были и огромные проблемы, которые она стала решать своим собственным образом, — она в принципе не признала существующий мир и захотела построить мир другой, а прах этого мира отряхнуть со своих ног.

Более семидесяти лет прошло с тех пор, но что правда, то правда: никто, ни одно государство, ни один народ не повторил того трагизма, через который прошла Россия, прошла, может быть, даже и в интересах всего остального мира — если уж кто-то должен был его пройти. Ведь нет опыта, если нет альтернативы, опыт России и есть такая альтернатива для всего мира.

Но так или иначе, а чем более исключительны исторические события, тем в более исключительных личностях они персонифицируются, и в русской истории всегда являлись Сергей Радонежский, протопоп Аввакум и царь Петр, и еще раньше находились и после них — тоже. И в искусстве было так же: Пушкин, Толстой, Достоевский, Чайковский, Шаляпин, Чехов — это все исключительности, исходящие из исключительности народного бытия. И в политической науке кого нам не хватало — так это разве только практиков-стратегов, способных трезво оценивать последствия своих действий, умудренных опытом предшествующих поколений, не только отечественных, но и европейских. Но открыватели-Колумбы у нас находились всегда — и Ломоносов у нас был, и Менделеев, и Вернадский, были выдающиеся научные школы. Впрочем, и культура Азии нам, по сути дела, была вот как необходима хотя бы потому, что сами-то себя мы слишком уж безоговорочно причисляли к Европе.

При этом для нас все еще удивительно, что для многих народов Земли не только не существует, но кажется, и не существовало вопроса «кто мы?» что народ может существовать и без этого вопроса, существовать благополучно, воспринимая самого себя как некую данность некоего тоже данного природой мира.

Но едва ли не каждый из нас решал: кто я есть? — коммунист — социалист, националист — интернационалист, партийный — беспартийный, левый — правый, ленинец —

троцкист, демократ — сталинист. Господи, да разве мы можем перечислить все возможные, все мыслимые (и немислимые тоже) варианты самих себя?! В этих условиях какая должна быть литература? Русская о России?

...Вот опять: «должна быть» — в интересах общества, страны, всего человечества, наконец, — слова, которые только к русской литературе и применимы, другие литературы ни у своей истории, ни у своего настоящего об этом не спрашивают. Свобода искусства в Европе или в Америке в том прежде всего и состоит, что этот вопрос там попросту не возникает. Улавливать сегодняшний вкус и потребности общества — да, эту необходимость искусство чувствует там прежде всего как необходимость свою собственную, как способ своего существования.

И это там, на Западе, вовсе не потому, что искусство чем дальше, тем становится все легкомысленнее, — а потому что ни история, ни современность не диктует искусству, каким оно должно быть, как развиваться. Развивайся как хочешь, а мы, общество, посмотрим — будешь ты для нас интересным или не будешь. А свои собственные проблемы, беды и трудные решения тамошнее общество на искусство и литературу не перелагает, на все случаи жизни у него есть для этого другие институты и другие методы.

Эти общества не прошли через те события, через которые прошли мы. чаша сия миновала их, поэтому у них и нет задачи «переосмысливания своего прошлого», а если и есть — так она не Бог весть как тревожит их, что же касается будущего, завтрашнего дня — оно может быть более или менее благополучным, и в этом их забота, но чтобы обществу со дня на день ждать каких-то катаклизмов или хотя бы совершенно неожиданных решений Политбюро — этого нет. Чтобы спрашивать себя: а чем будет будущее-то? — этого нет.

Такого рода стабильность, очевидно, и есть цивилизация, и вряд ли мы ее в обозримом будущем достигнем.

Мы ее только ищем. Мы сейчас все на свете ищем: мыло, нравственность, политические идеи, колбасу, решения по национальному вопросу, железнодорожные билеты, школьные тетради, а когда ищется все на свете, поиск идет не столько по законам логики, сколько наудачу, по праву чувства и предчувствия, по тому, что и как «сказал Горбачев», «сказал Ельцин», «сказал Сахаров», «сказал Иванов — Петров».

И опять-таки не сегодня это возникло, этот кризис реалистической логики, а все в том же 1917 году.

Право же, откуда тянется и нынешний наш вопрос: какой «должна быть» литература? — а еще прежде того возник и другой: кто — мы? И Достоевский бился над тем, кто — мы, а по-своему и Толстой, и Чехов, и Платонов, и Маяковский; и Союз советских писателей разъяснял каждому гражданину, кто он есть — ударник соцтруда или вредитель, человек идейный или безыдейный, сознательный или не очень.

А между тем вопрос этот не может рассматриваться сам по себе, изолированно от другого вопроса, однажды очень четко, ясно и очень просто сформулированного другим нашим удивительно, если уж не фантастически, одаренным человеком.

Я имею в виду Шукшина и вопрос, который он накануне своей смерти поставил так просто:

«Что с нами происходит?»

А с нами происходит только то, что нам соответствует, — нашему складу и характеру нашей истории, нашей неорганизованности, нашему недоверию к самим себе, к своему обществу, к нашей науке, искусствам; а тогда и русские ученые и писатели вдруг оказываются за границей, там получают признание или хотя бы — нормальные условия жизни.

Подумать только — миллионы российских интеллигентов покинули родину после Октября, процесс этот не прерван и поныне. Так ведь это потери живыми, а сколько — мертвыми?

Если бы нечто подобное имело место, положим, во Франции — что бы от нее осталось? И какими бы были нынче французы? Представить себе невозможно! Вот и нам представить самих себя тоже почти что невозможно.

А Солженицын больше чем какой-либо другой русский писатель отвечает на вопрос, кто — мы, нынешние, через вопрос: «что с нами происходит?».

Так бывает, такая логика: лучшим ответом на вопрос может быть другой вопрос. Вообще говоря, нет гениальных ответов, есть только гениальные вопросы.

Нынче же особенно удивляет, что против публикации Солженицына на родине выступали и некоторые писатели. Чем это объяснить? Не хотелось бы так думать — но уж не тем ли, что публикации эти сведут на нет значение многих и многих других прозаических произведений? пьес? статей? исследований?

Мне иногда говорили: а наши левые демократы — протестуют! А мы привыкли считаться с общественным мнением!

Кто такие левые демократы — не объясняли, а я отнюдь не склонен вычислять ни левых, ни правых. Это совершенно ни к чему, но вот ведь и почта «Нового мира» без протестов то ли левых, то ли правых не обходится: зачем печатаете Солженицына?

Между тем не печатать Солженицына попросту нельзя. Не печатать его — это значит еще и не уважать себя, поднять руки вверх: «Караул! Боюсь!» Моя личная к нему приверженность, однозначное мнение редколлегий, тысячи писем читателей — лишь подтверждения того же довода: не печатать — нельзя! И не думать над напечатанным тоже нельзя.

Я думал... И, кроме очевидных, пришел еще к одному не вполне очевидному, но заключению. Подумалось мне, что, минуя Пушкина, но начиная, наверное, с Радищева и далее от Достоевского к Ф. Решетникову, к Г. Успенскому, А. Платонову, Гроссману, отчасти и к М. Булгакову, к прозе Абрамова, Белова, Астафьева, Распутина и других «деревенщиков» русская литература выражала жизнь в страдании.

Нет, это не страдания юного Вертера, и не страдальческие герои Гюго, и даже не западные прозаики периода после второй мировой войны, те, кто писал и об Освенциме, и о Сталинградском фронте.

Для них страдание — это, может быть, и длительный, а все-таки эпизод, он был, этот кошмар, он пройдет, он прошел — иначе для них и не могло быть, иначе и не было.

Для русских же писателей-страдальцев горе неизбежно, оно даже и не фон, а то и дело само содержание и существо бытия дореволюционного, ну, а дальше — гражданская война, коллективизация, террор 30-х, Отечественная война, годы культа и застоя — все это уже не только события жизни, а сама жизнь. Были попытки, и далеко не безуспешные, гулаговские страдания приукрасить: были ведь «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Кубанские казаки», «Екатерина Воронина», «Счастье», «Кавалер Золотой Звезды», были парады, награждения передовиков — не хочу сказать, что все это было неискренне и продажно, но, во-первых, далеко не все художники таким образом «веселились», а только самые передовые, во-вторых же, мрак 1937-го и прочих лет от этого веселья не только не рассеивался, но для многих и многих сгушался еще больше.

Тем более в русской литературе обязательно должен был явиться писатель, который, пересилив свою собственную страдальческую судьбу, решился бы, отнюдь не пренебрегая законами сюжета, лиризмом, художественной проникновенностью, художественным образом, самой художественной литературой, сказать о страдании уже и не от своего, а от народного имени. Ну вот что оно есть такое по гулаговской фактуре — что такое арест человека, а затем допрос, затем пытка, тюрьма и карцер, лагерь, сторожевая собака, лагерная похлебка, портянка, ложка и рубаха заключенного, что есть и сам заключенный, такой же вот предмет, но все еще обладающий жизнью, ни в чем не виновный кроме того, что он — она — родился страдальческой судьбы ради, чьих-то заблуждений ради.

Должен был явиться писатель, который показал бы нам тот колоссальный и невиданный доселе госмеханизм, который это страдание обеспечивал, энергию этого механизма, его конструкцию, историю его создания, поиски и находки конструкторов. Без такого писателя нынче нельзя представить себе ни нашей истории, ни нашей литературы, ни нас самих сегодня. Невозможно!

А литература как таковая снова и снова приобретает здесь значение никак уж не ради самой себя, а для того, чтобы писатель, минуя любых посредников, смотрел страданию в лицо, видел, что оно, это лицо, представляет собою, будучи человеческой личностью и вчера и сегодня, будучи историей страны на протяжении десятилетий — одного, другого, третьего и далее.

Ведь в нашем отечественном контексте наше теперь уже ходячее выражение «смотреть в глаза правде» — это действительно то же самое, что «смотреть в глаза страданию».

Такова наша история.

Через страдания человека мы постигаем страдания народа, через страдания народа — страдания человечества. Не все народы страдают — и слава Богу! — но все должны бы знать, что это такое, а незнание такого рода приводит к преступности и в отношениях между народами.

Отдельные народы-счастливчики — это пример для всех остальных, но пример только до тех пор, пока счастливец понимает несчастливому, когда проблемы существования и выживания для одного не только не чужды, но близки всем другим.

Солженицын еще и в этом смысле писатель международный как раз потому, что он всегда национален, но никогда не националистичен и не подражателен. Какой уж тут национализм, если речь идет о страдании?! А подспудно и о сострадании.

Далее.

Писателем, и возложившим на себя, и в значительной мере уже исполнившим эту задачу не только в «Архипелаге», но и всем своим творчеством, без исполнения которой русская литература не могла бы оставаться тем, чем она все еще является сегодня, стал Солженицын.

Однако же, поскольку уже и сейчас в редакционной почте встречаются протесты против публикации этого произведения, значит, есть и такая логика, и о существовании ее в обществе общество должно знать.

Не обещаю твердо, но может быть, и сформируется подборка подобных писем-мнений, тогда мы представим читателям возможность познакомиться с нею.

Возвращаюсь к творчеству Солженицына.

Какие были созданы им удивительные художественные образы в «Одном дне Ивана Денисовича», в «Матренином дворе», в «Случае на станции Кречетовка» да и «В круге первом», в «Раковом корпусе» тоже, но чем дальше, тем все больше и больше уже не столько художественный образ, сколько все происходящее вокруг него, сколько скружающий эти образы мир — мир государства, мир науки, мир общества, — в котором человек существует, событийный мир привлекает внимание писателя. Он исследует и человека и среду его обитания, в этом смысле он еще и эколог.

Через событие познает он личность, а не событие через личность, как это делают многие писатели, скажем, Пастернак в «Докторе Живаго».

Может быть, при этом творчество Солженицына и теряет в смысле чистой беллетристики, но ведь ее, «чистой», остается все меньше и меньше в мире, а он все больше и больше становится историком и социологом. Прочсть два десятка объемистых томов его сочинений — это требует усилий, и немалых, но ведь только тот труд есть продуктивный труд, который заставляет трудиться других. Который, если на то пошло, оказывается наиболее экономным и целесообразным, а целесообразность здесь налицо: прочитав всего лишь двадцать солженицынских томов, читатель избежит необходимости прочтения сотен и сотен книг других авторов. И вот иногда я думаю, что рассказанное Достоевским читается нынче как предисловие к Солженицыну. Не мы, читатели, не они сами так рассудили между собой — так рассудила история, наша действительность недавних десятилетий, те события, наступление которых Достоевский и представить себе не мог.

И вот еще что: ход и порядок мышления и всего творчества нашего автора более чем что-либо другое отвечает истинным и наиболее значительным потребностям нашего времени, нашей духовной жизни. Почему нынче мы не до конца «сливаемся» даже и с самыми любимыми героями классических произведений, такими как Анна Каренина, как братья Карамазовы, а то — с героями Горького, Алексея Толстого?

Нет, мы не чувствуем себя умнее, чем они, и, конечно, не сомневаемся в искренности их чувств, все дело в том, что они не пережили тех событий, которые пережили и переживаем мы. Все дело в событийности, в том опять-таки, что с нами происходит. С нами происходит и произошло, а с ними — нет, не было и не могло быть, и это вносит некое «недопонимание» между нами.

Но вот все то, что произошло с Солженицыным и с его героями, и с нами когда-то или было, или запросто могло бы быть.

Сам-то Солженицын начал вполне сознательным комсомольцем, хотя из родословной его и следовала принадлежность к бывшей и к бывшим, к бывшей интеллигенции. Во всяком случае он воевал, он прошел все перипетии арестанта, подследственного лица, зека, он перенес страшную болезнь и жизнь скитальца по квартирам и углам добрых людей, участь изгнанника и проклятия власть не только имущих, но и нищих его не миновали, а мировая известность все равно пришла к нему и снова призна-

ние своей страны — какая это фантазия, какое воображение пойдет в сравнение с такой действительностью? До сих пор в русской классической литературе самой невероятной биографией была, кажется, биография Достоевского...

Так оно и есть — ничего не осталось за пределами этой жизни, никаких событий новейшей истории нашего отечества.

И вот, я вынужден повториться. Солженицын на этот именно вопрос: что же с нами происходит чуть ли не с начала нашего столетия? — и решился ответить.

Эту задачу возможно было принять на себя, лишь обладая огромным талантом, чувством высочайшей ответственности перед народом, исключительной трудоспособностью, а еще нужно, чтобы все, что происходило в его отечестве, происходило и в нем самом, чтобы опыт и биография народные были лично его опытом и его биографией. А если среди многомиллионного народа находится хотя бы один такой человек — это уже достоинство народа. «Красное колесо» да и «Архипелаг ГУЛАГ» — это произведения в значительной мере исторические, но они одновременно и художественные, и художественность того же «Архипелага» во многом опять-таки не что иное, как личный опыт

До него не было таких же историков, не было и таких же художников. Только наше время и наша действительность и могли художника — историка — социолога — обществоведа породить. И породили.

Кому-то его книги покажутся нынче утомительными, очень многое из того, что в них написано, мы знаем, читали, слышали от непосредственных участников событий, но я уверен, если мы — род человеческий — сохраним, спустя годы и годы после нас, наверное, не будет более серьезного источника познания событий нашего времени, и тогда-то будут еще и еще оценены по достоинству эти книги и тот их стиль, в котором только и возможно было выполнить поставленную задачу.

Здесь снова возникает необходимость сказать, что русская литература всегда была, да и остается по мере своих сил, литературой учительской. У нас не было своих Кантов и Гегелей, их заменяли нам Пушкин, Достоевский, Толстой, не было Золя и Андре Жюль, но были Успенский, Златовратский, Короленко; литература наша была средоточием мысли не только художественной, но и философской, социальной, и, наверное, именно поэтому она и становилась учительской.

Учительство же учительству тоже рознь, и у нас оно всегда понималось иначе, чем на Западе. И дело тут не столько даже в учителях, сколько в учениках: как воспринимают они, как склонны воспринимать истины, изрекаемые учителями.

Когда на Западе хотят узнать место того или иного писателя в обществе, вопрос задается так: какой писатель, по вашему мнению, в нынешнем году самый популярный?

У нас этот же вопрос ставится иначе: какая книга нынешнего года кажется вам самой интересной?

Вопрос в первой его формулировке как бы уравнивает писателя со спортсменом — и тому и другому важно занять первое место.

При этом зритель спортивного состязания, восторгаясь и сопереживая, вовсе не чувствует необходимости принимать в состязании непосредственное участие, выбегать на гравевую дорожку или взбираться на помост и поднимать штангу. Результат состязания объективен и одинаков для всех.

Вопрос же об «интересной книге» как раз и предусматривает такого рода участие, субъективную оценку и наличие оппонента — такого же читателя, которому, однако, вот эта книга никак не интересна, а интересна совсем другая. «Ах, другая? Ну так я тебе и глаза выцарапаю!» — вот наши читательские взаимоотношения (правда не только читательские).

Если хотите, вопрос этот еще и провокационный, поскольку он предусматривает оценку и читателя, его собственного интеллекта, субъективную оценку читателем писателя, а в свете того, что говорилось только что, — оценку учеником своего учителя. Исходя из этого традиционного для нас признания учительской роли книги и ведется речь в отношении Солженицына. Эту роль мы поняли и признали со времени публикации повести «Один день Ивана Денисовича».

Поняли, но не до конца, не во всем ее значении, не только практическом, но, если так можно сказать, и теоретическом.

Мы вот нынче удивляемся: каким это образом столь могущественным мог оказаться социалистический реализм, и не только в литературе, не только в искусстве, но даже

и в самой жизни нескольких поколений? Почему эти поколения так легко принимали ложь за правду, зло за добро, крепостничество за свободу?

А дело обстояло довольно просто: достаточно было обмануться один раз, единственный, поверив, что ближайшие десятилетия приведут народ к вечному счастью и справедливости, а тогда и ложь, и жертвы, и духовное обнищание как бы даже и неблагородно становилось замечать. Соцреализм именно этого и требовал: видеть не столько действительность, сколько безупречное «учение» о ней, не столько действительность, сколько заложенную в ней этим учением «тенденцию». А раз так, то благородные соцреалисты упрекали Солженицына не в чем-нибудь, а в предательстве этой действительности.

Абстрактные художники тоже стояли поперек горла соцреализму уже по одному тому, что он хотел видеть себя единственным в этом мире «художественным методом», но не они были теми противниками, которые могли бы ниспровергнуть соцреализм, таким противником мог быть только реализм как таковой — без прилагательных и без вторичных «измов», реализм величайшей силы и безупречной правды.

«Один день...» и был таким явлением.

В конечном-то счете реализм как таковой позже или раньше, но обретает роль судьбы над любым «измом», хотя бы им самим и порожденным. Но, может быть, эта роль никогда еще не приобреталась литературой с таким трудом, с такими жертвами и при появлении в искусство столь же крупной и негибаемой личности.

Удивительное дело: любую «тенденцию» проще и яростнее всех других исповедуют, во-первых, ее непосредственные интеллектуальные творцы, а во-вторых, люди, у которых отсутствует всякий интеллект, некая же середина и большинство долго остаются инертными, прислушиваются, долго не выдвигают из своей среды личность, которая оказалась бы способной ниспровергнуть и тех и других (которые могут быть даже сильнее «тех»). Но рано или поздно, а это происходит, и реализм вступает в свои права.

Не будем утверждать, что все дело только в одной такой личности, тем более что она всегда одна, но поскольку нельзя отрицать наличие творцов «тенденций», нельзя представить себе действительность и без великих реалистов.

Однако вернемся к факту литературной хронологии — ведь осталось же в нашей памяти время, обозначаемое нами словом «оттепель», а символом оттепели, конечно же, остался Иван Денисович. Это было так.

Ну, а что же нас ждет сегодня, с публикацией «Архипелага ГУЛАГ», «В круге первом», «Ракового корпуса», «Марта семнадцатого» и других произведений Солженицына?

Читатели, видимо, полагают, что даже и на фоне тех колоссальных событий, которые происходят нынче с нами, эти публикации тоже будут событием. И не столько информационного порядка — мы уже сыты информацией, — сколько все тем же своим учительским значением: а не помогут ли эти книги разобраться в том, что с нами происходит, происходит сегодня, и в том — опять-таки, — кто мы, сегодняшние?

Во всяком случае наш журнал, уже опубликовавший «Архипелаг» в прошлом и публикующий «В круге первом», «Раковый корпус», а может быть, и еще некоторые вещи в текущем году, именно из этой предпосылки исходит: должны помочь!

И не в том дело, что все эти публикации нас просветят, что до прочтения их мы не понимали происходящего, а по прочтении сразу же все поймем, — этого не может быть; дело в том, что выбор средств к пониманию и к действиям, к осуществлению той перестройки своего бытия, которой мы поглощены, у нас очень невелик. Значит, и пренебрегать ни одним средством такого рода мы попросту не можем, не имеем права.

Солженицын значителен для нас своим взглядом на историю и той последовательностью, той логичностью в исследовании и в самом переживании «физики» века, которых мы при таких-то вот колоссальных проблемах и задачах все еще лишены, все еще не выработали для себя. Для нас нынче важен уже сам факт существования последовательности, каких бы проблем она ни касалась. Ведь последовательность — это ясность и определенность, то есть все тот же «острый» дефицит.

Как часто, чувствуя свою собственную правоту и неправоту противника, мы уступаем свои позиции именно потому, что наш оппонент обладает последовательностью, а мы нет. Иной раз и информации у тебя больше, и фактических знаний, и к отдельным фактам истории ты подходишь более здраво и объективно, а в результате — нет и нет;

обладая последовательностью, твердо зная, что он хочет, что утверждает и что отрицает, твой оппонент берет над тобою верх.

Ведь сколько нынче появилось книг и авторов, которые разрушают не только те или иные политические догмы и установки — это бы полбеда, это их достоинство, — но попутно разрушают еще и логику и последовательность нашего мышления в целом!

Новое мышление должно обладать и новыми, своими собственными средствами самоутверждения. Не только ими, но ими — обязательно. И книга учительская здесь опять необходима.

Логика — а мы почему-то часто отождествляем ее с реализмом — необходима в произведении даже и тогда, когда реализма в нем нет или почти нет. Пример — творчество Булгакова, Платонова, Кафки. Этим и отличается художественное произведение от действительности, от всякой другой созидательной деятельности, этой именно, если уж на то пошло, узостью искусства, узостью и логической сосредоточенностью, которые возвышают его над реальной и столь рассредоточенной жизнью. Только логика искусства способна создать символ, а символ — это наиболее полное воплощение реальности.

Кто-кто, а мы-то знаем, что значит общество алогичное, реальность которого не подчинена логике, что значит быть гражданином этого общества. Тем более существенна мысль Гегеля о том, что проза — это есть упорядоченная действительность. И как подходит это гегелевское определение к творчеству Солженицына, как точно обуславливает и его философию!

Наше сознание искажено, тем более мы нуждаемся в обучении по курсу логики, и не отвлеченном, а применительно к нам самим. Тот курс логики, который представляют собой сочинения Солженицына, призывает провести параллели между ним и поздно, слишком поздно явившейся в этот мир русской философией таких мыслителей, как Соловьев, Булгаков, Бердяев, Франк, и других того же поколения.

В мировой философии все они — фигуры уникальные, особенные настолько, насколько особенной была Россия их времени с ее прошлым. Их уделом были не всеобщие понятия, такие, как гегелевские тезы и антитезы или кантовская «вещь в себе», — понятия эти к тому времени были уже азбучными, наши же философы хотели применить философию к истории и нравственности своего народа, отсюда же они свою философию и выводили.

Солженицын, будучи художником, идет тем же путем. Он выводит нас на размышления отечественно-глобальные, которых нынче нам так не хватает, поскольку проблемы дня сегодняшнего поглощают нас, и для того чтобы читать Солженицына, нам нужно еще суметь вырваться к нему из нашей повседневной суеты.

Солженицын — тот народный писатель, какого, может быть, еще никогда и не было в столь народной русской литературе: ему ведь пришлось восстанавливать в нашем мышлении само понятие «народ», уже пошатнувшееся к тому времени, прошедшее через такие невиданные испытания и сомнения, что даже давний наш вопрос «кто мы?» терял, кажется, свое значение. Надо было выжить независимо от того, кто мы, кто он, кто я. Но ведь и выжить-то можно было только народом, а больше — никак.

Нет, Солженицын не народник, не почвенник и даже не «деревенщик». Он тот народный интеллигент и интеллект, который мог создать образы Ивана и Матрены, а в то же время безупречно точные портреты элитарных инженеров, узников золотой клетки, золотой на фоне всеобщего бедствия.

Иван и Матрена — это даже не потомки толстовских казаков, не продолжают они ни Хоря, ни Калиныча, вернее всего, они ведут свою родословную от поддиповцев Решетникова; интеллектуалы-инженеры специального КБ — это Пьеры Безуховы, напичканные техническими знаниями и до неузнаваемости искаленные историей. Ее арлекины, они заняты не чем-нибудь, а конструированием аппаратов подслушивания, предназначенных для поимки таких же интеллигентов, как они сами, таких же потомков еще не ушедших из жизни пламенных революционеров. Сказал такой потомок «не то, по мнению сыщика, слово по телефону — и вот он, «черный ворон».

Вот он — этот народ! ГУЛАГ с Иваном, Матренина изба с тараканами, квартира советского дипломата, «золотое» КБ...

Как же его разглядеть, свой народ, в этой фантастически трагической действительности?

Солженицын разглядел, уяснил. И нам и нашему времени уже тогда наказал: уясняйте! Историк, он все время предупреждает нас: не потеряйтесь в истории!

Много и много предстоит нам еще подумать и вспомнить о явлении, именуемом Солженицын.

И так, как это нашла нужным сделать на наших страницах Алла Латынина, и иначе, с учетом предстоявших событий.

Но есть в восприятии такого рода исключительных явлений нечто гораздо более высокое, чем отдельный факт, та или иная оценка, те или иные отношения между людьми. Чем то или иное исследование или статья.

Это «нечто» — сама природа и удивительное ее изобретение — личность выдающегося художника-мыслителя, ближайшее знакомство с которым, постижение которого поражает нас сознанием того, что лишить нас его отныне никто и никогда не сможет, даже собственная память.

Иногда я слышу: пройдет время, и «С» (Солженицын) встанет в один ряд с такими писателями, как «В», как «М», как «З».

Убежден: никогда ни в какой ряд Солженицын не встанет, он — сам по себе, а этот ряд — попросту нелеп.

Когда мы называем одно за другим имена Толстого, Достоевского, Чехова — разве это ряд? Когда говорим: «земля», «вода», «атмосфера» — разве это ряд?

Это — отдельные сферы, все вместе они создают мир, именно потому и создают, что они незаменимы и равнозначно необходимы.

Такое же положение занимают в нашем сознании и великие творцы.

Мне, редактору, часто задают и другой вопрос: не грозит ли нам культ Солженицына, сам он — не возлагает ли на себя роль мессии?

В принципе не такое это плохое дело — культ большого писателя. Чем уж так плох был культ Толстого? Достоевского? У скромника Чехова и у того был культ. А многие наши современные писатели, что они — не стремятся к своему культу? Другое дело, что не хватает пороха или весьма условно хватает на год-другой.

Что касается мессианства. Человек, переживший столько, сколько пережил Солженицын, возложивший на себя крест и задачи, подобные его кресту и задачам, наверное, и не может быть чужд мессианству.

Но дело-то не в его ощущениях и чувствах, дело в нашем восприятии его творчества. Возвращаясь к нам четверть века спустя, Солженицын встретит в нас других людей, совсем не тех, с которыми он когда-то мысленно прощался в «персональном» самолете, следующем по маршруту Москва — Кёльн.

И если в те времена он действительно мог бы стать мессией, а это именно обстоятельство и пугало власть имущих, то нынче положение другое: при нашем-то разброде, может быть, и хорошо было бы нам обрести мессию, но его нет, и никак не похоже, что мы можем его где-то обнаружить, — надо обходиться своим умом.

Другое дело, что, для того чтобы им обходиться, его надо усиленно питать.

Таковыми книгами, которые пишет Солженицын, прежде всего.

* * *

Другое дело, что настали новые времена. Даже и не с октября 1917-го, а с августа 1914-го, с первого дня первой мировой войны мир раскололся на два лагеря, а затем народы выходили из этого раскола кто и как мог, каждый сам по себе: Россия и Венгрия — через революции, Польша и Чехословакия — через самостоятельность, Америка — через обогащение, Германия — через Веймарскую республику и фашизм. Этот мировой раскол подтвердился и сталинизмом, и гитлеризмом, и второй мировой, и войной холодной. Мы стояли на краю не только ядерной конфронтации, но и катастрофы. Семьдесят один год (1914—1985) человечество было скорее понятием, чем фактом.

Но вот — перестройка. И если мы можем говорить о ее результатах, так это, во-первых, разрядка в смысле военном, а во-вторых — наше приобщение к тем духовным общечеловеческим ценностям, от которых мы так долго отгораживались железным занавесом. Теперь приобщение это требует искренности, открытости. Приход к нам Солженицына и есть такая искренность. И в том его еще одно выдающееся значение.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЛА ЛАТЫНИНА

*

СОЛЖЕНИЦЫН И МЫ

I

Один из персонажей романа Солженицына «В круге первом» — дочь прокурора Клара твердо усвоила еще в школе, какая это скучная вещь — литература; «...ограниченный в своих дворянских идеалах Тургенев; связанный с нарождающимся русским капитализмом Гончаров; Лев Толстой с его переходом на позиции патриархального крестьянства...». Кларе, как и ее подругам, непонятно, «за что вообще этим людям такое внимание: они не были самыми умными (публицисты и критики и тем более партийные деятели были все умнее их), они часто ошибались, путались в противоречиях, где и школьнику было ясно, попадали под чуждые влияния — и все-таки именно о них надо было писать сочинения...».

Пришла пора писать «сочинения» о Солженицыне.

Публицисты и критики, которые «умнее» писателей, поскольку вооружены правильным мировоззрением, уже принялись объяснять, где Солженицын ошибается, путается в противоречиях, но, несмотря на это, его произведения объективно отражают, отображают, способствуют... Предвидя толковательский бум этого рода, скажу: художник и мыслитель, моралист и философ в каждом большом писателе слитны. Ни Толстой, ни Достоевский ничего не отражали механически, словно зеркала, — потому они великие художники, что сказали именно то, что хотели. Проходит время — выясняется, что их «противоречия» и «ошибки» оплодотворили философскую мысль XX века, задали загадки, которые мы разгадываем сегодня куда успешнее, чем безупречная логика их критиков.

Солженицын-художник и Солженицын-мыслитель неразрывны, и малоперспективное занятие возвышать одного за счет принижения другого.

Растерянность перед феноменом Солженицына вкупе с неприятием круга его идей рождает и другую концепцию: не только как мыслитель, но и как художник Солженицын, мол, не силен. Отчего же — миллионы читателей, и мощное воздействие на умы, и всемирная слава? А все это результат личного мужества писателя, противоборства с режимом, которое, впрочем, в далеком прошлом. В эмиграции эта идея высказывается уже довольно давно противниками Солженицына, у нас ее адепты только пробуют голос. То один литератор заметит, что при восхищении Солженицыным-человеком «невысоко ставит Солженицына-художника», что вера Солженицына «в безусловную силу правды» уничтожает «мистическую сущность искусства» (А. Лаврин. — «Литературная газета», 1989, 2 августа), то другой скажет, что вовсе не творчество Солженицына, а травля писателя привела к тому, что его фигура «разрослась до гигантских размеров», создав почву для возникновения «культа Солженицына, который ничуть не лучше всякого другого» (Б. Сарнов. — «Огонек», 1989, № 23). На приемах борьбы с этим «культом» мы остановимся ниже.

О правде, которой сильно искусство, способное покорять, подчинять даже сопротивляющиеся сердца, Солженицын действительно говорит неоднократно. Но очевидно, что писатель вкладывает в это слово куда более широкий объем понятий, чем критики, противопоставляющие правду и «мистическую сущность искусства».

Свидетели триумфального вхождения Солженицына в литературу — и те, кто способствовал публикации рассказа никому не известного автора под названием «Щ-854», и те, кто вырывал из рук одиннадцатый номер «Нового мира» за 1962 год с повестью «Один

день Ивана Денисовича», читал по ночам, потрясенный, обсуждал прочитанное, — восприняли его как писателя, голосом которого заговорила незнакомая лагерная страна. Сказать правду о сталинизме — в этом видели его миссию.

Но что же многим другим мешало сказать правду? Что, они не подозревали об Архипелаге и потребовался Солженицын со своим специфическим жизненным опытом, чтобы открыть неизвестные острова и неизвестную нацию зеков?

Допустим. Что же, однако, мешало прозе совершить другое открытие?

В «Круге первом» блестящий дипломат Иннокентий Володин узнает неизвестную ему, непарадную, Россию, сев на подмосковный паровичок и сойдя на первой попавшейся станции. Убогие дома с покосившимися дверями — трудно поверить, что за ними человеческие жизни; заторможенные, испуганные, подозрительные люди; полуразрушенная церковь — тяжелой вонью разит на подступах к ней; нищета, разор, печать запустения на всем. Несколько страничек, вырастающих до символа. Иннокентий смотрит на куски желтого, розового, белого мрамора, брошенные в дорожную грязь. Разбили иконостас. Зачем? «Дорогу гатить». Загатили? Как бы не так! «...израненная, изувеченная, больная земля вся была в серых чудовищных стручьях комков и свинцовых загноихах жидкой грязи».

Неужели авторы романов, воспевающих бескрайние колхозные поля, буйно колосающиеся хлеба и сытую колхозную жизнь, не видели этих нищих деревень, разрушенных церквей, терпеливых старух, покорно сносящих новое крепостное состояние? Видели, конечно. Всё — видели. Может, именно поэтому рассказ Солженицына «Не стоит село без праведника» («Матренин двор») и вызвал шок.

Открытия Солженицына не только, если продолжить метафору писателя, географические, не только Колумбом, проторившим путь к неведомым островам неизвестного архипелага, явился он, но и Фрейдом, вскрывшим подсознание общества, изнемогавшего под тяжестью невысказанных страхов и сновидений.

Можно, наверное, написать целое исследование на тему: мотив сна в антисталинской литературе.

Жизнь в полусне и сон наяву героя «Московской улицы» Б. Ямпольского, ночные кошмары героя «Факультета ненужных вещей» Ю. Домбровского, рвущегося во сне бросить вождю всех времен и народов признание в ненависти, кошмарная женщина с мужской усатой мордой, являющаяся во сне герою автобиографической повести Ю. Трифонова как предвещница грядущих арестов, даже трезвый отказ Твардовского признать годы террора «сном последним», «дурною дикой небылицей» — все толкает к размышлению о времени как своего рода сне народа, сне нации.

«Мы ничего не знали» — этот распространенный мотив литературы конца 50-х можно интерпретировать сегодня иначе: все знали всё — но знание это было как бы вытеснено в подсознание общества. Солженицын назвал болезнь своим именем. Это и вызвало потрясение. Но общество стало на путь выздоровления.

То, что Солженицын обозначил некий водораздел, поворотный пункт в развитии литературы, почувствовали многие. Твардовский не уставал повторять, что появление Солженицына «в нашей советской литературе весьма знаменательно», что «ни одно новое литературное явление уже не может быть рассматриваемо без сопоставления с этим художником».

Но тот же Твардовский в письме Федину в январе 1968 года, в разгар «дела Солженицына», пытаясь, тщетно впрочем, воззвать к совести главы Союза писателей, доказывая благотворность влияния Солженицына, счел нужным оговориться: «...отдавая все должное Солженицыну, я не считаю его явлением таким уж исключительным и беспрецедентным в нашей литературе. Нельзя, например, забывать, каким смелым, поворотного значения литературным фактом были «Районные будни» В. Овечкина, появившиеся в «Новом мире» еще в 1952 году. Свежестью и остротой жизненного материала выделялись повести В. Тендрякова «Не ко двору» и «Тугой узел». Новым, углубленным подходом к военной теме отличалась «Пядь земли»... Г. Бакланова».

Смелость, острота, новизна — все это очень важные критерии, но они не являются константами. Достигнутый уровень смелости очень легко может оказаться превзойденным — именно это быстро произошло, к примеру, с «Районными буднями» Овечкина.

Уровень правды, понимаемый как производное от уровня смелости, остроты и новизны, — это скорее уровень напряженности социального звучания — кто спорит? — очень важный фактор литературного процесса, но... Физиологический очерк 40-х годов прошлого века, натурализм конца века, поворот к критическому реализму в нашей прозе конца 50-х и

60-х годов — это все литература, отмеченная попытками сказать правду. Но и исчерпываемая этой задачей, ибо такая правда — правда сообщения. Оно может быть сделано и не на языке искусства.

Вначале многие крупные явления искусства воспринимались как прорыв правды, как сенсационное сообщение. Солженицын не исключение. Сообщение можно и опровергнуть. Отсюда — попытки противопоставить «Одному дню Ивана Денисовича» рассказ Шелеста и повесть Дьякова, а «Матренино двору» воспоминания критика Полторацкого о преуспевающем колхозе и богатой деревне. С высоты сегодняшнего дня они кажутся по меньшей мере наивными, зато попытки «опровергнуть» более поздние вещи Солженицына не прекращаются и поныне.

То, что Солженицын принес в литературу, — не узкая правда, не правда сообщения. Тюремные и лагерные сюжеты (десятки тысяч людей возвращались из заключения, делясь своим опытом, облегчая душу рассказами), нищета деревни, бесправие народа — повторю еще раз — были обычной темой разговоров, переписки, своего рода частных жанров. Эти жанры не пересекались с письменной литературой не только из-за недостатка гражданского мужества. Не было языка, пригодного для изображения этой новой реальности. Солженицын не просто сказал правду, он создал язык, в котором нуждалось время — и произошла переориентация всей литературы, воспользовавшейся этим языком.

Десятки писателей принялись создавать собственные версии конфликта личности и тоталитаризма — мы и сейчас черпаем, все еще не вычерпали прозу, рожденную «Одним днем Ивана Денисовича», меж тем как писатель стремительно двигался дальше.

Многие не поспевали за этим движением.

В спорах вокруг первых опубликованных вещей Солженицына высказано немало точных суждений относительно природы его таланта. В одной из наиболее ярких статей того времени «Иван Денисович, его друзья и недруги» («Новый мир», 1964, № 1) В. Лакшин иронизировал над «неискушенным читателем», которому «может показаться, что перед ним кусок жизни, выхваченный прямо из недр ее и оставленный как он есть... Но такова лишь художественная иллюзия, — справедливо возражал критик, — которая сама по себе есть результат высокого мастерства».

Пройдет, однако, время, и Лакшин, разойдясь с Солженицыным и призвав всех, кому был некогда дорог писатель, научиться жить без него, скажет, что «Солженицын обречен очень ошибочно, лишь по отношению к себе и своим ближайшим обстоятельствам оценивать общие социальные перспективы». («Это пишется после «Архипелага!») — недоуменно восклицает Солженицын.) Что же касается самого «Архипелага», то критик, отметив «преувеличения ненависти» (а «правда, сказанная злобно, лжи отъявленной подобна», — укоряет он), признает: «Пока история не найдет более объективных летописцев... пристрастный суд Солженицына останется в силе».

Значит, если появятся менее пристрастные летописцы, произойдет что-то вроде опровержения «ГУЛАГа»?

Позволительно в этом усомниться. Кстати, никто более Солженицына не озабочен, кажется, тем, чтобы собрать как можно больше документов о ГУЛАГе и тем облегчить труд будущих объективных летописцев, — об этом говорит и основанное им хранилище рукописей и предпринятое грандиозное издание серии мемуарных материалов и исторических исследований. Но даже если многочисленные историки создадут сотню томов «Истории репрессий в СССР», самых объективных и беспристрастных, то «пристрастный суд Солженицына» силы не утратит.

И до Солженицына хватало свидетельств об «Архипелаге». Осмысляя воздействие писателя на умы читателей Запада, многие отмечали, что в отличие от Советского Союза, где блокировалась всякая информация, Запад располагал множеством сведений о репрессиях в СССР, о гнетущей диктатуре, искусственном голоде 30-х, гибнущих людях, концентрационных лагерях.

В «Архипелаге ГУЛАГе» в устрашающий рассказ о Соловках врывается печально-саркастическая нота: «Это было в лучшие светлые двадцатые годы, еще до всякого «культа личности», когда белая, желтая, черная и коричневая расы земли смотрели на нашу страну как на светоч свободы». И лаконичное примечание: «О, Бертран Рассел! О, Хьюлет Джонсон! О, где была ваша пламенеющая совесть тогда?»

Сегодня многие задались вопросом, почему «пламенеющая совесть» левой западной интеллигенции была обращена не на то, чтобы осудить концлагеря и подавление свободы, но на то, чтобы в штывы встретить свидетельства узников, вырвавшихся из советских

концлагерей, объявляя их то выдумкой реакционеров, то гнусной клеветой на оплот антифашистского движения, то призывом к холодной войне.

И почему та же интеллигенция, что слышать не хотела обо всех этих лагерях, прозрела после Солженицына?

Могут сказать, что она прозрела раньше, после XX съезда. Ну, положим, это кому когда удалось. История левых движений отмечена разочарованиями своих адептов: из них-то, кстати, вырабатываются самые тонкие и самые пламенные критики тоталитарной идеологии. И, наверное, Бердяеву надо было побить марксизмом, чтобы написать «Марксизм и религия», Зямятину принять участие в революционной деятельности, чтобы прозреть более отдаленные ее идейные перспективы и написать «Мы», Кёстлеру потолкаться в Коминтерне, повоевать в интербригадах, чтобы написать «Слепящую тьму», Оруэллу пережить увлечение коммунизмом, чтобы сообразить, каким будет вождественное общество нетерпеливой мечты, Авторханову прикоснуться к синклиту новой власти, чтобы написать «Происхождение партократии», Миловану Джиласу разделить привилегии номенклатуры, чтобы дать ей определение «Новый класс».

Однако заметим, что и эти ранние предвидения, захватывая многих, мало что меняли в общественном настроении эпохи, и даже XX съезд не привел левоориентированную интеллигенцию к разочарованию в идеологии, породившей ГУЛАГ. Съезд признал ошибки, но тут же нашел и виновника этих ошибок — Сталина.

«Солженицын раскрыл нам глаза, наглухо зашитые идеологией», — пишет Жорж Нива об «идеологии регламентированного счастья», добавляя, что именно искусство смогло произвести столь потрясающий эффект, — без солженицынского искусства было бы «одним документом больше, а документы против идеологии бессильны — это было, увы, доказано, и не раз».

Допустим даже, что в самом этом заявлении есть оттенок чрезмерности, что одному Солженицыну было бы не под силу переломить умонастроение общественности, что здесь сыграли роль и другие причины, но нельзя все же сбросить со счетов того обстоятельства, например, что французские «новые философы», Андре Глюксман и другие, объявили себя «детьми Солженицына», «детьми Архипелага», подвергнув пристальной ревизии идейные основы современного мира. И бунт их против идеологий оказался, в сущности, более глубокий, чем социальные бунты 60—70-х годов, которым так бездумно аплодировала «прогрессивно мыслящая» интеллигенция. Надо перестать аплодировать «красным бригадам», чтобы потом не ужасаться красным кхмерам, — эта мысль, внедрявшаяся в сознание западного общества, все же многим обязана Солженицыну. И когда, например, на конференции, посвященной семидесятилетию Солженицына, американский профессор Валерий Сойфер, считая это высшей оценкой творчества писателя, говорит о «космической роли», которую сыграл Солженицын, изрядно подорвав левое движение на Западе, над этим нелишне задуматься.

Наши глаза — разве менее зашиты они идеологией, чем глаза западных левых? Мы готовы ужасаться красным кхмерам и называть геноцидом коммунистический эксперимент Пол Пота, но все еще порой аплодируем левому терроризму и в современности и в собственной истории, все еще спорим о том, когда начался сталинизм.

В 30-е годы в западной левой прессе был в ходу такой аргумент: те, кто осуждает репрессии в Советском Союзе, тиранию Сталина, — те оправдывают Гитлера. Сегодня подобная логика вызывает у нас оторопь: почему такой узкий выбор, разве нельзя быть противником всех видов тоталитаризма?

Но далеко ль от этой логики ушло обвинение, кочующее по страницам нашей прессы: те, кто ставит вопрос об истоках сталинизма, о красном терроре и репрессиях первых послереволюционных лет, — оправдывают Сталина? (Это как если бы ученым, ищущим возбудитель рака, сказать, что они рак оправдывают.)

Солженицын выдвинул свою версию «возбудителя рака». Не обязательно именовать себя «детьми Солженицына», чтобы согласиться с ней. Впрочем, у нас сейчас куда слышнее голоса тех, кто, именуя себя «детьми XX съезда», эту версию отвергает, а вместе с ней — и Солженицына. Их право, конечно.

Однако нельзя не задуматься над тем, как часто повторяется в истории литературы один сюжет: писатель, которого на ура встречали современники, отвергается, как только углубляется его взгляд, усложняется круг идей.

Так не был понят спутниками его молодости поздний Пушкин: «испался», «падение таланта»; так те, кто, ликуя, встречал «Бедных людей» Достоевского («Новый Гоголь

явился!»), брезгливо отвернулись от него, едва он захотел стать не Гоголем, а Достоевским; так враждебным недоумением критики была встречена «Война и мир».

Солженицын очень точно уловил общественное настроение 60-х. Но по мере того, как расширился исторический охват его творчества, обозначалась религиозная основа мироощущения и радикальное неприятие Передовой идеологии, откалывались от него люди, не изжившие иллюзии своей молодости. Сам Солженицын воспринимает этот процесс, начавшийся к концу 60-х, как печальный, но неизбежный факт: «На «ура» принимали меня, пока я был, по видимости, только против сталинских злоупотреблений, тут и все общество было со мной. В первых вещах я маскировался перед полицейской цензурой — но тем самым и перед публикой. Следующими шагами мне неизбежно себя открывать: пора говорить все точнее и идти все глубже. И неизбежно терять на этом читающую публику, терять современников в надежде на потомков. Но больно, что терять приходится даже среди близких».

Кого, однако, мы можем назвать потомками? Детей ли тех, кто отверг писателя, или же внуков, младших современников? А как быть с теми, в ком совершился, пусть поздний, духовный переворот, и в результате непрестанной работы ума и совести то, что было чуждым два десятилетия назад, стало понятным? Среди нынешних сторонников Солженицына мы видим и таких. Мы говорим: Солженицын возвращен нашему обществу. Но можно и иначе: общество дозрело до Солженицына.

II

Признав: Солженицын опередил время, — неминуемо и поставить вопрос: почему ему была вверена историей эта миссия?

Один из самых распространенных мифов — миф о единомыслии и монолитности сталинского общества. Старательно культивируемый идеологией (не смущавшейся, впрочем, таким противоречием: если все монолитны, то откуда же взялось столько врагов), этот миф прочно внедрился в сознание даже тех, кто был чужд официальной версии истории. Пришла пора его критического анализа.

«В освещении прошлых эпох, — писал Бахтин в книге о Рабле, — мы слишком часто принуждены «верить на слово каждой эпохе», то есть верить ее официальным — в большей или меньшей степени — идеологам, потому что мы не слышим голоса самого народа, не умеем найти и расшифровать его чистого и беспримесного выражения... Все акты драмы мировой истории проходили перед с м е ю щ и м с я н а р о д н ы м х о р о м...»

Вот этого народного хора, его саркастического смеха и его горького плача мы долго старались не замечать, более доверяя официальному образу эпохи.

Однако гигантские портреты вождя не препятствовали появлению остроумных анекдотов о нем, победные газетные рапорты ударников колхозного труда, докладывавших о сказочном изобилии, славящих свободный труд, не мешали появлению частушек, зло и горько высмеивающих нищую жизнь и всеобщую принудилровку.

В солженицынском «Архипелаге» голос из народного хора прорывается постоянно — да вот хоть в рассказе, как мужики в селе Рязанской области 3 июля 1941 года собрались слушать речь Сталина: «И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька: «Братья и сестры!..» — один мужик ответил черной бумажной глотке:

— А-а-а, б...дь, а вот не хотел? — и показал репродуктору излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивают. И зароготали мужики. Если бы по всем селам, да всех очевидцев опросить, — десять тысяч мы таких бы случаев узнали, еще и похлеще». Обожествление Сталина вовсе не было состоянием общенародным, настаивает Солженицын, деревня же была куда «трезвее города», она «хорошо помнила, как ей землю обещали и как отобрали, как жила она, ела и одевалась до колхозов и как при колхозах». «Она была просто н о р м а л ь н а рассудком».

Солженицын упорно развеивает миф о монолитности и идейной сплоченности советского общества. Атаке подвергается представление о народности режима и ему противопоставляется точка зрения народного здравого смысла. Глазами главного участника драмы предлагает взглянуть писатель на движение истории, неумолимо стремящейся к Архипелагу.

Есть и другой ракурс, не менее рельефно проступающий в творчестве Солженицына.

Русская интеллигенция, чье сознание было пронзено чувством долга перед народом, желанием вернуть этот долг, несла в себе черты подвижничества и самопожертвования. Одни иступленно приближали революцию, веря в осуществление мечты о свободе и спра-

ведливости, другие, куда более прозорливые, понимали, что мечта, пожалуй, может подвести, свобода обернется тиранией, но трубный звук, возвещающий о близящейся народной расправе, встречали, обратив к нему лица и самоотреченно готовя шею. Это мироощущение ухватил обычно холодный Брюсов, с неожиданной для его стиха энергией воспевавший гуннов, которым суждено растоптать многовековую цивилизацию:

Сложите книги кострами,
Пляшите в их радостном свете.
Творите мерзость во храме,—
Вы во всем неповинны, как дети!

И — было исполнено по слову поэта.

Ну, а что же будет с уцелевшими «в час народных расправ»? Предсказано и это:

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светлы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

В «Круге первом» Иннокентий Володин разбирает бумаги матери, к которым у него раньше не было интереса. Отец герой гражданской войны, а мать кто? Обломок старого мира, гнилой интеллигенции. И вот он читает старые письма и записи в дневнике, рассматривает театральные программки и бесчисленные книжечки журнальных приложений. «В пестроте течений, в столкновении идей, в свободе фантазии и тревоге предчувствий глянула на Иннокентия с этих желтеющих страниц Россия Десятых годов» — времени, которое приучили Иннокентия в институте считать «позорным» и «бездарным». «Да оно и было слишком говорливо, это десятилетие,— врывается авторский голос,— отчасти слишком самоуверенно, отчасти слишком немощно. Но какое разбрасывание стблей! но какое разноколосье мыслей! Иннокентий понял, что был обокраден до сих пор».

В «облегченном» варианте романа «В круге первом», который циркулировал в «самиздате» в 60-х, отсутствовала глава «Тверской дядюшка» — одна из важнейших в романе. Живущий в унылой бедности, дядя Авенир — хранитель духовного богатства, промотанного незаконными наследниками интеллигенции. Его образ мыслей, его судьба — это судьба типичного русского интеллигента, с неприязнью к монархии, с мечтами о свободе, которые — блеснула надежда — исполнил февраль 1917-го, но вот октябрьский переворот — и утрачены надежды.

Не во имя сохранения старых привилегий, как утверждает официальная версия истории, но во имя свободы двинулась 5 января к Таврическому дворцу демонстрация безоружных людей — возмущенных разгоном Учредительного собрания. Мирная демонстрация с красными флагами революции, расстрелянная теми, кто разгонял депутатов, съехавшихся со всей России, чтобы выразить волю народа. «А теперь Девятое января — черно-красное в календаре. А о Пятом даже шептать нельзя», — вздыхает дядя Авенир.

Не только те, кто недоверчиво относился ко всякой политике, полагая, что никакие социальные перевороты не исцелят общество, что важнее — духовное возрождение человека, но и те, кто политически активно противостоял царскому режиму, оказались в оппозиции и к перевороту, который они осмыслили как антидемократический и антинародный. Обещан «мир народам» — «а через год уже «Губдесертир» ловил мужичков по лесам да расстреливал напоказ»; обещана земля крестьянам — введено крепостное право; обещан рабочий контроль над производством — все зажал государственный центр; обещан конец тайной дипломатии — введена невиданная система секретности; обещана свобода — построены концлагеря, просвещает дядя племянника.

Мы живем в догутенбергову эпоху — известны слова Анны Ахматовой. Иные поправляли: в пописменную. (Тот же дядя Авенир опасался и рукописное хранить — не без оснований.) И все же ныне — бум публикаций, разбивающих миф о единодушии, с каким русская интеллигенция сунула свою голову в тоталитарное ярмо. Да, у многих были иллюзии, да, иные пытались приспособиться, выжить, да, сознание долга перед страной, перед народом не позволяло покинуть ее в беде. «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был» — этот ахматовский стих выражает чувства многих.

А чувства скольких выражают, к примеру, записи в пришвинском дневнике 1930 года: «Читаю Робинзона и чувствую себя в СССР, как Робинзон... Думаю, что очень много людей в СССР живут Робинзонами... только тому приходилось спасаться на необитаемом острове, а нам среди людоедов» Сколько интеллигентов зорко видели, как Пришвин: «по всей стране идет теперь уничтожение культурных ценностей, памятников и живых органи-

зованных личностей»; сколько размышляли над причинами: революция—это «звено мировой культуры или же... наша болезнь?»; сколько записывали в дневники, в то время как страна повторяла спущенные сверху формулы, объясняющие «перегибы» коллективизации «головокружением от успехов», «головотяпством»: «Эти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками „головотяпства”» (см. «Октябрь», 1989, № 7).

Катакомбная культура тайно теплила свои светлы, передавая знание тем, кто его жаждал.

Иногда она пыталась выдвинуть из своих недр посланцев, но официальная культура бдитительно замечала у поднявшегося айсберга невидимые две трети и потопляла чуждый предмет. Так были потоплены Клюев и Мандельштам, Ахматова и Замятин, так были разгромлены история, философия, биология, так была вырублена интеллигенция.

В отличие от официальной культуры, четко вписанная в жесткие идеологические рамки, катакомбная культура не была единой. Она хранила то «разбрасывание стеблей и разноколосье мыслей», которое было пресечено диктатурой. Она алкала свободы на путях либерально-политического общественного устройства и на путях духовно-религиозного возрождения, но одно она твердо знала: что оруэлловское Министерство правды фабрикует ложь, а Министерство мира — готовит войну. Не имела она никаких иллюзий и насчет Архипелага ГУЛАГ.

Персонаж «Пушкинского дома» Андрея Битова, блистательный ученый Модест Одоевцев, отматывающий свой срок с 20-х, взрывается, когда внук лепечет что-то о незаслуженно пострадавших. «Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордости людям, которых сначала незаслуженно посадили, а теперь заслуженно выпустили», — кричит он, утверждая, что его посадили «за дело».

«Дело» в системе тоталитарного государства, разумеется, не то, что в системе правового. «Делом» оказывается уже слово, мысль, рукопись, лекция, книга, статья, запись в дневнике, письмо, научная концепция. Такое «дело» может найтись у любого человека, принадлежащего к умственно независимой части нации.

Казалось бы, безразмерная 58-я статья, подбиравшая всех подряд, должна была привести к тому, что политические в лагерях отсутствовали. Солженицын в «Архипелаге» с успехом доказывает это в главе «Вместо политических». Но ничуть не впадая в противоречие, показывает и то, что политические были, что «их было больше, чем в царское время» и что они «проявили стойкость и мужество больше, чем прежние революционеры». Главный признак этих политических — «если не борьба с режимом, то нравственное... противостояние ему».

Солженицын возражает И. Эренбургу, назвавшему в своих мемуарах арест лотерей: «...не лотерея, а душевный отбор. Все, кто чище и лучше, попадали на Архипелаг».

Этот душевный отбор толкнул в густоачеистый невод НКВД интеллигенцию, не торопившуюся засвидетельствовать лояльность, нравственно противостоящую диктату, он же привел на Архипелаг и таких, как герой «Круга» Нержин, который «всю молодость до одурения точил книги и из них доискался, что Сталин... искажил ленинизм. Едва только написал Нержин этот вывод на клочке бумажки, как его и арестовали».

Ход мысли Нержина — с мягкой иронией переданный ход мысли молодого Солженицына. Да и обстоятельства ареста сходны: военная цензура прочла письма Солженицына с критикой Сталина, адресованные другу. Сегодня мы можем говорить об известной типичности судьбы Нержина.

В «ГУЛАГе» Солженицын упоминает о струйке «политической молодежи», которая потекла на Архипелаг с середины 40-х. Тут и А. Белинков, севший за роман «Черновик чувств», и созданная студентами Ленинградского механического техникума антисталинская организация, и группа школьников из Ленинск-Кузнецка, додумавшаяся, что люди живут совсем не «той жизнью, за которую боролись и умирали наши деды, отцы и братья», о чем и поведала в листовке.

Перечень Солженицына, разумеется, неполон, да он и сам говорит об этом, призывая историков заняться исследованием. Тут могут быть использованы и воспоминания Майи Улановской, сожалевшей, что Солженицын упустил рассказать об их организации. Возникла она как результат критического осмысления молодыми людьми окружающей действительности. Разговор наш, вспоминает Майя Улановская о своем товарище, студенте-философе Евгении Гуревиче, вовлекшем ее в организацию, в основном шел «об арестах, тюрьмах и тяжелом положении народа. Сталин, которого Женя пренебрежительно называл

дядя Джо, вовсе, оказывается, не великий человек (мне и отец так говорил), то ли дело — Ленин. Наконец я спросила: «Как же с этой несправедливостью бороться?» И Женья загадочно ответил, что бороться можно, что есть люди, которые на все готовы. И, когда он на следующий день предложил мне вступить в организацию, которая ставит своей целью бороться с существующим общественным строем, за возврат к ленинским нормам, я без колебания согласилась».

Союз борьбы за дело революции (СДР), как и другие подобные организации, многого, конечно, сделать не успел. Но сам факт инакомыслия, попытки сопротивления — налицо. Молодые люди понимали, что история искажена, и собирали материал для «объективной истории Советского Союза», понимали, что народ оболванивают ложью, и пытались противопоставить ей испытанные революционные методы — листовки на гектографе; обсудили даже вопрос о возможности покушения на Сталина и Берия, тут же, правда, эту возможность отвергнув.

В концепцию, согласно которой Сталин наносил удары «по своим», существование инакомыслия в подсталинском обществе не вписывалось, и потому этих фактов старались не замечать. Жигулин вспоминает, что Твардовский с досадой вычеркнул у него строчки: «Мы были той виной сильны, нам, виноватым, было легче, чем взятым вовсе без вины» (они ему казались «притянутыми задним умом»). Однако мироощущение, в них отразившееся, находит подтверждение и в других свидетельствах. Майя Улановская пишет: «Мне помогало то, что я не считала себя арестованной напрасно», — рассказывая о своем тюремном опыте начала 50-х.

Не зря, наверное, и битовский персонаж отказывается считать себя незаслуженно арестованным: внутренний статус политического, несомненно, придает заключенному нравственные силы.

И что же происходило с этими Нержжиными дальше? Там, на островах Архипелага, где состоялась долго чаемая встреча народа с интеллигенцией, Нержин, у которого проклюнулась мысль, что Сталин искажил Ленина, примется додумывать ее дальше, внимая разом хранителю света катакомбной культуры и протагонисту народного хора.

Сильный налет авторской иронии проступает в рассказе о попытках Нержина добиться доверия дворника Спиридона, ибо примерещилось Нержину, что рыжий круглоголовый дворник и есть «тот представитель Народа, у которого следовало черпать». А все же именно у Спиридона разбудит Нержин критерий иного свойства, чем тот, что почерпнул Пьер Безухов у Платона Каратаева (переключка здесь несомненна). «Волкодав — прав, а людоед — нет», — поговоркой ответит Спиридон на вопрос о том, «с какой меркой мы должны понимать жизнь» Мучает Нержина мысль, что благодетели общества зла не хотели, но его установили, — так, может, и впрямь справедлив принцип невмешательства, непротивления?

Можно бы попробовать перевести «критерий Спиридона» на язык более строгих понятий и сформулировать что-нибудь в таком роде: «Активное противостояние злу, физическое противодействие злой воле нравственно оправданно. Однако оно не должно переходить ту грань, когда противодействие злу становится источником нового зла». Но тут мы увидим, что эту именно грань логически установить невозможно. Попытка уточнить понятия окажется запутыванием их. Но грань, отличающую волкодава от людоеда, четко различает непосредственное нравственное чувство человека, философия здравого смысла дворника Спиридона.

Другой собеседник Нержина — художник Кондрашев-Иванов. Правнук декабриста, восставшего против крепостного права, содержится в шарашке на положении крепостного художника (сколько таких штрихов у Солженицына). Но духовно Кондрашев свободен. «В человека от рождения вложена некоторая Сущность... Никакое внешнее бытие не может его определить!» — возражает Кондрашев Нержину в ответ на замечание, что лагерь ломает человека.

Что же грезится художнику, наследнику русской культуры, презирающему режим, втолкнувший его в тюрьму? Рыцарь Парсифаль в ту минуту, когда он увидел замок Святого Грааля. Напомню предание: чаша с кровью Христа может явиться лишь прошедшим путь духовного восхождения.

Наверное, нужна была плавильня Архипелага, чтобы соединить в сознании Нержина образ высшей святости, взлелеянный художником Кондрашевым и всей той ветвью русской культуры, которая оказалась в катакомбах или за «тюремными затворами», с философией здравого смысла дворника Спиридона.

Это соединение двух доселе неслиянных опытов явлено нам в феномене Солженицына. Так Архипелаг, созданный для уничтожения тех, кто был признан непригодным к новой жизни, для подавления, для устрашения, сам же приготовил могильщика идеи, породившей Архипелаг.

Культуру, которую мы именовали здесь катакомбной, до последнего времени у нас было принято считать «чуждой», противостоящей той освободительной линии, которую выстраивали от Пушкина до Горького, от декабристов до большевиков.

Но скорее линия от Пушкина, восславившего свободу и милосердие, от Достоевского, стоявшего на Семеновском плацу в рубашке смертника, от Владимира Соловьева, призывавшего царя помиловать цареубийц, от Толстого, возвысившего голос против казней, тянется не к тем, кто восславил грандиозное строительство Беломорско-Балтийского канала, но к тем, кто долбил грунт на этом канале руками, более привычными к перу, чем к лопате, кто не соблазнился посулами Великого инквизитора, кто помнил о духовной сущности человека, кто не мог относиться к человеку как к материалу для мощения дороги в «земной рай».

Солженицын сурово судит советскую литературу начинающая с 30-х годов за то, что она «освободила себя ото всего, что было главное в тех десятилетиях», отвернулась от правды (те же, кто не смог этого сделать, замечает он, погибли). Сегодня мы видим: не все отвернулись. Но суровость солженицынского суда смягчается болью за погибшую в лагерях ненаписанную литературу. Именно на нее возлагал писатель надежды, на десятки «упорных одиночек, рассыпанных по Руси», которые пишут правду о времени. «Составляют ее не только тюрьмы, расстрелы, лагеря и ссылки, хотя, совсем их обойдя, тоже главной правды не выразишь». И когда обновится общество, появится щель, «пролом свободы», мечтал Солженицын, тут-то и выступит из «глуби моря, как Тридцать Три богатыря» шлемоблещущая рать — и «так восстановится великая наша литература, которую мы спихнули на морское дно при Великом Переломе, а может еще и раньше».

И хотя сетует Солженицын на то, что обманулся в своей надежде, восстановление «великой литературы» идет на глазах. Однако процесс этот невозможен без глубинного осмысления феномена Солженицына. Его творчество и есть тот мост, который связывает нас с культурной традицией XIX века, пропущенной через опыт Архипелага. В свете этого опыта мы становимся способными воспринять русскую культуру во всем ее объеме, не редуцированную, не выхолощенную, не только золотой век русской поэзии, но и золотой век русской философии; способны срastить ствол русской культуры, трагически рассеченный революцией и последующей эмиграцией.

Признав же единство и неделимость этой культуры, установив преемственность, мы становимся перед необходимостью пересмотреть некоторые дефиниции, ведущие начало со времен гражданской войны. И по сегодня против Солженицына выдвигаются обвинения: «антисоветчик», «противник революции», «противник коммунизма». Но все эти понятия наполняются смыслом лишь в сопоставлении с противоположными, лежащими в той же плоскости. Солженицын же перемещает нас в другую плоскость, где мерой всех вещей выступает не социальное, а духовное.

«Не результат важен... А ДУХ! Не что сделано — а как. Не что достигнуто — а какой ценой», — не устает повторять он, и это ставит писателя в оппозицию не столько к той или иной политической системе, сколько к ложным нравственным основаниям общества.

III

Задача осмысления Солженицына как целостного явления стоит перед нашей критикой. Но, листая страницы нынешней периодики и следуя за этапами литературной борьбы, невольно задаешься вопросами: способны ли мы ответить этому напряженному общественному ожиданию? сможем ли оказаться на высоте духовных и культурных задач, поставленных художником, или же будем продолжать барахтаться в мелких спорах, все более разбредаясь по противостоящим друг другу лагерям, каждый из которых поражает своей эфемерной идейной общностью, обилием подспудных противоречий и опасной тенденцией превратиться из течения общественной мысли в новую идеологию, со своими догматами?

Приведет ли возвращение Солженицына к расширению границ свободы слова, к разговору напрямую, без обиняков, к более высокому уровню споров, к перегруппировке литературных сил — или позиция культуры будет по-прежнему подвергаться атаке из двух враждующих лагерей как позиция беспринципная?

С некоторой дозой неуверенности, предвкушая упреки в «мельчении темы», беремся мы очертить тот ограниченный круг идей, вырвавшихся наружу в наших нынешних литера-

турных полемиках, в сопоставлении с солженицынской возвышающей широтой взгляда. Но и не обойти эту тему — уже и потому, что в нынешнем литературном противостоянии лагерей, обнаруживающих готовность сослаться на своего, усердно адаптируемого, Солженицына, терется именно солженицынский подход, сегодня — наиболее продуктивный.

В начале перестройки казалось, что общество возвращается к идеям 60-х годов. Было сформулировано кредо детей XX съезда: антисталинизм, вера в социализм, в революционные идеалы. Нахлынула пора литературных полемик. И среди первых подлежащих выяснению вопросов стал вопрос о судьбе «Нового мира» Твардовского. Однако в этих полемиках было обойдено имя Солженицына, а без его упоминания картина литературной борьбы оказывается искаженной.

Нет сомнения, что судьба «Нового мира» была тесно связана с судьбой Солженицына. Возможно, бросив вызов властям, отторгнутый режимом, Солженицын увлек в эту реакцию отторжения за собой и «Новый мир», превративший, как тогда казалось многим, писателю в знамя своего направления. Но глядя сегодня на раскрытие идей Солженицына в его творчестве и на судьбу идей, выдвинутых в эпоху оттепели «Новым миром», отчетливо видишь, что союз этот был временным, а расхождение — не случайным.

Вспоминая недавно об обстоятельствах борьбы «Нового мира» за Ленинскую премию для Солженицына, Лакшин пишет: «Получи тогда Солженицын премию, говорил не раз впоследствии Твардовский, и, возможно, вся судьба его сложилась бы иначе...» Сомневаюсь. Судьба Солженицына в эти годы куда больше зависела от факта написания «Архипелага».

В пору, когда «Новый мир» хлопотал о Ленинской премии для Солженицына, «Архипелаг» уже был написан. Твардовский его не читал — может, этим и объясняются его надежды удержать Солженицына от конфронтации с властью. Но нам сегодня, после «Архипелага», после книг Солженицына, в которых так ощутимо сознание своего долга, предзнаменности, неловко думать, что писатель мог бы пренебречь этим долгом, умиротворенный премией. Судьба Солженицына была предreshена его писательской позицией, его отвержение брежневским режимом было неизбежным (хотя формы, конечно, могли быть разными, и высылка на Запад могла быть заменена ссылкой куда-нибудь на Восток).

В книге «Бодался теленок с дубом»¹ Солженицын рассказал историю этого отвержения. Писавшаяся по горячим следам событий, она хранит живое ощущение боя и мгновенных оценок, которые, однако, всегда — если не вполне справедливы — корректируются. Солженицын и «Новый мир» — одна из главных тем книги. Взгляд этот — урок нашим литературным полемикам, где только «за» и «против», а если не «за» и не «против», так это «беспринципное сиденье меж двух стульев».

Упреки «Новому миру» и признание его заслуг, сострадание к затравленному журналу и разочарование его компромиссными решениями, ощущение признательности тем, кто поддерживает его, защищает, и тягостное чувство зависимости от журнала, который стесняет свободу движений, действий, поступков. И главным фоном — глубина не тактических, но идейных расхождений.

Размышления о «Новом мире» неотделимы от размышлений о его редакторе. Портрет Твардовского, созданный Солженицыным, — величественная, трагическая фигура — резко отличается от парадных портретов нашей мемуаристики. Он выполнен с огромной симпатией, но и резким наложением теней. История их отношений — история сближений, не ставших, однако, дружбой, история расхождений, обид: «Мы подобны были двум математическим кривым со своими особыми уравнениями. В каких-то точках они могут сблизиться, сойтись, иметь даже общую касательную, общую производную, но их исконная первообразность неминуемо и скоро разведет их по разным путям».

После издания «Теленка» с резкими возражениями Солженицыну выступил Владимир Лакшин. Сейчас приходится слышать и читать, и чем дальше, очевидно, тем чаще, злые упреки Лакшину по поводу мотивов его полемики с Солженицыным (сделал карьеру сначала на том, что хвалил Солженицына, потом на том, что его ругал, — иронизирует, к примеру, один критик). Не думаю, чтобы ответ Лакшина Солженицыну был написан для советской карьеры. Зная обстановку 1977 года, легко можно понять, что, публикуя неподцензурную статью в лондонском альманахе «Двадцатый век» (издатель Ж. Медведев), хотя бы и марксистском, статью, резко осуждающую политику властей по отношению к «Новому миру», Лакшин имел немало шансов получить выволочку от ревнителей идеологической чистоты.

¹ «Бодался теленок с дубом» в дополненном и переработанном автором виде наш журнал намерен опубликовать наряду с другими произведениями А. И. Солженицына. (Прим. ред.)

С протестом по поводу книги Солженицына выступила также семья Твардовского. Что можно сказать по этому поводу? Было бы бесчеловечно отрицать за близкими право желать такого портрета, который удовлетворяет их пристрастный взор. Тут извечное противоречие между правами любви и правами истины, правами семьи и правами искусства. Сам Солженицын, отвечая на упреки, что он-де «оболгал» Твардовского в «Теленке», заметил, что писал его портрет «с чистым сердцем», не предполагая, что это может быть «воспринято как бы дурно о нем», и подытожил: «Он и был, великан, из тех немногих, кто перенес русское национальное сознание через коммунистическую пустыню. Но его перепутало и смолело жестокое проклятое советское сорокалетие, все силы его ушли туда». Добавлю также: многие беспристрастные судьи находят, что Твардовский не только не умаден этим портретом, но — наоборот. Так, французский славист Жорж Нива пишет: «Этот портрет... занимает центральное место в композиции книги — в нем столько трагической объемности, что Твардовский остается навсегда возвышенным, возвеличенным».

Ответ Лакшина вызвал, в свою очередь, ответ Солженицына, краткий, но емкий, указывающий на уязвимые стороны статьи: недобросовестное цитирование, искажение мыслей оппонента, приписывание ему идей, никогда и нигде не высказанных (собственно, Лакшин и положил начало антисолженицынской кампании на Западе, подсказав ряд аргументов не слишком утруждающим себя поисками истины журналистам). Подробный анализ выступления Лакшина увел бы нас, однако, далеко в сторону и невольно заставил бы повторить контраргументы Солженицына. Трудно было бы удержаться, например, от замечания, что писатель никогда не предлагал американцам отказаться от продажи зерна в СССР, не призывал — «пусть не будет хлеба, пусть голод и война», но Солженицын и сам иронически попросил Лакшина указать в скобочках странички, откуда извлечена цитата. Трудно было бы не обратить внимание на сам тон полемики, обилие бранных эпитетов, заменяющих аргументы: «бесплодное самоупоение», «ненависть и гордыня», «нетерпимость, самообожание переливают через край», «ненасытная гордыня», «фанатическая нетерпимость», «смешное безумие», «злой бес разрушения», «гений зла»; но Солженицын с куда большей тщательностью выписал эти выражения, беспощадно заметив: «Вряд ли эта работа станет украшением томика избранных статей Лакшина».

Поэтому сосредоточимся на сути ответа Солженицына. Признав справедливость упреков Лакшина в поверхностном знании обстановки «Нового мира», признав, что давал простор «нетерпеливым, а иногда и несправедливым оценкам боя», что не имел права требовать от журнала «высшего уровня смелости» в дни разгона, подчеркнув высокий уровень и такт «Нового мира», Солженицын касается идейных расхождений. «Однако в этой статье у Лакшина проступает и истинный его уровень, и искренние убеждения — и они не веселят, — замечает Солженицын. — Странный вопрос задает критик писателю: какова его цель? — вот и с напечатанием «Архипелага». Восстановить память народа в ее ужасных провалах — это, оказывается, не цель литературы, критик требует от меня „позитивной политической программы“».

Но «самое ужасное», как пишет Солженицын, — это как раз высказывания Лакшина, которые можно счесть политической программой.

«Всякая крупная идея может быть искажена в исторической практике... — утверждает Лакшин. — Виною ли тому «дурная природа» людей, генетическая незрелость их как рода, неподготовленность нравственного сознания... или скверная изгаженная почва предшествующих социальных влияний и традиций... А может, все беды и неудачи нашей страны оттого как раз, что социализм понят по-старому, по-монархически...»

Солженицын отвергает подобный ход мыслей. Идея, результат, цель для него не существуют сами по себе. они проверяются средствами. И если для осуществления идеи потребовались дурные средства, значит, сама идея дурна «Вот эти «вершинные» суждения Лакшина, — резюмирует Солженицын, — и показывают рельефно, насколько невозможно было между нами понимание — ни в последние годы «Нового мира», ни, вот, через 8 лет».

Новейшие статьи В. Лакшина, на мой взгляд, показывают, что возможность подобного понимания отнюдь не возросла.

Через весь «Архипелаг» проходит мысль, что как ни преступен Сталин, как ни много мерзостей он совершил, но явление Сталина — закономерность (не случайно во всех странах, куда было экспортировано Передовое учение, явился свой тиран), а желание приписать лишь одной личности все пороки системы и учения — близоруко и наивно.

У Лакшина мысль, что «Сталин — прямое и непосредственное порождение революции и 1937 год... естественное продолжение революции, а не ее деформация, искажение».

узурпация», по-прежнему вызывает возмущение. Это для него — исторический фатализм, и даже — свидетельство недостаточной любви к народу.

Не меньшее возмущение вызывает у Лакшина и другая, по сути, центральная мысль «Архипелага» — ведя счет жертвам с 1918 года, показать, во что обошелся народу невиданный социальный эксперимент. «Или не народ, а кто-то другой совершил революцию и вел за нее три года кровопролитную гражданскую войну?» — спрашивает Лакшин.

Считая гражданскую войну национальной катастрофой, Солженицын решительно пересматривает установившуюся в советское время версию российской истории, согласно которой Россия была деспотией, тюрьмой народов и единственным желанным историческим выходом оказывалась революция. Странник эволюции и реформ, Солженицын настаивает на том, что медленный, упорный эволюционный путь желательнее для страны и что революционное нетерпение, террор в конечном счете привели к режиму куда более страшному, чем монархия. Через весь «ГУЛАГ», через роман «В круге первом» проходит постоянный мотив — сравнение законов царской России и советских законов, условий содержания в царских тюрьмах политических, когда им и передачи, и книги, и письма, и общественное сочувствие, и рукописи работ, в тюрьме написанных, посылаются на свободу, публикуются (!), и условий в тюрьмах советских; числа жертв политических процессов в России (по пальцам перечесть) и массовых репрессий в наше время (счет на миллионы).

Для Лакшина сам факт сравнения пятидесяти шести политических казней, «будто бы совершенных в старой России за 175 лет», и массовых репрессий после 1917 года — «кошущенство», и он напоминает о «забитых палками и плетью, засеченных шпицрутенами... расстрелянных в крестьянских мятежах». Как бы то ни было, неожидан итог. Оказывается, понимание террора как следствия революции, понимание сталинизма как ее порождения, сравнение репрессивных механизмов двух систем есть... оправдание сталинщины.

Пора уточнить: спорит Лакшин здесь (то есть в статье «В кильватере». — «Огонек», 1988, № 26) формально не с Солженицыным, а с Кожинным, но нападает на круг идей, выдвинутых Солженицыным. (Кожинным, правда, переакцентированных в своих целях.)

Во всяком случае нужно полностью не принять мысль «Архипелага», чтобы видеть в Сталине главного виновника всех бед, а критику идейных основ революции квалифицировать как защиту Сталина. И, однако ж, этот ход мысли типичен для целого ряда критиков и публицистов. Попытка поставить под сомнение исключительную прозорливость Ленина ими пресекается. Сомнения в результатах революции объявляются реакционными, скепсис по отношению к идеям III Интернационала именуется шовинистическим, критика Передового учения отвергается без аргументов: ведь известно, что оно верно, потому что всесильно (или всесильно, потому что верно? Не помню). Как назвать их? «Детьми XX съезда»? Но многие дети, получив идейный заряд антисталинизма в 60-х, не остановились в своем развитии. Детям полагается расти — они и выросли.

В статье, о которой идет речь, Лакшин отрицает суждение о либеральности «Нового мира». с презрением говоря об «интеллигентском либерализме»: «Не либеральное, а демократическое направление было характерно для «Нового мира» и его редактора — народного поэта Твардовского. Так же как за социалистическую демократию, а не за «интеллигентский» либерализм борются те, кого противники перестройки в полемическом азарте называют либералами».

Что ж, нас учили, что социалистическая демократия — высшая форма демократии. Преимущества социалистической демократии перед буржуазной доказывали всевозможные учебники, а из доклада Сталина мы могли узнать, например, что после чисток середины 30-х годов «социалистическая демократия» необыкновенно упрочилась. Но в последние годы даже иные обществоведы, составлявшие подобные учебники, оглядевшись, стали высказываться в том духе, что подобные преимущества лишь чисто теоретические, на практике же произошло не движение вперед, а движение назад.

Не будем же отождествлять с идеями борцов за «высшую форму демократии» весь спектр нынешних реформистских настроений.

И та часть интеллигенции, которая не желает больше оправдывать средства высокой целью, имеющей к тому же свойство миража, мыслить в терминах гражданской войны и вести свою родословную с 1917 года, та часть интеллигенции, которая хочет для человека личной и экономической свободы, неминуемо обнаружит, что круг солженицынских идей для нее более продуктивен, чем идеи неутомимых сторонников продолжения социального эксперимента.

IV

Кому-то может показаться, что солженицынские мысли развивают сегодня наши новые российские националисты. Правильнее было бы сказать, что ряд мыслей подхвачен, но искажен. И первое, что имеет решающее значение в напряженной обстановке сегодняшнего дня,— проблема, которую можно обозначить так: поиски виновного — или сознание вины?

Для Солженицына источник катастрофы — ложная идея, и вырваться из пут ее — всеобщая задача, достижимая прежде всего на путях раскаяния.

Помимо этой нравственной посылки существует целый веер расхождений по важнейшим пунктам: историческая концепция, отношение к Западу, к реформам, к имперским амбициям страны. Но чтобы обозначить их, необходимо обратиться к еще одной полемике конца 60-х годов, которой было уделено, казалось бы, непропорционально много места в дискуссиях последних лет.

Я имею в виду статью А. Дементьева («Новый мир», 1969, № 4), полемизировавшего с молодогвардейскими статьями В. Чалмаева, и связанную с этой полемикой историю разгона «Нового мира».

В нынешних спорах вокруг этих статей то и дело предлагается поляризоваться: либо ты с патриотом Чалмаевым, либо с интернационалистом и антисталинистом Дементьевым.

Не мешало бы сегодня вспомнить о позиции Солженицына, не уместяющейся ни в одну из принятых у нас схем.

Можно ли назвать Солженицына сторонником статей В. Чалмаева? Нет, конечно. Писатель оценивает их жестко и довольно иронично: «беспорядочно нахватавшиеся по материалу», «малограмотные по уровню», «со смехотворными претензиями»... И все же несколько пунктов в этих статьях вызывает симпатию Солженицына, и он соглашается, к примеру, с нравственным предпочтением «пустынножителей», «духовных ратоборцев» революционным демократам или с тем, что «народ хочет быть не только сытым, но и вечным».

Словом, «мычанье тоски по смутно вспомненной национальной идее», «духовным ценностям», прорвавшееся после многих лет вытаптывания этих ценностей, привлекает Солженицына, не закрывающего, впрочем, глаза на то, что идея эта «казенно вывернута», «разряжена в компатриотический лоскутный наряд», что автор то и дело «повторял коммунистическую присягу, лбом стучал перед идеологией, кровавую революцию прославлял как «красивое праздничное деяние» — и тем самым вступал в уничтожающее противоречие».

Однако статьи эти, по мнению Солженицына, чужеродны духу Передового учения, что и ухватила официальная пресса, «лупанув» по ним.

Решение «Нового мира» влиться в общее «ату» Солженицын называет «несчастливым», хотя эмоциональный толчок к нему оправдывает: тут и соображения новомирцев, что «„эта банда“ кликушески поносит Запад... как псевдоним всякого свободного веяния в нашей стране», и стремление «расплатиться за свою вечную загнанность: изо всех собак, постоянно кусающих «Н. мир», одна провинилась, отбилась — и свои же кусают ее». Однако, напоминает он русскую пословицу, «волка на собак в помощь не зови».

Статья же Дементьева вся вопреки этой пословице. Начиная с давней истории, иронизирует Солженицын, не может критик без тряски слышать о каких-то пустынножителях или «допустить похвалу 10-м годам, раз они сурово осуждены т. Лениным и т. Горьким; уже по разгону, по привычке... дважды охаять «Вехи»: «энциклопедия ренегатства», «позорный сборник»... И что такое патриотизм, мы от Дементьева доподлинно узнаём: он — не в любви к старине да монастырям, его возбуждать должны «производительность труда» и «бригадный метод»... Разбирая тезис за тезисом Дементьева, выписывая унылые штампы: «свершилась великая революция!», «моральный потенциал русского народа воплотился в большевиках», обнажая унылый догматизм статьи, ее затасканный пафос, Солженицын неумолимо подводит читателя к тому, что (так получается!) составляет главную заботу автора: «Угроза? Есть конечно, но вот какая: «проникновение идеалистических» (тут же и с другого локтя, чтоб запутать) «и вульгарно-материалистических»... «ревизионистских» и (для баланса) «догматических... извращений марксизма-ленинизма!». Вот что нам угрожает! — не национальный дух в опасности, не природа наша, не душа, не нравственность, а марксизм-ленинизм в опасности, вот как считает наш передовый журнал! И это газетное поило, — резюмирует Солженицын, — это холодное бессердечное убожество неужели предлагает нам не «Правда», а наш любимый «Новый мир», единственный светоч — и притом как свою программу?»

В недавних полемиках по поводу разгона «Нового мира» стороны поляризовались и вокруг письма одиннадцати литераторов, напечатанного в «Огоньке». А что же Солженицын? По логике тех, кто считает порицание статьи Дементьева одобрением письма одиннадцати, Солженицын должен высказать поддержку этому письму. Не могу удержаться, чтобы не привести из уже многократно цитированного мною «Теленка» слова «одобрения»: «...а тут подхватились самые поворотливые трупоеды — «Огонек» — и дали по «Н. миру» двухмиллионный залп — «письмо одиннадцати» писателей, которых и не знает никто... последние следы спора утопляя в политическом визге, в самых пошлых доносных обвинениях: провокационная тактика наведения мостов! чехословацкая диверсия! космополитическая интеграция! капитулянтство! не случайно Синявский — автор «Н. мира»!.. Да ведь как аукнется,— безжалостно итожит Солженицын. — Ведь и Дементьев пишет: в опасности — марксизм-ленинизм, не что-нибудь другое. Волка на собак в помощь не зови»².

В дискуссиях последних лет вокруг этих проблем точка зрения Солженицына, как нетрудно убедиться, не была заявлена, меж тем как она представляется наиболее продуктивной и равно противостоящей как догматизму борцов за «высшую форму демократии», так и идеологии «компатриотства», которой вдохновлено письмо одиннадцати. Солженицын не только не близок ей (в чем порой нас сегодня пытаются уверить, сваливая в одну кучу противоположные идеи), но дает «компатриотству» самую уничтожающую характеристику, предвизая рост его влияния и грядущую опасность.

Еще в 1974 году, вскоре после изгнания Солженицына из СССР, вышел сборник «Из-под глыб», подготовленный в Москве, в котором кроме Солженицына участвовали М. С. Агурский, Е. В. Барабанов, В. М. Борисов, Ф. Корсаков и И. Р. Шафаревич, ознаменовавший раскол движения, дотоле казавшегося общим «диссидентским», на две ветви.

И та и другая, безусловно, отрицали сталинизм, тоталитаризм, подавление личной свободы, и та и другая находились в резкой оппозиции к брежневскому режиму. Но если одна — представленная крупнее всего Сахаровым — наследовала русской революционно-демократической традиции, не была чужда идеям марксизма и «социализма с человеческим лицом», то авторы сборника «Из-под глыб», обратившие свои взоры в сторону духовного, национального и культурного возрождения России, опирались на наследие Толстого и Достоевского, на идеи, выраженные представителями русской религиозно-философской мысли, и в значительной степени продолжали традицию знаменитого сборника «Вехи», авторы которого подвергли резкой критике духовные основы русской интеллигенции, ее узкую революционистскую ориентацию, ее слепоту.

«Вехи» вызвали резкие нападки со стороны революционной демократии. Однако в исторической перспективе видно, что предостережения авторов «Вех» оказались пророческими: не был продуктивен путь, с энтузиазмом избранный русской революционно-демократической интеллигенцией.

В статье «Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни», одной из главных статей сборника «Из-под глыб», Солженицын требовал перенести на общество и нацию категории индивидуальной этики. Не партийное и национальное ожесточение, «но только раскаяние, поиск существенных ошибок и грехов. Перестать винить всех других — соседей и дальних, конкурентов географических, экономических, идеологических, всегда оправдывая лишь себя»

Это этическое требование явно неприемлемо для идеологии, которую Солженицын охарактеризовал с убийственной иронией, однако, как сам он подчеркнул, «обнаженно, но не искаженно»: «...русский народ по своим качествам благороднейший в мире; его история ни древняя, ни новейшая не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чем-либо ни царизм, ни большевизм; не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после; мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться; с окраинными республиками нет национальных проблем и сегодня; ленинско-сталинское решение идеально; коммунизм даже не мыслим без патриотизма; перспективы России — СССР сияющие, принадлежность к русским или не русским определяется исключительно кровью... писать Бог с большой буквы совершенно необязательно, но Правительство надо писать с большой. Всё это вместе в них называется русская идея. (Точно назвать такое направление: национал-большевизм.)»

² *Примечание* Здесь редакция нынешнего «Нового мира» считает необходимым еще и еще раз отдать должное поистине героическим усилиям редколлегий «Нового мира» Твардовского, когда впервые был опубликован никому прежде не известный автор «Одного дня Ивана Денисовича» Это был акт исторического значения, он остается таковым до сих пор, останется им на все времена.

В этом уничтожающем портрете идеи, выполненном в момент ее становления, паразитично угадано дальнейшее ее развитие, хотя в ту пору вряд ли можно было предположить, что иные писатели, с большой силой оплакавшие гибель русской деревни, слом национального хребта, уничтожение крестьянства, составят единый фронт с теми, кто исповедует идеологию, приведшую к национальной трагедии, научатся писать с большой буквы если не слово «правительство», так уж во всяком случае слово «держава» и во имя державности возвысят голос и против реформ, и против прав других народов, называя это «патриотизмом».

«А мы понимаем патриотизм, — пишет Солженицын, — как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей не угодливым, не поддержкою несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них». А если «ошибиться в раскаянии, то верней — в сторону большую, в пользу других. Принять заранее так: что нет таких соседей, перед которыми мы невиновны».

Движение, ставящее цели русского духовного и культурного возрождения, не воспримет национально-демократические движения враждебной себе силой, руководствуясь нравственной максимой Солженицына: «По отношению ко всем окраинным и заокраинным народам, насильственно втянутым в нашу орбиту, только тогда чисто окажется наше раскаяние, если мы дадим им подлинную волю самим решать свою судьбу».

Пора резко отграничить русское культурно-национальное и христианско-демократическое движение, направленное на собирание нации как духовного организма, которое возможно только на пути отказа от давления на другие нации, на пути раскаяния, от советского шовинизма, который прекрасно уживается с лозунгами Интернационала (не интернационалистами ли именовали афганских солдат?).

Солженицын выступает за пробуждение национального самосознания, а отнюдь не за имперские притязания.

Многие недоуменно замечают, что в то время как национальные движения в республиках, как правило, поддерживают реформы, направленные на демонтаж тоталитарной структуры, те, кто претендует быть выразителями русского национального самосознания, выступают преимущественно в роли охранителей отжившей системы.

Это часто порождает негативную реакцию по отношению ко всяким разговорам о русском культурном возрождении. К сожалению, не все сегодня понимают, что подлинная альтернатива «Памяти» и близким ей по духу образованиям — вовсе не национальный нигилизм, но идеи духовного и культурного возрождения, сочетающиеся с защитой либерально-демократических общественных преобразований.

Взять хоть такой вопрос, как уравнивание всех форм собственности. Казалось бы, приветствовать нынешним радателям народа прекращение затянувшегося социального эксперимента, поддерживать предложения экономистов отдать крестьянам землю. Но тут особого рода логика, согласно которой предлагаемые экономические реформы — «прямое и непосредственное продолжение того, что делалось в сельском хозяйстве, начиная хотя бы с 1929 года» (В. Кожин).

Что-то непонятно: почему же насильственная кровавая коллективизация, квалифицированная Сталиным как революция (да и была ею!), приравнена к реформам, никого не насилующим, ничего не предписывающим, ничего не запрещающим, а только разрешающим?

Что же касается Солженицына, то через всю его прозу и публицистику проходит мысль, что без права собственности нет свободного человека («...исходные понятия — частной собственности, частной экономической инициативы — природны человеку и нужны для личной свободы его»). Отсюда — такое пристальное внимание к реформам Столыпина. Персонаж «Красного колеса» Арсений Благодарев рассуждает о крестьянской общине: «...спасибо, Столыпин вызволил... Так враз—его убили. Нашу жизнь он поднял, а помещиков лишил дешевой силы — вот и убили». В глазах крестьянина Столыпин — освободитель от тяжелой зависимости общины. В глазах Солженицына Столыпин — умный реформатор, целенаправленно действовавший, чтобы создать экономически независимый средний класс, опору стабильности, предоставить простор для деятельности всем энергичным и предприимчивым людям, создать сильное местное самоуправление, залог экономического процветания страны. Современным сторонникам централизованной экономики и коллективного труда, с подозрением относящимся к попыткам личности выделиться из коллектива, очень трудно опереться на Солженицына. Однако можно и такое встретить на страницах, например, «Литературной России»: «Буйновский ощущает себя как личность и ведет себя как личность. Он не чувствует в себе ответственности перед народом, ответственности — выжить. Иван Денисович и Матрена—личности соборные... Они... несут на себе ответственность не личност-

ную, как Буйновский, который при личном унижении восстает и погибнуть готов, а ответственность соборную, всенародную. Они ответственны перед Богом за сохранение русского народа. Во имя этой ответственности они готовы идти и претерпевать неизмеримо многое, в том числе и личные унижения, не унижаясь душой при этом».

Странную манипуляцию понятиями, но, к сожалению, достаточно типичную производят здесь критик.

Вдуваемся хотя бы — почему дал Солженицын своей повести название «Щ-854» и почему это название показалось совершенно неприемлемым с точки зрения цензурных условий? «Не допуская возражений, сказал Твардовский, что с названием «Щ-854» повесть никогда не сможет быть напечатана», — вспоминает Солженицын.

Название действительно диковатое для русской литературы. Нельзя помыслить, чтобы такое могло быть у Пушкина, Тургенева, Толстого: там все имена собственные — «Евгений Онегин», «Рудин», «Анна Каренина», а уж от героев, от личностей идет восхождение к типу. Но русская литература не сталкивалась не только с лагерями — она не сталкивалась прежде всего с такой патетической волей к уничтожению личности, какая явлена была в идеологии строителей нового общества.

«Хочу позабыть свое имя и званье, на номер, на литер, на кличку сменять», — с пафосом восклицал поэт (В. Луговской). Это желание и было уважено.

По-видимому, ГУЛАГ — это и есть та идеальная модель общества, где имя меняют сразу на литер и номер. Вряд ли случаен и литер Ивана Денисовича, одна из последних и наименее благозвучных букв в русском алфавите. (С нее же, кстати, начинался лагерьный номер самого Солженицына — Щ-282.) В «ГУЛАГе», в главе о кенгирском восстании, рассказано, что одно из первых требований восставших узников — снять номера.

Уже одним названием своей повести Солженицын заставлял мысль читателя двигаться в направлении, обратном коллективистскому пафосу обезличивания. «У нас и народники в социализм идти хотели — через общину, и марксисты через коллектив», — иронизирует Солженицын над расхожим газетным лозунгом, прославляющим коллективный труд. «Так в лагере ничего, кроме труда, и нет, и только в коллективе! Значит, ИТЛ — и есть высшая цель человечества?»

Не знаю, может, в недрах той мичуринской идеологии, что занимается выведением противоестественного гибрида русской религиозной философии и компатриотского державного сознания, и родилось такое понимание соборности, ничем не отличающееся от коллективизма, но с христианской традицией, которой следует Солженицын, оно не имеет ничего общего. Соборность не отменяет личности, это — единение личностей в Боге, не отменяет личной ответственности в отличие от коллективизма, заменяющего ее целью и волей коллектива. Герои Солженицына, любимые им — безусловно личности (менее же всего личностей как раз Буйновский, которому штампы идеологии подпортили непосредственное нравственное чувство). И цель Ивана Денисовича. Матрены — не выжить любой ценой «для пользы дела» (подобную цель в «Архипелаге» писатель с презрением отвергает), но сохранить свою душу, не оскверняя ее насилием, предательством и прочими мерзостями.

Национальное чувство в «пеленах кумача» (как в подобных случаях иронизирует Солженицын), заклинания о нераскрытых потенциях социализма и вечные хлопоты о державе — все это чрезвычайно далеко от круга идей Солженицына.

Ну как, например, с точки зрения подобной идеологии отнестись к решению Иннокентия Володина предупредить американцев о том, что советский агент должен получить в определенный день важную часть технологии производства атомной бомбы? Только как к предательству.

Для Солженицына же поступок Иннокентия продиктован страстной любовью к родине, ненавистью к сталинскому режиму и пониманием того, что этот режим представляет смертельную угрозу всему миру, человеческой цивилизации. Нельзя давать бомбу в руки сумасшедшему режиму, рассуждает Иннокентий, вслед за Герценом задающий себе вопросы, где границы патриотизма, должны ли мы распространять его на всякое правительство.

Но, казалось бы, что за беда — хотят иные компатриоты вывести свою родословную от Солженицына — пусть, само творчество писателя отвергнет нелепые притязания.

Беда была бы невелика, но наша общественная ситуация впускает тревогу.

В «Круге первом» Иннокентий Володин, добравшийся после многих лет, когда его кормили манной кашей идеологии, до разногласия мнений и суждений, хлынувших на него со страниц материнской библиотеки, невольно подчиняется каждому мнению «Трудней всего было научиться, отложивши книгу, размыслить самому», — усмехается автор. В

статье «На возврате дыхания и сознания» («Из-под глыб») Солженицын предрекает, что переход от молчания к свободной речи, ожидающий нашу страну, окажется труден, и долог, и мучителен «тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками»...

Это и происходит сейчас — непонимание, накладывающееся на неумение «размыслить самому», которое наглядно проступает в наших полемиках и читательской реакции на них, показывает, что вслед за опасностью принудительного единомыслия возникает опасность манипулирования общественным мнением.

«Обо мне лгут, как о мертвом», — произнес Солженицын, оценивая многоголосицу средств массовой информации Запада, вздорные выдумки критиков и журналистов, приписывающих ему взгляды нигде не высказанные, фразы никогда не произнесенные. Но люди, выросшие в условиях многопартийной системы и свободной печати, привыкают и к тому, что печатать эта частенько жлет. У нас — пока не привыкли.

Ушли в прошлое обвинения Солженицына в измене родине, ушли статьи, клеймящие «антипатриота», «сиониста», «власовца», но, кажется, наступает время других статей, в которых нынешнего Солженицына объявят националистом и антисемитом. Б. Сарнов уже сделал это в интервью, переданном радиостанцией «Свобода», приводя в доказательство сцену убийства Столыпина эсером Богровым из «Августа четырнадцатого». «У Солженицына, — утверждает Сарнов, — Богров убивает Столыпина не как агент охраны, не как психопат, а как еврей, обуреваемый еврейскими чувствами». И это, по мнению Сарнова, роднит Солженицына с теми в нашей стране, кто «ищет образ врага и находит его в евреях».

Любопытно, что при этом Сарнов не упускает случая сказать, что «Август» настолько скучная книга, что он не мог ее прочесть, только эту сцену и прочел. Почему бы, однако, критику не прочесть иную сцену, ну, скажем, ту, где один из безусловно симпатичных писателю героев, инженер Илья Исакович Архангородский, спорит со своими революционно настроенными детьми? Они целиком за революцию, им опостылела монархия, они жаждут справедливости, они готовы взорвать этот мир ко всем чертям, а Архангородский увещевает: надо не разрушать, а строить. «Я вот поставил на юге России двести мельниц, а если сильнее грянет буря — сколько из них останутся молоть?.. И что жевать будем?»

Дети Архангородского ненавидят «Союз русского народа», но инженер, разделяя эти чувства, советует им видеть в России не только «Союз русского народа», но и — подсказывает его друг Ободовский — «Союз русских инженеров», например. Однако для молодых революционных энтузиастов важна только черная сотня — и Архангородский срывается: «С этой стороны — черная сотня! С этой стороны — красная сотня! А посредине... — килем корабля ладони сложил, — десяток работников хотят пробиться — нельзя! — Раздвинул и схлопнул ладони. — Раздавят! Расплющат!»

В свое время за определенное сочувствие Израилю, за далекие от стандартов нашей прессы мысли о природе сионизма, возникшего как движение за национальное самосохранение, Солженицына клеймили в официальной печати именем сиониста. Нетрудно и сегодня представить, как какой-нибудь сторонник «десионизации» России, прочтя «Август», воскликнет: а почему это «Союз русских инженеров» представляет еврей Архангородский?

Ну, а если говорить всерьез, то сцены убийства Столыпина, давно уже замусоленной эмигрантской критикой, недостаточно для столь ответственных, точнее — столь безответственных суждений. Кстати, если уж Сарнов опирается на мнение далеко не корректных авторов, то я позволю себе опереться на мнение добросовестной исследовательницы Солженицына Доры Штурман, полагающей, что Богров изображен как типичный революционный террорист того времени, мотивы действия которого направляет «идеологическое поле» А уж в этом поле пересекаются разные составляющие, взаимодействуют все побуждения — социальные, национальные, религиозные, личные.

Можно заметить еще, что вздорность популярных этих обвинений опровергается и всем творчеством Солженицына, и его лаконичными и брезгливыми ответами на вопросы разных корреспондентов: «Настоящий писатель не может быть антисемитом».

Но невольно хочется повторить вопрос самого Солженицына: «Сколько лет в бессильном кипении советская образованщина шептала друг другу на ухо свои язвительности против режима Кто бы тогда предсказал, что писателя, который первый и прямо под пастью все это громко вывездит режиму в лоб, — эта образованщина возненавидит лютее, чем сам режим?»

В самом деле, почему это так? Начнем с того, что суровый моральный критерий, предъявляемый Солженицыным к самому факту эмиграции, нравственное предпоч-

тение оставшимся, которым, в свою очередь, в качестве этического императива рекомендовано «жить не по лжи» (что неминуемо привело бы к конфронтации с режимом), создали психологические предпосылки для расхождения Солженицына с той частью эмиграции, которая, покидая страну, склонна была (что психологически тоже вполне понятно) к самым пессимистическим выводам в отношении ее прошлого и будущего.

Страна рабов, страна господ, — и никакие перемены в ней невозможны — с таким настроением легче покидать страну, с которой связан рождением, культурой, языком, но это настроение не способствует ни объективному взгляду на историю России, ни конструктивной деятельности, направленной на изменение ситуации внутри.

Дора Штурман в своем обширном исследовании публицистики Солженицына («Городу и миру». Париж — Нью-Йорк. 1988) предлагает, в частности, такую версию причин грубого извращения взглядов Солженицына: после письма к IV съезду писателей в 1967 году многие ждали, что он будет «выразителем мнений, преобладающих в кругах существенно космополитизированной подсоветской интеллигенции с ее неизжитыми демосоциалистическими сантиментами. А он в «Образованщине» предъявил счет интеллигенции, дал ей презрительную кличку, повернувшись к «Вехам», проявил почвеннические симпатии, ретроспективные интересы...». Существенна и другая причина: «Вокруг просвещенного либерального почвенничества лежит в СССР агрессивная и весьма обширная область ксенофобийного национализма, достаточно страшно о себе заявившего и заявляющего в XX веке во многих странах. На Солженицына стали распространять идеологию и психологию этой области — тем более что ее идеологи порой спекулируют его именем, а их направление мысли и деятельности отнюдь не лишено будущего в раздираемой непримиримыми или трудно примиримыми противоречиями стране».

Ситуация, сложившаяся в эмиграции, грозит повториться в нашей стране — если «ксенофобийный национализм» будет претендовать на Солженицына, а интеллигенция, не изжившая «демосоциалистических сантиментов», отвергать писателя, составляющего гордость русской литературы, не давая себе труда проникнуть в широкий смысл творчества и заикливаясь на вырванных из контекста фразах или лишенных ауры общих мыслей (среди которых могут быть и не самые удачные).

Однако все же предстоящая широкая публикация Солженицына создает новую ситуацию, которую нелегко будет переломить.

«Да ведь вот мой десяток томов... критикуйте, разносите! раздолье!» — негодовал Солженицын на подлую манеру спора, когда вместо осмысления книги вырывают цитату, искажают фразу, отсекают контекст, а то и вовсе приписывают чужое.

Мы прочтем эти десять или сколько там у нас получится томов. В отличие от Запада, соскучившегося читать про историю России, мы не соскучимся: речь о нашей судьбе, не только о прошлой, но и о будущей. Круг подлинных идей Солженицына, явленных в его книгах, неминуемо будет получать все большее распространение. Иные опасаются сегодня, что эти идеи могут укрепить экстремистские тенденции. Напрасно. Именно голос Солженицына, трезвый, примиряющий голос, предлагающий задуматься над мирными выходами для страны, над бесплодием всякой национальной ненависти, над продуктивностью пути медленных и терпеливых реформ, может сыграть благотворную роль в нашем раздираемом социальными и национальными противоречиями обществе.

Но будем помнить все же, что Солженицын не политический лидер, а художник и мыслитель и круг его идей — вовсе не новый катехизис, цитаты из которого должно прилагать к оценке политической ситуации. Противник всякого рода идеологий, он менее всего годится на роль основателя новой идеологии, закрепощающей волю и мысль человека. Пребывание в русле идей Солженицына никого не поработает духовно.

Но нам сегодня во всех общественных начинаниях не худо бы попытаться, как предлагает Солженицын, применить к общественной жизни категории индивидуальной этики. «Такой перенос вполне естественен для религиозного взгляда... — пишет Солженицын. — Но и без религиозной опоры такой перенос легко и естественно ожидается. Это очень человечно — применить даже к самым крупным общественным событиям или людским организациям, вплоть до государств и ООН, наши душевные оценки: благородно, подло, смело, трусливо, лицемерно, лживо, жестоко, великодушно, справедливо, несправедливо... И если нечему доброму будет распространиться по обществу, то оно и самоуничтожится или оскотеет от торжества злых инстинктов, куда б там ни показывала стрелка великих экономических законов».

ЖН ИЖН ОЕ О Ъ О З Р Е Н И Е

СО Д Е Р Ж А Н И Е

*

ПОЛИТИКА И НАУКА

Алексей Руткевич. Мятёжный век одной теории.

Политика и наука

МЯТЕЖНЫЙ ВЕК ОДНОЙ ТЕОРИИ

Зигмунд Фрейд. Введение в психоанализ. Лекции. М. «Наука». 1989. 455 стр.

В 1989 году ученый мир отметил пятидесятилетие со дня смерти З. Фрейда — психоанализ существует около века. Если бы значение созданного Фрейдом учения ограничивалось медициной, то его история была бы совершенно иной — в том числе и у нас в стране. Книга, выпущенная издательством «Наука», предназначена не только для психологов, медиков, историков. Лекции Фрейда, как отмечал он сам, адресованы «той большой группе образованных людей, которые могли бы проявить благосклонный, хотя и сдержанный интерес к своеобразию и достижениям молодой науки». Героический период молодости, «бури и натиска» психоанализа давно позади. Но у нас интерес к нему, пожалуй, растет — ведь на протяжении более полувека психоанализ в нашей стране не существовал. Фрейд почти совсем не издавали, а редкие работы о нем имели, как правило, «разоблачительный» характер. Еще два года назад в одном из ленинградских вузов преподавателя, осмелившегося излагать студентам-медикам идеи Фрейда, чуть было не выгнали с работы. До сих пор продолжают выходить книги и статьи, в которых Фрейд успешно побивают цитатами из классиков марксизма, учат уму-разуму, ссылаясь не только на труды наших академиков от идеологии, но и на «успехи советской психиатрии».

Ситуация меняется быстро. И вот уже стали появляться печатные высказывания об отлученности от «чистых родников фрейдизма»: психология, социология, философия не развивались у нас, оказывается, именно по причине недоступности психоанализа — или сталинизм, или фрейдизм, третьего не дано. Словно в мире нет философов вроде Поппера или Ясперса или таких психологов, как Айзенк, которые (при том что их не заподозришь в симпатиях к сталинизму) считали психоанализ мифологией или даже шарлатанством. Запретный плод сладок. а Фрейд так долго был под запретом, что воспринимается многими как некая «клубничка». Не зря публикация его работ началась у нас с издания кооперати-

вом «Трех очерков по теории сексуальности», ранней и давно устаревшей работы по сексологии. По телевидению можно услышать объявление о кооперативах, где печат «психоаналитики», хотя у нас практикующих психоаналитиков нет и быть не может — научить некому. наших психиатров учили по Снежневскому, молятся они Павлову (иногда Ясперсу), но уж никак не Фрейду...

В этой обстановке весьма кстати появившиеся книги, позволяющей читателю самому разобраться, что такое психоанализ и почему вокруг него такие страсти. Книжки, замечу, так долго ждавшей своего появления на свет, что давно умерли видные советские ученые, пробивавшие ее публикацию.

Большая часть лекций была записана Фрейдом по прочтении двух курсов (в 1915/16 и 1916/17 учебных годах) в Венском университете для студентов-медиков и всех желающих познакомиться с новым учением, успевшим вызвать уже множество споров, слухов и легенд. Лекции 1932 года в аудитории не читались: к тому времени Фрейд был стар и тяжело болен; они были сразу написаны и опубликованы как продолжение раннего курса. За пятнадцать лет, которые разделяют первую и вторую части лекций, в психоаналитической теории произошли значительные изменения. Поэтому ученый возвращается к поднятым ранее вопросам, дает новую трактовку некоторым важнейшим разделам психоанализа. Фрейд был талантливым педагогом, курс лекций построен таким образом, что не имеющие представления о психоанализе слушатели и читатели продвигаются от сравнительно простых, повседневных наблюдений к сложным проблемам психологии и психиатрии, а затем и к общей картине психической жизни человека, к «метапсихологии» и мировоззренческим вопросам. В лекциях дано краткое и ясное изложение тех идей, которые развивались в важнейших монографиях Фрейда. Так, первые лекции посвящены «ошибочным действиям», которые рассматриваются в «Психопатологии обыденной жизни»; в цикле лекций о сновидениях

воспроизводятся главные идеи «Толкования сновидений» и т. д. Вместе с тем можно считать эти лекции самостоятельным произведением, в котором синтетически представлены почти все основные положения психологии и «метапсихологии» Фрейда.

Сравнивая лекции 1915—1917 и 1932 годов, легко заметить, насколько изменились некоторые фундаментальные положения. В частности, изменилась сама модель психики: топику «бессознательное — предсознательное — сознание» сменила структура «Оно, Я, Сверх-Я», на первый план вышли социально-философские проблемы. Психологический анализ развивался от терапии неврозов и методов исследования бессознательных процессов по направлению к «метапсихологии», то есть совокупности теоретических постулатов о человеческой психике, являющихся фундаментом психотерапевтической практики. «Метапсихология» явилась основанием и для применения психоанализа в различных областях знания: в этнографии, истории, социальной психологии, религиоведении и т. д. Конечно, уже в ранних работах Фрейда имеются выходы за пределы конкретных проблем психотерапии, а поздние произведения по-прежнему опираются на опыт общения с пациентами. Этот опыт имеет ряд особенностей. Нужно очень внимательно читать лекцию о «перенесении», центральном для психоаналитической терапии феномене, — кажущиеся иногда просто дикими утверждения психоаналитиков опираются на реальный опыт переживаний их пациентов.

Уже знакомство с психоаналитической трактовкой ошибок, сновидений, невротических симптомов подводит нас к вопросам философского порядка. Фрейд не раз высказывал сожаление, что термин «археология» закрепился за поисками остатков материальной культуры прошлого. «Архэ» — первоначало, а психоанализ как раз занят «раскопками души», в ходе которых, снимая слой за слоем, нужно прийти к самым основаниям. Такими основаниями у Фрейда стали влечения, залегавшие в бессознательном, в глубинах психики. Отсюда название «глубинная психология», закрепившееся за психоанализом.

Фрейд совершенно по-новому поставил вопрос об отношениях между влечением и смыслом, языком и желанием, которое стремится найти выражение в языке. Сновидения, оговорки, невротические симптомы до Фрейда либо считались бессмысленными, либо (сновидения) толковались как предзнаменования. По Фрейду, сновидения суть исполнения желаний. И сновидения и симптомы являются носителями скрытого смысла: существует тайный язык глубинных психических процессов, который доступен дешифровке, переводу на язык нашего сознания. На этом строится вся психотерапия Фрейда: «Там, где было Оно, должно стать Я» — то есть вместе с выходом бессознательных влечений на свет сознания они теряют ту психическую энергию, которая в результате вытеснения запретных образов могла обнаруживать себя только в форме спутанных сновидений и невротических симптомов.

Культурология Фрейда уже содержится в его толковании сновидений, ибо сновидения

есть приватная мифология сновидца, а миф является сновидением народов. Фрейд обнаруживает, что наше сознание не «прозрачно», что «ясные и отчетливые» идеи философов-рационалистов и сам картезианский субъект — его cogito — представляют самообман нарциссически самовлюбленного сознания. Этот иллюзорный мир возникает как итог длительного развития индивидуальной психики. Чтобы понять иллюзорность нашего Я, а также и смысл невротических симптомов, нам нужно вернуться к раннему детству. Точно так же в социологии и философии культуры регрессия к ранним этапам человеческой истории помогает установить смысл сегодня происходящих событий.

Психический аппарат изначально соответствует принципу удовольствия, а не принципу реальности, — именно так мы живем в раннем детстве. Невроз у взрослого человека объясняется конфликтом между вытесненными в бессознательное влечениями и теми запретами, которые налагаются культурой и необходимостью адаптироваться к реальности. Часто говорят о психоаналитической теории личности, но термин «личность» не зря практически не употребляется Фрейдом. Есть личины, маски, надеваемые человеком под действием бессознательных импульсов в театре индивидуальной жизни. Духовной личности христианства фрейдизм не знает и не хочет знать, равно как и ее порождений, вроде трансцендентального Я философов. Не зря Фрейд, вместе с Марксом и Ницше, стал самым почитаемым авторитетом для современных философов «эры подозрения», разыскивающих и разоблачающих за масками моральных ценностей и социальных институтов волю к власти, экономический интерес или бессознательное влечение.

Сам Фрейд был далек от нигилистических выводов многих своих последователей. Об этом свидетельствуют и лекции и главная философская работа «Недовольство культурой». Пессимистическое видение Фрейдом человека, не являющегося хозяином в собственном доме — душе, и цивилизации, которая всегда будет покоиться на репрессии и никогда не станет раем земным, достаточно далеки от левых прочтений его трудов всякого рода фрейдомарксистами. Не совсем верно представлять ученого гедонистом-киренаиком, как это делают авторы очерка о Фрейде, помещенного в книге. Человек для Фрейда — это страдающая плоть, удовлетворение могут найти лишь немногие влечения, тогда как страдания неумолимы и с ними остается только смириться. В числе греческих богов, обнаруживаемых на страницах трудов ученого, кроме Эроса и Танатоса мы чаще всего встречаемся с Ананке — судьбой, необходимостью. Психоанализ учит примирению с судьбой, в том числе и с собственной смертью, отрицает «детские» утешения и иллюзии, к каковым относит в первую очередь религию. Значительно выше религии Фрейд ставит искусство, которое также творит мир иллюзий, но представляет собой чистую игру воображения, на время облегчающую тяжкую ношу бытия. Подобно невротика, художник отворачивается от реальности, но он обладает даром «субли-

мировать» влечения, воплощать их в свои фантазии.

По лекциям можно составить представление о том, почему психоанализ вызывал столь яростное неприятие. Разделы по детской сексуальности и символизме сновидений могут служить примерами «пансексуализма», лекция о «женственности» — пример патриархальных предубеждений, ставших причиной нападок на Фрейда феминисток всего мира. Фрейд полагал, что с психоанализом спорят главным образом из-за иррационального «сопротивления», объяснимого наличием у людей тех самых комплексов, которые они упорно не желают видеть. Ясно, что это заявление выводит психоанализ за пределы всякой рациональной критики. К. Поппер сравнивал поэтому психоанализ с той разновидностью марксизма, которая объясняет всякую критику в свой адрес классовой принадлежностью оппонента. И все же у Фрейда были основания считать, что психоанализ сталкивается с аффективным неприятием. Правда, корни его нужно видеть не в комплексах противников психоанализа, а в господствовавших в культуре того времени верованиях.

Фрейд полагал, что его учение вызывает на себя огонь критики потому, что «двумя своими положениями анализ оскорбляет весь мир и вызывает к себе его неприятие: одно из них наталкивается на интеллектуальные, другое — на морально-эстетические предрассудки». Он сравнивал психоанализ с эпохальными открытиями Коперника и Дарвина, которые нанесли самолюбие человека «два великих оскорбления». Сначала Земля перестала быть центром Вселенной, затем род человеческий оказался не творением по образу и подобию божьему, а продуктом биологической эволюции. «Но третий, самый чувствительный удар по человеческой мании величия было суждено нанести современному психоаналитическому исследованию, которое указало Я, что оно не является даже хозяином в своем доме, а вынуждено довольствоваться жалкими сведениями о том, что происходит в его душевной жизни бессознательно». Иначе говоря, открытие бессознательного вступает в конфликт с нарциссическим самолюбованием человека. Ограничение суверенности Я действительно вступало в конфликт, но только не с человеческими предрассудками вообще, а с европейским субъективизмом, полагавшим сознание автономным центром мироздания.

Западная традиция говорила о свободной личности, у Фрейда поистине свободными являются «дикие, необузданные влечения». Свобода, по Фрейду, отнюдь не является достижением культуры. С тех пор как существуют запреты на удовлетворение влечений, «стремление к свободе» направлено либо против определенных форм и притязаний культуры, либо против культуры вообще. Все успехи в развитии цивилизации связаны с подавлением природных влечений и частичным использованием сублимированной энергии инстинктов. И грядущая землекла и молитва верующего и творчество поэта являются продуктами «сублимации» — этого удивительного процесса, который М. Шелер сравнивал с алхимией, желающей получить из свинца психопато-

логий золото художественного, научного, религиозного творчества. Психоаналитики написали множество биографических исследований, начало которым положил сам Фрейд, нашедший различные комплексы у Леонардо да Винчи, Шекспира, Достоевского. Любимый аллитерации Владимир Набоков называл всю эту литературу либидолибердой.

Еще более возмутительным казалось многим положение о сексуальном характере первичных влечений, относимых к раннему детству. Культура, считал Фрейд, держится на беспощадном подавлении таких влечений: «Общество не знает более страшной угрозы для своей культуры, чем высвобождение сексуальных влечений и их возврат к изначальным целям... Поэтому оно столь нетерпимо к высшемуупущенному результату исследований психоанализа и охотнее всего стремится представить его отвратительным с эстетической точки зрения и непристойным или даже опасным с точки зрения морали».

На сегодняшний день ситуация является иной. Психоанализ стал частью западной культуры, прежде всего американской. Фрейд был невысокочеловеком и даже шутливым: «Америка — это ошибка; конечно, ошибка гигантская, но тем не менее ошибка». Он относился с презрением к стране, которая, как писал американский исследователь П. Роазен, «избрала его одним из своих пророков». В соответствии с фрейдовской теорией пишутся романы и ставятся фильмы, на нее ориентируются в своей деятельности менеджеры, работники различных социальных служб, юристы, преподаватели, журналисты, священники — всех не перечислить. Психоанализ создал своеобразный «климат мнения»: окончивший колледж американец чаще всего убежден, что у него «есть» бессознательное; он воспитывает своих детей по книгам близких психоанализу педагогов (вроде доктора Спока); он осмысляет сексуальные, семейные и даже служебные отношения по предложенным психоанализом схемам.

Интерес человека к собственной душе существовал, наверное, во все времена и удовлетворялся религией. Сегодня психоанализ предстает как некий суррогат религии для утративших веру и выбитых из традиционной культуры европейцев и американцев. Вместе с экзотическими восточными учениями, оккультизмом, биоэнергетикой и другими «плодами просвещения» психоанализ занимает в душе человека место, освобожденное христианством. Как бы негативно ни относился сам Фрейд ко всякому оккультизму (этому посвящена одна из лекций), для тысяч его последователей психоанализ выступает как некое «тайное учение».

Популярности психоанализа способствуют два важных обстоятельства.

Во-первых, необычайно выросло число людей с разнообразными невротическими симптомами. По данным Национального института психического здоровья США, примерно 18,7 процента взрослых американцев страдают по крайней мере от одного нарушения психики. Конечно, термины «нарушение» «заболевание» весьма проблематичны, когда речь идет о затруднениях при

адаптации к социальному окружению, беспричинной тревоге, наркомании или немотивированной преступности. Но не вызывает сомнений, что психотерапевтическая помощь нужна сегодня миллионам людей, и психоанализ, выступающий не только как медицинская практика, но и как теория, предлагающая способ лечения «больного общества», без труда находит клиентов, последователей и пропагандистов.

Во-вторых, даже тем, кто не испытывает психических затруднений и не обращается к врачам, приходится платить дорожную цену за жизнь в мегалополисах «асфальтовой цивилизации». Общинные, семейные связи истончаются и рвутся, предоставленный самому себе индивид утрачивает чувство идентичности, он должен как бы заново обирать свою личность из фрагментов множества социальных ролей. Психоанализ дает такому индивиду осмысленную схему, которая больше подходит представителю среднего класса, чем традиционные религиозные учения или политические идеологии.

Фрейд постоянно повторял, что не является философом, и в последней лекции («О мировоззрении») заявил, что психоанализ представляет собой лишь фрагмент единого научного мировоззрения. Но при всей значимости науки для решения мировоззренческих вопросов единого научного мировоззрения сегодня не существует. Естественные и социальные науки не дают нам ответа на важнейшие вопросы. Фрейд упорно предлагал энергетические модели там, где он имел дело с приватной мифологией. Из эротических и агрессивных фантазий своих пациентов он создал наукообразную демонологию. В духе естествознания XIX века Фрейд овеществил то, что никаким веществом не является — образы сновидений, памяти, воображения. Смыслы не помещаются в натуралистическую модель психики, хотя они, конечно, тоже обладают особым рода реальностью. Фрейд всю жизнь имел дело с этим измерением человеческого бытия, но желал видеть в своем учении чуть ли не физику души и лишь изредка допускал, что сталкивается с поэтикой, театром, а не с физикой. «Когда-то слова были колдовством, слово и теперь во многом сохранило свою прежнюю чудодейственную силу», — читаем мы в самом начале лекций, а затем находим крайне узкую трактовку языка. Необходимо помнить, впрочем, что Фрейд занимался не дешифровкой древних рукописей или символов мифологии, а истерическими неврозами, когда носителем символов становится страдающее тело. Более полувека он почти ежедневно по несколько часов принимал пациентов...

Строгой научностью психоанализ не отличается, он способствовал появлению новой мифологии, но все же роль его в истории психологической науки чрезвычайно велика. Фрейд по праву занимает свое место в ряду крупнейших ученых нашего века. Психоанализ способствовал гуманизации психиатрии и уже поэтому заслуживает уважения. Мы вольны принимать или не принимать те или иные стороны фрейдовской доктрины, но нельзя не учитывать ее

влияния на самые различные науки о человеке.

Поэтому издание работ Фрейда в нашей стране представляет собой в высшей степени полезное начинание. Старые издания давно стали раритетами даже в крупнейших библиотеках страны. Видимо, в ближайшее время можно ожидать выхода трудов и других психоаналитиков. В связи с этим возникают некоторые пожелания нашим издателям. Прежние переводы Фрейда устарели, некоторые его работы переводились на скорую руку, любительски, с многочисленными ошибками. Даже если публиковать их, не ожидая, пока появятся новые переводы, то необходима новая литературная редакция и серьезный научный комментарий. Пример, поданный в этом отношении издательством «Наука», нельзя считать образцовым.

Сначала о качестве перевода. Скажем, немецкое *Besetzung*, буквально означающее «занятие», «замещение», употребляется Фрейдом в совсем ином значении и переводится на английский как «катексис», ибо речь идет о заряде, заряженности психической энергией. Так как этот термин употребляется и в экономической модели, на французский язык его переводят как «инвестирование». В предложенном нам переводе этому слову придаются различные значения — кроме тех, которые подразумевались Фрейдом. То же самое можно сказать о переводе некоторых других терминов.

Комментарий М. Г. Ярошевского в книге производит странное впечатление. Видимо, он составлялся лет десять назад с расчетом, что «принципиальная» критика Фрейда поспособствует публикации лекций. Книга все равно не прошла, но теперь вместо настоящего научного комментария, предполагаемого серией «Памятники истории науки», мы имеем впечатляющую смесь немногих фактических данных с многочисленными оценочными суждениями и опровержениями — и какими! Скажем, Фрейд пишет о половом воспитании детей в бедных и богатых семьях с целью показать разрушительное воздействие на психику запретов и викторианских норм морали в верхних слоях общества. Комментарий пишет: «Приведенный пример не имеет никаких научных оснований и лишь отражает классовую ориентацию мировоззрения Фрейда, считающего, что ребенок из бедной семьи отрицательно влияет на ребенка из зажиточной семьи». В том же духе говорится о «пренебрежительном взгляде на народные массы», о том, что Фрейд «игнорировал», «неадекватно оценивал историко-материалистическое воззрение», «подошел внейсторически», «ошибочно утверждает»... То, что у Фрейда имеется множество спорных, а то и просто неверных положений, не вызывает у меня ни малейших сомнений. Но для того и писался вопреки приложению очерк Ф. В. Басина и М. Г. Ярошевского, чтобы прояснить спорные моменты, оценить слабые и сильные стороны психоанализа. Комментарий имеет другое назначение.

Алексей РУТКЕВИЧ.

ОСЕННЯЯ КЛЮКВА

Когда среди русских эмигрантов зашла речь о художественных биографиях некоторых писателей, Бунин сказал: «Это я должен был бы написать «роман» о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульффу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет... Но ведь этим надо жить, родиться в этом!»

Приступать к книге о Бунине должно со смиренным сознанием, что его «творящий дух» создавал образы, в которых волшебство и тайна любви и — можно сказать словами Гёте — «то божественное просветление, благодаря которому возникает нечто необыкновенное». Сколько надо иметь внимательности ко всему, о чем пишешь, такта; и чувство слова так же необходимо, как и глубокие знания, чтобы достойно сказать что-то о великом писателе, о поэте, который «может действовать инстинктивно, потому что в нем пребывает высшая сила слова» (Гоголь).

А что же такое феномен Лаврова¹? К роману «Холодная осень» были у него подступы: появлялись его статьи, они настораживали, порой поворачивали в большое изумление. Вот сюжет, захватывающий дух. В доме Бунина жили молодые писатели Галина Кузнецова и Леонид Зуров. Бунин влюблен в Кузнецову и ревнует ее к Зурову. Вера Николаевна, жена Бунина, напротив, чрезвычайно симпатизирует Зурову. Но намек на четырехстороннюю диспозицию не проходит, ежели принять во внимание тот факт, что Зуров в шестнадцать лет в гражданскую войну получил ранение и, «в любви считаясь инвалидом», был, по свидетельству Бунина, абсолютно безразличен к женщинам.

Есть переделки и двусмысленные намеки и в романе; кроме того, встречаются разные подковырки, рассчитанные на то, чтобы вырисовывался не только «Бунин в халате» (есть такая книга А. В. Бахраха, получившая весьма критическую оценку писателей-эмигрантов, знавших Бунина), а по возможности — дезабиле.

Дело не только в том, что Лавров не упустил из виду никаких приятельских шуточных разговоров Бунина, упоминаний о его словах «не для печати», воспоминаний о какой-нибудь Любе, привлечшей чем-то внимание его героя. На подобные житейские обстоятельства он крепко нажимает, но старается придумать и что-нибудь познатнее.

В дневнике 10/23 июля 1919 года Вера Николаевна Бунина упоминает, как однажды она и Иван Алексеевич попали на свадьбу молодых людей из простонародья; на свадебном пире среди гостей шли разговоры о том, что происходило в Одессе: молоденьких барышень гонят убирать «Крымскую гостиницу, населенную красноармейцами, которые кувшины, тазы употребляют совсем не на то, на что они предназначены... А какая ругань стоит, если бы вы знали» Потом рассказывали о квартирах, загаженных новыми жильцами, которых поселили в богатые дома, — «ванны они превратили в отхожие места, и получились... очаги заразы»². И это все, что можно вычитать в дневнике о свадьбе. А вот как повествует Лавров: Бунин «сыпал шутками-прибаутками, и старички со старушками, без которых на Руси ни одна свадьба не обходится, уже

¹ Валентин Лавров. Холодная осень Иван Бунин в эмиграции (1920—1953). Роман-хроника М. «Молодая гвардия» 1989 384 стр.

² Здесь и в дальнейшем дневники Буниных цитируем по изданию: «Устами Буниных Дневники...». Тт. 1—3. Под редакцией М. Грин. Франкфурт-на-Майне. 1972—1982.

ласково называли его «Лексеич»... — Лексеич, ты б сполнил сам чего свадебное, — просила его соседка, Молодые тоже стали просить. — А что, могу! — Иван Алексеевич поднялся из-за стола, обернулся к молодым и чистым сильным голосом взял высокую ноту: „Что не ластушка, не косатинькая по полю летает!“... Иван Алексеевич вдруг переменял напев, перешел на веселое, игривое... Он выкинул затейливое коленце и обратился к девицам: — А теперь вы, красавицы, подхватывайте! Ну, дружнее!» Иван Алексеевич пел, «а молодые и старые подхватили... Чуть не до дома провожали хозяева дорогих гостей — Лексеича и Веру Николаевну. Разошедшийся Лексеич наставлял: — Хозяйство вести — не бородой трясти! Да и насчет поколения уж постарайтесь, дело нужное... В лучах заходящего солнца ярко искрились в ушах невесты сережки с небольшими бриллиантами — подарок Буниных, вынутый из тайного свертка на печи».

Как ни мучительно читать подобного рода «народную» сцену и «народную» речь «Лексеича», мыслимые разве что в виде пародии, я все же вынужден был сделать выписки: в этом весь лавровский герой романа, вся его нестерпимая фальшь. Будут меняться сцены, эпизоды, диалоги, «бойкие» словечки, собеседники, будет не свадебный пир, а кафе, рестораны, званые обеды — бессчетное число этих ресторанов, обедов с точным описанием, что какой вкус имеет, что Бунин «жевал», — и будет все тот же «Лексеич», грубо раскрашенный то под лубочного мужика, то под пшюта, и звания не остается от запомнившегося всем Бунина с его шармом, от Бунина, которого порой сравнивали с римским патрицием.

В иных случаях в романе из уст Бунина звучит раешник: «Для гостя дорогого, некупленного, дарового — прочту-ка я из своей новой книжки»; потом этот «Уж ты гой еси, добрый молодец» рассыпается, как выражался Бунин, в гостинодворческих любезностях.

А как на деле он был нетерпим к подделкам под народность и ко всякой фальши! Поэт Георгий Адамович писал: «Из-за подделки под преувеличенно русский стиль или размер он презирал Шмелева, хотя признавал его дарование. У Бунина вообще был редкостный слух к фальши, к «педали»: чуть только он слышал фальшь, впадал в ярость».

Любое обстоятельство или событие, каких Лавров ни касается, изображается так, что невольно напоминает детектив. Скажем, такой эпизод. На вилле «Жаннет» 30 июня 1941 года появилась полиция — местный комиссар Рустан, хорошо знавший Бунина, в сопровождении какого-то человека хотели видеть живущих на вилле мужчин, как записал в дневнике Бунин, и узнать, «какие именно мы русские». На вопрос: «Вы белые русские?» — Вера Николаевна ответила: «Мы эмигранты» — и только. Рустану, вспоминает Г. Н. Кузнецова, «самому было, видимо, не по себе», он только «открыл несколько ящиков и портфелей. Обыск был чисто формальным». Лавров нагнетает страсти. Полиция кричит: «— Большевики есть? Евреи есть? — вопросы сыпались, как из пулемета... — Что в кладовке? Под матрацем? — Ловко перебирали утварь, простукивали стены, следили за выражением лиц — не испугались ли, не побледили? У мужчин отобрали документы, скомандовали: — Одеваться. Вы арестованы! — Вера Николаевна закричала, бросилась на полицейских: — Куда вы их? Вы что, ослепли?»

Тайну любви не могли разгадать все поэты мира — Лаврову эта тайна нипочем. Варвара Пащенко, воскрешенная Буниным в «Жизни Арсеньева», вдохновила его на создание поэтического образа Лики. Лавров пишет: Пащенко «была черстной и расчетливой, и, кажется, она не была привлекательна даже внешне», — и это он знает; страсть к ней «можно объяснить лишь житейской неопытностью». Анну Цакни, первую жену, утверждает Лавров, Бунин «никогда не любил». Бунин же писал брату Юлию Алексеевичу: «Как я люблю ее, тебе не представить... Дороже у меня нет никого».

А вот еще о том же предмете, о любви. Отношения Бунина с Галиной Николаевной Кузнецовой описываются так выспренно, что невольно вспоминаются «страсти» бульварных романов: «Она так ласково, так зазывно взглянула своими большими глазами на Бунина, что у того в сладком предчувствии похолодело в груди». Встречаясь взглядами, Бунин «впадал в столбняк»; вот она протянула ему «изящную кисть. С давно не испытанным волнением он задержал ее в своей руке и почувствовал, что все идет кругом и все во вселенной исчезло, все — кроме нее, о встрече с которой, казалось, мечтал всю жизнь, день за днем». А завершается эта куртуазная сцена вполне приземленно: «Давайте увидимся через час у рестораника? — попросил он»; потом «взял да махнул с ней в Канны».

Все одинаково вульгарно, одинаково рассчитано на грубый читательский вкус: и то, когда дама говорит об А. Н. Толстом, что он Ивана Алексеевича «кроет почем зря», и как Бунин «костит Гиппиус», как ведет себя. встретившись с «удивительным существом».

Андрей Седых (о нем ниже) знал о романе Бунина от него самого, рассказывала ему и Галина Николаевна; он писал о Буinine: «У него были романы, хотя свою жену Веру Николаевну он любил настоящей, даже какой-то суеверной любовью... Ни на кого Веру Николаевну он не променял бы. И при всем этом он любил видеть около себя молодых, талантливых женщин, ухаживал за ними, флиртовал, и эта потребность с годами только усиливалась. Автор «Темных аллей» хотел доказать самому себе, что он еще может нравиться и завоевывать женские сердца. По-настоящему был у Ивана Алексеевича на склоне лет только один серьезный и мучительный роман с ныне покойной талантливой писательницей Галиной Николаевной Кузнецовой». Казалось, что Вера Николаевна «в конце концов примирилась,— считала, что писатель Бунин — человек особенный, что его эмоциональные потребности выходят за пределы нормальной семейной жизни, и в своей бесконечной любви и преданности к «Яну» она пошла и на эту, самую большую свою жертву. В конце концов Вера Николаевна и Галя даже подружились».

В дальнейшем развертывании сюжета Лавров, надергав цитат из дневников Бунина и порядком подтасовав их, очернил Кузнецову, умную, одаренную, в высшей степени порядочную. «Была она на редкость тонким, чутким человеком,— писал Андрей Седых,— очень застенчивой, легко краснела и, разволновавшись, начинала слегка заикаться». Многие критики (Георгий Адамович и Глеб Струве) высоко оценивали книгу ее рассказов «Утро» (1930), роман «Пролог» (1933), сборник стихов «Оливковый сад» (1937); в 1938 году был издан ее перевод романа Франсуа Мориака «Волчица» с предисловием Бунина. Без должных оснований Лавров утверждает, будто Кузнецова не хотела передать свою переписку с Буниным в Советский Союз. Эту переписку она собиралась передать мне (хотя я и не просил ее об этом), о чем шла речь в одном из писем, которые я имел честь получать от нее; но в 1976 году ее не стало. Последнее письмо, которое Бунин получил перед кончиной, было от Кузнецовой. В 1967 году она издала в Вашингтоне «Грасский дневник», написанный талантливо, без него не обойтись биографам Бунина.

Оболагал Лавров и других друзей Бунина и Веры Николаевны. Он пишет: «Бунин отправился в Стокгольм... Увязался за ним шустрый корреспондент «Последних новостей» Яков (Янкель) Цвибак... Он отличался вполне одесским остроумием». В этом нарочитом подчеркивании национальности апеллирование к читателям неприятным в расчете угодить их низменным инстинктам. Лаврову нет дела до того, кем был в действительности для Буниных А. Седых (Я. Цвибак). Вера Николаевна, когда скончался Иван Алексеевич, подавленная горем, излила свою душу в длинном письме не кому-нибудь другому, а именно «дорогому Яшеньке», описала последние дни Бунина и похороны. С А. Седых Бунина связывала давняя дружба, которая никогда не была чем-либо поколеблена; подтверждение этому — их обширная переписка, письма Веры Николаевны и Галины Кузнецовой, их дневники. Когда Бунин, больной, сильно нуждался, А. Седых организовал в Америке по его просьбе сбор средств. Лавров, говоря о помощи «заокеанских друзей», называет эту помощь «паутиной, которая налипает на жертву». Он также пытается внушить читателям, будто не издатель, а А. Седых повинен в том, что за вышедшие в Нью-Йорке некоторые рассказы из «Темных аллей» (1947) на английском языке Бунин получил гонорар только триста долларов.

Лавров пишет, что Цвибак, получив рукопись «Темных аллей», «усердно „улучшал“ ее, удаляя места, казавшиеся ему „эротическими“». Бунин просил Цвибака и Алданова вычеркнуть из рассказов те места, которые были спорными с точки зрения «общественной морали». В то время в США произведения за несколько фраз, казавшихся чрезмерно «натуралистическими», писал Цвибак автору данной статьи, «легко могли подвести под порнографию». Алданов сообщал Бунину 23 марта 1945 года, что он сам и А. Седых «спросили адвоката — некоторые ваши рассказы не могут быть здесь напечатаны: на издание был бы немедленно наложен арест с преследованием. Поверьте, я не шучу»³. При переиздании «Темных аллей» Бунин не восстановил вычеркнутые слова.

³ Здесь и в дальнейшем переписку Бунина с Алдановым цитируем по публикациям профессора А. Зверса (Канада).

Лавров утверждает, что А. Седых «приукрасил свои отношения с Буниным». Бунин написал 17 марта 1948 года предисловие к книге Андрея Седых «Звездочеты с Босфора»; в нем он говорит о «старой дружбе» с ним; читая рассказы, вошедшие в книгу, пишет Бунин, «я вспомнил все мое знакомство с Андреем Седых как с писателем и человеком». Еще в давнее время, продолжает он, прочитал «полубеллетристические рассказы о жизни в Париже низших слоев русской эмиграции, его книгу «Люди за бортом»,— и был даже удивлен: так отлично написана была она, так легко, свободно, разнообразно, без единого фальшивого слова, с живыми лицами, с присущим каждому из них языком. Тут уже явно сказались особенности Андрея Седых: его юмор, живость, умение схватывать на лету все, что попадает в поле его наблюдений, мгновенно пользоваться схваченным... В те нобелевские дни, когда он был моим секретарем и ездил со мной в Стокгольм, я стал даже побаиваться этих его способностей...».

«А сейчас передо мной,— пишет Бунин,— целый сборник... То, что ценно,— по главному признаку таланта, то есть опять-таки по свободе, присущей писаниям Андрея Седых, по легкости и неподдельной простоте, с которой он «передает» когда-то пережитое свое и чужое,— опять заставляет меня качать головой, на этот раз уже весело: какой молодец этот американец в очках, такой будто серьезный, а на деле во многих рассказах все еще как будто прежний, бойкий сотрудник А. А. Полякова и мой секретарь! И какая художественная памятьливость на давно, давно пережитое! И какая богатая лингвистика!»

И вот после пренебрежительного отзыва об А. Седых Лавров молчаливо пользуется его воспоминаниями о Бунине.

Столь же активно пересказывает Лавров дневники И. А. и В. Н. Буниных — «Устами Буниных», подготовленные и изданные Милицей Грин, доктором Эдинбургского университета, передавшей в Советский Союз множество ценных реликвий Бунина, книги с его пометами, ксерокопии дневников и писем. Опора на подобного рода материалы совершенно естественна; но зачем понадобилось автору «Холодной осени» одновременно подвергать сомнению их достоверность? «Качество их оказалось ниже всякой критики»,— утверждает Лавров, ссылаясь на сделанные публикатором купюры. Но судить о текстологическом качестве публикации можно лишь тогда, когда есть возможность сравнить текст с рукописью. Что же касается купюр, то любой сколь-нибудь профессиональный филолог знает, что публикация интимных дневников без сокращений едва ли возможна.

Поток неточностей, умышленных — для эффекта — переделок, ошибок, кривых толкований в расчете на «новизну взгляда», когда романист то и дело рубит сплеча, так велик, что обозреть все это в кратком отзыве невозможно. Сколько сил он прилагает, чтобы побить камнями друзей Бунина — Гиппиус и ее супруга, Дмитрия Сергеевича Мережковского!

Взаимоотношения Бунина с Э. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским были чрезвычайно сложные. Порой они дружески общались и жили вместе в Висбадене (1921), в Шато Нуарэ (Амбуаз) (1922). «Электрические» стихи Гиппиус, как называл их Бунин, привлекали его пристальное внимание. Но также есть немало весьма эмоциональных критических суждений Бунина о Мережковских. Лавров и здесь все упрощает. Статья Гиппиус о «Митиной любви», трагующую проблемы творчества, он называет разносом и руганью, воспринимает статью не как факт литературной полемики, а как проявление враждебности к писателю, успеху которого она завидует. И в таком противостоянии он рассматривает отношения Мережковских к Бунину в продолжение многих лет их общения. Вот Лавров говорит на свойственном ему языке: Бунин помнил, что «супруги Мережковские, начиная с двадцатых годов, облизали все начальнические сапоги, до которых сумели добраться». Бунин тут ни при чем, тем более что, когда умерла Гиппиус, он, всегда боявшийся вида смерти, покойников, пришел на отпевание, по словам жены, плакал, «молился, вставая на колени. По окончании подошел к покойнице, поклонился ей земно, приложился к руке. Он был бледен и очень подтянут» («Даугава», 1980, № 10, стр. 121; см. здесь также спор Бунина с Гиппиус о Толстом и Достоевском).

10 декабря 1941 года Бунин записал в дневнике: «В 7^{1/2} вечера швейцарское радио: умер Мережковский».

15 декабря 1941-го:

«По ночам ветерок не коснется чела,
 На балконе свеча не мерцает.
 И меж белых гардин темно-синяя мгла
 Тихо первой звезды ожидает...

Этот стих молодого Мережковского, очень мне понравившийся когда-то — мне, мальчику! Боже мой, Боже мой, и его нет, и я старик!»

В конце книги — идеи автора наиважнейшие, соответственно и слова звучат порой почти возвышенно.

В книге помещена фотография надписи Бунина на экземпляре «Темных аллей», подаренных Зинаиде Шаховской 29 марта 1950 года, но при этом не попала в кадр та часть автографа, где Бунин приравнивает Сталина к Гитлеру: «„Декамерон“ написан был во время чумы. „Темные аллеи“ в годы Гитлера и Сталина — когда они старались пожать один другого. Ив. Бунин».

Кадрирование, конечно же, не случайно: Лавров всячески пытается внушить читателю, что Бунин едва ли не восторженно относился к личности «генералиссимуса!» «Что бы там ни говорили, но Сталин — личность удивительная. У него много врагов, да это и понятно», — говорит лавровский Бунин, сравнивая при этом генералиссимуса с Петром I. Бунин даже произносит тост «за полководческий талант Сталина». Сюжет этот заслуживает, чтобы остановиться на нем подробнее.

А. А. Волков в книге «Очерки русской литературы...» (М. 1952) приводит слова из рассказа Чехова «Человек в футляре»: жители города «боялись громко говорить, посылать письма, читать книги...». Бунин на полях «Очерков...» сделал пометки и написал: «А при Сталине?» Книгу Н. Д. Телешова «Записки писателя» (М. 1948) Бунин исчертил многими записями (прислала, так же как и книгу Волкова, для советских архивов Милица Грин); пишет и о Сталине, о жизни при его владычестве. Он отметил слова из листовки 1901 года: «У нас преследуют писателей, которые говорят правду и обличают начальство», — и написал: «То ли дело теперь!» Телешов пишет, что советские условия переселения в Сибирь из средней полосы страны «облегчены вниманием правительства», а в «миновавшее» время переселенцы терпели «невероятные невзгоды». Бунин отозвался на это репликами: «Да, например, всех крымских татар переселил и «утробил» Сталин», «Зато при Сталине хорошо переселялись». Телешов упоминает о безработице при царизме, а Бунин пишет: «Теперь работа есть: двадцать миллионов стоит по горло в воде, работа на Сталина». Знал, значит, и про двадцать миллионов, хотя не было еще «Архипелага ГУЛАГ» и его автор А. И. Солженицын в числе этих миллионов еще работал на Сталина.

Телешов говорит о реакции 1880-х годов, «когда вся Россия была под пятой абсолютизма», и вызывает этим своего давнего друга на укоряющий возглас: «Стыдно, старик, говорить так «под пятой» Сталина!» В прошлом цензуру нельзя было терпеть, читаем у Телешова. «А при Сталине стерпел бы!» — горячится Бунин и пишет: «Сталинский Холоп!» «Все изомгались», — написал он на полях книги к тем строчкам, где говорится о «великом Сталине». Он не знал, что, должно быть, в холопстве Телешов мало был повинен: Николай Дмитриевич с горечью рассказывал мне, до какой степени переделали и испортили вставками его «Записки писателя» в одном из издательств, придавая книге «холопский» тон; он написал на корректуре, что запрещает печатать, — все равно напечатали.

Бунин, натерпевшись «под пятой» Гитлера, одно время обдумывал возможность возвращения на родину. Звал его и Телешов, писал, что если бы приехал в Москву, то «„мог бы быть и сыт по горло, и богат, и в таком большом почете!“ Прочитав это, — пишет Бунин М. А. Алданову 15 сентября 1947 года, — я целый час рвал на себе волосы. А потом сразу успокоился, вспомнив, что могло бы быть мне вместо сытости, богатства и почета от Жданова и Фадеева, который, кажется, не меньший мерзавец, чем Жданов».

В 1946 году был издан указ Советского правительства, согласно которому восстанавливалось гражданство эмигрантов. Бунин одобрительно отозвался об этом указе. Это известно. А неизвестно то, как газета «Советский патриот», выходящая в Париже под редакцией Д. М. Одица, сыграла с Буниным злую шутку. Об этом у Лаврова ничего не говорится. Бунин писал Алданову 1 июля 1946 года:

«Письмо в редакцию «Советского патриота».

Позвольте заявить в ближайшем номере вашей газеты мой протест по поводу интервью со мной, напечатанного в «Советском патриоте» от 28 июня. Я твердо и при

свидетелях заявил г. В. Курилову, автору этого интервью, что даю ему право опубликовать только одну мою фразу, выражающую только одно — мою скромную мысль о значительности для русской эмиграции указа 14 июня. Несмотря на это, в «Советском патриоте» напечатано было нечто совершенно иное: описание моего то якобы «скорбного», то якобы «взволнованного» лица и целый набор восторженных фраз, которых я и не думал произносить,— вплоть до заключительной фразы всего этого интервью, резко исказившего выдуманнами за меня словами даже тот частный и краткий разговор, на который я был вызван моим собеседником.

Ив. Бунин, 30 июня 1946 г.»

Вот, дорогой Марк Александрович, то, что я отправил в редакцию «Советского патриота». Если, паче всякого чаяния, письмо это не будет напечатано, его напечатает Ступницкий (редактор газеты «Русские новости». — А. Б.) и я обращусь во французский суд, на что я, по словам Ступницкого, имею полное право: я этого дела так не оставлю, ибо более наглого и дикого поведения, чем поведение «Советского патриота», я не знаю. Моя вина, однако, то, что я принял сотрудника этой архистервозной газеты; но я как-то не подумал об этом, а главное — сотрудник этот — старый, близкий знакомый Полонских (Я. Б. Полонский — журналист. — А. Б.), очень милый и застенчивый человек. И вот вышло то, что не только попался, осрамился я, но и он, Курилов: позавчера я обедал у Полонских, и тут пришел этот Курилов — и при Полонских и при других гостях заявил, что его текст — текст его интервью — вдребезги был искажен и расширен в редакции (по его словам, скорее всего Румановым, совершенно падашим стариком). Читали ли вы, дорогой Марк Александрович, это гнусное интервью? «Советское правительство поступило мудро и благородно в отношении нас — эмигрантов...» «Мудро и благородно... в отношении нас...». — Каково!! Мне и не снилось это говорить! «Мы выпили на радости за указ...» А я, в этой частной беседе, сказал так, смеясь: «На завтраке в честь Борейши русачки-наборщики клюкнули «на радостях» выше всякой меры...» Не говорил я ни слова об отрыве от родины, который «не проходит даром»; не говорил: «Молодым — прямая дорога на родину»; не посылал никаких приветствий Одинцу — и т. д. и т. д. Целую вас и руку дорогой Татьяны Марковны. Ваш Ив. Б.

Прошу «Новое русское слово» не «делать бума» — мне это будет опасно.

Вчера я, слава Богу, подписал контракт на издание в Англии „Темных аллей“.

Письмо-протест было опубликовано 5 июля. Редактор «Советского патриота» прибавил слова: «Многоуважаемый господин редактор» и «С почтением».

А как оценить решительность сочинителя «Холодной осени», тоже «резко искажившего выдуманнами» за автора «Темных аллей» словами то, что он говорил, тоже писавшего то о якобы «скорбном», то о якобы «взволнованном» лице его, давшего «набор фраз», которых Бунин «не думал произносить»?

Александр БАБОРЕКО.

КОРОТКО О КНИГАХ

*

ГРИГОРИЙ КАНОВИЧ. Козленок за два гроша. Роман. Вильнюс. «Вага». 1989. 320 стр.

Начнем со справки. Канович не только живет в Вильнюсе, но живет страстями и бедами литовцев — не зря выбран в народные депутаты от «Саюдиса»; пишет на богатом русском языке (впрочем, пишет и по-литовски) о канушем в вечность мире еврейских местечек... То есть с точки зрения биографии — да и географии вкупе с этнографией — он соблазнительно удобный объект как для казенных восторгов относительно достижений советского интернационализма, так и для производящихся отнюдь не с академической целью попыток «чистки» русской литературы за счет изъятия из нее, например, Бабеля, еврея, писавшего и о евреях. (Малоросса Гоголя, шалишь, Украине не отдадут, пожадничают, хотя вот уж кто щедро дарил российской словесности метафоры, музыку, дух украинского фольклора.)

А может, все проще? Феномен Кановича (как, скажу для приблизительной аналогии, феномен Искандера) в том, что он очутился на счастливом для него перекрестке вышеназванных обстоятельств, и это определило его место в нынешней русской прозе.

Рецензируемый роман, как и предыдущие («Слезы и молитвы дураков», «И нет рабам рая»), составляющие с ним по материалу и стилю единый цикл, — повествование, густо насыщенное малознакомым для нас бытом. И он же (они же) — как бы притча: притчевый, символический, порою и назидательный груз ложится на читательские плечи мало-помалу, отягощая их неприметно, — груз замечаешь внезапно, когда его уже не сбросить.

Поэтическая метафористика, та, которая в русском языке незапамятно давно перешла в стадию неосознаемых, стертых метафор, тут, оказавшись в устах персонажей, для кого она часть мироощущения, становится вновь свежа, вновь ощутима — подчас и за счет жестокого, жестокого столкновения с не поддающейся поэтизации действительностью. Центральный герой «Козленка...», восьмидесятилетний Эфраим, каменотес по профессии и художник по сути, заполнивший еврейское кладбище своими гениальными надгробиями, создает однажды скорбный шедевр — «ангела с подбитым крылом», образ нескрываемо символический, но про того же надгробного ангела, повторенного по настоянию соседей-заказчиков в неисчислимых копиях, будет со всей приземленностью сказано и такое: их, дескать, «столько, сколько кур в курятнике». А когда два Эфраимовых сына (выбившийся в интеллигентсы Семен Ефремович, бывший Шахна, и сапожник Гирш, подавшийся (в 1905-м) в бунтовщики и даже стрелявший в самого виленского губернатора), — когда они сойдутся в непримиримом споре, то Канович так нам поможет познать эту непримиримость, в

которую никак не хочет поверить рефлетирующий Шахна. «...умиротворение витало над ними в студеном воздухе, и ангел-покровитель всех сирот и бездомных следил за каждым их шагом с высокой заснеженной липы, отогревая свои крылья на их шепотах и вздохах». Вот как видит Шахна — и грубо, саркастически опровергнет эту обнадуженную поэтичность «реалист» Гирш: «Там ворона. Черная нахохлившаяся ворона».

Оба правы. По-своему. А сам писатель обладает и тем и другим, двойным зрением, в чем осязаемо выражен драматизм его мировосприятия. Он видит ангела, но знает: на самом деле это ворона. Видит ворону, но боже мой, до чего ж хочется невозможного преображения...

Роман — воплощенная «пограничная ситуация». Кто из героев на переломе судьбы (Гирш даже на переломе к смерти, хуже того, к казни, к виселице), кто — на распутье, кто просто в дороге... Хотя тут не скажешь «просто». «...еврей счастлив только в дороге — на колесах ли, на пароходе ли, в мечтах ли (разве мечты — не та же самая дорога?)».

Старый Эфраим, наделенный самосознанием и узнаваемыми комплексами художника, больше живущий внутренней жизнью, нежели жизнью своего обильного, любящего тело («Куда не поспеваешь взгляд Эфраима, туда поспеваешь его мысль»), ощущающий то, что простому смертному не дано и даже — для него, для простого — противоестественно (например, «камню больно», да что там, даже «и злу больно!»), он, Эфраим, — «жид»... Предвосхищу недоумение: конечно, не в оскорбительном, а, напротив, возвышенном смысле, даже не в национальном, а в том, что имела в виду Цветаева: «В сем христианнейшем из миров поэты — жида». Но дело не только в этом.

Без аналогий не обойтись, и вспоминаются улыбочиво-грустный «неореализм» Шолом-Алейхема или гротескный карнавал Бабеля «Одесских рассказов». Вспоминаются скорее по контрасту, а уж если предполагать корни, верней, корешок, так это, думаю, один-единственный бабелевский рассказ — «Гедали». С его прямым выходом в бытийный смысл.

Канович в своей прозе не столь уж часто выходит за пределы местечка, да и его самого не выводит в окружный большой мир с постепенностью, свойственной тому же Шолом-Алейхему, не открывает в своем Эфраиме (как классик открывал в своем Тевье) трагедию короля Лира... То-то и оно, что не открывает, обходясь без открытия и озарения, потому что заранее, сразу уверенно видит трагическую подоснову местечкового мира — не большую и не меньшую чем трагичен Мир вообще. Верней, даже так: у него Местечко равно Миру Быт — бытийности. Не только «поэты — жида», но люди — «жиды», в том числе столь мало подходящий для такого определения, еже-

ли все-таки понимать его не поэтически, а буквально, урядник. И урядника писатель за что-то любит, за что-то жалеет, во всяком случае сочувственно понимает,— вообще, кажется мне, Григорий Канович вперекор знаменитой фразе, открывающей «Анну Каренину», полагает, что люди, каждый из которых счастьем по-своему, именно в несчастье становятся родственно схожими. Отчего горечь вполне локальной, национально и социально обусловленной жизни его персонажей — концентрация общелюдской горечи, не укоризненно ей противопоставленная (ведь качеством и количеством бед тоже ревниво считаются, и эти счеты нынче с печалью приходится наблюдать), а, наоборот, отзывчиво вместившая ее.

Ст. Рассадин.

✱

СУРОВАЯ ДРАМА НАРОДА. Ученые и публицисты о природе сталинизма. М. Политиздат. 1989. 512 стр.

Сборник о природе сталинизма не вводит в сборнике заметного числа новых фактов. В него попали главным образом статьи, ранее уже опубликованные в нашей периодике и обновленные, иногда расширенные авторами. И если бы не гутенберговская техника нашей печати, многие из двадцати участвующих в сборнике авторов сегодня захотели бы, верно, добавить что-то еще к написанному. Потому что наши соприкосновения с Административной системой по-прежнему ежедневно грозят коротким замыканием и вызывают каждому памятные искры.

«Наиболее актуальным, непосредственно участвующим в современной жизни остается для нас наследие Сталина. Прежде всего в виде той системы общественных отношений, которая создана была в СССР под его руководством, устояла в потрясениях 50—60-х годов, заново стабилизировалась в «эпоху застоя» и, таким образом, с известными модификациями дожила до перестройки, а значит, и до сегодняшнего дня,— пишет публицист Юрий Буртин в статье, открывающей сборник.— Перед нами стоит задача преодоления этой системы, превращения ее в нечто принципиально от нее отличное. Задача поистине невероятная по своей трудности, и сейчас, на старте, она, может быть, особенно жестко испытывает нас».

Оказавшись в тесном соседстве, не все в сборнике равно выдерживают это жесткое испытание на внутреннюю свободу в обсуждении темы, на последовательность, додумывание мысли до конца. В книге представлены только безусловные противники сталинизма. Но у некоторых из них заметно желание упростить проблему, произнести некие ритуальные заклинания.

«Роль выдающейся личности в истории позитивна только тогда, когда ее деятельность осуществляется в соответствии с за-

кономерностями истории, не игнорирует их, — пишет, например, Агдак Бурганов.— Таковой была деятельность Ленина и прямо противоположной — деятельность Сталина». Или другое «глубокомысленное» суждение этого же автора: «Мы сегодня пытаемся выйти из состояния застоя. Мы добьемся успеха, если последовательно будем проводить в жизнь решения XXVII съезда КПСС, последующих пленумов ЦК и XIX партконференции. Если каждый из нас непременно будет руководствоваться принципом: «Если не я, то кто же?!» Если поймем, что начатая перестройка — наша, продолжение нашей революции, споткнувшейся о культ Сталина и его последователей».

Далеко не всякого читателя удовлетворит одно лишь эмоциональное отторжение сталинизма. Игорь Бестужев-Лада, упомянув покаянное письмо человека, служившего при Сталине пограничником, замечает: «...даже если бы автор письма стоял почти двадцать лет не на пограничной, а на совсем другой вышке — вокруг тюремных лагерей, и тут нет никакой его вины: служба есть служба. Мало того, если кто-то даже пошел зарабатывать себе на хлеб вольнонаемным работником в такой лагерь, само по себе это еще не соучастие в преступлениях. Водораздел проходит тут не по месту службы — по душам людей». Но давайте вспомним, что в Нюрнберге обвинения в преступлениях против человечности были предъявлены только двум дюжинам нацистских бонз (хотя не все они присутствовали вживе на скамье подсудимых). А немецкий народ (во всяком случае, его лучшая часть) изживал «комплекс вины» десятилетиями. «Служба есть служба» очень близко к немецкому «приказ есть приказ», и негоже сегодня с такой легкостью отпускать без покаяния преступления, не имеющие аналога в истории...

Особенно странно такого рода аргументация выглядит под одной обложкой с четкими, хорошо продуманными статьями Отто Лациса и Александра Ципко, с доставляющими читателю истинное удовольствие (как ни мало подходит здесь это слово) рассказами Ларисы Пияшевой о погибшем в сталинских застенках русском экономисте Н. Д. Кондратьеве и Михаила Германа о живописи 30-х годов. Трагедия отечественной науки и культуры под каблуком или (в зависимости от обстоятельств) в душных объятьях вождя посвящена вторая часть книги.

Как-то Тенгиз Абуладзе, автор фильма «Покаяние», на вопрос о том, зачем ворошить прошлое, ответил словами Л. Н. Толстого: «Как зачем поминать? Если у меня была лихая болезнь или опасная и я излечился или избавился от нее, я всегда с радостью буду поминать. Я не буду поминать только тогда, когда я болею и все так же болею, еще хуже, и мне хочется обмануть себя»...

Зачем же продолжать себя обманывать?

С. Воловец.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ САХАРОВ

Время от времени в нашей истории являются личности — они воплощают убедительность жизни, ее возможную разумную последовательность.

Андрей Дмитриевич Сахаров был именно такой личностью. Природа одарила его редкими способностями — он стал выдающимся ученым. Но собственные научные открытия не стали для него ни фетишем, ни пределом умственной и нравственной деятельности — предугадывая их значение в судьбе человечества, он требует от власти имущих приостановить действие этих открытий. И вот Сахаров, еще вчера герой, герой и герой, сегодня — опасный и опальный, ссыльный и третируемый. Он не «зек № Ш...» только потому, что он — Сахаров.

Меняется время, и Сахаров становится народным депутатом СССР, и опять-таки невозможно себе представить, что он им не стал бы. В канун избрания народным депутатом Сахаров говорил:

— Я согласен, что подъем общества возможен только на нравственной основе. В нашем народе произошли тяжкие изменения в результате террора, в результате многих лет жизни в обстановке обмана и лицемерия. Но я верю, что в народе всегда сохраняются нравственные силы. В особенности я верю в то, что молодежь, которая в каждом поколении начинает жить как бы заново, способна занять высокую нравственную позицию. Речь идет не столько о возрождении, сколько о том, что должна получить развитие находящаяся в каждом поколении и способная вновь и вновь разрастаться нравственная сила.

Не только его жизнь, но и сама его смерть проявила в народе эту силу. Его прозрения, касались ли они законов физики или законов человеческого духа, были созидательны, были конструктивны и по природе своей рассчитаны на действие благородством. Он ясно видел логические связи между наукой и нравственностью там, где другим виделся хаос, являя в самом себе реальность и осуществимость этих связей. Он вобрал в себя XX век — его противоречивый масштаб, который тем не менее может быть подчинен человеческому гению.

Справедливость принципиально возможна и может быть явью, а не только программой — вот девиз Сахарова, его натура и природа самой его природы. Он был великим и в великом и в малом, во всей без исключения жизни, и любое общение с ним неизменно внушало одну и ту же мысль, одно впечатление: это — Человек! И к нему как к Человеку обращались многие, и не раз.

Коллектив нашего журнала всегда будет помнить поддержку Андрея Дмитриевича в дни, когда мы готовили к печати рукопись Григория Медведева «Чернобыльская тетрадь». Сахаров прочитал эту рукопись за одну ночь и написал к ней вступительное слово.

Вот так же и все наше общество, начиная то или иное дело справедливости и прогресса, уже чувствовало участие в нем академика Сахарова.

Да, Сахаров был таким, каким он был и каким должен был быть. Но есть опасность, что наше общество в чем-то пошатнется, в чем-то изменит самому себе. Да поможет обществу вечная память о Человеке избежать этого!

Редакция «Нового мира».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

*

ПОЛИТИЗДАТ

Н. Давыдова. Выбор оружия. Повесть об Александре Вермишеве. Изд. 2-е. («Пламенные революционеры») 269 стр. Цена 95 к.

Л. Жуховицкий. Помоги своей судьбе. («Личность. Мораль. Воспитание») 350 стр. Цена 65 к.

Краткий политический словарь. Изд. 6-е. дополненное. 623 стр. Цена 3 р.

Страницы истории советского общества. Факты, проблемы, люди. 447 стр. Цена 1 р. 60 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Батюшков. Сочинения. В 2-х тт. Т. 1. Опыты в стихах и прозе. 511 стр. Цена 2 р. 70 к.

И. Огарев в воспоминаниях современников. («Серия литературных мемуаров») 543 стр., с илл. Цена 2 р. 10 к.

Слово писателя. Выступления писателей на Съезде народных депутатов СССР. 158 стр. Цена 35 к.

В. Тендряков. Собрание сочинений. В 5-ти тт. Т. 5. 782 стр. Цена 3 р. 30 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Жигулин. Летящие дни. Стихи. 413 стр. Цена 1 р. 50 к.

В. Камянов. Время против безвременья Чехов и современность. 380 стр. Цена 1 р. 70 к.

Ю. Карякин. Достоевский и канун XXI века. 652 стр., с илл. Цена 2 р. 30 к.

Э. Строд. Искушение. Фазы Луны. Романы. Перевод с латышского. 331 стр. Цена 1 р. 20 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

А. Васильев. Два шага до рассвета. Повесть. 252 стр. Цена 90 к.

В. Козлов. Аритмия. Повести, рассказы. («Восхождение») 255 стр. Цена 1 р.

И. Тарба. Стихотворения. Перевод с абхазского. 111 стр. Цена 35 к.

В. Шункин. Мгновения жизни. 208 стр., с илл. Цена 3 р. 10 к.

«ПРОГРЕСС»

Дж. Андреотти. СССР, увиденный вблизи. Перевод с итальянского. 390 стр. Цена 75 к.

Д. Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить. Перевод с английского. 720 стр. Цена 5 р. 40 к.

Д. Оруэлл. 1984. Эссе разных лет. Роман. Художественная публицистика. Перевод с английского («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 378 стр. Цена 2 р. 10 к.

Р. Слассер. Сталин в 1917 году. Человек, оставшийся вне революции. Перевод с английского. 314 стр. Цена 1 р. 30 к.

«РАДУГА»

Ай Цин. Слово солнца. Избранные стихотворения. Перевод с китайского. 224 стр. Цена 95 к.

В. Десница. Зимние каникулы Роман. Новеллы с английского («Зарубежная художественная публицистика и документальная проза») 378 стр. Цена 2 р. 40 к.

Современная бразильская повесть. 70—80-е годы. Перевод с португальского. 477 стр. Цена 3 р. 10 к.

В. Уильямс. Ада Даллас. Роман. Перевод с английского. 335 стр. Цена 2 р. 40 к.

«НАУКА»

И. Брагинский. Абу Абдаллах Джафар Рудани. 132 стр. Цена 70 к.

Горький и его эпоха. Исследования и материалы. Выпуск 1. 279 стр. Цена 2 р. 50 к.

Классическое и современное искусство Запада. Мастера и проблемы. Сборник статей. 205 стр. Цена 2 р.

Г. Шахназаров. Всевидящее Око. Сборник научно-фантастических произведений. 592 стр. Цена 4 р.

МЕСТНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВА

Л. Зубова. Поэзия Марины Цветаевой лингвистический аспект. Л. Издательство ЛГУ. 261 стр. Цена 1 р. 60 к.

И. Маркелов. Запасной выход. Роман. Волгоград, Нижне-Волжское книжное издательство. 399 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Набоков. Истребление тиранов. Избранная проза. Минск. «Мастацкая літаратура». 640 стр. Цена 5 р.

Н. Пушкарёва. Женщины Древней Руси. М. «Мысль». 287 стр., с илл. Цена 1 р. 40 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов**, **Д. А. Гранин**, **И. Я. Зиедонис**, **В. А. Костров** (зам. главного редактора), **В. Н. Крупин**, **Д. С. Лихачев**, **П. А. Николаев**, **Б. И. Олейник**, **Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **И. Б. Роднянская**, **В. И. Селюнин**, **М. В. Тимофеева**, **О. Г. Чухонцев**, **В. А. Ярошенко**

Технический редактор **Л. Ваят**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 19.10.89 г. Подписано к печати 21.12.89 г. А 09955
Формат бумаги 70X108^{1/8}. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 17 п. л.
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 2.660.000 экз. (9-й завод 2000.001—2.660.000 экз.). Зак. 3853. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
103798. Москва К-6. Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798. Москва, Пушкинская пл., 5.

1 р. 20 к.

Индекс 70636

ISSN 0130-7673 Новый мир, 1990, № 1, 1—272.